

Русская литература

№ 4

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1978

Год издания двадцать первый

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Н. И. Прудков. Буржуазный прогресс и патриархальный мир в истолкованиях русских писателей и мыслителей второй половины XIX века	3
Д. С. Лихачев. Древнерусская литература и современность	25
В. И. Мельник. «Натуральная школа» и реализм 40-х годов	32
А. Ф. Бритиков. Лев Толстой и Жюль Верн	49
Н. П. Генералова. Луначарский о художественных формах реализма	60
П О Л Е М И К А	
П. В. Бекедин. Неподатливое поле «Поднятой целины»	78
В. Ф. Воробьев. О природе литературной критики	92
П У Б Л И К А Ц И И И С О О Б Щ Е Н И Я	
И. Ф. Иовва. Пушкин в документах дела Алексеева—Радича	106
Т. С. Царькова. Раннее творчество Н. А. Некрасова и фольклор	109
В. Г. Базанов. Д. М. Рогачев — «особенный человек»	117
В. Г. Чернуха. О прототипе графа Твэрдоно́т в произведении М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом»	136
В. В. Ильин. М. К. Цебрикова на Смоленщине (по архивным материалам) Неопубликованное письмо Дж. Кеннана Г. А. Мачтету (публикация Е. И. Меламеда)	140 144
К. М. Азадовский, А. В. Лавров. Новое о встречах Томаса Манна с русскими писателями («Слово благодарственное» Андрея Белого Томасу Манну)	146
Г. А. Тишкин, Н. К. Пиксанов — преподаватель Бестужевских курсов	152
В. Э. Вацуро. «Лермонтовская энциклопедия»	157

(см. на обороте)

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

А. Н. Шустов. Чистый гений или чистая красота?	161
Н. Ф. Аверина. Пермская ссылка Герцена (по поводу некоторых комментариев)	162
Р. Б. Заборова. Заметки об издании «Сонетов» Адама Мицкевича	165
В. Н. Фойницкий. «Сумбурная брошюра» (к истории памфлета Л. Н. Толстого «Николай Палкин»)	168

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Учебник по народному творчеству	
Л. И. Емельянов. В новом приближении	169
С. Н. Азбелев. Русское устное народное творчество	173
О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» в советской филологической науке (1968—1977)	177
Т. П. Голованова. Лермонтов и Украина	185
Н. Н. Мостовская. Восемьдесят седьмой том «Литературного наследства» . . .	190
В. В. Бузниц. Ценное исследование о советской литературе в Болгарии . . .	196
Р. Ю. Данилевский. Лейпцигский сборник, посвященный А. Н. Радищеву	199
Н. А. Никифоровская. Больше требовательности! (О некоторых недостатках сборника «Шекспировские чтения 1976»)	206
ХРОНИКА	210
В. А. Ковалев. Топтание на месте	233
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литература» в 1978 году	234

Редакционная коллегия:

В. В. ТИМОФЕЕВА (главный редактор)
В. Г. БАЗАНОВ, А. С. БУШМИН, Л. Ф. ЕРШОВ, В. А. КОВАЛЕВ,
К. Д. МУРАТОВА, Ф. Я. ПРИЙМА, Н. И. ПРУЦКОВ

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199164, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

Журнал выходит 4 раза в год

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1978 г.

БУРЖУАЗНЫЙ ПРОГРЕСС И ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ МИР В ИСТОЛКОВАНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И МЫСЛИТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Одним из интереснейших и идеологически актуальных вопросов социологии пореформенной России является вопрос о крайне противоречивых соотношениях — сплетениях и столкновениях — начал набирающего силу буржуазного прогресса и начал умирающего патриархального мира в экономическом и социальном строе страны. Из этого следует и постановка вопроса о связях идеологов — художников и теоретиков — с миром уходящим (например, Толстого или Михайловского), о смысле и роли такой связи в условиях складывания и развития капиталистической формации и подготовки буржуазно-демократической и социалистической революций. Анализ всего этого позволяет уяснить своеобразные черты целой исторической эпохи и установить некоторые существенные тенденции в идейной и художественной специфике литературного развития после 1861 года, а также проследить и судьбу тех утопических представлений и идеалов, которые были заострены против «буржуазности» и оказались связанными с патриархальным миром.

1

Процесс пореформенной капитализации России сопровождался сильным развитием антибуржуазных настроений, идей и идеалов, которые возникали и в среде трудящихся, и в революционно-освободительном, а также и в литературном движении. Антибуржуазная позиция, как и апелляция к прошлому, — явление международное, но оно на разных этапах развития человечества проявлялось всякий раз своеобразно в национальной духовной культуре того или другого народа.

Народно-демократическая Россия и ее идеологи объективным ходом социально-экономической эволюции страны ставились в необходимость вести борьбу и против крепостничества, и против буржуазии. В русской классической литературе и общественной мысли отмеченная здесь особенность нашла свое яркое и многообразное выражение. Антикрепостническая, антидворянская направленность слилась с могучей и оригинальной критикой русского, а также западноевропейского и американского буржуазного строя, цивилизации «крови и железа». Но здесь возникает один из коренных вопросов. Буржуазность становилась реальным фактом жизни. Поэтому протест против нее будто бы лишался смысла. Он мог показаться бессильным донкихотством, бесплодной, даже смешной маниловщиной. Разумеется, в условиях того времени «литературное давление» на капитализм было «игрушечным делом». Однако с точки зрения подготовки будущего антибуржуазная позиция классиков имела огромное познавательное и воспитательное значение. Надо иметь в виду,

что критика капитализма иногда шла под знаменем социализма, демократии для народа и идей революции (у Чернышевского и Добролюбова, например). Но даже и в тех случаях, когда такой подход непосредственно не выражался или же был чужд тому или другому автору, критика эта все же заключала в себе такие тенденции, которые тоже «играли» на социализм, содействуя выяснению будущего и путей, ведущих к нему (Толстой).

Обличение отечественного и зарубежного капитализма, буржуазной демократии — выдающаяся заслуга классического наследия перед революционно-освободительной борьбой трудящихся России и Западной Европы. Русские писатели и мыслители, особенно Герцен и Белинский, Чернышевский и Добролюбов, Толстой, Достоевский и Успенский, Писарев и Щедрин, *каждый по-своему*, понимали ограниченность прошедших буржуазных революций. Не отрицая их положительного значения, они признали, что революции не удовлетворили насущные потребности широких масс трудящихся, не принесли «радости общего соединения». В Западной Европе, по убеждению, например, Достоевского, трудящиеся были освобождены на «пролетарских началах», т. е. без земли: «Ступай... милый брат наш, на свободу, в чем мать родила, да еще за честь почитай».¹ С Достоевским перекликается Успенский. В повести «На старом пепелище» (1876) он так говорит об итогах французских революций: «... Революция, уверив его («бедный рабочий класс», — *Н. П.*), что он — не скот, а человек, все-таки до сей минуты не дала ему уюта, а оставила одного среди пустой площади и сказала: „Ну, брат, теперь живи, как знаешь“».² Представители передовой русской мысли и литературы говорят именно о том, что суть дела заключается не в юридических правах, не в лозунгах и декларациях, не в формах правления, а в реальном житейском, повседневном благосостоянии и благополучии масс, в материальном быте народа. Прошедшие революции не решили этого коренного вопроса, а поэтому пролетарии и при республике не обрели спокойствия и довольства.

Писатели и критики обличали предательство народа торжествующей буржуазией, говорили о мещанском опошлении и вырождении великих идей и блестящих обещаний, провозглашенных просветителями XVIII века и французской революцией 1789 года, — идей свободы, равенства, братства. Глубокое и горькое разочарование в результатах западноевропейских революций, в теориях их идеологов — существеннейшая черта русского классического литературного наследия, революционно-социалистической мысли. Такая позиция породила особые надежды на русскую революцию и крестьянские массы, на общинно-крестьянский социализм. Родоначальником этой концепции явился Герцен, который после краха своих надежд на социалистические перспективы европейских революций решительно повернулся лицом к России. Вера в Россию спасла его от глубокой нравственной депрессии. Такой же поворот значительно позже — в 70-е годы — сделал и один из его последователей, Глеб Успенский, непосредственно наблюдавший положение трудящихся в Европе 70-х годов («Большая совесть», «Там знают» и др.).

Вся эта переориентация русских авторов может быть правильно осмыслена в масштабах общеевропейской истории, с учетом разных конкретных ситуаций, сложившихся после французской революции 1789 года в странах Западной Европы и в России, в особенности с учетом своеобразия положения в них крестьянских масс. На Западе прошли победоносные буржуазно-демократические революции. Начиная с Великой французской революции и до франко-прусской войны развернулась эпоха

¹ Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. — В кн.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 11. М.—Л., 1929, с. 263.

² Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. IV. [М.—Л.], 1949, с. 419.

подъема, полной победы европейской буржуазии, а после 1870 года восходящая линия буржуазно-демократических и буржуазно-национальных движений пошла вниз, началась новая эпоха — перзрелости, упадка буржуазии, перехода ее к реакционному курсу, образования реакционнейшего финансового капитала; а с другой стороны, то было время подготовки и собирания сил новым классом, пролетарской демократией.³

Естественно, что такая ситуация, особенно после 1871 года ощущаемая, а в отдельных случаях и вполне осознаваемая некоторыми русскими писателями, революционерами и деятелями общественной мысли, не могла их воодушевлять, вселять надежды на будущее Западной Европы, давать материал для выработки положительной программы «молодой России». Правда, такие писатели, как Успенский, Достоевский, Михайловский и Щедрин, обратили внимание на западную пролетарскую демократию. Успенский радовался, что зарубежный рабочий класс уже научился «делать демонстрации». Но эти догадки и прозрения еще не могли оказать серьезного влияния на общее понимание судеб человечества, в особенности России. Тем более что трагический финал Парижской коммуны, как казалось некоторым деятелям России, еще раз продемонстрировал, как далек Запад от подлинного торжества трудящихся и как преступны, антинародны торжествующая буржуазия и ее трусливые идеологи-лакеи. Достоевский тоже признал, что пролетарии и политический социализм энергично «стучатся в дверь» Европы, но «драка» между рабочим классом и буржуазией не принесет радости подлинного обновления жизни, а повторит то, что уже было («водевиль с передеваниями»).

В антибуржуазной (прежде всего антизападнической) позиции русских художников и теоретиков в той или другой мере выражался симптом великого исторического процесса — заката европейской буржуазной демократии и связанных с нею социалистических упований, с одной стороны, а с другой — в этой позиции объективно отражались предчувствие, предвосхищение появления на Западе новой силы — пролетарской демократии, с которой, однако, русские деятели еще не могли связать своих коренных убеждений, своих прогнозов будущего. Одни из них отвернулись от рабочего класса Европы и его политической борьбы, считая, что это совершенно не подходит к России (Михайловский), другие отрицали способность пролетариев к творчеству новых, отличных от буржуазных, оснований жизни. Вообще не в капитализме следует искать основания для будущего (Толстой, Достоевский).

Совершается решительный поворот к России, которая была столь не похожа на страны Западной Европы, а поэтому возбуждала надежды, что именно здесь «воссияет свет» и укажет спасительный путь всему человечеству. Вывод этот подсказывался многомиллионными крестьянскими массами России, всей накаленной и своеобразной обстановкой пореформенной эпохи. В ходе буржуазных зарубежных революций европейский крестьянин получил землю как свою личную собственность и стал прочной опорой нового порядка. «Роль крестьянства, как класса, поставляющего борцов против абсолютизма и против пережитков крепостничества, на Западе уже сыграна, в России — еще нет».⁴ Россия стояла накануне крестьянской буржуазно-демократической революции, после 1861 года шла полным ходом ее подготовка.

Вера в коммунистические инстинкты мужика потребовала от российских социалистов того времени, чтобы они отодвинули якобы обанкротившуюся в Европе политическую борьбу на задний план и «шли в народ», стали бы подлинно «народными людьми», «народниками», пропагандистами общинного социализма, совершенно новых социальных осно-

³ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 143.

⁴ Там же, т. 4, с. 227.

ваний жизни. Такое противопоставление борьбы за социализм и политической борьбы за демократические преобразования явилось характерным признаком идейных исканий и освободительного движения пореформенной поры вплоть до прихода на историческую арену России научного социализма и социал-демократии, которая положила конец разрыву социализма и политики. Одна из первых книг Г. В. Плеханова-марксиста и была посвящена этой проблеме («Социализм и политическая борьба», 1883). Но политика сама, силой обстоятельств, постоянно сопровождала теории мужицкого социализма, вторгалась в эти теории, так как они вели к отрицанию помещичьего землевладения, этого оплота самодержавия, к требованиям демократических свобод.

Не оправдавший надежд трудового народа исход западных буржуазных революций, а также и результаты национально-освободительных движений XIX века использовались в России не только в целях обоснования «русского социализма», но и в целях противореволюционных, антипросветительских и антисоциалистических.

Здесь мы не будем говорить о корыстно-реакционных, реставрационных концепциях, возникших как воинственно отрицательная, а порой и злобная реакция на революционную Европу и отразившихся в славянофильских учениях 80-х годов, в «спасительных» антизападнических программах идеологов официальной самодержавно-помещичьей государственности, в антинигилистической беллетристике, в «катковствующей», а затем и в веховской публицистике, идейный арсенал которых ныне столь усердно и бесславно использует и развивает идеологическая буржуазная реакция. Официальное и полуофициальное самохвальство, переходящее в самобытные благоглупости, всегда было характерно для реакционных направлений литературно-общественной мысли («зипун» никогда не станет революционным; Русь спасла начала истинного христианства для всего мира, русский народ-богоносец озобочен не мыслями о «земельке» и правах, а о «божьей правде» и т. п.).

Поиски путей самобытного развития России породили и иного рода реакционные построения. Их авторов нельзя заподозрить в классовой узости, но и они по объективному смыслу своему противостояли социологии и истории. Сюда следует отнести особые упования на положительные нравственные возможности русского характера как силу, противостоящую «западному человеку» и способную пересоздать жизнь на новых основаниях, а также призыв к нравственному самосовершенствованию, которое рассматривалось в качестве закона прогресса, написанного в душе каждого человека. В этом же ряду находятся попытки в Евангелии или в личности Христа найти опору для идеального жизнестроительства и нравственного возрождения человека и всего человечества. Характерна в этом отношении социально-этическая утопия Достоевского как оригинальная разновидность христианского социализма. В ней слились в одно целое антибуржуазный пафос и пафос противореволюционный, антипросветительский. Лесковские «очарованные странники» и «праведники» противостояли меркантильному и утилитарному веку с его бездуховностью, деморализацией, «опошлением душ» и «обезличением». Свойственные Лескову возвеличивание, идеализация «маленьких великих людей», чудаков, так называемых «антиков» и невидимок с большими сердцами, проповедь этики добрых дел по своей природе и направленности приобрели демократический смысл. Но это был «наивный демократизм, умевший чувствовать буржуазность, но не умевший понять ее».⁵

На исключительно трудном пути поисков возможностей покончить не только с феодально-крепостническим рабством, но «одним махом» разделаться и с рабством вольнонаемным, капиталистическим впадали

⁵ Там же, т. 1, с. 295.

в разнообразные иллюзии, особенно в иллюзии русского мужицкого социализма, и самые передовые силы общества — революционеры допролетарской эпохи. Участникам демократического движения казалось, что если они добьются удовлетворения крестьянских требований земли, права голоса, независимости от помещиков, свободы от опеки и лихоимства администрации, ликвидации сословных ограничений, создания общегития свободных и равноправных мелких крестьян и т. п., то тем самым они минуют капиталистическую фазу и обретут реальный всеобщий рай на земле. «Масса крестьян, — писал В. И. Ленин в статье «Социализм и крестьянство», — не сознает и не может сознавать того, что самая полная „воля“ и самое „справедливое“ распределение хотя бы даже и всей земли не только не уничтожит капитализма, а, напротив, создаст условия для особенно широкого и могучего его развития».⁶ Не понимали этого и идеологи крестьянства, что приводило их к обману зрения — созревающая буржуазная революция представлялась им революцией социалистической. Так буржуазно-демократическое движение в России шло под знаменем социалистических идеалов.

В антибуржуазной позиции классиков литературы и общественной мысли заключались и исторически прогрессивные, а порой и пророческие тенденции, расчищающие путь к научному социализму, и ограниченность, отражающая бессилие, растерянность, весь ужас патриархальных масс перед Молохом, незнание реальных, действенных путей избавления от «антихриста». Обличение зла капитализма велось художниками и мыслителями прошлого с разных точек зрения: с точки зрения народнического утопического социализма, революционно-демократического просветительства и антропологизма, «вечных» заповедей религии и правил нравственности; и с разных социальных позиций: патриархального мужичка, полупролетария, мещанской демократии, попавших в лапы «нового вампира — капитала».⁷ В условиях России второй половины XIX века научная оценка капитализма идеологами российского социал-демократического индустриального пролетариата еще не сложилась и не могла воздействовать на формирование антибуржуазной позиции русских классиков литературы и общественной мысли, хотя к концу века некоторые из них и начали проявлять интерес к марксизму и рабочему классу, в отдельных случаях усваивать воззрения К. Маркса и Ф. Энгельса на капитализм, на судьбы человечества и социально-экономическое развитие России.

2

«Перевал русской истории» — приход вампира-капитала — воспринимался в определенных социальных кругах — деклассирующими слоями старой России, наивным патриархальным крестьянином, социально пестрой городской демократией, а равно и их идеологами — как приближение конца мира. «Пришел антихрист» — так иногда думали в смятении перед надвигающимся непонятным и страшным русский мужичок, плебей-горожанин и полупролетарий, разорившийся помещик, выбитые из привычного порядка жизни. Такая позиция особенно характерна для народнической демократии, тесно связанной с мужицкой Россией. Вот один из наиболее выразительных в этом отношении примеров. С большой эмоциональной силой, хотя и беспомощно, ужас народных масс перед капитализмом, этим новым «насиллователем» человека, выразил писатель-народник С. А. Рапопорт (С. Видьбин) в неопубликованной рукописи «Темная сила» (1889), посвященной памяти М. Е. Салтыкова. Капитализм он называет антихристом, Молохом. Черные пятна рудников кажутся ему от-

⁶ Там же, т. 11, с. 284.

⁷ Там же, т. 21, с. 197.

вратительными пауками, глубоко впившимися «в обнаженное девственное тело красавицы степи». Представители «темной силы» — коршуны и вороны, жадущие и алчущие «свеженькой кровушки попить». Пьедесталом «буржуазно-хищнической цивилизации» или «цивилизации крови и железа», говорит Видьбин, служит «страшная груда иссушенных костей человеческих». Капитализм для Видьбина — «темная сила», обесчестившая жен и дочерей, обратившая «скромную крестьянку в бесстыдную шахтерку-проститутку», бросившая «гной неправды» в душу пахаря. Автору «Темной силы» «страшно за человека», за народ с его «обнаженным, ничем не защищенным телом». «Орда хищников» рвет «на клочки истерзанное и облитое кровью народное тело... с каким-то зверским хохотом»; «ясное солнце заслонено смрадным дымом»; «рубль, обрызганный кровью и облитый целым океаном грязи... дерзко выступает против бога... и победа стала клониться на сторону рубля...»

С. Видьбин создает характерную для «мужичьей» наивно-патриархальной идеологии антитезу. Цивилизации крови и железа, паукам-тарантулам, «волчьему аппетиту змеи с ядовитым жалом» он противопоставляет трудовую жизнь крестьянина на земле. Автор напуган капитализмом, свое сочинение он назвал «дневником испуганного человека» и нарисовал в нем устрашающую картину, в которой чувствуется истеричность и бессилие, выраженные в одном из эпитафий к рукописи: «Мрачно всюду, страшно всюду. Что-то будет, что-то будет» (Мицкевич). Видьбин в бессилии своем обращается к какому-то «могучему гиганту, который вырвет из нашей жизни эту страшную заразу... убьет эту гидру стоголовую...»⁸

Разумеется, не все классики прошлого оказывались во власти столь безысходно трагических страхов и ужасов. С. Видьбин принадлежит к второстепенным, теперь забытым писателям. Но — и так часто бывает в истории литературы и общественной мысли — подобным авторам в некоторых случаях удается уловить и выразить такие типические тенденции в духовной жизни страны, которые являются достоянием и выдающихся деятелей культуры. Автор «Темной силы» сумел создать такую концентрированно-художественную, заостренную форму выражения своей антибуржуазной позиции, которая встречается у Толстого и Достоевского, Успенского и Златовратского, Куприна и Бунина, отражая их духовное и физическое отвращение к «буржуйной орде», их растерянность, беспомощность перед Молохом, их тревоги за судьбу человека в «чумазовском» царстве. Даже Щедрин «волком выл», наблюдая «кровопийственный процесс», которому предаются Колупаевы и Разуваевы. Наступившую эру великий сатирик назвал «мерзостью», персонифицируя отвратительные черты новой цивилизации в образе «чумазого». Тем более такие настроения и оценки были свойственны Успенскому, который в своих идейно-нравственных исканиях обнаруживал порой глубокую связь с представлениями патриархально-крестьянской России, «размываемой» капитализмом. В письмах к В. М. Соболевскому 1887—1888 годов он с увлечением говорит о своих новых творческих планах изображения «власти капитала». И как бы передавая чувства простого народа, он сообщает: «Назвал бы я эти очерки „Проступки господина Купона“. И первый был бы: „Пришествие ангихриста (Родшильд в Одессе)“».⁹

Успенский сравнивает буржуя с «брюхом», а капитал с «сладострастной пастью», которая чавкает «свеженькое мясо» и пьет «кровушку свеженькую из девственных мест» («Письма с дороги»). Образ буржуя вызывает у писателя воспоминания о чем-то трупном, холодном, распухшем, дурно пахнущем (очерк «Буржуй»). Греховодник-капитал «мусо-

⁸ Сочинение С. Видьбина «Темная сила» находится в рукописном отделе Пушкинского дома (ф. 313, оп. 4, № 59).

⁹ Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. XIV, с. 187.

рит» девственные места, на «чистой», «невинной земле» заводит «грязь и всякую гадость». Благополучие купонного человека, говорит автор, создается на костях «чернорабочей человеческой массы» («Не все коту масленица»). Многие произведения Успенского 80-х годов могли бы быть блестящей иллюстрацией к словам Ленина о «новом вампире-капитале» и о той «цивилизации», которая «посредством всех ухищрений, завоеваний и прогрессов» ограбила крестьян.¹⁰

И в самом конце XIX века, например в повести А. И. Куприна «Молох» (1896), а затем и в начале XX века — хотя бы в романе А. С. Серафимовича «Город в степи» (1912), сказываются те же скорбно-трагические тона в изображении «бесчеловечных замашек капитала».

Антибуржуазная позиция воплощалась у писателей в своеобразной форме. Как правило, осуждение капитализма было *сентиментально-романтическим*. Оно имело откровенно оценочный характер и очень часто осуществлялось средствами художественной публицистики, в которой особую роль приобретают образы гротескные, карикатурные, сатирические, возбуждающие гнев и отвращение. Это был взволнованно-эмоциональный суд над буржуазным миром — суд преимущественно с точки зрения морали и эстетики. Естественно, что такая широко распространенная (но не единственная) позиция не могла вооружить художника пониманием нового миропорядка. Поэтому в его восприятиях этого мира значительную роль играют образы зловеще фантастические, уродливые, устрашающие, иногда мистические, воплощающие таинственные, не подвластные человеку силы (у И. Бунина в рассказе «Господин из Сан-Франциско», 1915).

Обозревая антибуржуазную проблематику в наследии писателей и мыслителей России прошлого века, следует считаться с тем, что некоторые из них смотрели на капитализм как на реально надвигавшуюся катастрофу человечества. Это особенно характерно для тех, кто был чужд конкретно-историческому и социологическому подходу к проблеме, кто руководствовался прежде всего естественными потребностями человеческой природы в добре, солидарности и гармонии, кто исходил из «вечных» требований нравственности и заповедей религии. Достоевский, например, иногда оказывался во власти сильных эсхатологических настроений, пророчествуя о грозящей «бездне». В. В. Тимофеева (О. Починковская) в своих воспоминаниях «Год работы с знаменитым писателем» воспроизводит размышления Достоевского о судьбах человечества: «— Они и не подозревают, что скоро конец всему... всем ихним „прогрессам“ и болтовне! Им и не чудится, что ведь антихрист-то уже родился... и идет! — Он произнес это с таким выражением и в голосе и в лице, как будто возвещал мне страшную и великую тайну... — Идет к нам антихрист! Идет! И конец миру близко, — ближе, чем думают!»¹¹

Больному Раскольникову на каторге снятся сны, в которых погибает все человечество, зараженное «духовными трихинами». Версиров (в романе «Подросток») ссылается на Апокалипсис, говоря о будущих судьбах человечества. Показательно и описание Лондона в «Зимних заметках...», того самого Лондона, в лике которого русские люди представляли себе «ад крошечный» западной жизни (в «реке-Лондоне» «ходит щука и ест карася»). Припоминаются и интерпретации Апокалипсиса Лебедевым (из «Идиота»), которому автор поручил обязанности толкователя «века пороков и железных дорог».¹² Заметим здесь к слову, что «светопреставление» писателю чудится прежде всего в жизни «европейского человечества». Победное шествие капитализма воспринимается им

¹⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 197, 196.

¹¹ Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. II. М., 1964, с. 170.

¹² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 8. Л., 1973, с. 315.

как смертельная угроза всему человечеству. В «Заметках из записной книжки» Достоевского имеется запись: «Конец мира идет. Конец столетия обнаружится таким потрясением, какого еще никогда не бывало».¹³

Рядом с Достоевским следует поставить Ф. И. Тютчева, постоянно ощущавшего грядущие мировые потрясения («удары землетрясения»). В одном из писем к барону Пфеффелю (1870) поэт признался: «Я сознаю, как тщетны все отчаянные усилия нашей бедной человеческой мысли разобраться в том ужасном вихре, в котором погибает мир... Да, действительно, мир рушится, и как не потеряться в этом страшном крушении?».¹⁴ И написано это было под впечатлением конкретных европейских социально-политических событий. Тютчеву, как и Достоевскому, присуще трагическое восприятие мира.

Апокалипсические пророчества, характерные для эпох крутых поворотов истории, гибели старого и рождения нового, дают основания сказать, что в русской литературе XIX века начали складываться элементы той философии «конца мира», которая стала особенно популярной в начале XX века в кругах буржуазно-дворянской интеллигенции, в условиях социальных и военно-политических потрясений, надвигавшейся революции 1905 года, а затем и революции социалистической. Следует, конечно, строго разграничивать апокалипсические настроения XIX века и аналогичное мировосприятие в начале XX века. В первом случае они были вызваны к жизни появлением нового «хозяина» — капитализма, катастрофой добуржуазных отношений, и формировались они в среде «размываемых» классов и сословий старого мира. Во втором случае отдельные эсхатологические идеи и настроения, известные в XIX веке, сменились законченными концепциями, получившими иной смысл и выполнявшими другую функцию. То была эпоха империализма, начало краха капитализма. Библейские откровения Иоанна о «конце мира» завладели умами и сердцами буржуазного и интеллигентского мира, и мыслителей, которые принадлежали гнущему буржуазному миру, его культуре, и которые не поняли и не могли понять освободительную миссию пролетариата.

Называя Достоевского одним из отдаленных предшественников философии «конца мира» XX века, необходимо учитывать и другие стороны в его активной позиции в отношении к будущему. Автор «Братьев Карамазовых» в своих оценках судеб человечества верил, желал верить в возможность его перерождения в совершеннейшее. Здесь он принципиально противостоял другу своему, Владимиру Соловьеву, который после смерти писателя опубликовал пессимистическую статью «Россия и Европа» (1888), а позже выступил с публичной лекцией «О конце всемирной истории», которая потрясла современников. Публика заговорила о неумолимо приближающейся всемирной катастрофе.

Достоевского возмущали те, кто обрекал человечество на неминуемую гибель, отнимал у людей право на счастливую жизнь на земле. Самым воинствующим и самым откровенно циничным (на поповской основе!) философом мировой катастрофы был Константин Леонтьев. В своей «пропитанной ядом нетерпимости»¹⁵ брошюре «Наши новые христиане» он утверждал, что «всё должно погибнуть!». Такова, по его убеждению, единственная реальность, неопровержимая правда. Ну, а если таков финал человечества, если мир погибнет, спрашивает Леонтьев, то «какая нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непонятных нам поколений». Из этого вытекал «благоразумный» житейский совет Леонтьева: «заботьтесь практически лишь о ближайших делах,

¹³ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 357.

¹⁴ Старина и новизна, 1917, кн. XXII, с. 275.

¹⁵ Лесков С. Н. Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи. Религия страха и любви. — Новости и биржевая газета, 1883, 1 и 3 апр.

а сердечно, лишь о ближних людях: именно о ближних, а не о всем человечестве».¹⁶

Мещански-поповскую пропись Леонтьева подхватил в 1917 году веховец С. Булгаков в своей работе «Христианство и социализм». В ней он обвинил Достоевского в проповеди ереси — веры в счастливое будущее человечества на земле. В действительности же, рассуждал Булгаков, не для счастья рожден человек и не к счастью должен стремиться.

В «Заметках из записной книжки» Достоевский высказал мысль, которая противоборствует с человеконенавистнической, византийско-пессимистической концепцией Леонтьева и его соратника Булгакова. Здесь следовало бы упомянуть и публициста Григория Градовского (псевдоним «Гамма»), который доказывал, что Христос пророчествовал не «гармонии», а «всеобщее разрушение». В подобной «философии», говорит Достоевский, «есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо. (Живи впредь спокойно в одно свое пузо)».¹⁷

Да, Достоевский не свободен от мысли о грозящей социальной и духовной «бедне» (особенно «западного человечества»). В объяснительном слове по поводу своей речи о Пушкине он говорит о том, что гражданское европейское устройство, богатства Европы могут исчезнуть бесследно завтра же, так как в ней все подкопано. Но писатель и воодушевлен поисками средств исцеления, путей в счастливое будущее. Поиски эти проникнуты глубоко утопическими, ошибочными и реакционными идеями. Однако в реакционно-утопическом учении билась живая мысль писателя. Важен именно жизнеутверждающий, действенный, эвдемонический пафос его раздумий о будущем. Он противостоит всевозможным апокалипсическим концепциям XX века, хотя и предвосхитил их некоторые идеи. Не мог Достоевский утешать себя и наивной верой в наступление на земле тысячелетнего царства бога и праведников, как это сделал В. Соловьев в повести 1900 года «Антихрист».

3

Не принимая, как правило, буржуазную цивилизацию, классики поставили величайшие проблемы того времени — что же можно противопоставить бесчеловечному капитализму, как не допустить его гибельное торжество в России, есть ли силы для «обороны» против него, что нужно делать, чтобы не повторять мучительного, страшного опыта Запада? Речь впервые зашла о возможностях некапиталистического развития России — вопрос, который в наши дни вновь встал перед многими народами мира, не пережившими капиталистическую стадию и избравшими путь самостоятельного социально-экономического развития.

Основоположники научного коммунизма в своих работах о России, в переписке с русскими деятелями литературы и освободительного движения дали совершенно ясный, научный, конкретно-исторический ответ на все эти вопросы. Россия того времени могла бы миновать капиталистическую эру при определенной ситуации: если русская буржуазно-демократическая крестьянская революция сольется с победоносной социалистической революцией пролетариата на Западе. Такой подход, естественно, не был доступен русским деятелям в силу их теоретических воззрений и социальной позиции. Господствующая же трактовка проблемы «судьбы капитализма в России» была народнической, по своему пафосу — анти-

¹⁶ Леонтьев К. Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой. М., 1882, с. 23. Работа эта написана по поводу речи Достоевского на празднике Пушкина и повести Толстого «Чем люди живы».

¹⁷ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, с. 369.

буржуазной и утопическо-социалистической, во многом зависящей от уходящего патриархального мира.

Буржуазная Россия вызвала бурное оживление противостоящей ей патриархальной идеологии, которая явилась как бы спутником антибуржуазной позиции, ее как бы обратной стороной (или следствием). Достаточно назвать титана мировой литературы Л. Н. Толстого, чтобы в этом убедиться. И народническая социологическая концепция, художественная литература, связанная с народническим движением, в широком смысле, также были в значительной степени обращены к прошлому, к добуржуазным общественным институтам и отношениям. Да и в сознании трудящихся «старина» зачастую представлялась идеализированной, как время свободы во всем — в распорядке жизни и труда, в самоуправлении и обычаях. Патриархальная окраска всегда была в той или другой мере присуща крестьянскому протесту и крестьянскому свободомыслию в эпоху становления капиталистической формации.

Возникло стремление бессердечному царству «господина Купона» противопоставить «человечные» отношения уходящего прошлого; «простонародную» или «милую» старину. Перед лицом грозно и победно шествующего Ваала, омертвляющего человеческую личность, многие деятели литературы, общественной мысли, революционного движения, скептически или безоговорочно отрицательно оценивая буржуазный прогресс, брали, как говорит В. И. Ленин, в «пережитых порядках» образцы для своих построений идеального общежития, пытались мерить будущее общество на старый патриархальный аршин. В. И. Ленин писал: «...только в рабочем классе демократизм может найти сторонника без оговорок, без нерешительности, без оглядок назад».¹⁸

В «задушевной» патриархальности нравов и обычаев деятели прошлого черпали аргументы в своей критике капитализма и искали норму общественных отношений, открывали «образчик» человеческой личности. В русской литературе разрабатывалась характерная для нее ситуация, известная и в дореформенную эпоху (Д. В. Григорович): какова судьба мужика, вообще человека, воспитанного условиями старинного быта и попавшего в обстановку городской жизни, соприкоснувшегося с новой цивилизацией («Фальшивый купон» Толстого, «Взбрело в башку» Глеба Успенского). Даже Некрасов, которого обычно считают типичнейшим представителем городского разночинства, противопоставляет два мира: «тишину деревенского поля» и город-омут с его сутолокой и черным дымом фабричных труб, с его пороками и бедствиями.¹⁹

В научном понимании проблемы «буржуазный прогресс и патриархальный мир в толкованиях классиков русской литературы и общественной мысли» необходимо руководствоваться основополагающими научными идеями, сформулированными Ф. Энгельсом в классическом труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Буржуазная цивилизация, писал его автор, пришла на смену родовому строю. Она сломала власть «первобытной общности, приведя в движение самые низменные побуждения и страсти людей и развив их в ущерб всем их остальным задаткам». И далее Энгельс говорит: «Низкая алчность была движущей силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня; богатство, еще раз богатство и трижды богатство, богатство не общества, а вот этого отдельного жалкого индивида было ее единственной, определяющей целью». Ф. Энгельс поэтому считал, что такие влияния нового общества на человека являются «упадком, грехопадением по сравнению с высоким нравственным уровнем старого родового общества».²⁰

¹⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 454.

¹⁹ См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. II. М., 1948, с. 72.

²⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 176, 99.

Из этого следует, что нельзя прямолинейно, однозначно решать (по формуле: цивилизация — только хорошо, а патриархальность — только плохо) проблему соотношения патриархальности и цивилизации в наследии некоторых русских классиков, таких, например, как Толстой, Достоевский, Успенский, забывая о том, что у них речь идет именно о буржуазном прогрессе. Распадающийся и уходящий патриархальный мир был в нравственном отношении выше складывающегося и торжествующего буржуазного мира. В некоторых случаях связь того или другого идеолога с уходящим миром обеспечивала высоту его точки зрения и на то, что укладывалось, и на то, что будет.

Вот эта линия в критике настоящего и исканиях идеала (ее можно назвать *патриархально-демократической*) очень значительна, весома в литературно-общественном движении России XIX века, особенно его второй половины. Общедемократическому движению пореформенной поры присущи патриархальные представления, некоторым из них был положен конец лишь революцией 1905—1907 годов, социалистическим движением пролетариата.

Социально-экономический строй России того времени не был однотипным, ее развитие шло неравномерно. Существовали районы, в экономическом отношении по-европейски развитые, и районы феодальной, даже родовой окраины, захолустной, социально многоликой провинции. Цивилизация и патриархальность противоборствовали и причудливо срастались в одно целое. Этот парадоксальный сплав «восточного строя» с «европеизмом» порождал ту «страшную путаницу», «мешанину» идей и чувствований, перед которыми, как показывает опыт истории, наивный реализм здравого смысла всегда оказывался бессильным.

Новый строй жизни в России только что укладывался. Во всем сказывалась незавершенность буржуазных преобразований. Натуральное хозяйство имело внушительный удельный вес в социально-экономической структуре русской деревни, а патриархально настроенное крестьянство, как это показал В. И. Ленин в статьях о Толстом, составляло подавляющее большинство деревенского населения, участие которого в революции и определило ее исход.

Капитализация русской деревни в 70-е и даже в 80-е годы окончательно еще не перевернула всего уклада крестьянской жизни, не успела создать класс жадных индивидуалистов-собственников, которых изображали Балзак («Крестьяне», 1845) и Золя («Земля», 1887). В этих условиях русские писатели, мыслители и революционеры могли найти и находили в деревне мирскую солидарность, мужицкую философию равенства, естественные отношения крестьянина с землей, поэзию земледельческого труда и красоту земледельческого типа. Находили они здесь и бунтующего мужика. С деревней многие и многие связывали свои мечты о предстоящей революции (социалистической!) и переустройстве жизни. В деревенской беллетристике крестьянин изображался не одиночкой, а в определенных отношениях с деревенским «миром», как представитель этого товарищеского мира. *Мужик и община* — такова сюжетная канва некоторых народнических произведений («Хроника села Смурина» Засодимского, «Устой» Златовратского и др.).

Подобная концепция была невозможна на почве французских или немецких аграрно-экономических отношений XIX века. В изображении Золя крестьянство всецело подчинилось всеильному и разрушительному инстинкту частной собственности, распалось на бездушных, хищных и одиноких эгоистов, способных в своих взаимных отношениях на самые жестокие действия во имя «моего» и «твоего». В романе Вильгельма фон-Поленца «Крестьянин» (1895) столь же убедительно изображено трагическое одиночество немецкого крестьянина Траугота Бютнера в его безуспешной борьбе с неведомой ему, безликой силой капитала.

Конечно, и пореформенная русская община в условиях развивающегося товарного производства оказалась плохой «заступой» мужика-труженика от помещика, кулака и бюрократической администрации. И русские крестьяне втягивались в жизнь по законам нового буржуазного общества. Однако пока существовавшие демократические общинные порядки поддерживали чувство товарищеского, соседского союза, вселяли надежду на справедливость и равенство, позволяли надеяться на спасительную силу «мира». Все это оставалось, как правило, только иллюзиями, но это были такого рода иллюзии, которые одушевляли художников слова, возбуждали умы, усиливали энергию революционных борцов, придавали им большую силу воли, целенаправленность их деятельности, объединяли людей, поднимали десятки и сотни на борьбу, порождали мечты о счастливой жизни. Реальность и иллюзии в освободительном движении и в литературе, в общественной мысли противоборствовали, но не во всех случаях исключали друг друга. Некоторые социальные иллюзорные представления, социальные фантазии были законным элементом и литературного, и революционного движения, они являлись формой движения к идеалу, к истине. Известны случаи, когда революционеры называли себя мечтателями. И в этом заключался глубочайший смысл.

В русской беллетристике о крестьянстве поставлены вопросы о путях приобщения крестьян к коллективизму. Для этой литературы характерна проблема «крестьянские массы и революционно-социалистическая интеллигенция». Подобная проблема, естественно, также не могла волновать авторов зарубежного романа XIX века.

Связь с патриархальным миром — яркая особенность русской литературы, народного вольномыслия, освободительного движения и социально-этических исканий интеллигенции. Связь литературного классического наследия с уходящим миром, смысл этой связи истории литературы обычно не принимают во внимание, забывая о том, что патриархальный мир в России — прежде всего многомиллионные массы крестьянства, вступавшие в борьбу. Европейски образованный Толстой был органически связан с этим наивным патриархально-крестьянским миром и благодаря этому выступил замечательно глубоким критиком капитализма, самодержавно-крепостнического строя, а его наследие в целом стало зеркалом особенностей русской революции. «Великий умник» Глеб Успенский, сумевший подняться до признания правоты суждений К. Маркса о судьбах России, сильно бредил патриархальным мужичком, а вместе с тем признавал важность политической борьбы зарубежного и российского трудового народа, стремился разгадать не только «мерзость», но и «благо» буржуазной цивилизации. Такова конкретная история такой страны, как Россия!

Классики отвергали крепостнический строй, не принимали и не во всем понимали буржуазные порядки, обличали буржуазную демократию, а путь в будущее не вполне был им ясен, даже самым прозорливым из них, например Щедрина или Успенскому. Насущнейший вопрос времени стоял перед ними со всей остротой: что принесет русскому народу, всему человечеству буржуазная цивилизация? Этот вопрос буквально мучил и терзал Щедрина и Толстого, Достоевского и Успенского, теоретиков и практиков народнического движения. Поэтому вполне естественно обращение некоторых деятелей литературы, общественной мысли и освободительного движения к добуржуазным отношениям, где они надеялись найти примеры жизни «для души», позаимствовать нечто такое, что успешно противостояло бы «бездушной» капиталистической цивилизации.

На прошлое «оглядывались» не только народники-публицисты или народники-беллетристы, особенно Н. Н. Златовратский («Сон счастливого мужика» в романе «Устой»). Гончаров, например, впадал в некую идеализацию старины в мемуарных и очерковых произведениях последнего периода («На родине», «Слуги старого века»). Он разработал в романе «Об-

рыв» такую концепцию обновления родины, ее прогресса, «нашего будущего», в которой «бабушкина мораль» оказалась незыблемой, жизненной, а поэтому она должна войти и в современное жизнестроительство как важнейшая его основа. Только синтез лучшего старого и подлинно нового и может спасти русских людей, особенно молодое поколение, от всяких «обрывов».

Идеалы Толстого, Достоевского, Успенского также во многом связаны с прошлым, с добуржуазными отношениями. Общественно-нравственное преимущество старого порядка над новым признавали Мамин-Сибиряк («Хлеб»), Писемский, Островский, не впадая при этом в идеализацию всякой старины, порой сурово осуждая так называемые «добрые старые времена» («Верный раб», «Братья Гордеевы» Мамина-Сибиряка).

Существовало и другое направление в русской литературе, представители которого в своих оценках настоящего и в понимании прогресса были свободны от зависимости от старины (Тургенев, Щедрин, Чехов). То и другое, таким образом, совмещалось в общедемократическом общественном и литературном движении.

Патриархальный мир вовсе не являлся чем-то однородным в социальном и идейно-нравственном смысле — только консервативным, только, умирающим и противостоящим во всем прогрессу. Его собственная социальная структура, как и структура его идеологических и художественных эквивалентов, крайне сложна. Он выработал не только отрицательные качества, не только то, что становилось пережитками или предрассудками и что вступало в конфликт с поступательным ходом истории, но и то, что имело свое будущее, что стало играть положительную роль в движении человечества от капитализма к социализму, что откристаллизовалось как весьма ценная, жизненно необходимая национальная традиция и как золотой фонд культуры, что вошло в сокровищницу подлинно общечеловеческой цивилизации. Речь идет о тех социальных и нравственных ценностях (любовь к земле и природе, к трудовому образу жизни, патриотизм, почтение к делам великих предков, сильно развитое чувство общности, привязанность к «отчужденному» и «семейным узам», непосредственность отношений, верность лучшим народным обычаям, языку, хранение положительного национального жизненного опыта и т. п.), которые сложились за многовековую историю и которые безжалостно уничтожались вампиром-капиталом и капиталом-космополитом, но которые на новой основе возрождаются и приобретают положительный смысл в условиях социализма. На это обратили внимание некоторые советские писатели и публицисты.²¹

Неписанные, но обязательные законы народной этики, выстраданные многовековым опытом, входят в моральный кодекс советского общества. Но в советской культуре по сию пору проявляется порой пренебрежительное и даже огульно-нигилистическое отношение к старинному, будто только косному, консервативному национальному быту в целом. Забывают, что из недр патриархального мира вышли не только Обломов или Платон Каратаев, но и Савелий-богатырь, Татьяна Ларина, «русская душа».

С другой стороны, сказывается и ненужная, вредная идеализация старины, желание представить ее как нечто идеально-вечное, выражающее подлинный и неизменный дух народа, величие России, а поэтому противоположное изменчивым, скоропреходящим идеям и убеждениям, которыми живет в данную минуту народ и по которым нельзя судить о сущности его национального характера. Такая идиллия неподвижного состоя-

²¹ См.: Национальное и интернациональное в советской литературе. М., 1971, с. 499—516; Мионов В. Мир русской деревни. — Знание—сила, 1975, сентябрь; Кожевников Т. «Узы и путы». По следам письма. — Правда, 1976, 17 окт.

ния — противопоставление «извечных» национальных традиций, «мудрости» старого мира «временным» стремлениям, изменчивому социальному прогрессу, «разуму революции» — ныне широко эксплуатируется реакционной пропагандой во имя доказательства ее излюбленной идеи. Октябрьская революция будто бы не затронула коренных, глубинных основ «русской души», поэтому Советская Россия — лишь вариант «святой Руси», а советские люди продолжают жить по законам своей древней души, только формально соблюдая коммунистические нормы...

Нигилистические и идиллические тенденции в оценках прошлого игнорируют опыт истории и заветы классиков, предупреждавших, что забвение великих свершений великих предков наших может погубить Россию (Н. С. Лесков). Уважение славы предков питает у людей чувство патриотизма, национальной гордости и нравственного достоинства, оно свидетельствует о подлинной образованности. Человек без опоры на прошлое оказывается «голым», незащищенным в общественном и нравственном смысле. Тютчев был даже убежден, что человек достигает бессмертия, преодолевает разрушающее действие времени, приобщаясь к великому историческому прошлому.²²

«Связь времен», «связь поколений» и «связь идей» ощущались и осознавались классиками как важнейшее условие восходящего развития мира, который всегда устремлен к будущему («золотой век всегда впереди»), но — через прошлое и настоящее. Ценность же последнего глубоко постигается только в его соотношениях с прошлым и будущим. Такое толкование «круговорота истории» требовало, с одной стороны, как говорил А. Н. Островский, разрушения тех идеалов прошедшего, которые отжили, опошлелись и сделались фальшивыми, а с другой — удержания того ценного, безусловного, абсолютного, что было создано предшествующими эпохами в истории человечества, в том числе и патриархально-родовым строем. Гл. Успенский осознает светлое, гармоническое будущее и «мерзость» настоящего — ужасы западного капитализма и трагическое положение народа в полукрепостнической, обуржуазившейся России, — обращаясь к чуду античной пластики — к образу Венеры Милосской, воплощающему вековечный идеал человеческой личности... Тютчев стремится угадать судьбы Европы и России, соотнося их с судьбами древнеримского мира... Мадонну Рафаэля Достоевский истолковывает как символ «духовности», которой жаждет душа человеческая, и противопоставляет ее «скуке телег», подвозящих хлеб голодному человечеству. Так появился другой символ в писательской концепции — символ меркантильно-арифметического бездуховного мира. И античный «золотой век» или «века Авраама и стад его» тоже служат Достоевскому опорными точками в его критических суждениях о современности и в его раздумьях об идеальном будущем... Лесков всегда отличался высоким почитанием национальных святынь. Осуждая прошлое и эгоистическое «пячение назад», столь характерное для сословий и классов уходящего мира, он вместе с тем в постижении крайне сложного национального характера русского человека учитывает и первооснову, корни этого характера, лежащие в глубине веков... Особую остроту, злободневность проблема «связи времен» приобрела во второй половине прошлого века, в эпоху смены формаций, когда вопрос о путях развития России, о ее прошлом, настоящем и будущем стал насущнейшим в кругах широкой общественности.

Некоторые современные народы (в том числе и входящие в состав СССР) вступили в эпоху империализма и пролетарской социалистической революции, образования мирового социалистического сообщества, имея

²² См.: Аношкина В. Н. Ф. И. Тютчев в истории русской литературы XIX — начала XX века. Автореф. докт. дисс. М., 1977, с. 10.

социально-экономические уклады и общественные институты старины. Какова же судьба, положим, общинно-родового строя в современных условиях? Почему возможен его переход (и он ныне совершается) прямо к социализму, минуя капиталистическую фазу? Сама жизнь, научная социология решили этот вопрос. Опыт современной жизни и теории получили соответствующее истолкование и в советской художественной литературе. Указанное развитие осуществляется благодаря наличию мировой социалистической системы. Но при этом следует принять во внимание и то, что добуржуазный строй обладает такими собственными общественно-производственными и духовными качествами и ценностями, которые противостоят агрессивному, все нивелирующему империализму, содействуют переходу к более высоким формам общежития и производства. Об этом решенном вопросе необходимо вновь и вновь напоминать. Только учитывая современный опыт, можно правильно истолковать и оценить подлинное значение социологических и литературно-художественных концепций, возникших в прошлом веке, опирающихся на уклады старины.

Допустим, что русская крестьянская община, которую старательно разрушали некоторые по-аракчеевски настроенные царские администраторы и которую всячески третировали вульгарные буржуазные экономисты и легальные марксисты, рассматривая ее только в качестве нетерпимого в век цивилизации пережитка, дождалась бы до пролетарской революции в России. Можно с уверенностью сказать, что этот институт глубокой старины, как товарищеский союз и как форма демократического самоуправления, сыграл бы весьма положительную роль в деле социалистического преобразования деревни. Он сейчас такую роль и играет в кооперировании сельского хозяйства в странах «третьего мира», что заставляет по-новому подойти к концепции старого русского общинного утопического социализма и ее отражению в литературном народничестве. Когда-то существовавшая в России крестьянская социалистическая утопия начинает в наше время приобретать реальный смысл, она освобождается современной практикой от утопизма и становится практической программой, проблемой научной, интернациональной.²³ Таковы удивительные зигзаги истории сближения утопии с наукой.

Опыт современности требует соответствующего корректирования устоявшихся представлений, он проливает свет и на крестьянскую общину, и на историю крестьянского утопического социализма в России, и на народническую литературу, помогая глубже уяснить в них то рациональное зерно, которое вполне раскрывается лишь в связях с современной историей народов и которое все еще недооценивается общественными науками, представители которых по старой и укоренившейся привычке порой судят об общинной форме землевладения и мужицком социализме лишь в негативном плане, считая их только пережитком старины.

Здесь особенно важно самое тщательное изучение ленинского отношения к сельской общине, к народническим идеалам. Среди литературоведов бытует мнение, что русские марксисты, в том числе и В. И. Ленин, отрицательно относились к общине, выносили ей «смертный приговор», считая ее лишь пережитком. В действительности это далеко не так. Российские социал-демократы строго разграничивали разные стороны в общине. Они в ней видели, с одной стороны, институт древней старины, архаическо-крепостническую власть над крестьянскими массами. На это указывали и русские классики литературы и общественной мысли. Но, с другой стороны, марксисты признавали в ней (что было отмечено и писателями) товарищеский союз, форму народного самоуправления. Поэтому задача заключалась в том, чтобы не разрушать этот демократический союз, а перевести общину на новые, собственно говоря, социали-

²³ См.: Хорос В. Г. Народническая идеология и марксизм. М., 1972.

стические рельсы, освободив ее от крепостнического гнета и подчинив власти современного товарищеского союза над свободно вступающими в него членами.

В. И. Ленин энергично разъяснял, что социал-демократы не будут защищать ни одной из тех агрессивно-бюрократических по отношению к общине мер, на которые идет обуржуазившаяся царская администрация. Более того, подчеркивал В. И. Ленин, социал-демократы будут защищать общину как «демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз...».²⁴ Особенно в этом плане важны ответы В. И. Ленина на замечания Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода на его работу «Аграрная программа русской социал-демократии». По отношению к общине, предупреждает В. И. Ленин, марксист обязан быть «страшно осторожным, чтобы не оказаться в объятиях гг. А. Скворцовых и К°». Это и случилось с одним из авторов замечаний на ленинскую статью, который «пересаливает во вражде к общине». И далее В. И. Ленин продолжает: «Неосторожным „отрицанием“ общины (как товарищеского союза) мы легко можем испортить всю свою „доброту“ к крестьянам».²⁵

Нетрудно заметить, что такая ленинская позиция связана с взглядами основоположников научного коммунизма на возможность перехода в высшую социалистическую форму (при определенных условиях) общинной организации русской деревни. Известно, что К. Маркс и Ф. Энгельс проявляли интерес к первобытно-общинным коммунистическим колониям, которые в их время продолжали существовать. Ф. Энгельс пишет специальную статью «Марка» и дает ее в качестве приложения к своей работе «Развитие социализма от утопии к науке».²⁶ Перспективно в том же плане обратиться и к богатому литературному наследию русских писателей, которые зачастую поражают проницательностью в толковании положительных и отрицательных сторон русской общины...²⁷

Обращение к прошлому имело разный социальный и идеологический смысл. Оно могло выражать реставрационно-феодальную, охранительную монархическую идеологию, «православную патриархальность»: ореолом поэтической патриархальности украшалось и объективно оправдывалось крепостное право. Эта тенденция сказалась, в сложных переплетениях с иными устремлениями, например, у Гоголя в его «Выбранных местах из переписки с друзьями». Идея патриархальности освещала и обосновывала славянофильские, а затем и народнические мессианские концепции. На той же почве возникали теория единения царя и народа, оправдание царистских и религиозных настроений масс, призывы к примирению всех сословий и «партий», к отстранению от политики и т. д.

Но в других случаях идея патриархальности питала «поэтичность», формировала *человеческую* сущность человека, сливалась с мужицким социализмом, имела глубоко демократический оппозиционный характер (и не только по отношению к буржуазному миру, но и по отношению к официальной российской государственности, светскому обществу, крепостничеству). Она предупреждала об опасности разрыва со всяким прошлым, нарушения «слиянности» человека с природой, служила прогрессивным силам общества, питала протест, возбуждала критику, скептическое отношение или даже отвращение к «благодетельности» буржу-

²⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 344.

²⁵ Там же, с. 447.

²⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 211; т. 19, с. 327.

²⁷ См.: Пруцков Н. И. 1) Русская литература XIX века и революционная Россия. Л., 1971, с. 56 и далее; 2) В одно слово с Энгельсом. (Три очерка Г. Успенского). — В кн.: Русские писатели и народничество. Межвузовский сборник, вып. 1. Горький, 1975. Ср.: Соколов Н. И. Несколько замечаний в ответ на статью Н. И. Пруцкова «В одно слово с Энгельсом». — Там же.

азной цивилизации. Идеализация «первобытного», «натурального» или «естественного» заключала в себе такие критические элементы и предчувствия, которые свидетельствовали, что создатель подобной идеализации не только оглядывается назад, а обращается и к современности, к будущему.

Возьмем, к примеру, наиболее утопическую (в патриархально-демократическом духе) статью Гл. Успенского «Трудами рук своих» (1884). В ней автор опирается на известные «формулы прогресса» Толстого («Прогресс и определение образования...», 1862) и Михайловского («Что такое прогресс?», 1869), а также и на присланную ему из Сибири рукопись сочинения ссыльного мужика-вольнодумца Т. М. Бондарева «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство». Патриархально-мужицкий идеал Успенского сформулирован в статье с предельной ясностью. Он мечтает, подобно Толстому и Михайловскому, о сохранении таких основ жизни, при которых человек, прежде всего крестьянин, «сам удовлетворяет всем своим потребностям».²⁸

Этот идеал Толстого, Успенского и Михайловского почерпнут в буржуазном мире. Он противостоит коренной и прогрессивной особенности капиталистического способа производства (разделение труда). И в этом заключался его глубочайший утопизм, антиисторизм. Но, с другой стороны, названный идеал был продиктован неотступной заботой о гармоническом развитии личности, о сохранении «красоты человеческого типа», тревогой за судьбу человека, оказавшегося в плену у буржуазного разделения труда. И в этом смысле подобный антибуржуазный идеал, утопический для своего времени, мог «работать» на подлинно социалистическое будущее. Следовательно, он имел скрытое реальное содержание, которое в то время оставалось лишь «мертвым капиталом».

Существенно и то, что Успенский вполне осознает неисполнимость выдвинутого им идеала «безгрешной жизни» трудом на земле в условиях того времени, поэтому он его называет лишь *утопией*, лишь *мечтанием*. У писателя в том же 1884 году, когда была написана статья «Трудами рук своих», возникает и оппозиция к «формулам прогресса» Михайловского и Толстого.²⁹ Он с исключительной проницательностью угадал, что подобные теории прогресса могут привести к «бегству в деревню» под «спасительную сень» сохи, к отказу от участия в общественной борьбе, к увлечению личным нравственным совершенствованием. В результате и будет построен тот «угол буддийского спокойствия», в котором апостолы жизни трудами рук своих на земле попытаются спрятаться от всего остального, ими не принимаемого, мира.

Так и случилось в эпоху реакции 80-х годов, когда в моду вошел пересмотр якобы не оправдавшего себя революционно-социалистического наследия 60—70-х годов, когда желание «сесть на землю», «пахать» стало воодушевлять и представителей народничества, сползавших на либеральные позиции, и толстовцев с их сектантско-догматическим отношением к самой слабой стороне учения Толстого.

В толстовско-народнических мужицко-патриархальных «формулах прогресса» Успенский, первоначально столь высоко их оценивший, в конечном счете признал отсутствие понимания подлинного прогресса. Если стремиться жить по подобным программам, рассуждает писатель, то надо забыть «Историю России...» С. М. Соловьева, перестать любить «Капитанскую дочку» Пушкина, довольствоваться произведениями народного искусства и ставить сочинение мужицкого вольнодумца Т. Бондарева выше всех наук, обуться в лапти, всю жизнь пахать землю и смотреть на небо, страдать от неурожая и болезней, жить под игом недоимок.

²⁸ Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. IX; с. 95.

²⁹ Там же, с. 636.

Так убийственно переводит Успенский утопию Толстого и Михайловского (да и собственную) на реальный язык народной жизни своего времени. Г. В. Плеханов был очень глубок, когда сказал, что «Успенский велик отрицанием Михайловского».³⁰

Автор «Трудами рук своих» хотя так и не расстался (в мечтаниях!) с любовью к мужичку, который «все сам», но он не пришел к отрицанию политической борьбы, социального прогресса, значения науки и культуры, успехов промышленного развития. Если А. П. Чехов считал, что «община и культура — понятия несовместимые»,³¹ то Гл. Успенский пришел к другому решению этого вопроса. Положительный социально-экономический, научно-технический опыт буржуазного Запада должен быть использован Россией во имя того, чтобы вывести «зоологическую» русскую деревню на путь осуществления идеала, подсказанного общиной, но творимого не фаталистической властью земли и труда на ней, а наукой и борьбой.

4

В общедемократическом литературно-общественном движении второй половины XIX века сложились разные направления в истолкованиях проблемы «патриархальный мир и буржуазный прогресс». Одно из них оригинально представлено Г. Успенским. Известная привязанность к некоторым «естественным началам» в жизни русского крестьянства вовсе не означала, как мы видели, отказа автора «Власти земли» от положительных завоеваний буржуазного прогресса, от политики и революционной борьбы. То и другое у него иногда переплеталось в причудливых, крайне противоречивых идеологических и художественных концепциях, которые удивляли современников и смысл которых не всегда был разгадан ими. Вместе с тем под воздействием жизни, условий капиталистического развития Успенский начал избавляться от своих «мужичьих» патриархально-утопических представлений.³²

Во второй половине 80-х годов писатель стремится решить насущнейший вопрос: кто прав в объяснении экономической эволюции России, ее будущего, марксисты или народники? (Цикл очерков «Грехи тяжкие», статья «Горький упрек», 1888). Признав обоснованность суждений К. Маркса о капиталистическом развитии России, Успенский приходит к выводу, что тем самым автор «Капитала» подписал «смертный приговор» всем надеждам на русскую общину, на самобытные судьбы России. Перед писателем возник и другой принципиальной важности вопрос — не зреют ли в страшных недрах Молоха реальные, а не фантастические возможности к обороне против него и к его ликвидации? «Надо крепко подумать об этом деле. Может быть, и правда, что современные купонные злодейства увенчаются, в конце концов, всеобщим, всечеловеческим стремлением к устройению жизни ко благу всякого, я не знаю!»³³ Это уже такая постановка вопроса, которая свидетельствовала о начавшем складываться антинародническом подходе к буржуазному обществу, к уяснению «добра и зла грядущего на нас капитализма».³⁴

Следовательно, некоторые деятели литературно-общественного движения не ограничивались проклятиями по адресу буржуазии, моральным и эстетическим судом над «греховодническим обществом». Они не только

³⁰ Литературное наследие Г. В. Плеханова, сб. IV. М., 1937, с. 186.

³¹ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем, т. XVIII. М., 1949, с. 22.

³² Подробнее об этом см.: Пруцков Н. И. Шедрин — критик иллюзорных представлений Г. И. Успенского. — В кн.: Салтыков-Щедрин. 1826—1976. Л., 1976, с. 65—82.

³³ Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. XI, с. 374.

³⁴ Там же, т. XII, с. 525—526.

признали или вынуждены были признать факт капитализации России, но и стремились понять историческое значение капитализма в подготовке почвы для будущего, уяснить его внутренние закономерности, создающие предпосылки для перехода к высшему типу общества. Щедрина, например, волновали многие коренные проблемы политической экономии капитализма.³⁵ С его точки зрения, капитализм безусловно прогрессивен в том смысле, что он является необходимой ступенью для перехода от последней мерзости, от последнего недуга к всеобщему благу и добру.

Задолго до Щедрина на такой же позиции стоял и В. Г. Белинский, а затем Н. Г. Чернышевский. Конечно, они не могли ответить на вопрос о том, как конкретно произойдет переход от капитализма к новому строю. В полном объеме они не заметили и не уяснили всех тех создаваемых капитализмом элементов, из которых состояла его «творческая» работа, а потому и механизм рождения нового им был не ясен, он был доступен только марксистской социологии. Щедрин лишь в общей форме говорил в одиннадцатом «Письме к тетеньке» о «высшем фазисе общественного развития», который сменит капитализм. Но существенно, что *отдельные* элементы, которые зрели и развивались в буржуазном мире и которым будет принадлежать будущее, некоторые писатели уловили верно. Успенский, например, пришел к твердому убеждению, что капитализм пробуждает и формирует в трудящемся человеке новый тип личности, принципиально отличный (и в лучшую сторону) от того земледельческого типа, который сложился в патриархально-деревенских условиях, под стихийной властью земли. Писатель заметил, что мысль рабочего не может быть куплена и закабалена капитализмом, она в условиях вольнонаемного труда получила известный досуг и начала настойчиво и критически работать, толкая пролетариев к протесту. И самое главное — на фабрике он нашел то, что так безуспешно пытался пропагандировать в деревне, — капитализм *обобществляет труд рабочих* (фрагмент «Машина и человек»). В этом важнейшем элементе прогрессивной работы буржуазного строя он видел основания для возможного перехода от капитализма к более совершенному общественному устройству.

Н. Г. Чернышевский, блестяще опровергнувший буржуазную политическую экономию, стал разрабатывать «экономическую теорию трудящихся» и на этом пути не впадал в предрассудки российских «самобытников». Чернышевский связывал судьбы России не только с деревней, с земледелием. Он не оглядывался назад в своих представлениях о будущем России. Напротив, его мысли были устремлены в это будущее, и он считал возможным и необходимым уже в то время переносить из будущего в настоящее те из его элементов, которые доступны современному поколению. Великий социалист мечтал о «сильных машинах для хлебопашества». Они произведут социальную и агротехническую революцию в земледелии, потребуют хозяйства в огромных размерах, на сотни десятин.³⁶ Земледелие, считал русский мыслитель, должно слиться с промышленностью, что и откроет путь к социализму, действительно избавит земледельцев от бедствий фабрично-капиталистической эксплуатации.³⁷ В статье «О поземельной собственности» Чернышевский пишет: «... между общинным владением без общинного производства и общинным владением с общинным производством разница неизмеримая. Первое только предотвращает пролетариат, второе кроме того и содействует возвышению производства».³⁸

³⁵ См.: Левита Р. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина. Калуга, 1961 (глава IV).

³⁶ См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. IV. М., 1948, с. 345—346.

³⁷ Там же, т. V, с. 153.

³⁸ Там же, т. IV, с. 414.

Тенденцию к «возвышению производства» Чернышевский уловил и в современном ему промышленном производстве: «Вместо наемного труда, выгодно дела требует тут уже другая форма труда, более заботливая, более добросовестная к делу».³⁹ Социалистические идеи Чернышевского в целом ярко демонстрируют начавшееся движение от утопии к науке в домарксовом социализме.

Сложилось и другое тоже очень значительное направление в решении проблемы «патриархальный мир и буржуазный прогресс». Патриархальный «золотой век» — мужицкая общинная Русь, самоуправляющийся «деревенский мир», «жизнь землею» — противопоставлялся «железному веку» — буржуазно-капиталистической цивилизации. Ее положительные плоды молчаливо не замечались или же безоговорочно, воинственно отрицались. На такой позиции стоял Л. Н. Толстой, выразитель чаяний патриархально-крестьянской демократии. С его точки зрения, капиталистический строй — не восходящее развитие общества, а его регресс, ликвидирующий достойные природы человека идеальные, извечные «естественные» основы жизни земледельческим трудом.

Полемизируя с К. Марксом, Л. Н. Толстой утверждает, что задача подлинной политической экономии должна состоять вовсе не в том, чтобы доказывать неизбежность перехода человечества от капитализма к социализму. Такой переход невозможен (или, делает оговорку писатель, возможен лишь как насильственный, что отвергается им). Разделение труда и прочие условия фабричного производства не могут научить людей коллективизму, бескорыстной работе друг для друга, напротив, они развивают корысть, конкуренцию, зависть, разобщение и т. п. Это как раз тот пункт, в котором Толстой сталкивается и с Чернышевским, и с Успенским. Политическая экономия, руководствующаяся интересами трудящихся и задачами подлинного прогресса во имя народа, призвана научить человечество, как миновать капитализм и сохранить разрушаемый им нормальный и вечный закон жизни — труд крестьянских масс, имеющих собственную землю, собственные орудия производства и пользующихся благами самоуправления. . .

С Толстым соприкасался Достоевский. Он тоже считал, что буржуазная цивилизация не может подготовить человечество к созданию совершеннейшего строя жизни. Для спасения России и всего человечества от «ада кромешного» и угрожаемой «бездны» писатель тоже обратился к русскому «мужичку», к его общинным формам общежития. Но если Толстой в своей антибуржуазной утопии опирался на реального крестьянина, живущего земледельческим трудом в условиях патриархального строя, и во имя его спасения от капитализма требовал сохранения идеальной формы его производственной деятельности, то Достоевский, повторяя во многом некоторые идеи славянофильства, превратил эти реальности в отвлеченные морально-религиозные понятия. Так возникли «народ-богоносец», «народ-страдалец», «мужицкое православие», а крестьянская община превратилась (здесь мы воспользуемся формулой К. Аксакова) в «христианское братство».

Достоевский, отвергая прогресс социальный, экономический и политический, не отрицал значения современной ему науки, образования, технических открытий. Об этом свидетельствует хотя бы глава о спиритизме в «Дневнике писателя» за 1876 год. Но великие научно-технические достижения — не первооснова процесса совершенствования жизни, не абсолютный показатель прогресса. Они принесут свои плоды (так, примерно, рассуждали и славянофилы 40-х годов), если «упадут» на почву мужицкого православия, сольются с ним, ибо подлинно человеческое

³⁹ Там же, т. IX, с. 221.

просвещение уже давно и неизбежно усвоено русским народом. Он принял «в свою суть» Христа.

Столь «возвышенно» говоря о народе русском, Достоевский, однако, не обмолвился ни единым словом о том, что крестьянские массы остро нуждаются в земле, что их захватил процесс пролетаризации, что община скована крепостническими узами, а крестьянин лишен элементарных прав. Выходит, что утопия Достоевского не имеет реального крестьянско-демократического корня. Будучи антибуржуазной, она не является оппозиционной по отношению к самодержавно-крепостническому строю и очень смахивает на философию «добродетельного умывания рук». И не случайно некоторые современники Достоевского иронически спрашивали его: что же можно сделать для облегчения жизни трудящихся с помощью его Власа или даже и Христа? В утопии же Толстого ощутимы реальные потребности жизни: сохранение за крестьянскими массами земли, орудий производства, наделение их правами, освобождение от гнета административного и финансового. Утопия Толстого не только противостояла процессу капитализации, она выражала его антисамодержавную, антикрепостническую и антидворянскую позицию.

Однако карающий суд Толстого над современной ему действительностью являлся следствием его толкования жизни с точки зрения готовых и вековых истин религии и нравственности (к примеру: частное владение землей есть грех, все должны это осознать и отказаться от греховного права на частную собственность). Л. Н. Толстой, как заметил В. И. Ленин, был совершенно чужд конкретно-исторической постановке вопросов.⁴⁰ Собственно говоря, и Достоевский не владел принципом конкретного историзма, хотя иногда и пытался проследить многовековой круговорот истории и разгадать его внутренний смысл (см. фрагменты его статьи «Социализм и христианство»). Но писатель обрабатывал исторический процесс под свои нравственно-религиозные понятия, он для него не был предметом теоретических размышлений, а скорее являлся сферой искусства, воображения, в которой главное — человек и его нравственный мир. Известно, например, что в родовом строе Достоевский ценил *общность людей*, жизнь их *солидарной массой*. Но эта естественная жизнь родовых общин не является еще совершенством, готовым раем. Она должна быть возвышена истиной Христа, что и откроет путь к осуществлению конечного идеала.

Отчужденность от историзма мышления очень характерна для тех деятелей литературы и общественной мысли, кто в своих мечтаниях о «рае земном» оглядывался назад, искал в пережитых эпохах, в общественных их институтах готовые и совершенные образцы для своего моделирования идеального жизнеустройства. Опору в истории они не искали, не желали искать, она им была не нужна. История не может указать путь в будущее. Здесь необходимы иные опорные пункты, почерпнутые в мире нравственном, в природе человека, в его естественных потребностях. Таким мыслителем и был Л. Н. Толстой. Он стоял на позициях религиозного (не в смысле вероучения, а в смысле философско-этического) воззрения. И здесь вполне уместно вспомнить слова Ф. Энгельса в статье «Положение Англии» об одной из отрицательных сторон такого мировосприятия. Она состоит «в презрении к истории, в невнимании к развитию человечества». «Нам, — продолжает Ф. Энгельс, имея в виду атеистов, — нет надобности призывать сначала абстракцию какого-то „бога“ и приписывать ей все прекрасное, великое, возвышенное и истинно человеческое для того, чтобы увидеть величие человеческого существа...»⁴¹ Именно это и

⁴⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 101.

⁴¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 592—593.

делали Толстой и Достоевский, создавая свои абстракции высокого, истинного, справедливого и прекрасного.

Автор рассказа «Люцерн» (1857) апеллирует к вечным заповедям религии и нормам нравственности, к «непогрешимому руководителю» людей — к «Всемирному Духу», к «всеобщей любви», к инстинктивно-первобытным и блаженнейшим потребностям добра в человеческой натуре, уничтожаемым капитализмом. И Достоевский, отрицая или игнорируя положительный опыт социальной истории человечества, создал свой образ Христа как меру всего совершенного. На пути к конечно-идеальному стоят кающиеся и некающиеся Власы, символическое воплощение «всенародной правды». Опору для построения своего «будущего» Достоевский находил в народе-богоносце, в этике «добрых дел» в миру, в моральной Церкви, объединяющей в великий союз всех людей, в единичных примерах добра, в античном «золотом веке», даже в чуде мгновенного и всеобщего перерождения людей, вдруг пожелавших быть прекрасными.

* * *

Концепции путей в будущее, таким образом, были многообразны и в высшей степени оригинальны. В некоторых случаях они заострены против «купонной» цивилизации и оказались глубоко связанными с пережитыми эпохами, в других — будущее конструировалось с опорой не только на общечеловеческие и духовные ценности, созданные общинно-родовым строем, но и на завоевания буржуазного прогресса. Наконец, подготовку будущего стали искать в недрах капиталистического строя. Нельзя согласиться с теми исследователями, которые на вопрос о том, связывали ли некоторые классики свои мечтания о будущем с развитием капитализма, дают на него во всех случаях безусловно отрицательный ответ.⁴² Но в таком случае можно ли серьезно говорить о движении умов к науке, возможно ли утверждать, что русская литература была активной участницей этого великого процесса?

Возникает вопрос о том, сумели ли (и в каких пределах) наиболее дальновидные писатели и мыслители разгадать относительную прогрессивность буржуазного развития России, на какие элементы этой прогрессивности они обратили внимание, а какие оказались им пока не доступными? Анализ всего этого имеет принципиальное значение, так как без уяснения того, в чем состояла «творческая» работа капитализма, создававшего социальные и материальные основания для перехода к социализму, нельзя порвать с народничеством и понять начавшееся движение пореформенной России от утопии к науке.

В классическом наследии, как мы видели, имеются очень симптоматичные суждения о том, что капиталистическая фабрика обобществляет труд, что новый строй способствует развитию производительных сил страны и приобщает к цивилизации народные массы, захолустную провинцию, разрушает узкие условия жизни человека, превращает вчерашнего забитого и голодного крестьянина-фаталиста в новый и более высокий тип человеческой личности и т. п. Но никто из классиков прошлого века не выделял из общей массы трудящихся промышленный пролетариат в самостоятельную социальную силу и не угадал в нем творца социалистического будущего. Следовательно, намечившийся разрыв с народнической идеологией в то время не завершился. Завершение этому процессу принес 1905 год, прелюдия социалистического Октября.

⁴² См.: Эльсберг Я. Е. Русская действительность в произведениях В. И. Ленина и ее изображение в русской литературе. — В кн.: Ленин и наука. Сессия общего собрания АН СССР, посвященная 90-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 1870—1960. М., 1960, с. 344.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ *

Развитие культуры не есть только движение вперед, простое «перемещение в пространстве» — переход культуры на новые, вынесенные вперед позиции. Развитие культуры есть прежде всего накопление культурных ценностей. Развитие культуры есть в основном отбор в мировом масштабе всего лучшего, что было создано человечеством.

Культурные ценности в принципе своем не знают старения. В культурном развитии современности принимают участие не только ценности, созданные только что, но и всё наиболее значительное, что создано в других странах и у других народов в прошлом и настоящем, но главным образом, конечно, — в собственной стране. Собственное культурное прошлое особенно органично входит в настоящее.

Лучшие деятели культуры прошлого — наши современники и наши соратники. Напомню удачное название книги Г. М. Козинцева — «Наш современник Вильям Шекспир». Имя Шекспира могло бы быть заменено именами сотен других представителей культуры прошлого. Разве не современник наш и не активнейший участник нашей культурной жизни Пушкин, или автор «Слова о полку Игореве», или Белинский, или Лев Толстой, и пр., и пр.

Формы, в которых культура прошлого участвует в культуре современности, очень разнообразны. Сейчас я хотел бы обратить внимание на одну из сторон этого участия, которая представляется мне особенно важной и интересной.

Не только культура прошлого влияет на культуру современности, вливается в нее, участвует в «культурном строительстве», но и современность в свою очередь в известной мере «влияет» на прошлое... на его понимание.

Между культурой прошлого и современной культурой существует не только прямая линия зависимости второй от первой, но и своеобразная «обратная связь».

Культура прошлого отнюдь не неизменная величина или качественно неизменная сущность. Время создает все новые «углы зрения», постоянно позволяет по-новому взглянуть на старое, открыть в нем нечто, ранее не замечавшееся. Важно при этом отметить, что чем выше и значительнее идеи современности, тем они больше способны увидеть и понять незамеченные ранее ценности в прошлом.

Изучение высоких памятников культуры прошлого никогда не может завершиться, замереть, оно бесконечно и позволяет бесконечно углубляться в богатства культуры. В этом смысле мы можем сказать: современное постоянно обогащает прошлое, позволяет глубже в него проникнуть.

Мы сейчас лучше понимаем Пушкина, Радищева, Достоевского... Я мог бы показать, как выросло, преимущественно за последние годы,

* Доклад, прочитанный 16 мая 1978 года в Вологде на «Чтениях по истории литературы и культуры древней Руси», организованных Институтом русской литературы АН СССР и Вологодским государственным педагогическим институтом.

наше понимание античности, Византии, искусства барокко, средневековой музыки, африканской культуры и особенно культур народов СССР, и т. д.

Остановлюсь только на одном вопросе, имеющем общее и принципиальное значение. В истории культуры постоянно наблюдается одно любопытное и очень важное явление, которое может быть определено как своего рода астрономическое «противостояние» культур — старой, авторитетной, с одной стороны, и молодой — с другой, ощущающей либо свое превосходство над старой, либо свою недостаточность. Обе культуры — древняя и новая — при этом вступают между собой в своеобразный диалог. Новая культура очень часто развивается в этих противопоставлениях и сопоставлениях со старой.

Так, в европейских культурах очень многих эпох огромное значение имела культура античности, по-разному понимаемая и по-разному же воспринимаемая. Главное такое «противостояние» совершилось в эпоху Ренессанса. Новая европейская культура оказалась в этот период, как некое небесное тело, на наиболее коротком расстоянии от античности. Это «короткое расстояние» позволило новой европейской культуре лучше познать античность и многое усвоить из старого, классического наследия. В сопоставлениях с античностью совершился один из самых важных культурных переворотов в Европе.

Однако и до этого наиболее классического противостояния европейской культуры античности в эпоху итальянского Ренессанса было несколько меньших противостояний, из которых наиболее очевидное — так называемый Каролингский ренессанс VIII—IX веков.¹

Византия также знает в своей истории несколько попыток возрождения культуры античной Греции. Известный византолог П. Лемерль считает в истории византийской культуры пять обращений к античности, которые он называет, как и Итальянский ренессанс, — ренессансами.

Для истории новой русской культуры одно из ее наиболее характеристических состояний — это ее противостояния древней русской культуре, в которых, однако, силы отталкивания значительно преобладали на первых порах над силами освоения, над попытками к возрождению некоторых старых сторон русской культуры.

История русской культуры XVIII—XX столетий — это по существу постоянный и чрезвычайно интересный диалог русской современности с древней Русью, диалог иногда далеко не мирный. В ходе этого диалога культура древней Руси как бы росла, становилась все значительнее и значительнее. Древняя Русь приобретала все большее значение благодаря тому, что росла культура новой России, для которой она становилась все нужнее. Необходимость культуры древней Руси для современности выросла вместе с ростом мирового значения новой русской культуры и увеличением ее весомости в современной мировой цивилизации. Схематически представим себе этот своеобразный диалог двух культур, длившийся и длящийся почти три века.

Противопоставление старой, традиционной культуры новой началось еще в XVII веке, до Петра и его реформ. Оно выразилось в обращениях к польской и голландской эстетической культуре, в приглашениях голландских мастеров «перспективного письма» и парсунного дела, в новых эстетических принципах и в живописи, и в архитектуре, в новых принципах церковности и т. д. Аввакум живо подхватил этот вызов, брошенный старой традиционной культуре, хотя и не заметил всех сфер, к которым этот вызов был обращен.

¹ Отошлю прежде всего к наиболее обстоятельному исследованию: Hubert J., Pacher J., Volbach W. E. The Carolingian Renaissance. New York, 1970, 382 p. См. также: Panofsky Erwin. Renaissance and Resuscitations in Western Art. London, 1970, 242 p.

Таким образом, Петр I не был первым, кто поднял спор новой России со старой Русью. Но Петр всячески пытался этот спор сделать демонстративным. Он стремился не только к тому, чтобы расширить разрыв между Русью и Россией, но и утвердить в сознании современников глубину совершающегося переворота. Петр упорно создавал решительную смену всей «знаковой системы»: изобретение нового русского знамени (перевернутого голландского флага), перенос столицы, вынос ее за пределы исконно русских земель, демонстративное название ее по-голландски — Санкт-Петербургом, создание новых и, кстати, неудобных в русском климате мундиров войска, насильственное изменение облика высших классов, их одежды, обычаев, внесение в язык иностранной терминологии для всей системы государственной и социальной жизни, изменение характера увеселений, различных «символов и эмблем» и т. д. и т. п.

Все перемены облекались в демонстративные формы. Петр сам первый заботился о создании своего нового образа царя. Вместо малоподвижного и церемониально недоступного государя вся Русь с его пышными титулованиями и пышным образом жизни Петр творил образ царя-труженика, царя-плотника, царя — простого бомбардира, царя — учителя и ученика, просветителя и исследователя.

Однако многие из идей Петра зрели еще в царских хоробах Алексея Михайловича. Петр получил свое воспитание еще в XVII веке. Петр был типичным представителем барокко XVII века — «человеком барокко». Он преобразовывал то, что в силу внутренних закономерностей всего длительного предшествующего развития Руси нуждалось в его преобразованиях. Его реформы и ломки всего старого были теми грозными рядами, энергия которых копилась в течение длительного времени. В иных случаях государственный корабль, управляемый Петром, шел галсами под косым углом к ветру истории, но он все же набирал силу от этого ветра — и никакого иного.

В свете быстрых и «гневных» Петровских реформ древняя Русь стала по контрасту казаться малоподвижной и косной. Так как Петровские реформы не коснулись крестьянства и купечества, то быт древней Руси стал представляться в облики того, что оставалось от нее нетронутым, — крестьянско-купеческим, своего рода «Замоскворечьем» русской культуры, и Замоскворечьем по преимуществу XVII века — последнего века древней Руси. В формах этого XVII века постоянно изображалась вся Русь от X и до XVII века: в гарлатных высоких шапках и неудобных долгополых одеждах, с затворничеством для женщин и с нелепым местничеством для мужчин на пирах и приемах, с недоверием ко всему иностранному и «домостроевскими» нравами в тяжелом семейном быте.

Так представляли себе Русь в течение всего XVIII и XIX века и славянофилы и так называемые «западники». Одни только в положительном аспекте, другие в отрицательном, но и те и другие в сущности сходно. Основа и того и другого направления была заложена Н. М. Карамзиным в «Записке о древней и новой России».

Диалог с древней русской культурой в XIX веке приобрел, таким образом, сложную и ложную форму: в нем была изрядная доля непонимания древней Руси, непонимания — и у тех, кто были «славянофилами», и у их противников.

Русские художники, русские архитекторы, писатели и просто культурные люди XIX века, ездившие за границу, чтобы приобщиться к эстетическим ценностям западноевропейского средневековья, десятилетиями не замечали у себя на родине те древнерусские памятники зодчества, живописи, прикладного искусства, которыми восхищаемся сейчас мы и которые кажутся нам такими «несомненными» в своей красоте.

Мимо этой «своей красоты» проходили Тургенев, Чехов, Толстой и многие другие. Чехов жил в Звенигороде, жил на Истре, но ни разу не

упомянул в своих письмах о тех памятниках древнерусского зодчества, которые его окружали. Достоевский восхищался красотой церкви Успения на Покровке (той самой, которой восхищался и Наполеон, приставив к ней особый караул во время пожара Москвы), но никак не определил — в чем же эта красота состоит. И было бы крайне интересно исследовать досконально: кто же открыл древнерусское зодчество для современников?

Во второй половине XIX века целый ряд архитекторов вносили элементы старомосковской архитектуры в свои безвкусовые строения: Ропет, Парланд и пр. Они создали мрачный и тяжелый стиль «Александра III». Они хотели угодить националистическим вкусам своих заказчиков, а заказчикам хотелось увидеть в древней Руси то, чего в ней было как раз очень мало: великодержавную помпезность. Не удивительно, что попытки архитекторов времени Александра III резко отталкивали эстетически тонких людей от древней Руси, а вовсе не привлекали к ней.

Древнерусская архитектура — это целый огромный и чрезвычайно разнообразный мир, но то, что объединяет все памятники, — это их удивительно человеческий и даже интимный характер. Я бы назвал древнерусские постройки «подарками» окружающему ландшафту. Украсить строением высокий холм, крутой берег реки на ее изгибе, низкий берег лесного озера, повторить свой облик в зеркальной поверхности воды, радостно возвыситься над рядовой застройкой или завершить уличную перспективу — в этом нет, казалось бы, ничего необычного для любой национальной архитектуры. Однако делалось это в древней Руси с какой-то особой легкостью и беззаботностью, «просто так». Словно бабушка дарит игрушку любимому внуку: поярче раскрасила, позолотила маковки, внесла затейливость в узоры и поставила повиднее: смотри-любуйся! Приласкала горюшку или берег реки. Так выглядят и новгородские церкви, в которых напрасно ищут иногда и старики архитекторы особую суровость и тяжеловесность, так выглядят и церквушки XVII века, да и целые ансамбли, особенно кремли, не предназначавшиеся для войны, — как Ростовский или Вологодский. Существовала такая народная игрушка: из чистеньких деревяшечек собрать все строение Троице-Сергиева монастыря. На таких игрушках воспитывалось особое чувство архитектуры, «игрушечности» архитектуры.

Не случайно также, что излюбленным материалом русской народной архитектуры было всегда дерево, хотя камня на Севере не меньше, чем лесов. Дерево обладает особой «совместимостью» с человеческим телом. Оно «встречает» руку не холодом, а теплом. О дерево не ушибешься так, как о камень. Дерево приветливо, по-своему регулирует температуру в жилище, роднит избу с окружающей природой. Оно «живое» даже срубленное и обструганное, и вовсе не случайно, что жить в деревянных домах в древней Руси считалось здоровее, чем в каменных. А деревянная резьба, которой каждый русский человек так разнообразно украшал свое жилище, делало дом похожим на принарядившуюся в кружево хозяйку. Какая же тут помпезность ропетовского стиля!

Я думаю (это мое предположение), что открытие древнерусского зодчества было сделано великолепными фотографиями в старой, дореволюционной «Истории русского искусства» Игоря Грабаря. Фотографии эти были переворотом в фотографировании памятников архитектуры в целом. Фотографы «взглянули» на памятники не с далеких и очень «официальных» точек съемки, которые были приняты в XIX веке, а с более коротких и, я бы сказал, «интимных» расстояний, — с тех, с которых смотрит прохожий. Вот это-то и оказалось чрезвычайно важным. Именно этого настоятельно требовала древнерусская архитектура.

Подобно тому как древнерусская архитектура была открыта фотографиями «Истории русского искусства» И. Грабаря с помощью «укорочения

расстояния», так и древняя русская литература открыта сейчас нам в своих «интимных ракурсах». Между человеком и произведением искусства всегда возникают особые, очень «человеческие» и короткие отношения. Человек всегда находится с предметом искусства «наедине», с глазу на глаз: будь то в темном театральном зале, в зале музея или на улице. Наедине человек и с книгой, где бы он ее ни читал: в толпе, за письменным столом или в лесу на камушке.

Что испытывает читатель, когда он читает древнерусскую летопись, повестушку, воинскую повесть? Не то же ли «укорочение расстояния»?

Как было открыто древнерусское искусство слова? История этого открытия, если им заняться внимательно, чрезвычайно интересна и дает кое-что важное для понимания эстетических ценностей древнерусской литературы. Древнерусская письменность изучалась и читалась всегда. Еще Петр указывал собирать летописи. По его приказанию была снята копия с Радзивиловской летописи. Интерес к памятникам древнерусской письменности существовал в течение всего XVIII века, когда были собраны и изданы множество памятников. Но ими интересовались как историческими источниками и в книговедческом аспекте по преимуществу.

Открыло древнерусскую литературу как искусство только «Слово о полку Игореве». И это произошло настолько рано, сравнительно с другими видами искусства, что хотя изучавшие и переводившие «Слово о полку Игореве» и понимали, что перед ними прежде всего памятник искусства, но многие эстетические стороны «Слова» не были еще оценены в полной мере. Красота «Слова» во всей своей многогранности оставалась долгое время нераскрытой (например, фольклорность «Слова» стала ясной только благодаря работам М. А. Максимовича).

Эстетическое открытие древнерусской литературы, как это ни странно, стало возможным благодаря появлению в XIX веке литературного направления, казалось бы прямо противоположного эстетическим принципам древнерусской литературы, — реализма. Первостепенная заслуга в этом принадлежала Ф. И. Буслаеву: по своим эстетическим представлениям Ф. И. Буслаев был реалистом. И все же он только приоткрыл дверь в древнерусское искусство.

Реализм обострил личностное начало в литературном творчестве. Индивидуальные стили получили полную свободу выражения в реализме. Это сделало понятным различные стили древнерусской литературы. Умение воспринимать индивидуальные стили облегчило понимание отнюдь не индивидуальных, но все же очень разнообразных исторических стилей древней русской литературы. Реализм был тесно связан с появлением исторической восприимчивости, с сознанием изменчивости мира и, следовательно, изменчивости эстетических принципов. Развитие исторической науки в России середины и второй половины XIX века не случайно совпало с развитием реализма. Все это облегчило понимание древней русской литературы не только как «письменности», но и как искусства.

Другая черта реализма — это появление в искусстве коротких расстояний:² близость автора к изображаемым им персонажам, гуманизм в самом широком и глубоком смысле этого слова, взгляд на мир почти вплотную, взгляд на мир не со стороны, а изнутри человека — пусть даже воображаемого, но близкого читателю и автору.

Накопилась огромная исследовательская литература об «образе рассказчика», «образе автора», «лирическом герое», но нигде не отмечается, что этот образ почти всегда служит новой высокогуманистической точке зрения на мир и человека: не извне, а изнутри. Точка зрения автора из холодно внешней стала теплой, конкретно человеческой, индивидуальной.

² Отсюда понятно, почему эстетическое открытие древнерусского зодчества было связано с появлением «короткой» реалистической точки зрения в фотографии (см. об этом выше).

Автор пишет как бы в интерьере своего произведения, не с позиций всезнающего судьи, а с позиций человека-участника, человека в своем роде «ограниченного» и потому уступающего место мудрого судьи самому читателю.

Благодаря этому своему удивительному свойству реализм второй половины XIX и первой XX века «впустил» современного ему читателя в древнерусскую литературу. Читатель привык «вживаться» в авторскую точку зрения — он смог легче понимать и точку зрения древнерусского автора...

Гуманизм и реалистичность — вечная сущность искусства. Во всяком большом направлении искусства получают развитие какие-то исконно присущие искусству стороны. Все великие направления в искусстве не изобретали все заново, а развивали отдельные или многие черты, присущие искусству как таковому. И это прежде всего касается реализма. Реализм — направление, начавшееся в XIX веке, но реализм — и вечно присущее искусству свойство. Открытие этой реалистической сущности искусства в древней русской литературе было характерно для многих работ А. С. Орлова, И. П. Еремина, В. П. Адриановой-Перетц.

В литературе необходимо прежде всего находить человека, с его добрыми «человеческими» качествами. Каждая черта, в которой можно обнаружить отражение человеческих стремлений, удач и неудач, страданий, горестей, радостей, забот, особенно донесенная до нас из глубины веков, всегда необыкновенно волнует и трогает. Даже берестяные грамоты с текстами, которые «сокращают расстояния» между нами и людьми далекого времени, производят огромное впечатление: будь то упражнения и рисунки мальчика Онфима или письмо жены о смерти своего мужа.

В писателе всегда трогают проявления заботы о других, доброты, стремления к облегчению жизни других, близких, проявления преданности — преданности людям и идеям, родной стране. Именно это — наиболее действенное нравственное начало в древнерусской литературе. Не прямые проповеднические наставления, поучения и обличения, на которые так щедры были древнерусские авторы, а бесхитростные примеры, конкретные деяния, невольные выражения чувств, когда автор как бы «проговаривается», — именно они производят наиболее сильное впечатление.

А. С. Орлов «открыл» приписки на псковских рукописях, где авторы их проявляют свою заботу о других, жалуются на мелкие тяготы жизни, шутят с читателем. И. П. Еремин «открыл» в «Житии Бориса и Глеба» место, которое благодаря ему стало уже «знаменитым»: юноша Глеб подетски просит убийц не убивать его: «Не деите мене, братия моя милая и драгая! Не деите мене... Не брезете мене, братие и господе, не брезете!.. Помилуйте уности моее, помилуйте, господе мои!.. Не пожьнете мене, от жития не съзьрела! Не пожьнете класа, не уже съзьревъша, нь млеко безълобия носяща!..» И т. д.

Когда внимательно вчитываешься в письмо Владимира Мономаха к своему постоянному противнику Олегу Святославичу (Олегу Гориславичу — так он назван в «Слове о полку Игореве»), испытываешь почти что чувство удивления перед силой выраженного в нем нравственного начала. Мономах прощает убийцу своего сына Изяслава, — прощает после того, как он его победил и изгнал из Русской земли. Мономах просит его вернуться на Русь и занять по праву наследования принадлежащий ему удел. И одновременно он просит вернуть ему молодую вдову Изяслава: «...потому что нет в ней ни зла, ни добра, — чтобы я, обняв ее, оплакал мужа ее и свадьбу их, вместо песен: ибо не видел я их первой радости, ни венчания их, по грехам моим. Так, ради бога, отпусти ее ко мне поскорее с первым послем, чтобы, поплакав с нею, я поселил ее у себя, и она села бы, как горлица, на сухом дереве, горюя...» Такие места, раз открытые, не забываются.

В Ипатьевской летописи под 1287 годом сохранились замечательные слова, обращенные князем Владимиром Васильковичем Волынским перед смертью к его жене. Он называет ее «княгиня моа милая Олго», а в заветчанин пишет о ней: «А княгини моа, по моемь животе, оже восхочеть в чернице пойти, пойдеть; аже не восхочеть ити, а како ей любо, — мне не воставши (из гроба, — *Д. Л.*) смотреть что кто иметь чинити по моемь животе» (т. е. после моей смерти, — *Д. Л.*). Какая широта чувства!

Но дело, конечно, не только в больших человеческих чувствах. Трогают и самые мелкие проявления человеческой заботы. Вот новгородский летописец в XII веке описывает долго стоявшую дождливую погоду и добавляет: «И сена не уделаша». Скотинку нечем будет кормить зимой!

В «Истории о Казанском царстве» поражает уважение к врагам русского войска и даже восхищение мужеством татар — защитников Казани. Трогателен и образ татарской царицы Сююмбеки, ее плач по Казани.

Это проявление уважения к другим народам, даже к тем, с кем пришлось вести длительные войны, постоянно и в русской литературе нового времени — например в произведениях, описывающих те или иные эпизоды «покорения» Кавказа.

В произведениях Аввакума трогает не только его самозабвенная идейная борьба, но и добрый юмор, которым, в частности, он порой смягчает и «возвышает» свое отношение к своим мучителям. Их же он и жалеет, над ними и подшучивает, называет «горюнами», «дурачками», «бедными».

В «Повести о Горе-Злочастии» есть поразительное сознание ценности человеческой личности самой по себе — даже человека, опустившегося до крайних пределов падения, проигравшегося, пропившего с себя все, лишившегося друзей и родных, помышляющего о смерти. Повесть эта по своему гуманизму — предшественница произведений Гоголя и Достоевского.

Можно было бы много говорить о разнообразных неувядаемых достоинствах многих и многих произведений древнерусской литературы, но самое главное — это ее сильнейшее нравственное начало, о котором мы только что говорили. Благодаря ему эта литература особенно ценна и для нас, для нашего времени.

Увидеть это нравственное начало можно только на самых коротких расстояниях. Одна из основных задач наук об искусствах, помогающих нам их понять, в частности литературоведения, — это «сокращение расстояния» между людьми, между прошлым и настоящим, между культурами, народами, странами, между людьми вообще. Благодаря нравственному началу, которое заключено в древней русской литературе, ее значение чрезвычайно велико именно сейчас. Любовь к родине, патриотизм также воспитывается на этом «укорочении расстояний», на представлениях о конкретных живых людях, конкретном родном пейзаже, близком ощущении прошлого как *своего* прошлого, *своей* старины. Любовь к родине — это в основном, как и всякая любовь, интимное, глубоко личное чувство. Именно поэтому искусству, и литературе в частности, принадлежит такое большое место в воспитании любви к родине. Но это уже особая большая тема...

И замечательно то, что литературное направление реализма, возникшее в XIX веке, в результате своей эстетической гибкости и многообразия сыграло первостепенную роль в «открытии» эстетической ценности древнерусской литературы — даже и тех ее сторон, которые отнюдь не могут быть названы реалистическими. Но история «открытия» художественных ценностей древней русской литературы должна стать предметом особого исследования. Задача данного сообщения — обратить внимание только на некоторые аспекты этого «диалога» с древней Русью, который является своеобразной чертой русской культуры нового времени и который так важен сейчас, когда с особой силой проявляется стремление к изучению самых корней родной нам всем культуры древней Руси.

«НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА» И РЕАЛИЗМ 40-Х ГОДОВ

В историко-литературной науке до сих пор не поставлен вопрос о принципах соотнесения натуральной школы и реализма 40-х годов. Это важное упущение, затрудняющее исследование натуральной школы. Ведь зачастую критерии, выдвигаемые литературоведами, определяют не только натуральную школу, но и реализм 40-х годов в целом. К таким критериям принадлежат как «художественный метод»,¹ так и «философия и поэтика».²

1

Натуральная школа и реализм 40-х годов соотносятся между собой двойным образом. С одной стороны, натуральная школа — это литературная группировка, представляющая собою реализм 40-х годов лишь в определенной его части.³

С другой стороны, натуральная школа — это форма бытования реализма в 40-е годы, форма, выражающая, условно говоря, повышенную степень его эстетической организованности, его направленность.

Значение этой особой эстетической организованности реализма 40-х годов и, таким образом, важнейшей историко-литературной функции натуральной школы — предмет исследования настоящей статьи. Необходимо разобраться, почему на одном из этапов своего развития русский реализм существовал в форме литературной школы и какова в таком случае природа этой школы, ее масштаб и роль в развитии литературы.

Принято считать, что в понятиях «направление», «течение» и, наконец, «школа» нашло выражение обозначение различных (по возрастающей) степеней идейно-художественной общности писателей. Однако это применимо не ко всем без исключения литературным школам. Так, например, организационная оформленность, декларируемое единство писателей натуральной школы выражают собой не только идею философской, идеологической и эстетической общности реалистов 40-х годов.

В данном случае следует иметь в виду три фактора. Во-первых, исследователями уже неоднократно отмечалось, что «„гоголевская школа“ оформилась как противоречивое единство», что для нее характерны «многообразие идейно-художественных устремлений и тенденций», «внутренние идейные противоречия, порой переходящие в полемику»⁴ и т. п. Во-

¹ Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М., 1965, с. 164.

² Манн Ю. В. Философия и поэтика «натуральной школы». — В кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., 1969, с. 287.

³ В этом своем качестве натуральная школа с достаточной полнотой изучена в работах Н. И. Мордовченко (1) Белинский в борьбе за натуральную школу. — Лит. наследство, т. 55, 1948; 2) В. Белинский и русская литература его времени. М.—Л., 1950), В. И. Кулешова (кроме указанной книги, см.: «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., 1958) и др.

⁴ Пруцков Н. И. Проблемы художественного метода передовой русской литературы 40—50-х годов XIX столетия. Грозный, 1947, с. 5.

вторых, следует принимать во внимание и то, что данное противоречивое, но все-таки единство после 40-х годов распадается.⁵ Наконец, в-третьих, необходимо учесть необычайную широту творческих установок натуральной школы. Декларируемые и защищаемые ею принципы оказываются приемлемыми для весьма большого круга писателей.

Организованность столь широкого и в известном смысле неустойчивого единства была, вероятно, порождена не только «высокой» степенью поэтической общности».

Натуральная школа является не столько формой локализации литературных сил, сколько формой *противопоставленной* локализации. Она появилась прежде всего как следствие «высокой степени противопоставленности» реалистической эстетики на данном этапе ее развития другой эстетической системе. Натуральная школа была формой и средством этого противопоставления.

Изучение натуральной школы в этом аспекте помогает уяснить специфику и существенно важные черты как реализма 40-х годов, так и литературной ситуации, сложившейся в данное десятилетие в целом.

В предшествующей работе мы в какой-то степени выяснили, что в 40-е годы натуральная школа в идейном и эстетическом планах противостояла так называемой «риторической» школе. Однако мы не уточняли, в чем заключается конкретный историко-литературный смысл таких категорий, как «натуральность» и «риторика», с одной стороны, в понимании современников, а с другой стороны, с точки зрения сегодняшних научных представлений.⁶ Здесь мы намерены развить нашу мысль и восполнить существующий пробел.

Как особый этап развития литературы реализм 40-х годов характеризуется тем, что он не просто продолжил и закрепил творческие завоевания А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, но и вступил в борьбу с романтизмом, положив конец его *господству* в литературе как целого литературного направления (романтические тенденции и в дальнейшем будут благотворно влиять на развитие литературы, что составит одну из важнейших особенностей русского реализма⁷). Следует ли из этого, что в конфликте натуральной и риторической школ нашло свое выражение противостояние и борьба двух литературных направлений: реализма и романтизма? В известном смысле это так и есть. В творчестве Пушкина, Лермонтова и Гоголя исследователи не без оснований выделяют как реалистические, так и романтические тенденции и этапы творчества. С их именами принято связывать «мирный» переход от романтизма к реализму.⁸ Этот переход был достаточно органичным и плавным, что характерно отразилось в термине Пушкина «истинный романтизм».⁹ В творчестве основоположников русской национальной литературы ясно сказалось стремление к исторической преемственности между двумя художественными методами, их органическое единство. В реализме 40-х годов, напротив, выразился момент сознательного отталкивания от романтического метода, прямая и декларированная борьба с ним.

Смена литературных направлений обычно сопровождается если не созданием литературных школ, то возникновением явлений, чем-то их напоминающих. «Карамзинская школа» возникла на волне литературного

⁵ Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. М., 1972, с. 258.

⁶ Мельник В. И. «Натуральная школа» как историко-литературное понятие (к проблеме единства натуральной школы). — Русская литература, 1978, № 1.

⁷ См.: Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975, с. 151—152 и др.

⁸ Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. Изд. 4-е, М., 1977, с. 336.

⁹ См., например: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIII. [Л.], Изд. АН СССР, 1937, с. 245.

противоборства классицизма и сентиментализма. Борьба классицизма и романтизма в свою очередь породила множество литературных группировок. Однако натуральная школа по своему масштабу, по степени организованности значительно превосходит литературные объединения предшествующей поры. Дело в том, что борьбой литературных направлений не исчерпывалась острота литературной ситуации, выражением которой явилось противостояние натуральной и риторической школ.

Еще современники, участники литературного процесса, остро ощущали, что здесь заключен какой-то неизмеримо больший смысл, нежели только смена литературных направлений.¹⁰ В статье «Нечто о русской литературе 1846 года» В. Майков пытался поэтически передать признаки резкой «переходности», свойственные тогдашней литературе: «Во все это время, — писал критик, — происходило в русском литературном мире какое-то не совсем обыкновенное брожение: расклеивалось множество плотных масс, распадалось и формировалось вновь множество групп, раздавались свежие звуки новых надежд и хриплые стоны давно подавленного отчаяния».¹¹

В статьях В. Г. Белинского речь также идет не столько о смене литературных направлений, сколько о смене старого искусства новым, о смене «ненатурального» искусства «натуральным», «естественным». Отсюда, по его мнению, к новой школе «принадлежит все, что хоть немного отличается талантом», а к прежней «поневоле принадлежит все отставшее, выписавшееся, устарелое».¹² В другой статье он отметил: «Гоголь дал такое направление литературе... для успеха в котором необходим талант» (X, 241) (курсив мой, — В. М.). Оказывается, раньше «писать было легко: для этого не нужно было таланта, наблюдательности, живого чувства действительности; а нужны были только некоторая образованность и начитанность, а главное — охота и навык писать» (X, 241—242).

Для критика возникновение гоголевского направления — это не только свидетельство прогресса русской литературы, поисков ею нового пути, для него это еще и свидетельство *образования* русской литературы как таковой. Только теперь он в положительном смысле решает вопрос, так давно стоявший перед ним, а также и перед романтической критикой, что в данном случае особенно важно: «есть ли у нас литература?» Лишь теперь русская литература приобрела качество, превращающее ее из «словесности» в подлинную «литературу» (зеркало жизни) — самобытность.

Таким образом, «натуральность» и «риторика» — это нечто большее, чем только романтизм и реализм. Борьба этих начал, согласно концепции Белинского, пронизывает и конструирует всю историю новой русской литературы. Он пишет, что русская литература «постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественной, *натуральнойю*» (X, 294). Поэтому конфликт натуральной и риторической школ мыслится Белинским очень широко, этот конфликт как бы втягивает в себя всю историю новой русской литературы, объясняет ее и сам ею объясняется. «Белинский, — замечает М. Кургинян, — создал оригинальный научно-критический жанр: микроисторию новейшей литературы, ограниченную узкими хронологическими рамками, но включающую огромную теоретическую и историческую ретроспективу и перспективу литературного развития... утверждаемые Белинским принципы ис-

¹⁰ См.: Прудков Н. И. Русский роман 40—50-х годов. — В кн.: История русского романа в двух томах, т. I. М.—Л., 1962, с. 387.

¹¹ Майков В. Критические опыты. СПб., 1891, с. 323.

¹² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X. М., 1956, с. 177 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

следования находятся в непосредственной зависимости от главного объекта самого исследования — формируемой на его глазах литературы».¹³

Такая широта понимания «натуральности» и «риторики» обусловила то, что Белинский воспринимал литературный процесс как бы в двойном ракурсе, сочетая собственно исторический подход с типологическим. Так, например, романтизм для Белинского — несомненно самостоятельное и мощно проявившее себя литературное направление первой трети XIX века. Но в то же время и новейший вариант «риторики» и в этом своем качестве — лишь подновленный классицизм. А. Лаврецкий, отметивший эту особенность историко-литературной концепции Белинского, писал: «„Риторичны“ и классицизм и романтизм... В романтизме „реторика“ приняла иные, менее наивные формы, но представление о сущности искусства было у него столь же формальным... Белинскому пришлось бороться, главным образом, с той разновидностью „реторического“ направления, которой является русский романтизм 30-х годов».¹⁴

В обзоре русской литературы за 1843 год критик замечал: «Что же касается до *украшения природы*, оно не есть исключительная принадлежность псевдоклассицизма; переменялись слова, а сущность дела осталась та же для многих нынешних поэтов, и псевдоромантик Виктор Гюго еще с большим усердием, по-своему, украшает природу в романах и драмах, чем украшали ее псевдоклассики Корнель, Расин и Вольтер» (VIII, 56—57). Через год Белинский, вновь обращаясь к этой теме, писал: «У самых отчаянных наших романтиков понимаемый в их смысле романтизм был не больше, как тот же псевдоклассицизм, только расширенный и развязанный от уз внешней формы» (VIII, 445). В «Ответе „Москвитяину“» критик заявлял: «Реторика всегда оставалась реторикою, даже и подрумяненная плохо понятым романтизмом» (X, 242).

Нет необходимости множить эти примеры. Можно было бы еще только упомянуть о том, что в понимании классицизма и романтизма как различных этапов развития в русской литературе «реторического» направления Белинский не был одинок. Близкая ему критика ощутила остроту этого тезиса, приняла и, как умела, развивала его. Так, в 1846 году автор рецензии на «Краткое начертание истории русской литературы» В. Аскоченского писал: «Сущность классицизма в том, что он не допускал изображения жизни и человека так, как они суть, требуя, чтобы изящное изображение было *приятно* (aimable). Романтизм, со своей стороны, точно так же не допускал натуральности, требуя если не того, чтобы изящное изображение было приятно, так того, чтоб оно было *необыкновенно* (riquant). Следовательно, романтизм вовсе не заключает в себе радикального отрицания классицизма, а только видоизменяет его требования, оставляя в неприкосновенности его сущность».¹⁵ Позже эту же мысль выражал и Н. Г. Чернышевский.¹⁶

Суммируя соображения Белинского, его современников и последователей, можно заключить, что участники литературной борьбы несомненно ощущали, что реализм и романтизм в 40-е годы оказались включенными в какие-то более общие отношения, представляющие, с одной стороны, «риторику», а с другой — «натуральность» в некоем их широком значении.

¹³ Кургиян М. Единство эстетической и исторической критики (Из методологических заветов Белинского). — Вопросы литературы, 1974, № 1, с. 190—191.

¹⁴ Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М., 1968, с. 94—96.

¹⁵ Отечественные записки, 1846, т. 48, отд. V, с. 8.

¹⁶ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. и писем в 15-ти т., т. III. М., 1947, с. 41.

Как литературные направления романтизм и реализм находились в довольно тесной связи, что неоднократно отмечалось исследователями.¹⁷ Но взятые в другом измерении (как «риторика» и «натуральность»), они оказывались разделенными, по словам Чернышевского, целой «бездной».

Как теоретик и организатор натуральной школы Белинский наиболее полно и ясно сформулировал, в чем состоит противоположность «риторики» и «натуральности». Противопоставляя Гоголя и его школу остальным русским писателям, он, в частности, указал: «Тут все дело в *типах*, а *идеал* тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор ставит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслью, которую он хочет развить своим произведением» (X, 294—295). Иначе говоря, Белинский видел идеализирующую гносеологическую сущность искусства не в изображении необычного, сверхъестественного, исключительно прекрасного, но в воспроизведении идеальных (т. е. закономерных) отношений, конструирующих действительность, в воспроизведении жестко необходимых, логических связей между явлениями жизни, в изображении причинного сцепления событий. Самая «идеализация» стала пониматься несравненно более сложно.

Изменилась внутренняя структура эстетического идеала, о чем Белинский говорил не один раз. Так, например, в памфлете «Педант», направленном, как известно, против защитника классицизма С. П. Шевырева, критик иронизировал: «... всей просвещенной Европе известно, что „идеал“ есть не что иное, как собрание в одну фигуру разных черт, разбросанных в природе и действительности» (VI, 68). Еще ранее, в письме к А. А. Краевскому от 19 августа 1839 года Белинский писал об одном из произведений Е. П. Гребенки: «„Пан Халявский“ ... это не творчество, а штучная работа, сбор анекдотов, словом, возведение идеи малороссийской жизни до идеала, если под идеалом должно разуметь, вместе с французами, собрание воедино всех черт, рассеянных в природе и относящихся к одному предмету» (XI, 370). Если в «риторическом» искусстве, по мысли Белинского, идеал был как бы персонифицирован в конкретном лице или явлении, то в новом, «натуральном» искусстве «идеал-невидимка, существующий „везде“ и „нигде“, выступает против столь же незримого по внешности зла, прикрытого обыденностью и прозой».¹⁸ Идеал из «объекта» изображения превратился в «метод» изображения полной идеальных и антиидеальных возможностей действительности.

То, что Белинский называл «риторикой» и «натуральностью», современные ученые именуют «идеализацией» и «типизацией» соответственно. Идеализация и типизация являются принципами¹⁹ или формами²⁰ художественного обобщения действительности. Этот уровень литературного развития довольно сложен: в нем органично взаимодействуют собственно исторический (по литературным направлениям) и более общий, типологический способы художественной эволюции. Данная проблема начала изучаться в советском литературоведении сравнительно недавно. Видимо поэтому историко-литературная концепция Белинского, построенная именно на принципе сопряжения двух уровней литературного развития,

¹⁷ Нет необходимости приводить здесь в доказательство многочисленные свидетельства этой мысли. Укажем лишь на работы последних лет, в которых исследуются связи романтизма и натуральной школы. См.: Карташова И. В. О роли романтической традиции в формировании натуральной школы (конец 30-х—начало 40-х годов). — В кн.: Учен. зап. Казанского гос. ун-та, т. 129, кн. 7, вып. 5/а, 1972; Пшеница Ф. А. О роли романтических элементов в выделении стилевых группировок внутри «натуральной школы». — В кн.: Вопросы художественного метода, жанра и характера в русской литературе XVIII—XIX веков. М., 1975.

¹⁸ Ястребова Н. А. Формирование эстетического идеала и искусство. М., 1976, с. 153.

¹⁹ Поспелов Г. Н. Указ. соч., с. 15.

²⁰ Днепров В. Проблемы реализма. Л., 1961, с. 3—71.

до сих пор не была рассмотрена с этой точки зрения. Вместе с тем не могла быть осмыслена во всей глубине и литературная ситуация 40-х годов, отмеченная противостоянием двух чрезвычайно широких литературных школ. В дальнейшем мы не будем углубляться в вопросы теории идеализации и типизации, ограничиваясь в ходе изложения лишь самыми необходимыми сведениями. Для уяснения более общих вопросов можно отослать к указанным работам В. Днепров, Г. Н. Пospelова, Н. А. Ястребовой, а также книге В. М. Муриана²¹ и другим исследованиям. В этих работах излагается современная теория идеализации и типизации, а также история их развития и взаимодействия в искусстве.

В. Д. Днепров пишет, что «идеализация и типизация являются главными, исторически самостоятельными формами художественного обобщения. На основе метода идеализации было в свое время создано искусство, поразительно гармоническое и обладающее громадной силой воздействия на жизнь, на характер и нравственность человека. Способы и приемы идеализации менялись в длительном процессе художественного развития, и в романтическом искусстве мы застаем идеализацию с другими видowymi определениями, чем в искусстве классицизма. Лишь тогда, когда начинается эпоха реалистического искусства, типизация берет верх и последовательно вытесняет идеализацию из разных областей художественного содержания... эстетический авторитет типического растёт, а идеализация перестает нравиться и воспринимается как нечто противоречащее законам подлинного искусства, как отклонение от художественной правды и естественности».²²

Приверженность к идеализации («риторика», «украшенная природа») как способу художественного обобщения и позволила Белинскому сблизить романтизм 40-х годов с классицизмом.

Надо сказать, что это сближение все более обоснованно проводится и современными литературоведами. Кроме суждений на этот счет В. Д. Днепров, можно привести другие примеры. Так, Н. Я. Берковский писал: «Романтики могли найти для себя связь с классицизмом, ибо оба эти направления стремились к формам и началам идеальным».²³ Об этом же пишет и М. Б. Храпченко: «...связующим звеном между писателями-классицистами и романтиками явилось воплощение идеального. Ему принадлежит важное место в эстетике и художественной практике того и другого литературных направлений. И хотя само идеальное выступало в творчестве классицистов и романтиков в неодинаковом виде, предметные связи, несмотря на субъективное нежелание романтиков признать их, прослеживаются здесь с достаточной отчетливостью».²⁴

Существенно отличаясь друг от друга как литературные направления, как определенные художественные системы, классицизм, сентиментализм и романтизм в то же время так или иначе тяготели к идеализации как принципу художественного осмысления жизни и явились конкретными историческими формами ее последовательного развития в русской литературе XVIII—XIX веков. В этом плане особую актуальность приобретает мысль Е. Н. Купреяновой о том, что романтизм не создал собственной концепции человека, а был ориентирован на просветительскую концепцию личности.²⁵ Тем более это должно относиться к сентиментализму.²⁶

²¹ Муриан В. М. Эстетический идеал. М., 1966, с. 37.

²² Днепров В. Указ. соч., с. 4.

²³ Берковский Н. Я. О романтизме и его первоосновах. — В кн.: Проблемы романтизма. Сборник статей, вып. 2. М., 1971, с. 12.

²⁴ Храпченко М. Б. Указ. соч., с. 334.

²⁵ Купреянова Е. Н. Историко-литературный процесс как научное понятие. — В кн.: Историко-литературный процесс. Проблемы и методы изучения. Л., 1974, с. 38.

²⁶ См.: Орлов П. А. Русский сентиментализм. М., 1977, с. 28—29; Кочеткова Н. Д. Русский сентиментализм (Н. М. Карамзин и его окружение). — В кн.: Русский романтизм. Л., 1978, с. 18.

Указанные литературные направления именно *последовательно* воплотили «идеальное» в истории русской литературы. Идеализация и типизация в наиболее «чистом» своем виде, с наибольшей полнотой выразились соответственно в классицизме и критическом реализме. Сентиментализм же и романтизм — формы более или менее переходные. Отсюда, возможно, их сравнительная недолговечность в русской литературе. Романтизм был явлением безусловно более четко выраженным и определенным, нежели сентиментализм. И тем не менее исследователи не без оснований замечают, что «век русского романтизма был на удивление скоротечен... уже в 40-е годы он оказывается в основном достоянием эпигонов, уступив авансцену литературной борьбы „натуральной школе“... русский романтизм оказался цветком прекрасным, но хрупким: его семена пали на все еще недостаточно подготовленную почву».²⁷

Кроме скоротечности, романтизм как переходная форма от идеализации к типизации, от классицизма к критическому реализму, имеет еще одну особенность. Она выражается в том, что достаточно сложным оказывается четко отграничить романтизм от сентиментализма и иных литературных тенденций. Об этом косвенно свидетельствует все более настойчивое в последнее время выдвижение понятия «предромантизм».²⁸ Переходный и в этом смысле даже «нелогический» характер романтизма отмечал еще Белинский. Так, в «Ответе „Москвитянину“» он писал: «И многие из писателей неестественной риторической школы горячо стали за романтизм; но это произвело в них только какую-то странную смесь старых установившихся понятий с новыми неустановившимися. Они не могли в них примириться по существенной противоположности друг другу. И потому наши романисты и нувеллисты этой школы остались при старых понятиях, сделавши несколько нелогических уступок в пользу новых» (X, 242).

Таким образом, в сентиментализме и романтизме намечилось определенное тяготение сразу к двум полюсам, к двум способам художественного обобщения действительности: с одной стороны, к идеализации (классицизм), а с другой стороны, к типизации (реализм).

Так как именно в классицизме наиболее полно выразилась идеализация, то Белинский склонен был все литературные явления, связанные с последней, в известной мере отождествлять с «классицизмом». Поэтому не должно вызывать удивление то, что, обосновывая принципы натуральной школы, ее место в русском литературном процессе, он противопоставлял ее не только эстетическим положениям романтизма, но и идеализаторским установкам классицизма. Напротив, следует серьезно вдуматься в тот факт, отмеченный еще П. Н. Берковым, что «почти все замечания и суждения Белинского о классицизме связаны с критическими анализами русского романтизма, с обоснованием принципов русской „натуральной школы“»²⁹ (курсив мой, — В. М.). Белинский боролся с классицизмом не как с литературным направлением, каким-то чудом дожившим до середины XIX века, «перешагнувшим» через «голову» сентиментализма и романтизма. Сентиментализм, а вслед за ним и романтизм покончили с классицизмом как литературным направлением, как художественной системой. Но они остались верны главному его принципу — идеализации жизни, подразумевающей изображение должного или желаемого, а не сущего, изображение контраста должного и сущего. Поэтому, как пишет

²⁷ Гуревич А. М. О типологических особенностях русского романтизма. — В кн.: К истории русского романтизма. М., 1973, с. 522—523.

²⁸ См. об этом: Архипова А. В. О русском предромантизме. — Русская литература, 1978, № 1.

²⁹ Берков П. Н. Белинский и классицизм. — Лит. наследство, т. 55, 1949, с. 169.

В. И. Кулешов, правила классицизма «по существу имели непреходящее значение и в измененном виде продолжали жить в других направлениях». ³⁰ Белинский выступал против классицизма постольку, поскольку он «выступал против классицистского принципа типизации». ³¹

До середины XIX века доживает классицизм в его широком смысле, классицизм как «риторика», «украшательство», идеализация. В этом-то смысле и говорят о нем те современники, у которых сильно было ощущение, что реализм в 40-е годы сменил в литературе не столько романтизм, сколько классицизм. Уже много позже свершившегося перелома в статье «Литературный вечер» И. А. Гончаров писал, что «реализм ввел новые приемы в искусство и одержал бесповоротную победу над классицизмом». ³²

Таким образом, в 40-е годы XIX века наметился своеобразный «скачок» в развитии русской литературы. В это время в самой смене литературных направлений — романтизма и реализма — ясно проглядывались окончательные контуры другого, более широкого по своему масштабу процесса. Речь идет о смене способов художественного обобщения действительности — идеализации и типизации.

Если между романтизмом и реализмом существовала ясно различимая взаимосвязь, историческая преемственность, то между идеализацией и типизацией эта связь обнаруживается в гораздо меньшей степени, она вообще существует на ином уровне. На первый план здесь выдвигается уже не преемственность, а отталкивание, основанное на контрасте в решении одних и тех же задач, прежде всего задачи воплощения «эстетического идеала». Отсюда не совсем конкретный с исторической точки зрения призыв к созданию «новой», «естественной» литературы. Противопоставленность в данном случае явно превалирует над взаимосвязанностью, особенно же в сознании современников, которые принимают непосредственное участие в расчистке «новой» эстетической платформы от «старых» установок и правил. Хотя, повторяем, объективно взаимосвязь между идеализацией и типизацией не менее сильна, а лишь более сложна и опосредованна, чем связь между литературными направлениями.

Смена литературных направлений, возможно, не породила бы еще в 40-е годы литературных школ, или эти школы были бы гораздо меньшего масштаба, чем риторическая и натуральная. Но борьба типизации и идеализации могла обнаружить и действительно обнаружила на редкость разительные противоречия в эстетических представлениях современников. Их разделяло, казалось, целое столетие. В обзоре русской литературы за 1844 год Белинский обращает внимание на то, что «на Руси еще не вывелись люди, которые

Известья черпают из забытых газет
Времен очаковских и покоренья Крыма;

люди, которые со вздохом вспоминают о пудре, о косах с кошельками... о „Петриаде“ Ломоносова, о трагедиях Сумарокова, „Россиаде“ Хераскова, „Душеньке“ Богдановича, одах Петрова и Державина» (VIII, 431).

Таким образом, наличие и ощущение столь явных контрастов, столь глубокой «бездны» между литературными понятиями и обусловило то, что борьба идейно-художественных принципов приобрела в это время организованный характер, вызвала стремление к образованию литературных школ.

³⁰ Кулешов В. И. История русской критики XVIII—XIX веков. М., 1972, с. 69.

³¹ Муриан В. М. Указ. соч., с. 37.

³² Гончаров И. А. Полн. собр. соч. в 8-ми т., т. 7. М., 1954, с. 180—181.

2

Как уже было сказано, смена литературных направлений или наметившееся в литературе противостояние течений не порождали столь крупных по масштабу и ярких по своей организационной оформленности школ, какой была натуральная школа в 40-е годы. В данном случае противостояние достигало степени полного взаимоисключения или, по крайней мере, стремилось к нему. Отметим, что оно возникает при наличии у борющихся литературных группировок единого предмета художественного изображения и различных, противоположных, художественных его интерпретаций. Иначе говоря, у этих литературных группировок должен быть кардинальный «предмет» спора.

Для того чтобы глубже уяснить специфику и содержание литературной борьбы в 40-е годы, сравним с указанной точки зрения натуральную школу с менее ясно выраженными «пушкинской» и «некрасовской» литературными школами.

Пушкинская школа, как несколько позже и натуральная, противостояла Ф. В. Булгарину, Н. И. Гречу, О. И. Сенковскому и близкому к ним кругу писателей.³³ Идейные и эстетические разногласия между «пушкинской плеядой» и «триумvirатом» совершенно очевидны и хорошо известны. Следует, однако, разобраться в том, носило ли противостояние «триумvirата» пушкинской школе, с одной стороны, и натуральной — с другой, сходный характер или оно было различным. Вероятно, оно было различным, так как в одном случае оно не нашло своего яркого организационного оформления, а в другом дало, по справедливому признанию исследователей, образец литературной школы, своеобразный эталон, по которому можно судить о ряде других родственных явлений.³⁴

Чрезвычайно важным представляется тот факт, что Пушкин и его школа мало обращались к изображению той сферы русской действительности, которая составляла монополию Булгарина. Борющиеся стороны в основном были заняты художественным исследованием и воспроизведением различных областей жизни — и в этом плане были в известной мере «несопоставимы», что, кстати сказать, вполне должно было устроить литературного дельца Булгарина.

Гоголь, а затем его школа стали смертельными врагами Булгарина и компании с их «ползучим реализмом» и «официальной народностью». Белинский писал: «Гоголь убил два ложные направления в русской литературе: натянутый, на ходулях стоящий идеализм... и потом — сатирический дидактизм» (VIII, 81). Между ними сложились отношения полного взаимного исключения, отношения, затрагивающие глубокие и наиболее важные стороны творчества.

Натуральная школа по существу дискредитировала Булгарина как писателя. Она обратилась к демократической тематике и проблематике и при этом дала новую, совершенно противоположную булгаринской, интерпретацию действительности, воспроизводя ее во всей неприглядной истине. Из обращения к одному и тому же предмету изображения — быт, нравы различных сословий и т. п. — на глазах читателя возникали теперь совершенно противоположные художественные выводы. Вся социальная ложь и эстетическая слабость произведений «риторической» школы вдруг выступили наружу, оказались видны невооруженным глазом.

³³ В данном случае нас не будет интересовать вся сложность существующих в самом «триумvirате» противоречий и разногласий. Мы пользуемся этим термином для обозначения объективно существовавшей идейно-художественной общности между указанными писателями.

³⁴ В. И. Кулепов в указанной работе о натуральной школе пишет: «Когда теоретически ставится вопрос о литературных „школах“, обычно ссылаются на классический пример — натуральную школу 40-х годов, „отцом“ которой был Гоголь, а идейным вождем Белинский» (с. 4).

Стало очевидно, что Булгарин *ложно* социален. В своих писаниях он постоянно апеллирует к идее о сословном устройстве общества,³⁵ оставившись даже на понятиях, которых он, казалось бы, должен был тщательно избегать. Речь идет о понятиях «верхи» и «низы». Дело в том, что Булгарин маскирует их особым образом. «Верхи» и «низы» в создаваемой им модели русского общества выстраиваются в «круг», представляют собой лишь «видоизменения» общества.³⁶ Отсюда становится особенно понятной неприязнь Булгарина к писателям натуральной школы с их «социологической» моделью общества, как, например, у Н. А. Некрасова или Я. П. Буткова. В отличие от писателей натуральной школы Булгарин не говорит как раз о создающемся из отдельных сословий *целом*, т. е. собственно об *обществе*, ограничиваясь некоей калейдоскопической смесью «правов» различных сословий. В его произведениях социальные противоречия принимают экзотический и, вследствие этого, относительный характер. Это такие же «странности», как жадность, болтливость и другие неизбежные недостатки человеческого рода. Краеугольным камнем этого мешанского мировоззрения является мысль об относительности счастья и несчастья. Счастливым, по мнению Булгарина, можно быть в любом сословии, ибо у каждого сословия свое особое счастье и представление о нем, свои радости, свои заботы. В конечном счете все зависит от того, умеет ли сам человек довольствоваться малым и быть счастливым. Такая философия была, по выражению Белинского, «детской сказкою», «гремушкой, под которую детям приятно и прыгать и засыпать» (X, 297).

Молодая литература 40-х годов составила чрезвычайно невыгодный фон для социального морализирования Булгарина — и тем самым его обескровила. Она взялась уже не за фельетонное описание различий и особенностей сословий, а за *анализ* существующих между ними отношений. Если Булгарин рассматривал каждое из сословий изолированно, то писателей натуральной школы интересуют в первую очередь именно «межсословные» отношения и связи, прежде всего противоречия между ними. Даже описывая какое-либо одно сословие, социальную группу или отдельных ее представителей, писатель школы Белинского в перспективе всегда видит целое — общество, видит и изображает включенность данного объекта в это целое.

Такая литература была для Булгарина сильным и очень опасным противником. В «Ответе „Москвитянину“» Белинский писал: «... старая манера выводить в романах и повестях риторические олицетворения отвлеченных добродетелей и пороков, вместо живых типических лиц, пала. Все попытки писателей этой школы на поддержание к ним внимания публики обращаются для них в решительные падения. Даже те их произведения, которые в свое время имели успех, даже значительный, давно уже забыты. Новые издания их остаются в книжных лавках. Согласитесь, что это неприятно и есть из чего выйти из себя и увидеть в новой школе своего личного врага» (X, 241). Риторическая и натуральная школы оформляются на основе абсолютно противоположной интерпретации одного и того же предмета изображения — социальной структуры общества.

Обратимся теперь к некрасовской школе. В. В. Гиппиус оставил о ней следующее замечание: «Некрасов и еще более школа демократической поэзии, им основанная, вступают в прямой идейно-художественный конфликт со школой „эстетов“... Некрасов и Фет становятся знаками двух *враждебных* поэтических и общественных направлений... Знамя Некрасова и знамя Фета означали нечто большее, чем жанрово-тематическое

³⁵ См.: Вацуро В. Э. От бытописания к «поэзии действительности». — В кн.: Русская повесть XIX века. Л., 1973, с. 217.

³⁶ Булгарин Ф. В. Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого. СПб., 1843, с. 31.

различие... это были знамена *противоположных* идеологических систем»³⁷ (курсив мой, — В. М.).

Действительно, у Некрасова и Фета был реальный предмет спора — роль поэзии в жизни, в современной русской действительности. Может быть поэтому некрасовская школа кажется нам явлением более несомненным, более осязаемым, нежели, например, пушкинская школа. Термин «некрасовская школа» прочно вошел в науку.³⁸

Однако и здесь абсолютного взаимного отрицания (как в 40-е годы) все-таки не было. Противопоставленность некрасовской школы и школы «эстетов» оказалась ограниченной рядом факторов. В них, этих школах, существовало и выразилось не только противоположное, но и просто несопоставимое, что чрезвычайно важно. Остро сталкиваясь в вопросе о роли поэзии в современности, Некрасов и Фет не могли полностью отрицать друг друга как явления искусства.³⁹ В течение многих лет они представляли своим творчеством различные, во многом прямо противоположные тенденции развития русской поэзии и литературы в целом. Но сам факт их длительного параллельного движения в литературе говорит о том, что данная противоположность еще не исключала возможности взаимного дополнения в чем-то. По крайней мере, ни одна из борющихся сторон не имела сил, говоря условно, «отменить» противоположную тенденцию, одной представить всю современную поэзию.⁴⁰ В «Литературных новостях» Некрасов писал: «Читатели знают нашу любовь к таланту г. Фета и наше высокое мнение о поэтическом достоинстве его произведений. Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет».⁴¹

Пушкинская и некрасовская школы при всем их различии сходны в том плане, что обе они являлись выражением таких идейно-художественных принципов, которые по своему масштабу могли составить лишь относительное, а не абсолютное противостояние враждебной литературной группировке.

Пушкинская и некрасовская школы, с одной стороны, и натуральная — с другой, тяготеют к различным типам литературных школ. Первые две в соотнесенности со школами своих литературных противников представляют собой скорее формы *поэтической общности*, чем противостояния. В большей мере это относится к пушкинской школе, в меньшей — к некрасовской.

Совершенно иное мы видим в противоборствующих натуральной и риторической школах в 40-е годы. За ними стояли в это время такие широкие идейно-художественные категории, как типизация и идеализация, которые не могут сосуществовать в литературе параллельно, как, например, течения, или сохранять, несмотря на сильную борьбу, преемственные связи, как направления.

³⁷ Гиппиус В. В. Некрасов в истории русской поэзии XIX века. — Лит. наследство, т. 49—50, 1949, с. 1.

³⁸ О некрасовской школе см.: Еголин А. М. О некрасовской школе в русской поэзии. — Вопросы литературы, 1958, № 5; Скатов Н. Н. Поэты некрасовской школы. Л., 1968; Осмаков Н. В. О типологической общности реализма Некрасова и революционной поэзии второй половины XIX века. — В кн.: Проблемы типологии русского реализма, с. 368—376.

³⁹ Подробнее см. об этом: Кожин В. В. О «поэтической эпохе» 1850-х годов (к методологии истории русской литературы). — Русская литература, 1969, № 3, с. 35.

⁴⁰ Этому не противоречит тот факт, что поэзия Некрасова пользовалась несомненно большей популярностью и время от времени вовсе заставляла читателя «забывать» Фета.

⁴¹ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. IX. М., 1950, с. 279.

Процесс смены идеализации и типизации тянется долго, но это не исключает того, что разрыв между ними в конце этого процесса все же чрезвычайно резок.

В классицизме, сентиментализме, романтизме заметно нарастал в русской литературе элемент типизации, каждое из этих литературных направлений все ближе к реализму по своему эстетическому качеству. И все-таки все указанные направления противостоят реализму как относящиеся в конечном счете к иному, «идеализирующему» искусству.

Натуральная и риторическая школы возникли как исторически определенные, конкретные формы, в противостоянии которых обозначился процесс смены эстетической доминанты. В конфликте этих школ классически проявился принцип полного взаимоисключения, основанный на противоположной трактовке единого предмета художественного исследования.

3

Необходимо разобраться в том, как возникли такие взаимоисключающие друг друга литературные школы, как в процессе развития литературы могли сформироваться общие для них обеих темы и проблемы. В известном смысле это означает выявить внутреннюю логику взаимодействия в русской литературе идеализации и типизации. Очевидно, что данная задача не может быть выполнена в одной статье, необходимо оговориться, что мы предлагаем здесь ее решение лишь в гипотетическом плане и в тех пределах, в каких это способствует изучению натуральной школы.

Не будет преувеличением сказать, что натуральная школа не выдвинула, за некоторым исключением, ни одной крупной проблемы, но лишь противоположным образом трактовала проблемы, выдвинутые романтизмом и сатирическим дидактизмом еще во времена их борьбы с классицизмом. Она как бы придавала «истинный вид» этим проблемам. «Критический реализм, — пишет Е. Н. Купреянова, — не снял и не отменил ни одной из проблем литературно-художественного сознания, поставленных романтизмом. Но критический реализм репал эти романтические по своему генезису проблемы существенно иным и по сути дела антиромантическим способом, подвергая их аналитическому рассечению и все большей социально-исторической конкретизации».⁴²

Начать с того, что именно в романтизме была впервые сформулирована задача борьбы с «украшенной природой». Так, например, А. А. Бестужев-Марлинский писал: «Французы нашли божий свет слишком площадным для себя, живой разговор слишком простонародным и выдумали украшать природу, облагородить, установить язык! И стали нелепы от того, что чересчур умничали!»⁴³

В 1829 году в предисловии к роману «Иван Выжигин» Булгарин утверждал свою противоположность классицизму с его представлениями об идеальных и порочных героях. «По правилам, — писал он, — надобно, чтоб герой романа действовал как Баярд, говорил сентенциями как оратор и представлял собою образец человеческого совершенства — и скуки... Мой Выжигин есть существо доброе от природы, но слабое в минуты заблуждения, *подвластное обстоятельствам*»⁴⁴ (курсив мой, — В. М.). Не следует, конечно, думать, что Булгарин здесь приближается к антропологической формуле натуральной школы: человек по своей природе прекрасен, но «обстоятельства» его уродуют. В том-то и дело, что он лишь под-

⁴² Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1976, с. 261.

⁴³ Марлинский А. А. Полн. собр. соч., т. XI. СПб., 1847, с. 293.

⁴⁴ Булгарин Ф. В. Иван Выжигин. Изд. 3-е, СПб., 1829, с. XVII—XIX.

новляет фасад классицизма, старательно скрывая, а в чем-то даже усиливая и доводя до крайности его неизбежную основу — идеализацию, которая превращается у него из исторически необходимого способа художественного обобщения жизни в «идеализаторство». Ведь Булгарин понимает под «обстоятельствами» отнюдь не социальную природу общества, а «минуты заблуждения» самого человека, крутые повороты действия романа. Более того: противоречивость героя авантюрного романа была открыта в русской литературе задолго до него. Достаточно назвать хотя бы роман М. Д. Чулкова «Пригожая повариха» (1770). Вообще Булгарин скорее склонен был реализовывать и активно декларировать ходовые идеи, нежели выдвигать новые. Поверхностная диалектика характера литературного героя широко представлена в творчестве романтиков. Пожалуй, еще точнее было бы говорить о «провозглашении» ими необходимости диалектики, нежели о действительно творческой ее реализации. Так, в 1833 году Н. А. Полевой в рецензии на роман И. Калашникова «Камчадалка» писал, что «в природе нет таких злодеев, нет и таких идеальных людей, каких изображает автор».⁴⁵ В романе «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова» Н. В. Кукольник уже в 1846 году размышляет: «Романистам хорошо. Возьмут себе, выдумают небывалое лицо, справятся с книжками, выпишут из них красоты телесные и всякие душевные добродетели, набьют ими чучело и пустят на позорище... А мне, историку, указано говорить сущую правду и описывать не идеальных людей, а таких, как они были: добрых не без зла и злых не без добра».⁴⁶

В литературе романтизма и сатирического дидактизма делается также формальная установка на изображение «обыкновенного», «распространенного», т. е., казалось бы, ведущий принцип типизации, как она понималась натуральной школой. Так, в уже упоминавшемся предисловии Булгарин называл своего героя человеком, «каких мы видим в свете много и часто». В 1835 году он издал «Записки титулярного советника Чухина» с весьма характерным подзаголовком: «Простая история обыкновенной жизни». В предисловии к «Запискам» он толкует об «обыкновенной жизни» и «натуре»: «... в книге моей вы найдете мало любви. Это оттого, что ее весьма мало в *обыкновенной жизни*... Воля ваша, но, по моему мнению, даже *Новая Элоиза* и *Вертер* — не что иное, как карикатуры любви!.. Во всем этом нет ни капли натуры!»⁴⁷

Эти примеры можно было бы умножить, однако дело не в их количестве. Важно уяснить главное: во время своей борьбы с классицизмом романтизм и сатирический дидактизм поднимали те же самые проблемы, которые в 40-е годы как бы впервые были выдвинуты натуральной школой в ее борьбе с риторической школой.

Что же это должно означать? На какой историко-литературной основе происходит столь странная на первый взгляд метаморфоза с романтизмом, который из новатора и страстного пропагандиста своих идей становится их гонителем в 40-е годы? Эта проблема весьма серьезна и требует тщательного изучения не в одной работе.

В свете особенностей литературного процесса, рассматриваемых в настоящей статье, можно предположить следующее. Как в литературе 40-х годов мы сталкиваемся не только с борьбой реализма и романтизма, так и в литературе 20-х годов необходимо видеть не только противоборство романтизма и классицизма. В известном смысле это были различные этапы противостояния в русской литературе идеализации и типизации.

В 20-е годы это противостояние носило еще не вполне последовательный характер. О борьбе идеализации и типизации в отношении к этому пери-

⁴⁵ Московский телеграф, 1833, т. 50, с. 244.

⁴⁶ Кукольник Н. В. Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова, ч. 2. СПб., 1846, с. 110.

⁴⁷ Булгарин Ф. В. Полн. собр. соч., т. III. СПб., 1849, с. V.

оду можно говорить лишь в том смысле, что классицизм и романтизм являются качественно различными конкретно-историческими формами идеализации. В чем-то романтизм уже отказался от идеализации, обратившись к изображению распространенных, «типичных» явлений жизни, к изображению «низкой» действительности. Но в какой-то мере он еще более усугубил идеализацию, сталкивая в произведении «типичный» материал окружающей жизни и свою идеализаторскую, «риторическую» установку. Р. В. Иезуитова справедливо замечает, что «для русских романтиков... было особенно характерным *противоречивое* сочетание двух тенденций (часто в пределах одного произведения) — тенденции к реальности и стремления в область „идеального“»⁴⁸ (курсив мой, — В. М.). Теперь, когда художник стал показывать идеальное не в отвлеченно-аллегорической форме, не в исключительной обстановке, но как бы в обычных жизненных ситуациях, произошло то, что можно было бы назвать кризисом художественной системы. Обыкновенное, распространенное выполняет в романтическом произведении роль исключительного, экзотического. Весьма характерны в этом отношении повести М. П. Погодина «Черная немочь», «Счастье в несчастье» и другие. Окружающая героя среда — это еще не типичное в собственном смысле слова, но лишь «анти-идеальное».

Еще Ю. Н. Тынянов заметил, что борьба «архаистов» и «новаторов» в начале века не исчерпывалась борьбой классицистических и романтических принципов.⁴⁹ «Старое» и «новое», представленное чрезвычайно широким спектром отношений, составляло сущность противостояния «архаистов» и «новаторов». Речь прежде всего шла о самобытности и самостоятельности русской литературы.

Рассматривая борьбу «архаистов» и «новаторов» как борьбу, в частности, за определенное понимание и интерпретацию народности, Л. И. Емельянов справедливо замечает, что «народность русской литературе „нужна“ была по гораздо большему количеству причин, чем романтизму, и, следовательно, в гораздо более многообразных и органичных формах, нежели те, в каких ей предлагал эту народность романтизм... Борьба классицизма и романтизма дает лишь частичное представление об этих процессах; противоборство же „архаистов и новаторов“ если даже не вполне исчерпывает их, то по крайней мере очень точно отражает и иллюстрирует самую суть той борьбы, которая была борьбой за подлинно национальную русскую литературу».⁵⁰ Противоборство идеализации и типизации тесно связано с борьбой за самобытность русской литературы. Исторически сложилось так, что борьба за подлинно национальный элемент в литературе совпала в России с борьбой за типизацию, за реализм. В этом-то смысле конфликт «архаистов» и «новаторов», перерождаясь в иные формы, сохраняет свою актуальность до 40-х годов XIX века. Спор «риториков» и «натуралистов», подводивший собою большой итог развитию русской литературы в ее движении к самобытности, определенным образом связан с теми вопросами, которые были в свое время подняты «архаистами» и «новаторами».

В начале века особую остроту имел вопрос об *отличиях* классицизма и романтизма. В 40-е же годы стало важно уже не то, что романтизм в чем-то отступил от классицизма, начав изображать «обыкновенное», а то, что это изображение осуществлялось им *с позиций* идеализации. Теперь выяснялось, что и в начале века классицизм и романтизм в русской литературе противостояли не столько как идеализация и типизация,

⁴⁸ Иезуитова Р. В. Пути развития романтической повести. — В кн.: Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. Л., 1973, с. 87.

⁴⁹ Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 128.

⁵⁰ Емельянов Л. И. Развитие литературы и проблема народности. — В кн.: О прогрессе литературы. Л., 1977, с. 179.

сколько как два этапа в историческом развитии идеализации. Можно привести в пример иронические высказывания Белинского по поводу того, что в Н. Полевом в 40-е годы явно выразилась «охота примирить романтизм с классицизмом». «Пора! — писал Белинский, — Г-н Полевой уж столько времени и с такою ревностью подвизался за романтизм против классицизма, так жестоко бранил бедняжку-классицизм, — а ведь бог знает за что: внутренне он с ним вовсе не был во вражде! Это было какое-то странное недоумение. Все дело стало из спора за слова, плохо понятые, за некоторые внешние формы. От этого примирение совершилось очень естественно, само собою, почти без ведома г. Полевого» (IX, 287—288).

Все это в какой-то степени объясняет, каким образом и почему у натуральной и риторической школ в 40-е годы оказался единый предмет художественного исследования и в то же время взаимоисключающие трактовки этого предмета, противоположные его интерпретации.

Тем не менее данная проблема не может считаться решенной, если не удастся выявить внутреннюю логику соотношений типизации и идеализации в истории русской литературы, начиная от А. Д. Кантемира и М. В. Ломоносова и кончая натуральной и риторической школами. Не вполне понятая до сих пор теория двух направлений развития русской литературы Белинского намечает общие контуры этих соотношений.

К самобытности, к изображению современности, русской действительности в ее национальной и общественной специфике, новая русская литература шла двумя различными, но и глубоко взаимосвязанными путями.

Сатира сближалась с действительностью прямо, делая ее непосредственным объектом художественного исследования. «В лице Кантемира, — писал Белинский, — русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть, основала свою силу на верности натуре» (X, 289).

В других своих родах литература шла к изображению самобытной русской действительности постепенно и опосредованно, в самом художественном методе эволюционируя ко все более верному воспроизведению жизни. Это было собственно историческое развитие русской литературы «по направлениям».

В сатире предвосхищается в отдельных своих элементах художественная система реализма, она имеет свой особый предмет изображения, и это накладывает печать на средства поэтики сатирических жанров. По своему художественному методу она продолжает оставаться в системе классицизма.

На первом этапе именно сатира была той доминирующей силой, которая вела литературу к самобытности и типизации как ее художественному эквиваленту. В ней с самого начала наметилась мощная тенденция к изображению распространенных, «типичных» явлений действительности, хотя эти явления и изображались, по словам Белинского, как «исключения из общего правила» (X, 294). Это была та же самая идеализация, но только в отрицательном, негативном смысле. Тем не менее в пределах художественной системы, основанной на идеализации как ведущем способе обобщения, сатира все же должна была восприниматься и являлась в какой-то мере «оппозицией», искусством не вполне и не во всем «идеализирующим».

Эта оппозиционная и вместе с тем ведущая (в плане движения литературы к типизации) роль сатиры утрачивается по мере того, как литература, не связанная с сатирой, все чаще начинает обращаться к обычным, широко распространенным жизненным явлениям, изображая последние, однако, не в антиидеальном, т. е. опять-таки исключительном, виде, но всесторонне, поэтически. Белинский замечал, что в «Евгении Онегине» Пушкина «натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности, со всем ее добром

и злом, со всеми ее житейскими дрязгами: около двух или трех лиц, опоэтизированных или несколько идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на посмешище, как уроды (как в сатире, — В. М.), как исключения из общего правила, а как лица, составляющие большинство общества» (X, 291).

Иначе говоря, на втором этапе рассматриваемой эволюции последовательно развивающаяся русская литература, уже во времена И. А. Крылова и А. С. Пушкина достигшая полного реализма, лишает сатиру ее «преимущества» в объекте изображения — и тем самым выявляет ее крайнюю противоречивость.

Ориентированная на канон, выработанный еще в XVIII веке, сатира из жанра, в какой-то мере противостоящего идеализации, становится едва ли не единственной хранительницей последней. Особенно ясно это обозначилось в 30-е годы, когда Булгарин превратил сатиру в орудие социального морализирования.⁵¹ Из дидактической, но все-таки сатиры она начинает превращаться в произведениях этого писателя в сатирический дидактизм.⁵²

Булгарин декларирует свою приверженность к сатирической традиции русской литературы и ставит свое имя в один ряд с именами Кантемира и Фонвизина.⁵³ В его творчестве произошел переход сатиры на позиции последовательной идеализации. Самый термин «сатира» был в 30—40-е годы скомпрометирован. «Теперь нет сатиры, — писал Белинский, — и только разве какой-нибудь старый сочинитель решится величаться вышедшим из моды именем „сатирика“: теперь пишут романы и повести без всяких сатирических намерений и целей, — а между тем все на них сердятся. Отчего ж это? — оттого, что теперь и великие и малые таланты... стремятся изображать действительных, не воображаемых людей» (VIII, 82). Белинский, чтобы отделить подлинно сатирическую, бичующую литературу натуральной школы от «благонамеренной сатиры» Булгарина, вводит понятие «юмор».⁵⁴

Процесс становления в русской литературе самобытности закончился к 40-м годам XIX века, с одной стороны, «сатирическим дидактизмом», к которому в определенном плане примыкал и романтизм, обращавшийся к изображению «низкой» действительности, а с другой стороны, «поэтическим реализмом».

И сатирический дидактизм, и поэтический реализм представлялись Белинскому связанными с идеализацией, хотя в различной степени и по-разному. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» критик замечал: «К сочинениям *каждого* из поэтов русских можно, хотя и с натяжкой, приложить старое и ветхое определение поэзии, как „украшенной природы“; но в отношении к сочинениям Гоголя этого *уже* невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства — как воспроизведенные действительности во всей ее истине» (X, 294) (курсив мой, — В. М.).

Сатирический дидактизм и романтизм сохраняли связь с идеализацией в главном — в методе художественного изображения жизни, в самой интерпретации исследуемых явлений действительности. Они, например, представляли и картины бедности, «но бедности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притом же к концу повести всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь богатых и благородных родителей, а не то благодетельный молодой человек — и... водворяли довольство и счастье там, где была бедность и нищета» (X, 297).

⁵¹ Ср.: Поспелов Г. Н. Указ. соч., с. 38.

⁵² Речь в работе идет не о сатире вообще, но о сатире дореалистической.

⁵³ См.: Булгарин Ф. В. Полн. собр. соч., т. V, с. 1.

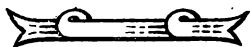
⁵⁴ См. об этом: Гуляев Н. А. В. Г. Белинский о сатире. — Труды Томского гос. ун-та им. В. В. Куйбышева, т. 139, сер. литературоведческая, 1957, с. 217—224.

В «поэтическом реализме», напротив, определенная связь со старым искусством сохранялась в объекте изображения. Это обусловило некоторый «космополитизм» поэтического реализма, что было отмечено в свое время Белинским. «Конечно, — писал критик, — и в тех сочинениях Пушкина, которые представляют чуждые русскому миру картины, без всякого сомнения, есть элементы русские, но кто укажет их? Как доказать, что, например, поэмы: „Мопарт и Сальери“, „Каменный гость“, „Скупой рыцарь“, „Галуб“ могли быть написаны только русским поэтом и что их не мог бы написать поэт другой нации? То же можно сказать и о Лермонтове. Все сочинения Гоголя посвящены исключительно изображению мира русской жизни, и у него нет соперников в искусстве воспроизводить ее во всей ее истинности. Он ничего не смягчает, не украшает вследствие любви к идеалам» (X, 293—294).

Сначала Гоголь, а затем и вся русская литература в лице натуральной школы осуществили своеобразный синтез того и другого направлений в развитии русской литературы по пути к «самобытности». Опираясь на достижения реалистического художественного метода, сделанные в творчестве Пушкина, Лермонтова и Гоголя, реализм 40-х годов утверждает типизацию как способ художественного обобщения жизни посредством противоположной интерпретации предмета изображения, характерного для сатирического дидактизма и романтизма.

* * *

Особенности развития новой русской литературы, рассмотренные в настоящей статье, помогают уяснить эстетические причины организованности реализма 40-х годов в натуральной школе, объясняют, в силу каких историко-литературных закономерностей на одном из этапов своего развития русский реализм существовал в форме литературной школы. Это было время его активного противостояния романтизму и идеализации в целом.



ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЖЮЛЬ ВЕРН

«Романы Ж. Верна превосходны! — говорил Толстой в 1891 году студенту-физику А. В. Цингеру, своему собеседнику на научные темы, будущему профессору Московского университета. — Я их читал совсем взрослым и все-таки, помню, они меня восхищали».¹

Жюль Габриэль Верн (1828—1905) и Лев Николаевич Толстой — одногодки. Вступили в литературу примерно в одно время. Первое упоминание о французском писателе встречается в дневнике Толстого за 1873 год: «Читал Верна. Движение без тяготенья немислимо...»² Речь шла о второй части «лунной» дилогии, о повести «Вокруг Луны», три года назад вышедшей у П.-Ж. Этцеля в Париже. Книга дала новый толчок размышлениям Толстого о фундаментальных законах физики. В числе других произведений Верна он читал ее в домашнем кругу. «Папá привозил эти книги из Москвы, — вспоминает Илья Толстой, — и каждый вечер мы собирались и он читал нам вслух: „Детей Капитана Гранта“, „100.000 верст под водой“, „Путешествие на Луну“, „Три русских и три француза“ и, наконец, „Путешествие вокруг света в 80 дней“. Этот последний роман был без иллюстраций. Тогда папá начал нам иллюстрировать его сам. Каждый день он приготавливал к вечеру подходящие рисунки пером, и они были настолько интересны, что правились нам гораздо больше, чем те иллюстрации, которые были в остальных книгах... Мы с нетерпением ждали вечера, и все кучей лезли к нему через круглый стол, когда, дойдя до места, которое он иллюстрировал, он прерывал чтение и вытаскивал из-под книги свою картинку».³

По воспоминаниям Цингера, Толстой высоко ценил жюльверновское искусство приключенческого повествования: «В построении интригующей, захватывающей фабулы он удивительный мастер».⁴ В этом жанре у французского писателя были блестящие соперники. Дети увлекались, рассказывает И. Л. Толстой, «Тремя мушкетерами» Александра Дюма. Тем не менее предпочтение отдавалось книгам Жюля Верна. Об этом можно судить не только по тому, какое место они занимали на семейных чтениях.

Интересны во многих отношениях опубликованные репродукции толстовских иллюстраций.⁵ Собственноручных его рисунков вообще дошло очень мало. Иллюстратором же другого писателя, сообщает П. Эттингер, анализировавший рисунки к роману Жюля Верна, он выступил только однажды. Всего сохранилось семнадцать набросков пером по ка-

¹ Свидетельство А. В. Цингера приведено в статье Я. И. Перельмана «Памяти Жюля Верна. К столетию со дня рождения». — Мирозведение, 1928, № 3, с. 131.

² Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 48. М., 1952, с. 67. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

³ Толстой И. Мои воспоминания. М., 1914, с. 64.

⁴ Перельман Я. И. Указ. соч., с. 131.

⁵ См.: Эттингер П. Л. Н. Толстой — иллюстратор Жюля Верна. — Детская литература, 1940, № 10, с. 41.

рандашной основе (два остались в карандаше).⁶ Даже неискушенному взгляду заметно, что рисовать как профессионал Толстой не умел. «А выхоило все же хорошо потому, что он остро чувствовал и особенности текста, и детские требования к иллюстрации».⁷ Рисунки точно соответствуют подписям — цитатам из Жюль Верна и в совокупности рассчитаны не на рассматривание, а, так сказать, на графическое прочтение романа. Помещая репродукции и статью Эттингера, журнал «Детская литература» в примечании обратил внимание иллюстраторов детской книги на это обстоятельство.⁸

Начальный и заключительный рисунки изображают однородные сцены, соответствующие завязке и развязке сюжета. У Толстого-рисовальщика сказывается композиционный дар и умение схватить характерные черты образа. Хорошо выдержан типаж ведущих персонажей. Экспрессия соответствует индивидуальности героев и перипетиям действия. В сцене нападения волков на мчащиеся под парусом сани чувствуется наметанный глаз охотника, замечал Н. Н. Гусев, опубликовавший часть рисунков. При всем примитивизме изобразительных средств эта иллюстрация полна настоящего драматизма. Подобной простоты и выразительности, как полагают, Толстой добивался от иллюстраторов своих произведений, «помня то впечатление, которое его рисунки к „Путешествию вокруг света в 80 дней“ производили на его собственных детей».⁹

Для рисования были выбраны сцены, не просто захватывающие остротой положений, но такие, в которых светится свойственный Верну юмор и где ирония переходит в сатирическую интонацию. В виде примера сложных многофигурных композиций (которых не побоялся Толстой) Эттингер приводит свайку на предвыборном митинге в Сан-Франциско, «так сатирически трактованном Жюлем Верном».¹⁰ Жюльверновская сюита Толстого удостоверяет, что он оценил познавательную содержательность приключенческого романа. Много лет спустя книги Жюль Верна читали младшие дети Толстого. В письме 1894 года Лев Николаевич сообщал жене: «Сейчас Саша с Ваничкой на полу рассматривали карту мира и узнавали, где Патагония, в к[оторую] поехали дети Кап[итана] Гранта» (т. 84, с. 223). И в другом письме: «Чтение Дет[ей] Кап[итана] Гранта продолжает иметь большой успех; участвует и няня, и я иногда» (т. 84, с. 226). Возможно, подобным образом французские школьники знакомились с географией России по роману Верна «Михаил Строгов».¹¹

Этцель, издатель и друг автора, вдохновитель серии «Необыкновенных путешествий», не пожелал бы лучшего доказательства торжества нового «романа о науке». «Дети — наше будущее, — говорил он, — им нужно внушать веру в прогресс, веру в человека, претворяющего сверхъестественное в естественное, способного стать господином природы и хозяином собственной судьбы. Мы должны *учить и воспитывать, развлекая*».¹²

Толстой, несомненно, выделил Жюль Верна среди художников-популяризаторов знания за вдохновенное и во всем последовательное вопло-

⁶ Сотрудники Музея Л. Н. Толстого в Москве установили, что из них Толстому принадлежат тринадцать рисунков, два сделаны С. А. Толстой и еще два неизвестным лицом. См.: Брандис Е. П. Лев Толстой читает Жюль Верна. — Детская литература, 1978, № 9.

⁷ Эттингер П. Указ. соч., с. 41.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же, с. 40.

¹¹ Брандис Е. Впередсмотрящий. Повесть о великом мечтателе. М., 1976, с. 144.

¹² Там же, с. 58; курсив мой, — А. Б.

щение этого принципа. Подбирая подходящие темы и произведения для маленьких читателей своей «Новой Азбуки», он наряду с «Барышней крестьянкой», «Дубровским», «Вечерами на хуторе близ Диканьки» написал: «Верна. Вокруг света в 80 дней» (т. 21, с. 503). Не исключено, что упомянутый роман заинтересовал Толстого и своим географическим парадоксом, благодаря которому искусно драматизированы приключения (автор «Необыкновенных путешествий» вообще нередко закладывает познавательные сведения в остроумную мотивировку сюжета). Герой романа держал пари на все свое состояние, что объедет вокруг света за восемьдесят дней. Он уже было решил, что проиграл, когда выяснилось, что время, потерянное на непредвиденные задержки в пути, невольно удалось сэкономить, так как он двигался «вдогонку» суточному вращению земли. На двух ключевых рисунках толстовской сюиты это обстоятельство отмечено увеличенным изображением часов.

Мы уже говорили, что первое упоминание о Жюле Верне у Толстого относится к 1873 году. Последнее встречается в дневнике за 1907 год: «...писал Д[етский] К[руг] Ч[тения] ... Нужна история детя[м], Жюль Верн» (т. 56, с. 195). Французского романиста тогда уже не было в живых. Между двумя датами — треть века трудов и сложнейшая параболла исканий.

Интересы Толстого-педагога отчасти явились следствием, отчасти подготавливали перелом его мировоззрения. Еще в 1865 году он писал, что много размышляет о воспитании в ожидании того времени, когда начнет учить своих детей, чтобы перенести опыт в школу для крестьянских ребят (т. 61, с. 116). Семейная «жюльверниана» свидетельствует, с какой последовательностью проводился этот замысел в жизнь. В Яснополянской школе, учрежденной с помощью немногих энтузиастов, Толстой осуществил обширную программу, не переставая трудиться над своими величайшими романами. Много лет было отдано одним только учебным пособиям. Было написано несколько вариантов «Азбуки», составлены хрестоматии «Русские книги чтения» и списки рекомендательной литературы (так называемые Круги чтения). Толстой считал, что образование начинается с любви к чтению, «а для того, чтобы полюбить чтение», нужно, «чтобы читанное было *понятно и занимательно*» (т. 8, с. 52; курсив мой, — А. Б.). Кроме познания, чтение, по его мысли, должно развивать нравственное и эстетическое чувство. Толстой предъявлял поэтому к текстам высокие разносторонние требования.

«... Я нынешнюю зиму страстно, но урывками, занимался естествен[ными] науками, особенно физикой, — сообщал он в сентябре 1872 года Н. Н. Страхову, обрабатывавшему научно-популярные статьи для «Азбуки». — Мне интересно знать, в чем я соварл. Но должен сказать, что из естествен[ных] наук я выбирал не то, что попадалось в книгах, не то, что случайно знаю, не то, что мне кажется нужно знать, но то, что ясно и красиво, и когда мне казалось недостаточно ясно и красиво, я старался выразить по-своему» (т. 61, с. 322). Для Жюля Верна красота сопутствует ясности не столь непреложно. «Причина популярности моих книг в том, — пояснял он, — что я готов пожертвовать искусством, но не напишу ни страницы, ни фразы, которую не могли бы прочесть дети, для которых я творю... и которых люблю».¹³

Тем не менее Толстому должно было импонировать, что герои Жюля Верна совершают свои подвиги не только благодаря мужеству и предприимчивости, но и силой своего знания. Наглядно-практическое трудовое взаимодействие человека с природой, которое выступает привлека-

¹³ Цит. по: Хобана И. Этот неизвестный Жюль Верн — Нева, 1978, № 2, с. 196.

тельнейшей чертой романов Жюль Верна, глубоко созвучно толстовской идее «заразительности» искусства; эту идею он распространял и на педагогическое творчество. «Точно так же, как для истории должен быть возбужден исторический интерес, — считал он, — для изучения географии должен быть возбужден географический интерес», которому, по наблюдениям и личному опыту Толстого, дают начало либо знание естественных наук, либо, «преимущественно, из 100 случаев в 99, — путешествия» (т. 8, с. 108). В романах Жюль Верна счастливо соединилось то и другое.

Непременным условием обучения Толстой полагал универсальность образовательных сведений, которые получает ребенок с первых шагов педагогического процесса. «Эта азбука, — сокрушался он, — одна может дать работы на 100 лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественн[ые] науки, астрономия, физика» (т. 61, с. 283). Толстой присоединял к ним также историю, этнографию, геологию, минералогию, ботанику, зоологию, механику, химию, геометрию и т. д.

Задачу универсального познания ставил перед собой и Жюль Верн. В предисловии к его роману «Пять недель на воздушном шаре» издатель Этцель писал, что серия «Необыкновенных путешествий» должна «резюмировать все географические, геологические, астрономические, физические знания, накопленные современной наукой, и в живописной, занимательной форме создать универсальную картину мира».¹⁴

Своим воображением писатель охватил всю землю и космос. На его глобусе не помещалась цветная сетка маршрутов, проделанных его героями на суше и на море, под водой и в воздухе. Свод «Необыкновенных путешествий» как бы отвечал намерению Льва Толстого дать в своих учебных пособиях элементарную энциклопедию сведений, которые можно было бы применить и в практической жизни.

Замысел Жюль Верна постепенно перерастал, однако, первоначальные популяризаторские рамки. Его художественная энциклопедия запечатлела действительно *систему* знаний своего времени — Храм Науки, которому недоставало, казалось, лишь завершенности архитектурных деталей. Но эта законченность была кажущейся. В начале XX века Герберт Уэллс не без основания иронизировал над представлением, будто «все великие открытия уже сделаны», будто человек достиг «завершающего триумфа своего разума» и «нам остается лишь разрабатывать кое-какие детали».¹⁵ Уэллс выразил в своем творчестве относительность процесса познания.

В отличие от обоих писателей Толстой не обладал всеобъемлющей подготовкой в области естествознания. Но для его философской эрудиции и гениального понимания гносеологических проблем иллюзорность предела познания была самоочевидной. Еще в 1868 году, например, он занес в свою записную книжку такую мысль: «Мик[роскопические] исследования — бесконечность. Астрономические. — бесконечность» (т. 48, с. 86). Правда, он делал отсюда почти кантовский вывод: «Нет надежды конца и уяснения» (т. 48, с. 86; курсив мой, — А. Б.).

Тем насущней должно было ему представляться воспитание нравственно-эстетического начала, в котором Толстой видел универсальный инструмент миропознания. Толстой приходил к выводу, что целостная картина мира может быть создана лишь «сердечным знанием». Словами масона Баздеева в «Воине и мире» он таким образом резюмировал этот круг своих мыслей: «Высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и т. д., на которые

¹⁴ Там же.

¹⁵ Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти т., т. 4. М., 1964, с. 308.

распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку — науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутреннего человека, и потому прежде, чем знать, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет божий, называемый совестью» (т. 10, с. 70—71).

Для нашей эпохи нет проблемы, что прежде и что потом. Самопознание и нравственное совершенствование нераздельны с освоением мира и воспитанием вместо веры научной убежденности. Но мы можем оценить и прозорливость Толстого. Он писал, например: «Рождаются новые науки, в наше время начинают популяризоваться естественные науки, надо отпадать, отживать старым наукам, не наукам, а граням наук, которые с рождением новых наук становятся несостоятельными» (т. 8, с. 109).

Толстой сознавал опасность дробления наук, не очевидную даже для таких его современников, как энциклопедически осведомленный Жюль Верн. Его мысль за столетие предугадала актуальную ныне интеграцию, призванную уравновесить далеко зашедшее расщепление наук, чтобы воссоздать картину мира заново, в более глубоких законах природы и общества. Толстой выдвигал критерием синтеза своего «нравственного» человека; но не была ли эта односторонность исторически необходимой? Так ли уж мы расходимся с ним, все чаще вспоминая сегодня, применительно к современным условиям, древний афоризм Протагора: человек — мера всех вещей?

В устах Толстого во всяком случае естественно прозвучала бы антитеза: «Нужны новые люди, а не новые континенты!»¹⁶ Принадлежит же она человеку противоположного образа мысли, воинственному борцу с социальной несправедливостью и вдохновенному естествоиспытателю, капитану Немо. Жюль Верн больше, чем в любого другого героя «Необыкновенных путешествий», вложил в него свое собственное мирознание. Оба великих писателя, каждый в своей системе художественного мышления, с разных философских позиций, подходили к общей идее гуманизации опытного и умозрительного знания, неудовлетворенные его оторванностью от человека. У обоих была высоко развита способность воспринимать мир науки в гуманистических категориях, хотя Толстой, в отличие от Верна, измерял этот мир не обобщенным идеалом человека, но живой, реальной, эмпирической личностью. В этом, по-видимому, и заключалась предпосылка немимолетного интереса великого реалиста к одному из самых фантастических произведений Жюль Верна.

Льва Толстого заинтересовали в повести «Вокруг луны» философские проблемы естествознания, которые с порога были отброшены иными учеными и литературными критиками — ложно понятая, эта пророческая книга на целое столетие сделалась примером научно несостоятельной фантазии. «Доверчивые дети, — иронизировал Анатолий Франс (сам не чуждый фантастического жанра), — поверят на слово Жюлю Верну и вообразят, что в действительности можно в бомбе добраться до луны и что можно избавить тело от подчинения законам тяготения. Эти карикатуры на благородную науку о небесных пространствах, на древнюю и почтенную астрономию, лишены как истины, так и красоты».¹⁷

Льву Толстому, образованному артиллерийскому офицеру, прежде других должно было броситься в глаза, что никакая колоссальная ко-

¹⁶ Верн Жюль. Собр. соч. в 12-ти т., т. 4. М., 1956, с. 149. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

¹⁷ Франс А. Книга моего друга. М.—Пгр., 1923, с. 145.

лумбиада не способна придать своему снаряду ни второй, ни даже первой космической скорости. Но дело в том, что Жюль Верн сюжетно реализовал все-таки научно сделанное допущение, — к нему прибегнул еще Ньютон, вычисляя скорости, необходимые для преодоления притяжения земли. Писатель отдавал себе отчет в том, что путешествие в космос является прежде всего вопросом скорости, и в числе первых (в чем видят его заслугу историки космонавтики)¹⁸ познакомил широкого читателя с этим фактом. По тем временам у него не было более правдоподобного способа отправить своих героев за пределы земли. Возможности же артиллерии большой мощности, которая бурно развивалась во второй половине XIX века, представлялись неисчерпаемыми.

Впервые в мировой фантастике Жюль Верн раздвинул мир человека («почти освоенный»!) до всей Вселенной, прибегая при этом не к сказочным чудесам, не к шутливым мотивировкам сатирических путешествий в космическое пространство, но апеллируя к творческой мысли самого человека. Сознательно им принятую художественную условность писатель разработал в многомерной системе координат — от научно-технических до психологических и даже социально-критических. (Через обе части «лунной» дилогии и примакающий к ней роман «Вверх дном» проходит сатирическое изображение Балтиморского пушечного клуба. После гражданской войны в США «поэты артиллерии» развивают кипучую деятельность в поисках приложения своей «страсти». В романе «Вверх дном» они пытаются ради беззащитного бизнеса выпрямить... земную ось).

Фантастика Верна пробудила в К. Э. Циолковском «стремление к космическим путешествиям».¹⁹ Толстого она поразила непредставимыми в земных условиях явлениями природы. 17 ноября 1873 года он записал в дневнике: «Читал Верна. Движение без тяготенья невымыслимо. Движение есть тепло. Тепло без тягот[енья] невымыслимо» (т. 48, с. 67). В тот же день Толстой поделился своими соображениями со Страховым. «Я вам не рассказывал, кажется, — писал он, — мою гипотезу о замене понятия тяготения понятием тепла. Я страстно был занят этим 3-го года и оставил» (т. 62, с. 54). Попытка осмыслить теплоту как универсальный вид движения материи возникла в ходе работы Толстого над естественнонаучными статьями для «Азбуки» и «Русских книг для чтения». Иные его объяснения определенно удачны: «Лошади, быки возят, люди работают, — что их *двигает*? Тепло. А откуда они взяли тепло? Из корма. А корм заготовило солнце» (т. 21, с. 299). Но в целом круговороту тепловой энергии отведено несоразмерное место.

В письме Страхову Толстой продолжает: «...нынче, читая детям J. Vern. Voyage autour de la lune, меня поразило то место, где они, вступив в нейтральный пункт между луной и землей, находятся вне закона тяжести, но все-таки двигаются. Как они это делают?.. Ни ноги, ни руки, ни крылья, ни поплавки, ни змеиные позвонки не произведут движенья. Если они двинутся, то только непосредственно действием *воли движения*, т. е. чудом» (т. 62, с. 54). Чудо Толстой отвергал. Подчеркнутые им слова — отголосок шуток, которыми обмениваются жюльверновские космонавты: вот если бы вовсе «отделаться от закона тяготения», можно было бы и на земле взлетать одним «только усилием воли» (I, 572).

Толстой приходит к выводу: «...очевидно, что без тяготения невозможно движение — сила. А сила — тепло, стало быть, без тяготения нет тепла, нет движения. А тяготение есть движение, и известная *воля движения* — чудо.

¹⁸ Лей В. Ракеты и полеты в космос. М., 1961, с. 32.

¹⁹ Циолковский К. Э. Труды по ракетной технике. М., 1947, с. 103.

Вот какой вздор мне приходит в голову. Пожалуйста, если вы меня поняли, напишите мне, согласны ли вы с моими рассуждениями и не приходило ли вам или известным вам ученым уже что-нибудь подобное в голову» (т. 62, с. 54).

Как мы уже отметили, эффекты невесомости поразили Толстого своим несоответствием наглядным земным представлениям. Отвечая Толстому, Страхов обращал его внимание на *многозначность* того, что он называет движением. «Вместо этих понятий, на которые Вы желаете свести дело, — писал Страхов, — механики употребляют следующие, более отвлеченные. Вместо:

Притяжение (тяготение) — Сила инерции

Тяжесть (вес) — Масса

Центр тяжести — Центр инерции.

Ваши понятия относятся только к явлениям определенной силы, тяжести, а понятия механики ко всем силам, какие есть и возможны».²⁰

Страхов комментирует затронутые Толстым вопросы с позиции, более соответствующей понятиям физики движения. Он приводит такой пример: «если выбросить из окна кошку, то она полетит по параболе», и «никакие движения кошки изменить этой линии не могут» в силу большой инерции движения. (Подобным образом практически не влияли на траекторию «падающего» в пространстве ядра подпрыгивания героев Жюль Верна внутри снаряда). «Однако движения возможны», подчеркивает Страхов в своем примере, хотя могут привести только «к тому, что кошка упадет на ноги». «...Тяжестью производится только парабола»,²¹ — справедливо замечает он. Ускорение силы тяжести, добавим, «гасит» при этом вес падающего животного. Кошка барахтается в состоянии, близком к невесомости. Мышечными усилиями она вращает свое тело вокруг центра инерции, не сдвигаясь тем не менее с траектории падения.

Страхов заканчивает написанием, что Толстой затронул явления, относительно которых в то время не было ясности. Отвлечься от непосредственного представления о тяготении и перейти к таким абстракциям научной динамики, как масса и ускорение, было психологически не менее сложно, чем уяснить, например, что ракета «отталкивается» от своей собственной газовой струи, а не от окружающей воздушной среды, и потому движется в космическом пространстве еще свободней. Даже теоретик космонавтики Циолковский недооценивал инерционного противодействия массы, описывая в своих научно-популярных очерках, как легко передвигались бы грузы в невесомости.

История литературы, отправив Жюль Верна, по выражению его русского биографа, в посмертную ссылку в детскую литературу, не до конца еще преодолела эту несправедливость. Он принадлежит литературе для всех и как выдающийся популяризатор знания. Но если в этом качестве Жюль Верн развивал достижения своих предшественников и современников, то как писатель-фантаст он пролагал новые пути. Он перевоплощал в живые и образные представления, которые осознаются так же автоматически, как восход и заход солнца, отвлеченные теоретические предположения, возникавшие на переднем крае науки и техники. Поэтически их оживляя, испытывая их жизнеспособность, Жюль Верн, по существу, активно соучаствовал в движении научной мысли. Его *художественные* открытия принадлежали одновременно и *научному* творчеству, в широком, философско-психологическом смысле слова. В творческом методе его фантастики своеобразно реализовалось то самое взаи-

²⁰ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПб., 1914, с. 39—40.

²¹ Там же, с. 38.

модействие теоретического познания с поэтическим, необходимость которого философски доказывал Лев Толстой.

Их несоединимость вызывала полемический протест Толстого. «Мне понятно, — заострял он свою мысль, — что железо холодно, шуба тепла, солнце всходит, заходит, тело умрет, душа бессмертна. С новой же (т. е. с научной, — А. Б.) точки зрения я должен забыть про шубы и железо и не понимать, что такое шуба и железо, а видеть атомы, отталкивающие и притягивающие, так расположенные, что они делаются хорошими и дурными проводниками чего-то такого, называемого *тепло*, или забыть, что солнце все-таки всходит и заходит, и заря, и облака, и вообразить себе, что земля ходит и я с нею» (т. 48, с. 51—52).

Толстой не отвергал научного познания, комментирует этот фрагмент Е. Н. Купреянова,²² но считал его односторонним. «Все субъективное, и одно субъективное имеет содержание» (т. 48, с. 111; курсив мой, — А. Б.), — заключал он сопоставление научного познания с художественным. Отдавая себе отчет в том, что искусство, таким образом, тоже односторонне, Толстой тем не менее ставил его над наукой, потому что, по его мысли, «сущность выразима только искусством, тоже сущностью. И потому не бывает разумного (т. е. рационального, — А. Б.) искусства» (т. 48, с. 112). Однако преодоление неполноценности «знания разумного» Толстой искал в «знании сердечном». Он полагал, что синтез обоих начал и составляет подлинное, как он говорил, общечеловеческое искусство.²³ Толстой разделял тот кантианский тезис, что единство миропредставления заложено в познающем «я», а не в объекте познания. Но вместе с тем он верно схватывал действительно уязвимое свойство «знания умственного» — его разъединенность. И в противовес раздробленной науке не только выдвигал свой синтез «сердечного» познания с «умственным», но и предпринимал попытки внутренне упорядочить последнее — свести множественность отвлеченных законов, о которых непросто договориться специалистам, к таким немногим, которые были бы очевидны для всех. Отсюда его намерение универсализировать тепловую форму движения, отсюда «гипотеза о замене понятия тяготения понятием тепла», которую он излагал в письме Страхову.

По тону письма заметно, как в свете поразивших Толстого эффектов невесомости прежняя формула: «без тяготения нет тепла, нет движения» — уже перестает ему казаться непреложной. В поисках ответа на возникавшие философские вопросы Толстой возвращается к научным трудам: «2 Декабря 1873. Читаю физику» (т. 48, с. 68). А в конце декабря того же года в дневнике появляется важная новая запись: «Не есть ли (т. е. не присуща ли природе, — А. Б.) аксиомическая сила, из к[оторой] вытекают все другие (тепло, электр[ичество], тягот[ение] и др.)» (т. 48, с. 68).

Тепло здесь решительно передвинуто в разряд производных понятий. В качестве постулирующего мыслится не просто абстрактное, но гипотетическое!

Жюльверновские представления о невесомости оказались созвучны размышлениям Толстого о фундаментальных проблемах физики. Восхищение мастерством рассказчика и популяризатора не помешало Толстому проникнуть в художественный мир Жюль Верна-фантаста, который он воспринимает и как самобытный мыслитель. В приведенной выписке Толстой приближался к идее единого поля — грандиозной задаче

²² Купреянова Е. Н. Выражение эстетических воззрений и нравственных исканий Л. Толстого в романе «Анна Каренина». — Русская литература, 1960, № 3, с. 120.

²³ См. об этом в статье Г. Я. Галаган «Путь Толстого к „Исповеди“». — Русская литература, 1978, № 3.

науки XX века — задолго до того, как она была выдвинута учеными. Великого реалиста сближает с великим фантастом гениальная способность прорыва в неведомое, которая возникает из необычайно развитого ощущения неделимой целостности природы.

Через шесть лет (!) вспомнит Толстой о невесомости в письме А. А. Фету, не соглашаясь с его стихотворением «Смерти»: «У Верна есть рассказ вокруг луны. Они там находятся в точке, где нет притяжения. Можно ли в этой точке подпрыгнуть? Знающие физики различно отвечали. Так и в вашем (поэтическом, — А. Б.) предположении должно различно отвечать, потому что положение (описанное в стихотворении, — А. Б.) невозможно, нечеловеческое» (т. 62, с. 469).

Толстой неожиданно и оригинально интерпретирует врезавшуюся в память сцену. У Жюль Верна: «Мишель вдруг подпрыгнул и, отделившись на некоторое расстояние от дна снаряда, повис в воздухе, как добрый монах в „Ангельской кухне“ Мурильо. В одно мгновение оба приятеля присоединились к Мишелю, и в центре снаряда произошло своего рода „чудесное вознесение“».

— Подумать только! На что ж это похоже! Невероятно! — кричал пораженный Мишель. — Непостижимо, и все-таки это так! (I, 571).

Сегодня очевидно, что «знающим физикам» в самом деле не все было ясно. Вероятно по их консультациям, невесомость у Жюль Верна появилась только в нейтральной точке, где земное притяжение уравновешивается лунным. На самом деле эффект должен был наступить много раньше, сразу же после того как снаряд покинул жерло колумбиады, т. е. когда полученное от нее ускорение сравнялось бы с ускорением земной силы тяжести.²⁴ У Толстого, выходит, были и объективные основания ссылаться на разноречия в ученом мире. С той же честностью мысли, какая была ему свойственна во всем и с какой он исследовал человеческую душу, он и в своей характеристике литературного вымысла стремился опереться на объективную истину.

В обсуждении эффектов невесомости Толстой привносит интуитивно верное представление об относительности научного познания, а, с другой стороны, сравнивая научно мотивированную фантазию Верна с поэтическими парадоксами Фета, распространяет принцип относительности на столь различные типы воображения. Примечательна сама возможность сопоставления, сближения далеких (а по философским выкладкам Толстого и антиномичных) литературных рядов и та свобода и гибкость мысли, с какой он выбирает общую точку зрения на лирическое стихотворение и научно-фантастическую повесть. Художественный метод научно-фантастической литературы тогда еще только складывался. Сочетание научной правды с поэтической условностью, как мы видели, не принимал даже такой большой писатель, как Анатоль Франс. Толстой поочередно апеллирует то к чистой науке («знающие физики различно отвечали»), то к житейскому здравому смыслу («положение невозможно, нечеловеческое»), применяясь к различному типу воображения, но вместе с тем нащупывая какую-то общую, «двойную» меру, объективно заложенную, надо сказать, в жюльверновском сплаве гипотетической абстракции с достоверной конкретностью. Фантастика Жюль Верна гносеологически наводила мосты через «пропасть» между искусством и наукой. Думается, поэтому Лев Толстой воспринимал произведение неканонического жанра не просто как еще одну литературную форму, занимательно «перелагающую» науку, но как оригинальный тип желанного синтеза. В его споре насчет тяготения научно-фантастическое мыш-

²⁴ См.: 1) научный комментарий в I томе Собрания сочинений Ж. Верна (с. 697); 2) статью «Невесомость» в кн.: Космонавтика. Маленькая энциклопедия. М., 1968, с. 279.

ление Жюль Верна выступает не вторичным явлением, но тем оригинальным путем к истине, который Толстой равно ценил и в художественном, и в научном творчестве. «Есть литература литературы, — записывал он в дневнике, — когда предмет литературы есть не сама жизнь, а литература жизни, и литература литературы 999/1000 всего пишущегося... Есть наука науки — когда предмет не есть жизнь, а прежние положения науки — Линней, Кювье, Дарвин» (т. 48, с. 112—113).

В новаторских романах Жюль Верна творческий гений ученых, изобретателей, инженеров впервые нашел широкое художественное воплощение. Впервые в художественной литературе мир человека был всесторонне освещен с точки зрения возможностей науки и техники. Толстой включал в свои педагогические труды статьи о замечательных открытиях и изобретениях не только из просветительских побуждений. Он сам с удовольствием пользовался автомобилем, фонографом (подаренным, кстати сказать, изобретателем Т. А. Эдисоном). Наряду с тем толстовская оценка социального потенциала научно-технического прогресса сложней, противоречивей и реалистичней жюльверновской.

Значительно раньше и определенной созрело у Льва Толстого отрицание идеалов буржуазной цивилизации. Пророческая его метафора: «Чингизхан с телеграфом» — объясняет, нам думается, и более общее суждение, которое встречается в его дневнике: «Ничто так не препятствует свободе мысли, как вера в прогресс» (т. 48, с. 86; курсив мой, — А. Б.). Собственной вере Толстого — в *духовный* прогресс личности — не отвечала известная идеализация автором «Необыкновенных путешествий» социальных возможностей науки и техники. Правда, в поздних романах Жюль Верна отчетливо различимы другие ноты. Толстому импонировало бы признание Робура-завоевателя: «Успехи науки не должны обгонять совершенствования нравов» (IX, 384). Он сочувственно оценил бы и другую горькую мысль престарелого писателя. На склоне лет Жюль Верн пришел к выводу, что, наряду с наукой, предназначенной для мирного завоевания природы, появилась другая наука, враждебная человеку, она беспринципно прислуживает войне и бизнесу.

Параллели «Лев Толстой и Жюль Верн», разумеется, не исчерпываются темой взаимодействия художественного творчества с научным, общественной функцией литературы и искусства. Литературные контакты великих писателей неисчерпаемы так же, как неисчерпаем их духовный мир. Данная тема плодотворна неожиданным сближением столь контрастных писательских индивидуальностей. Величайший художник-реалист и прославленный поэт науки, оба оставили, например, в мировой литературе неизгладимый след своих утопических исканий. В яснополянской библиотеке хранится роман «Тайственный остров», в котором Жюль Верн выступает не до конца еще разгаданным социальным мыслителем. Советским литературоведам принадлежит открытие его приключенческо-фантастических одиссей как замаскированных утопий.

Независимо от того, читал ли эту книгу Лев Толстой, представляет интерес сопоставление его утопической системы с развернутой здесь эпопеей вдохновенного труда на свободной земле и нравственного возрождения (бывшего каторжника, бывшего мстителя) в братской общине острова Линкольна. Небезынтересно, что Жюль Верн сам же опровергает построенную им утопию, показывая, что для «людей в лучшем, самом высоком значении этого слова» (V, 120) невозможно полное счастье вдали от родины, отдельно от человечества. В «Тайственном острове», как ни в одном другом своем романе, Жюль Верн воспел человеческую общность, которую Лев Толстой выдвигал во главу угла своего учения, и как человекотворческую силу.

Параллели «Лев Толстой и Жюль Верн» проникают в духовное содержание целой эпохи и вместе с тем освещают нравственную природу гениальной личности, в которой отобразился целый мир. Великий художник, по справедливости вошедший в мировую общественную мысль как зеркало русской революции, и знаменитый фантаст, окрещенный в своем отечестве «тайным революционером», чьими друзьями были герои Парижской коммуны, чей портрет берегли ее мученики, они оба до конца своих дней самоотверженно служили предназначению Писателя. И ни рано пришедшая к обоим слава, ни материальная обеспеченность, ни драматические обстоятельства личной жизни, ни физические недуги на склоне лет не приостановили подвижнического поиска истины человеческого бытия.



ЛУНАЧАРСКИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМАХ РЕАЛИЗМА

1

Проблема многообразия художественных форм реализма — одна из центральных в современной науке о литературе. Острый дискуссионный характер эта проблема приобрела в начале XX века, когда приверженцы различного рода модернистских течений объявили принципы реалистического искусства устаревшими, якобы исчерпавшими свои возможности. Но в основе споров о реализме лежали не формальные вопросы, не разница эстетических вкусов, как это иногда казалось современникам, а идеологические и социально-политические разногласия.

Конец XIX—начало XX века ознаменовался для России повышением активности широких народных масс. «Миллионы дешевых изданий на политические темы, — писал В. И. Ленин об эпохе 1905 года в статье «Еще один поход на демократию», — читались народом, массой, толпой, „низами“ так жадно, как никогда еще до того не читали в России». Вспоминая слова Некрасова о том времени, когда «народ не Блюхера И не милорда глупого, Белинского и Гоголя С базара понесет», Ленин отмечал: «Желанное для одного из старых русских демократов „времечко“ пришло. . . Демократическая книжка стала базарным продуктом. Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси — была пропитана сплошь эта новая базарная литература. . .»¹ Эпоха зарождения и формирования пролетарского движения, политической активизации широких демократических кругов общества выдвигала новые эстетические требования к искусству, к литературе. Именно в это время формировалась марксистская критика, и характер ее исканий и открытий позволяет лучше уяснить ее связь с предшествующей и современной ей эстетической борьбой.

Советское литературоведение сделало немало для объективной оценки противостоявших друг другу в те годы эстетических концепций.² Однако общеметодологическая сторона этой идейно-эстетической борьбы нуждается в дальнейшем изучении.

Уже в критических работах начала века обращалось особое внимание на идейно-политическую подоплеку споров и разногласий, которые наблюдались в искусстве и литературе. Блестящий анализ социальных причин появления новых тенденций в литературе и искусстве дал в ряде

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 83.

² Русская литература конца XIX—начала XX века в 3-х т. М., 1968—1972; Петров С. М. Возникновение и формирование социалистического реализма. М., 1970; Сучков Б. Исторические судьбы реализма. М., 1970; Муратова К. Д. Возникновение социалистического реализма в русской литературе. М.—Л., 1966; Судьбы русского реализма начала XX века. Л., 1972, и др.

статей Г. В. Плеханов. В частности, анализируя лозунг «искусство для искусства», выдвинутый модернистами, он указывал в статье «Искусство и общественная жизнь»: «Склонность к искусству для искусства возникает там, где существует разлад между художниками и окружающей их общественной средою».³ Критикуя кантовский тезис о «незаинтересованности» эстетического суждения, Плеханов писал в статье «Французская драматическая литература. . .»: «. . . наслаждаясь тем, что кажется ему прекрасным, общественный человек почти никогда не отдает себе отчета в той пользе, с представлением о которой связывается у него представление об этом предмете. . . Но польза все-таки существует; она все-таки лежит в основе эстетического наслаждения».⁴ При этом Плеханов напоминает, что речь у него идет не об отдельном лице, а об *общественном* человеке. Доказывая социальную обусловленность искусства, Плеханов вскрывал социальные корни «искусства для искусства», представители которого стремились отлучить искусство от общественной жизни.

Активную позицию в вопросе о связи искусства и общественной жизни занимал А. В. Луначарский. В 1906 году состоялась дискуссия, инициатором которой был К. Чуковский, на тему «Революция и искусство». Луначарский принял участие в ней. Вопрос об отношении литературы и революции был затронут им в ряде статей этих лет, в частности в статьях «Еще об искусстве и революции» (Образование, 1906, № 12), «Тьма» (в кн.: Литературный распад, кн. 1. СПб., 1908) и др. «Г. Чуковский, — писал Луначарский в статье «Тьма», — развил в своих фельетонах целое маленькое учение. Он призывал к свободе от социальных вопросов, к самостоятельному искусству, кокетливо замечая, что каждый класс вырабатывает свою идеологию невольно, инстинктивно. . .»⁵ Такому взгляду на искусство критик-марксист противопоставлял понимание искусства как огромной общественной силы, предназначенной ставить важнейшие проблемы своего времени и побуждать к переустройству общества. Призывая писателей служить общественным интересам, он писал: «Настежь окна, художник. . . не пропусти своего счастья: ты волей судеб свидетель великих явлений. . . литература. . . требует от тебя теперь художественного анализа и художественного синтеза по отношению к явлениям ошеломляющим, колоссальным!» (т. 7, с. 136). «Художник, — считал Луначарский, — может не только субъективно думать, что у него нет никаких общественных целей и что он отдается чистому искусству, он может даже утверждать, что самая мысль о таких целях внушает ему отвращение, и тем не менее он будет объективно тенденциозен» (т. 8, с. 224).

В 1914 году в Тифлисе была опубликована брошюра А. В. Луначарского «Искусство для искусства и искусство для жизни», в которой критик-марксист прямо утверждал, что борьба, ведущаяся под этими лозунгами, есть борьба идейная; это борьба разных социальных групп, разных классов.⁶ Дальнейшая эволюция так называемых «чистых» художников в связи с революционными событиями в России во многом подтвердила эти слова Луначарского. Большинство этих писателей активно перешло на воинствующие антидемократические и антиреволюционные позиции (М. Арцыбашев, Ф. Сологуб, З. Гиппиус), в то время как ориентация на изображение народных судеб, стремление познать ход исторического движения были теми глубокими стимулами, которые определили эволюцию крупнейших художников от символизма и модернизма к реализму (А. Блок, В. Брюсов, В. Маяковский, С. Сергеев-Ценский и др.).

³ Плеханов Г. В. Соч., т. XIV. М., [1925], с. 126.

⁴ Там же, с. 119.

⁵ Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми т., т. 1. М., 1963, с. 393. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

⁶ См.: Октябрь, 1965, № 11, с. 197—200.

В борьбе за реализм на рубеже двух веков А. В. Луначарского отличает глубокий подход к решению проблемы художественности. Многие его суждения, относящиеся к этой проблеме, актуальны и по сей день. Взгляды Луначарского на искусство сформировались задолго до революции. В дальнейшем они уточнялись и обогащались. Важно отметить, что уже в начале века Луначарский наряду с другими критиками-марксистами отстаивал реалистические традиции и боролся с различными проявлениями декаданса в литературе и искусстве. Он был убежденным сторонником реалистического типа творчества и считал, что основной путь, по которому пойдет советское искусство, — реализм. В отличие от других направлений и течений реализм воспринимался критиком в качестве «широкой художественной категории» (т. 3, с. 300). В 1923 году Луначарский писал А. К. Воронскому: «Я очень большой сторонник того ренессанса реализма, который, теоретически по крайней мере, всюду начинает провозглашаться. Нам буквально, как хлеб, нужен сейчас в литературе, в театре, в живописи, в музыке, в плакате, в графике реализм. . .»⁷ «Поворот к реализму, к искренной демократизации искусства — есть вещь совершенно неизбежная», — настаивал он в 1926 году (т. 7, с. 463).

С точки зрения Луначарского, художник-реалист ориентируется прежде всего на действительность, взятую в ее многообразии: «. . . реалистическое искусство предполагает, с одной стороны, что его объектом является сама жизнь, как она есть, что, с другой стороны, художник-реалист, не являясь рабским фотографом и „натуралистом“, обрабатывает эту реальность, выделяя в ней типичные черты путем, так сказать, зачеркивания, устранения целого ряда ненужных подробностей» (т. 8, с. 520).

Наличие реалистической типизации является для Луначарского главным при оценке художественного произведения. В сущности, критик никогда не обходит этого вопроса в анализе того или иного произведения или творчества того или иного художника, хотя и не всегда четко формулирует его. Здесь надо остановиться на вопросе о терминологии в работах Луначарского. Используя уже известные термины, критик не ставил своей целью выработать собственную терминологию. Нередко он употребляет один и тот же термин в различных смыслах или придает ему какой-то иной оттенок. Некоторые понятия употребляются Луначарским в расширительном смысле, например такие, как «символизм», «реализм», «натурализм». Многозначность терминологии Луначарского требует внимательного прочтения его статей, уяснения смысла термина в определенном контексте. Так, называя Чехова импрессионистом, он не отлучал тем самым творчество этого писателя от реализма (т. 1, с. 363), а лишь выделял определенную черту творческой манеры писателя.⁸ Употребляя слово «реалист» по отношению к Марселю Прусту или Леониду Андрееву, Луначарский имел в виду определенные грани их таланта, характерные, хотя и не главные тенденции их творчества. Непреходящая ценность многих литературных статей и оценок Луначарского доказывает, что он обладал твердыми эстетическими принципами, оберегавшими его от распространенных в современной ему критике ошибок и заблуждений.⁹ Последовательность и цельность концепции искусства определяли роль Луначарского как одного из самых тонких и проникательных критиков. Задача современного исследователя состоит не столько в том, чтобы выяснить неточности

⁷ Лит. наследство, т. 82, 1970, с. 243.

⁸ Иногда эта особенность терминологии Луначарского и непонимание ее некоторыми современными исследователями приводит к существенным ошибкам (см., например, критику О. Семеновского в кн.: Трифонов Н. А. А. В. Луначарский и советская литература. М., 1974, с. 39—40 (сноска 2)).

⁹ Сказанное не означает, что Луначарский вообще не ошибался; его заблуждения, особенно в области философии, общеизвестны и были им самим преодолены.

литературоведческих формулировок Луначарского, сколько в том, чтобы выявить основные принципы его эстетики, позволяющие более глубоко развить концепцию реализма, в том числе и социалистического.

Развернутый анализ понятия «художественный тип» дает Луначарский в статье «Самгин»: «Создать художественный тип — значит подметить в обществе какие-либо широко распространенные положительные или отрицательные черты или их комбинации и сплести их в одну личность, которая была бы возможно более тонко и глубоко похожа на себе подобных живых людей, но ярче выявляла бы ту характерную комбинацию, которую хотел осветить автор» (т. 2, с. 187). Сущность реалистической типизации раскрывается Луначарским в конкретном литературном анализе художественных произведений. Это характерно вообще для его критических работ. Луначарский, как правило, не отвлеченно теоретизирует, а делает свои выводы на основе разбора конкретных историко-литературных явлений. Исследователю, обратившемуся к наследию Луначарского с целью выявления его общеметодологических посылок, нередко приходится выводить их из огромного количества отдельных суждений и высказываний, учитывая конкретно-исторические условия, их определяющие. Это во многом относится и к концепции реализма, содержащейся в трудах Луначарского.

Понимая реализм как широкую эстетическую категорию, Луначарский был не только сторонником отображения жизни в формах самой жизни. Он уделял чрезвычайно много внимания проблеме так называемых условных форм искусства и, следует заметить, проявлял в этом вопросе гораздо больше смелости, чем некоторые современные исследователи. Это, однако, не дает основания причислить критика-марксиста к сторонникам концепции «реализма без берегов», как это попытался сделать Роже Гароди.¹⁰ Как бы широко ни понимал Луначарский возможности реализма, сама жизнь, ее проблематика, общественный человек были теми критериями, по которым он оценивал то или иное произведение искусства. Вполне признавая такие приемы, как гротеск, сатира, карикатура, фантастика, символические синтетические образы и т. д., он неизбежно соотносил их с конкретными жизненными и социальными явлениями. Критик строго различал символизм в широком смысле, присущий истинному произведению искусства, и мистическую символику группы писателей-модернистов, фантастический элемент, органически вытекающий из задач художника, и полумистические «видения», гротеск как прием реалистический и тенденциозное искажение действительности в угоду той или иной точке зрения.

Художник, в понимании Луначарского, волен в выборе методов, приемов, наиболее отвечающих его целям, он может располагать события в каком угодно порядке, показывать явления жизни, соблюдая принцип правдоподобия, или же «стилизовать» их, но так или иначе его произведение должно отражать жизнь, знакомить читателя с его эпохой, с проблемами, которые волнуют человека. Художественное творчество, с точки зрения Луначарского, — это прежде всего явление общественное.

Несмотря на то большое значение, которое придавал Луначарский условным формам в искусстве, следует подчеркнуть, что из всех приемов творчества критик выделял и предпочитал прежде всего те, которые отвечают стремлению художника отразить жизнь в конкретно-чувственных формах самой реальной действительности. Бытующее в литературоведении представление, что Луначарский отдавал предпочтение романтическим формам искусства (или даже романтическому методу), вызвано неправильным, а порой и прямо тенденциозным истолкованием принципиально

¹⁰ См. об этом: Б у г а е н к о П. А. А. В. Луначарский и советская литературная критика. Саратов, 1972, с. 102—103.

верных суждений Луначарского о неограниченных возможностях реализма в области художественных форм.

Принцип реалистического отображения действительности в правдоподобных формах критик находил в творчестве Толстого, Достоевского, Диккенса, Бальзака, Золя, Тургенева, Чехова и многих других художников. Разумеется, внутри так называемого классического реализма существует огромное многообразие форм, обусловленное, во-первых, богатством самой изображаемой действительности, во-вторых, разнообразием творческих индивидуальностей, жанровой природой произведения и многими другими факторами. Л. Н. Толстой однажды сказал: «Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразно, то также — и их форма».¹¹ Это богатство реалистических форм Луначарский несомненно учитывал.

Важные положения, связанные с проблемой художественности, высказаны Луначарским в статье «Мысли о мастере» (1933). Рассматривая вопросы мастерства, критик прежде всего подчеркивал, что основой его является ясное миропонимание. «Мастер носит в себе, так сказать, картину бытия в его развитии, картину гораздо более ясную, чем та, которая развертывается в действительности перед взором любой индивидуальности» (т. 2, с. 556). Мастерство выражения состоит, с точки зрения Луначарского, в том, чтобы передать содержание адекватно, в соответствующей ему форме. Луначарский постоянно призывал молодых советских писателей учиться мастерству выражения на классических образцах.

Отображение действительности в формах ее конкретно-чувственного восприятия критик считал одним из основных принципов реализма, которому должно следовать пролетарское искусство. В одной из своих лучших статей о Горьком — «М. Горький-художник» (1931), сравнивая творческий метод Горького и Толстого, Луначарский как бы вскрывает саму механику искусства правдоподобия. «Горький. . . хочет быть художником показывающим, — писал Луначарский. — Но он является представителем художественного показа в глубочайшем смысле идейного» (т. 2, с. 129). Основным в методе писателя Луначарский считает стремление, «насытившись жизненным опытом, из колоссального запаса своих переживаний создать систему образов, которые прежде всего поражали бы своей правдивостью или своей необыкновенной правдоподобностью. В этом отношении его можно сравнивать с Толстым» (т. 2, с. 130). Метод же Толстого, с точки зрения критика, заключался в том, чтобы читатель убедился, что все, о чем рассказывает автор, — не выдумка, а именно так и было или могло быть на самом деле. «Вся так называемая „безыскусственность“ его искусства направлена к тому, чтобы нам казалось, что автор ничего не прибавил. . . что это есть сама жизнь. И всякий раз вы видите образы и не видите Толстого. . .» (т. 2, с. 130). Луначарский даже называет такую установку писателя «уловкой» в том смысле, что так называемая безыскусственность на самом деле оказывается искусством, быть может, самым искусным.

Силу такой формы изображения Луначарский видел не только в правдивом показе жизненных явлений, но и в возможностях художника скрыто утверждать ту или иную тенденцию. Здесь, кстати, заключалось одно из важнейших положений эстетики реализма Луначарского. Так, Г. В. Плеханов и В. В. Воровский видели недостаток Горького в том, что он стал «тенденциозным», и противопоставляли его «нетенденциозному» Толстому. В отличие от Воровского Луначарский считал «Войну и мир» и «Анну Каренину» «типичнейшими тенденциозными» (т. 8, с. 397) романами и видел в этом одну из причин необычайной популярности Толстого.

¹¹ Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, I. М., 1922, с. 93.

Имея в виду романы Толстого, Луначарский писал, что внешняя объективность является одной из лучших форм убеждения: «... когда художник рассказывает вам событие, сплетает перед вами композицию целиком из образов, то вложенная им туда сознательно (а иногда и бессознательно) оценка действует тем сильнее. Она как бы вкладывается в самую действительность, в самые факты. Громадная убедительная сила реализма заключается в этом» (т. 8, с. 203).

Луначарский с удовлетворением отмечал, что в молодой советской литературе живут и развиваются традиции классиков. Он называл Горького, Фадеева, Шолохова, Леонова и противопоставлял их писателям, склонным к поверхностному воспроизведению действительности без серьезного осмысления сущности происходящего, стремящимся к протокольной точности без глубокого проникновения в суть того или иного явления. Против этого он особенно предостерегал молодых писателей. Речь шла о месте субъективного фактора в правдивом изображении объективного мира. «Художественная объективность, — писал Луначарский в статье «Без тенденций», — есть на самом деле страстная, художественная субъективность. . . вся целиком переработанная в жизнь согласно своим внутренним законам развивающегося художественного образа» (т. 2, с. 297). Таким образом, художественная объективность не означает протокольного воспроизведения действительности «без тенденций», а, напротив, предполагает «страстную художественную субъективность» отношения автора к изображаемому, действительность, пропущенную сквозь призму авторского восприятия. Отчетливо прозвучала эта мысль в споре с Борисом Пильняком, когда Луначарский сравнил, пользуясь образами Свифта, натуралистическую позицию писателя с позицией карлика, который, стоя вплотную перед лицом революции, «хорошо видит разные язвы и неровности кожи, которые совершенно неприметны с нормального расстояния и нормальному глазу. . .»¹²

В этом плане позиция Луначарского во многом перекликалась с точкой зрения Горького, который всегда боролся с так называемым «объективизмом» в искусстве, с натуралистическим фотографированием жизни.¹³ «В основе своей искусство есть борьба за или *против*, — писал Горький, — равнодушного искусства. — нет и не может быть, ибо человек не фотографический аппарат, он не „фиксирует“ действительность, а или утверждает, или изменяет ее, разрушает».¹⁴

Вопрос об активной позиции художника был тесно связан с процессом активизации личности и отображением этого процесса в литературе. Чехов писал: «Художник должен быть не судьей своих персонажей. . . , а только беспристрастным свидетелем».¹⁵ На рубеже веков взгляд Чехова на позицию писателя «уже далеко не во всем совпадал с общими художественными тенденциями в реалистическом движении».¹⁶ Не случайно спор о Чехове, который разгорелся в русской критике, приобрел острый характер. Не случайно и то, что некоторые критики-марксисты, в том числе и Луначарский, не принимали определенных тенденций чеховского творчества.¹⁷ Однако важно отметить, что, возражая против чеховского «объективизма», невмешательства в изображаемые события, критики-марксисты видели в его творчестве продолжение реалистической традиции

¹² Лит. газ., 1970, 2 дек., № 49, с. 6.

¹³ См. об этом: Б а л а б а н о в а Н. Горький о «правде факта» и правде жизни. — В кн.: Творческий метод. М., 1960, с. 289—290.

¹⁴ Г о р ь к и й М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 27. М., 1953, с. 444—445.

¹⁵ Ч е х о в А. П. Полн. собр. соч. и писем, т. XIV. М., 1949, с. 118.

¹⁶ Литературно-эстетические концепции в России конца XIX—начала XX в. М., 1975, с. 112.

¹⁷ См. об этом: С е м е н о в с к и й О. В борьбе за реализм. Кишинев, 1976, с. 24—58.

русской литературы и в этом противостояли определенной части критики, причислявшей Чехова к модернизму.

Сравнивая точки зрения Воровского и Луначарского на творчество Чехова, О. Семеновский видит в позиции Луначарского «попытку соединить представление о задачах литературы с идеями философии Ницше, с идеями махизма». ¹⁸ Упрекая современных исследователей творчества Луначарского в том, что они уклоняются от ответа на вопрос, в чем конкретно проявлялось влияние идеалистической философии на эстетические взгляды Луначарского (в частности, такой упрек делается Н. А. Трифонову), О. Семеновский, как нам кажется, впадает в односторонность, не учитывая того, что вся литературно-критическая деятельность Луначарского свидетельствует о незначительности влияния, оказанного на эстетические взгляды критика идеями Ницше и Маха.

Рассматривая вопрос об отношении Луначарского к учению Ницше, следует учитывать несколько факторов, в частности широкое распространение философии Ницше в тот период в России, эволюцию взглядов критика на учение Ницше ¹⁹ и прежде всего то конкретное содержание, которое импонировало Луначарскому в работах немецкого философа. В статье, посвященной «Дачникам» Горького, Луначарский писал: «Ницше требовал от человека гордости, требовал от него мужества смотреть правде в лицо и искать правды, хотя бы она несла с собою и страдание. . . И в этом (курсив мой, — Н. Г.) мы с ним совершенно согласны» (т. 2, с. 9). Такого рода высказывания следует понимать не отвлеченно, а в конкретном историческом контексте.

Справедливой кажется нам точка зрения Н. А. Трифонова, который пишет: «. . . читая книги Авенариуса или Ницше, он (Луначарский, — Н. Г.) не переставал быть революционером, искал в них то, что было близко, созвучно его революционным позициям». ²⁰

Возвращаясь к творчеству Чехова, укажем, что О. Семеновский легко сделал совершенно неверный вывод о том, что Луначарский «по сути дела отвергал мысль о реализме Чехова». ²¹ Внимательный анализ высказываний Луначарского о творчестве Чехова показывает, что критик глубоко понимал особенности чеховского реализма. «Я не знаю, — писал он еще в 1903 году, — есть ли сейчас в Европе талант, равный Антону Павловичу Чехову» (т. 7, с. 23). Позже, отмечая необыкновенную способность Чехова уловить значительность в самых, казалось бы, незначительных фактах, лаконизм чеховского письма, особенности юмора писателя, нередко переходящего в сатиру, музыкальность его прозы, Луначарский проводил мысль о силе самого творческого метода писателя, способного вскрыть самое существенное в жизни. «Чехов, будучи реалистом, к манере импрессионизма прибавил еще музыку, — писал Луначарский, — так что по великоленной насыщенности, по богатству чеховская проза, как проза, как язык, стоит, может быть, на самом первом плане во всей русской литературе». ²²

В реализме конца XIX—начала XX века исследователи усматривают такие отличительные черты, как взаимодействие отдельных видов искусства, стремление к емкости изображения, символичность образов, лиризм,

¹⁸ Там же, с. 43.

¹⁹ «Правы те, которые предполагают, что сейчас большое оправдание в его учении могут найти себе люди, защищающие голые позиции современного империализма. . . Ницше в будущем может послужить буржуазии», — пронизательно замечал впоследствии Луначарский (Лит. наследство, т. 82, 1970, с. 323, 324).

²⁰ Трифонов Н. А. Указ. соч., с. 41.

²¹ Семеновский О. Марксистская критика о Чехове и Толстом. Кишинев, 1968, с. 109—110.

²² Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы. М., 1976, с. 427.

экспрессивность детали и т. д., отмечая, что Чехов стоял у начала этих тенденций. Эти новые черты чеховского реализма были верно уловлены уже в начале века Луначарским, позднее указавшим на важное значение чеховской художественной традиции для молодой советской литературы. «Я положительно не могу себе представить, — писал критик, — как может нынешний новеллист, писатель повестей обойтись, не пройдя школы Чехова».²³ Что же касается вопроса о новом герое в жизни и литературе, который был одним из самых острых на рубеже веков, то все-таки Горький, а не Чехов был первым русским писателем, который в новую эпоху показал во весь рост этого героя — человека революционного действия, активного творца истории. И конечно, Горький был подготовлен к этому всем развитием русского реализма, знаменуя своим творчеством новый его этап.

Как-то Горький написал Чехову, что тот «убивает реализм». Эти слова тоже толковались по-разному. Как справедливо отмечает К. Д. Муратова, «в данном письме речь шла не о реализме как художественном методе, а об особом характере чеховского таланта, о сложной простоте его, о проникновенном знании жизни, необычайной правдивости и искренности». «Вместе с тем, — продолжает исследовательница, — Горькому (добавим: и Луначарскому, — *Н. Г.*) было ясно, что Чехов не все сказал о человеке и своем времени. . .»²⁴ Сам Горький убежденно писал: «. . . настало время нужды в героическом»,²⁵ имея в виду новое отношение к жизни и к герою. Таким образом, суждения Луначарского о Чехове были созвучны общественным устремлениям эпохи. От Чехова ждали внимания к новому человеку, ждали изображения нового героя, который уже появился в новой действительности. Искания писателя развивались в этом направлении («Вишневый сад», «Невеста»). И в то же время Луначарский одним из первых оценил новаторство Горького, отметив исторический оптимизм его творчества, появление в его произведениях нового героя, героя действия, и подчеркивая, что «коренной читатель Горького — участник этого настраивающегося оркестра» (т. 7, с. 31). Луначарский, справедливо пишет современный исследователь, «больше, чем кто-либо из критиков первой трети XX века, сделал для осмысления горьковского творчества».²⁶

2

Луначарский не раз предпринимал попытки классифицировать литературные формы реализма. Не всегда эти попытки были удачны, критик подчас отдавал дань вульгарно-социологическим тенденциям (см., например: т. 8, с. 494). Интересной и несомненно заслуживающей внимания исследователей является предложенная критиком в статье «Романы Н. Г. Чернышевского» схема градации соотношений художественной литературы и чистой публицистики. И хотя сам Луначарский называет ее «приблизительной» и «грубоватой», она представляется плодотворной при анализе художественного творчества. Вопрос, затронутый Луначарским в этой статье, важен не только для понимания русской классической литературы, но сохраняет принципиальное значение и для литературы нашего времени.

Условно принимая за исходную ступень градации «чистое искусство», Луначарский обращает внимание на то, что практически полная бесцензурность вряд ли достижима и «в собственной своей чистоте превращается в собственную же противоположность» (т. 1, с. 263). Такой род искусства критик называет «безыдейными фантазиями», «игрой воображения».

²³ Там же, с. 425.

²⁴ Муратова К. Д. Указ. соч., с. 26.

²⁵ Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 28, с. 113.

²⁶ 100-летие А. В. Луначарского. М., 1977, с. 46.

Следующей ступенью Луначарский считает творчество такого художника, который осознает, ради чего он пишет, и, показывая жизнь «в прекрасном, кристально-прозрачном отражении», часто «сознает себя учителем жизни». В качестве примера подобного художника Луначарский приводит Л. Толстого (т. 1, с. 263—264).

С другой стороны, Луначарский отмечает, что, помимо чистой публицистики, которая боится каждого страстного оборота речи, «огромное большинство публицистов, нисколько не нарушая великолепнейших научных своих построений, является *в то же время* художниками. Они очень любят метафоры, остроты, цитаты из крупных поэтов, они смеются, негодуют, недоумевают и т. д.» (т. 1, с. 264—265). Автор статьи называет при этом имена Маркса, Энгельса, Ленина, Герцена и др.

Следующим шагом приближения публицистики к художественной литературе является, по Луначарскому, творчество писателей, которые выражают общественно-политические идеи в образной форме потому, что стремятся увлечь более широкий круг читателей; или, как говорит Луначарский, может быть, потому, «что есть внутренняя потребность на конкретных примерах, разработанных воображением, доказать правильность своих положений» (т. 1, с. 265). Такой писатель считает свой роман прежде всего произведением идейным, призванным выразить его мысли. Примеры подобного подхода к творчеству Луначарский находил у Герцена, Чернышевского, Щедрина, Успенского. Несхожесть их поэтики с поэтикой романов Тургенева не означала, с точки зрения критика, отсутствия художественности и эстетической значимости такого рода произведений. «Имеет ли право великий мыслитель, вскрывающий неправду окружающего общества и знающий какую-то другую правду, желающий говорить от имени другого класса, — имеет ли он право воплощать свое мирозерцание в художественных образах так, чтобы не мирозерцание включалось в образы, а чтобы образы включались в мирозерцание, как нечто подсобное?» — задает вопрос Луначарский и отвечает: «Имеет право! Тенденциозно ли будет его произведение? Еще бы! Причем здесь уже слово „тенденция“ имеет значение не некоторого провала творческого воображения, — оно обозначает просто целеустремленность этого произведения, сознающую себя, гордую собой» (т. 1, с. 265). Луначарский доказывает не только допустимость подобного приема, но и утверждает, что в будущем пролетарском искусстве этот род художества займет значительное место. В частности, критик обращает внимание на эффективность такого приема Чернышевского, как рациональный диалог, которого, по мнению критика, современные писатели не должны бояться. Указывая в качестве примера на роман Горького «Жизнь Клима Самгина», который упрекали в переизбытке рациональных диалогов, Луначарский очень высоко оценивает художественные достоинства романа. С точки зрения критика, «эти рациональные диалоги, умные разговоры будут занимать все больше места в нашей литературе» (т. 1, с. 267). Сказанное не отрицает в то же время существования рядом с подобными произведениями таких, в которых элемент открытой публицистичности будет отсутствовать.

Насколько важно это замечание Луначарского, позволяет убедиться тот факт, что в современной художественной литературе действительно можно нередко встретить публицистические отступления, которые, как правило, не нарушают композиционной уравновешенности художественного произведения. Достаточно вспомнить многие страницы бондаревского «Берега», «Царь-рыбу» В. Астафьева, повести В. Распутина и многие другие произведения. О большом элементе публицистичности свидетельствует и отмеченная в современной критике возросшая роль документа в художественном произведении.

Таким образом, взгляд Луначарского на соотношение художественной литературы и публицистики значительно расширяет представления о поэ-

тике реалистического творчества, он применим не только к его эпохе, но и к нашим дням. В этом свете становятся более понятными призывы Луначарского учиться у народных, у революционных демократов не только содержательности, но и мастерству.

С точки зрения Луначарского, многообразие форм реалистического творчества обуславливается уже тем, что художественное изображение действительности немыслимо без элемента фантастики, вымысла. «... Дело художника, — писал он в статье «М. Горький-художник», — заключается в том, чтобы вовсе не фотографировать, не протоколировать факты, а создавать их путем воображения и фантазии, то есть выдумывая их и делая так, чтобы вы выдумку не чувствовали и сказали бы: вот она, правда!» (т. 2, с. 131). Художественное творчество является результатом эстетического претворения действительности, а не ее копированием. Не случайно в работах Луначарского часто встречается термин «символ».

Понятие «символическое искусство» у Луначарского коренным образом отличалось от того смысла, который вкладывали в этот термин теории символизма, как не имела почти ничего общего символика многих реалистических произведений 1910-х годов с символикой символистов-декадентов.²⁷ Объясняя свое понимание символа, Луначарский писал: «Художник очень большой объем мыслей, очень большой объем чувств, какую-нибудь широчайшую идею, какой-нибудь мировой факт хочет передать вам наглядно, передать образно, чувственно, не при помощи абстрактной мысли, а в каком-то конкретном, непосредственно действующем на ваше воображение и сердце образе. . . Это можно сделать, только подыскав такие образы и сочетания образов, которые могут быть конкретно перед вами представлены в некоторой картине, но значат гораздо больше того, что они непосредственно собой представляют» (т. 4, с. 335). В одном из новейших исследований о символе точка зрения Луначарского оценивается как «глубокая и сложная», причем она воспринимается как противоположная «узкосимволистскому пониманию символа».²⁸

«Каждый раз, когда поэт имеет в виду очень большое явление, — писал Луначарский, — он подвергается опасности подменить искусство, поэзию политическим мышлением, дидактикой, риторикой, всяким непозитическим материалом. И чтобы вернуться к образам, ему приходится употреблять символы. Такой символизм хорош. Таков символизм „Фауста“ Гете, таков символизм многих наиболее великих произведений литературы всех времен, вплоть до нашего времени, в произведениях, заряженных чрезвычайно большим содержанием» (т. 4, с. 335—336). Как отмечает современный исследователь, «в этих рассуждениях А. В. Луначарского проскальзывает еще и тот важный момент определения, который не сводится даже и на просто функцию действительности, но является такой функцией действительности, которая обратно действует на действительность с целью ее переделывания и прогрессивно-творческого пересоздания».²⁹

«... Всякое крупное художественное произведение — более или менее символично, — писал Луначарский, — ибо дает нам в образах концентрированную жизнь. Образ же, концентрирующий жизнь, то есть обладающий значением, много превышающим его непосредственное, внешнее содержание, называется символом» (т. 5, с. 281—282). Поэтому в каком-то смысле каждый художник оказывается символистом в своем стремлении выделить в действительности некую *глубинную реальность*. Отделяя символизм ис-

²⁷ «... Эстетическая природа символики у реалистов и символистов, — справедливо пишет Л. Крутикова, — была совершенно противоположная, ибо одни осмыслили реальность, быт, конкретное в социально-историческом плане, другие уходили от реальности в мистику, в бытовом и конкретном искали иррациональное, неземное» (в кн.: Судьбы русского реализма начала XX века, с. 193).

²⁸ Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, с. 9—11.

²⁹ Там же, с. 11.

тинный от символизма как специфического течения литературы и искусства, Луначарский тем самым оспаривал приоритет символистов в использовании символа. Вопреки претенциозным утверждениям К. Бальмонта и других символистов, что «реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты — всегда мыслители», что «реалисты охвачены, как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не видят ничего, — символисты, отрешенные от реальной действительности, видят в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь — из окна»³⁰ и т. п., Луначарский утверждал, что именно реализму, ориентирующемуся на действительность и стремящемуся охватить явления во всей их глубине и значительности, не отрываясь от конкретного содержания, доступно не только художественное познание жизни, но и активное воздействие на нее.

Таким образом, кроме форм реализма, которые в правдоподобных образах воспроизводят различные явления как объективного мира, так и субъективного, возможны многочисленные «деформации» действительности в зависимости от художественных устремлений писателя.

Несомненный интерес представляют размышления Луначарского об использовании романтической поэтики в современной литературе. Луначарский смотрел на романтическое искусство как на искусство, овеянное пафосом мечты, пронизанное возвышенными чувствами и образами. Существует, с нашей точки зрения, некоторая недоговоренность в вопросе об отношении Луначарского к романтизму. Есть мнение, что Луначарский являлся приверженцем романтического искусства и отдавал ему предпочтение перед реалистическим. Так, Б. Бялик, сравнивая взгляды Воровского и Луначарского, пишет: «. . . нельзя забывать о различии стилевых пристрастий двух критиков. В. Воровский тяготел к изображению жизни в формах самой жизни, А. В. Луначарский — к романтически-патетическому ее освещению, к обобщенно-символическим формам».³¹ В другом месте этот же исследователь, сравнивая высказывания Горького и Луначарского (отметим, что между этими высказываниями лежит отрезок времени по крайней мере в 25 лет), заключает, что принадлежащие им формулировки различны, что Луначарский «недостаточно подчеркивал значение реализма нового типа именно как реализма».³² Слова Луначарского взяты из статьи «Задачи социал-демократического художественного творчества» (1907), где критик развивал мысли, созвучные ленинским в статье «Партийная организация и партийная литература». Луначарский писал, что художник, бунтующий против буржуазии, может пойти двумя путями — путем мистического мироотрицания и путем сатирического бичевания действительности. «Путь реализма — это путь *реального* протеста» (т. 7, с. 159). Говоря о реализме старого и нового типа, Луначарский подчеркивал, что «пролетарский художник может, конечно, натуралистически (т. е. реалистически, — Н. Г.) анализировать общество и вскрывать его язвы, но он делает это, как хирург, ищущий исцеления и твердо уверенный в нем. . . Дух творчества, надежды, — вот что вдохнет новую жизнь в реализм, когда реализм этот станет пролетарским» (т. 7, с. 161). Как видим, речь совершенно определенно идет о новом типе именно реализма.

Сравним приведенные Б. Бяликом высказывания Луначарского и Горького. Луначарский в статье «Задачи социал-демократического художественного творчества» писал о том, что социал-демократические художники «во-первых. . . ненавидят отживающий строй. Поэтому элемент бичующий, саркастический будет иметь место и в пролетарском искусстве. Во-вторых — они борются за новый мир. И поэтому борьба. . . будет за

³⁰ Литературные манифесты. М., 1929, с. 26.

³¹ Литературно-эстетические концепции в России конца XIX—начала XX в., с. 58.

³² Там же, с. 64—65.

нимать центральное место среди тем нового художника. В-третьих, они провидят. . . этот новый, лучший мир» (т. 7, с. 162). Никаких существенных разногласий в приведенном высказывании с теми суждениями, которые мы находим у Горького, нет, кроме тех, которые обусловлены чисто историческими причинами. Горький писал, что пролетарский писатель должен выступать как «сатирик в отношении к прошлому, беспощадный реалист в настоящем и революционный романтик в предвидении, в оценке будущего. . .»³³ Отметим, что в 1933 году черты нового метода, о котором писали и Горький и Луначарский, стали, несомненно, ярче, осознанней, оформленней, многие проблемы, которые стояли перед социал-демократическим художником, отошли в прошлое, появились новые проблемы. Отрезок времени с 1907-го по 1933 год характерен не только колоссальным сдвигом в области политической, экономической, социальной, но и большими изменениями в области эстетики, литературы и искусства, которые необходимо учитывать.

Луначарский говорит об элементе «бичующем», «саркастическом» по отношению к отживающему строю. Этот отживающий строй к 1933 году стал строем отжившим, и поэтому Горький пишет о сатирическом отношении пролетарского писателя к старому миру. Далее Луначарский говорит о том, что борьба за новый мир будет занимать центральное место в произведениях пролетарских писателей. Страницей ранее он писал: «Пролетарский художник будет изображать и рабочий быт, но не нищета привлечет прежде всего его внимание (что было свойственно старым реалистам, — Н. Г.), а боевая сторона пролетарской жизни. . . Дух творчества, надежды — вот что вдохнет новую жизнь в реализм, когда реализм этот станет пролетарским» (т. 7, с. 161).

Таким образом, Луначарский подчеркивает, что социалистический реализм будет прежде всего реализмом, но реализмом нового типа, пронизанным духом активного переустройства жизни. Нет необходимости пояснять, что борьба за новый мир, за нового человека (после того, как устои старого мира рухнули), формирование нового человека и нового отношения к жизни были центральными проблемами литературы и искусства, стремящихся не только отражать происходящие в обществе изменения, но активно участвовать в борьбе старого с новым. То, что было в потенции в 1907 году, станет затем реальной действительностью после 1917 года. И это должно было стать и стало предметом внимательнейшего анализа и изображения пролетарскими художниками. Горький говорит о «беспощадном» реализме в настоящем. Нам представляется, что и здесь точки зрения Горького и Луначарского соприкасаются самым тесным образом, так как Луначарский имел в виду не приукрашивание действительности, а умение увидеть в ней реальное содержание жизни общества, в котором назревала новая революция. И наконец, Луначарский писал о том, что пролетарские художники «провидят, хотя и „в зеркале гадания“. . . этот новый, лучший мир» (т. 7, с. 162). Речь, следовательно, идет о литературе, окрашенной мечтой, о литературе, обращенной в будущее, к новому обществу и новому человеку. Горький же говорил о революционном романтизме как предвидении будущего. Но что означало это предвидение — отвлеченную игру фантазии, попытку уйти от действительности? Речь и у Горького и у Луначарского шла о реальном будущем, о новых людях, которые уже рождались. Речь шла о той «реальной мечте», о которой говорил Ленин.³⁴ Разве это не имеет отношения к реализму? Несомненно имеет, и самое прямое. «Луначарский, — справедливо пишет А. Павловский, — склонен был. . . толковать романтизм как доведенное до известной степени свой-

³³ Предисловие к книге Я. Виртанена «Избранные стихи» (Петрозаводск, 1973, с. 5).

³⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 171—172.

ство реализма максимально синтезировать и укрупнять жизненные явления».³⁵ Не случайно поэтому, как подчеркивает исследователь, Луначарский искал новых терминов, «более точно выражающих содержание и обозначающих генетическое родство подобного рода романтизма с реализмом. Так, он употреблял термины „символическое искусство“ и „символический реализм“. . .»³⁶ Иногда Луначарский употреблял термин «монументальный реализм» (т. 8, с. 498). А. Павловский указывает, что основные положения статьи Луначарского «Мещанство и индивидуализм» (1909) остались и в дальнейшем основополагающими в концепции критика. Убедительным нам кажется и другое утверждение исследователя: точка зрения, что «в основе романтического творчества М. Горького, а также во многих произведениях новой социалистической, а впоследствии и советской литературы романтического толка, лежит реализм, осталась свойственна А. В. Луначарскому до конца его жизни».³⁷

Взгляды Луначарского 900-х годов получают развитие во многих более поздних его произведениях, в частности в работах о социалистическом реализме. «Социалистический реализм. . . — прежде всего это реализм, верность действительности. . .» (т. 8, с. 495). И если уж сравнивать высказывания Горького и Луначарского, то скорее следовало бы иметь в виду именно последние работы критика, посвященные теории социалистического реализма.

Таким образом, дело не в том, какое значение придавал Луначарский условным романтическим и другим формам искусства, а в убеждении его, что в одних условиях эти формы могут противоречить реалистическим принципам, а в других способствовать углублению реализма. Когда Луначарский говорил о романтических формах в литературе социалистического реализма, отмечая их тяготение к монументальным синтетическим образам, он имел в виду формы, которые органично входят в общее русло реалистической литературы. Важно при этом учитывать, что Луначарский чаще всего и больше всего подразумевал не прозаические жанры, а жанры драматические и поэтические, которые по своей природе больше связаны с условными формами. «Народный реалистический театр во все времена имел устремления к фантастике, — писал Луначарский в статье «Театр РСФСР» (1922). — Но фантастика эта должна быть убедительна, должна быть как можно более ощутима, художественно правдива. Наконец, могучая душа народных коллективов требует, чтобы содержание передано было в формах мощных, ярких, монументальных» (т. 3, с. 119). О таком же монументальном народном театре мечтал и Ромен Роллан: «Наш народный театр силою вещей должен вернуться к зрительным условиям театра древнегреческого. Действие широкого размаха, фигуры, сильно очерченные крупными штрихами, стихийные страсти, простой и мощный ритм; не станковая живопись, а фреска; не камерная музыка, а симфония. Монументальное искусство, творимое народом и для народа».³⁸ Луначарский также писал о большой фреске как о «царице живописи»,³⁹ о симфонии и других формах монументального искусства.

Вопрос этот нуждается, несомненно, в более подробном освещении, так как подобные переклички не были случайностью, а свидетельствовали о том, что поиски этих литераторов проходили в общем русле. Обращение к условным монументальным, романтически-патетическим образам Луначарский связывал с грандиозным содержанием, которое в них вкладывается. Он считал, что новый зритель будет нуждаться в новом театре —

³⁵ В кн.: А. В. Луначарский. Исследования и материалы. Л., 1978, с. 112.

³⁶ Там же, с. 113.

³⁷ Там же, с. 98.

³⁸ Р о л л а н Ромен. Собр. соч. в 14-ти т., т. XIV. М., 1958, с. 239.

³⁹ Новый мир, 1966, № 9, с. 238.

театре широкой идейной проблематики и глубоких чувств (см.: т. 3, с. 59). Романтика нового искусства должна быть «романтикой подъема», которая имеет «глубочайшую связь с реализмом и представляет собою, в сущности говоря, только поднятый на большую высоту и выраженный с большей энергией реализм» (т. 6, с. 54). Романтику же, отворачивающуюся от действительности, критик называл «болотным цветком эпохи безвременья» (т. 6, с. 54).

Как бы Луначарский ни называл эти формы — «символическими», «синтетическими», «монументальными», — он всегда имел в виду, что «пролетариату придется часто для воплощения своих огромных идей, чувств и дел ломать рамки реалистического события, создавать особые, повышающие конкретный реализм картины, которые лучше передавали бы всю полноту того или другого явления. . . чем это можно сделать через правдивый и конкретный факт» (т. 6, с. 254). Здесь новое искусство может создавать и новые образы, и пользоваться теми, которые уже создало человечество, например образами греческой мифологии, романтическими образами и т. д.

Впоследствии, как бы развивая мысль Луначарского, А. Фадеев писал, что «жизнь нашу и завтрашний день наш можно изображать и в форме, родственной классическим реалистическим романам, то есть на бытовой основе, и в форме, родственной „Фаусту“ или „Демону“, то есть в форме романтической, или сказочной, или условной, в общем, в любой форме, позволяющей видеть правду».⁴⁰

Широкое понимание Луначарским проблемы условных форм в искусстве позволило ему высказать ряд плодотворных мыслей о роли фантастики в литературе. В свое время он полемизировал с В. Воровским, который считал любую попытку заглянуть в будущее «беспомощной и жалкой подделкой под *научный* прогноз».⁴¹ Луначарский же отмечал важность и ценность фантастических романов не только с чисто художественной точки зрения, но и с точки зрения того, что фантастика «приоткрывает хотя бы гадательное будущее, как эти современники его себе представляют» (т. 8, с. 393). Поэтому так высоко Луначарский оценивал произведения Г. Уэллса, которого называл «реалистом-психологом», «реалистом-социологом» (т. 4, с. 308).

3

Большое внимание уделял Луначарский так называемым формам отрицательного реализма, которые, с точки зрения критика, «могут переходить в любую степень внешнего неправдоподобия при условии громадной внутренней реалистической верности» (т. 8, с. 500). Сюда относятся всевозможные формы художественного смеха, изучению которых Луначарский хотел посвятить труд «Социальная роль смеха» (к сожалению, он не был осуществлен). Тем не менее можно найти много страниц в его трудах, где критик обращается к вопросам комического, его теории, его разновидностей, конкретному воплощению в творчестве того или иного художника. Луначарский придавал смеху большое значение в общественной жизни именно в силу его социальной природы, которую он понимал как моральную победу над злом, над несправедливостью, как осознание своего превосходства над несовершенством жизни. «Смех не только признак силы, но сам — сила», — писал Луначарский в статье «Будем смеяться» (т. 3, с. 76). Видя в народной смеховой культуре прошлого огромное достоинство, критик считал важной задачей советской власти, советской

⁴⁰ Фадеев Александр. За тридцать лет. М., 1957, с. 663.

⁴¹ Воровский В. В. Соч., т. II. М., 1931, с. 218.

культуры «направить в достоподобное русло стихию народного смеха» (т. 3, с. 76). «Неужели, — писал он, — на ярмарках, на площадях городов, на наших митингах не будет появляться, как любимая фигура, фигура какого-то русского Петрушки, какого-то народного глашатая, который смог бы использовать все неисчерпаемые сокровища русских прибауток, русского и украинского языков с их поистине богатырской силищей в области юмора? Неужели не зазвучит такая ладная, танцевальная. . . русская юмористическая песня, и неужели все это не пронзится терпким смехом всеразрушающей революции?» (т. 3, с. 78). Веселые скоморохи, которых ненавидела и преследовала церковь, представляли, с точки зрения Луначарского, «стародавнюю, вольную от аскетизма, республиканскую, языческую Русь», которая, по мнению критика, «должна теперь вернуться, только в совершенно новой форме, прошедшая через горнило многих, многих культур, владеющая заводами и железными дорогами, но такая же вольная, общинная и языческая» (т. 3, с. 78).

Луначарский стремился не только теоретически и исторически осмыслить роль смеха, но обнаружить богатство его литературных форм. Он отдал много сил созданию Комиссии по изучению сатирических жанров (КСАЖ).⁴²

Во многих работах Луначарского можно обнаружить попытки классифицировать формы смеха — от злой беспощадной сатиры до мягкого добродушного юмора. В связи с этим приобретает принципиальное значение спор Луначарского с некоторыми критиками по поводу роли сатиры и юмора в советском обществе. Например, в статье, полемически направленной против точки зрения И. Нусинова, Луначарский отстаивает серьезное значение смеха, его разящую внутреннюю силу. Положительно оценивая роман Ильфа и Петрова «12 стульев», Луначарский писал: «Ильф и Петров очень веселые люди. . . Они сознают не только свою внутреннюю силу, а стало быть, свое превосходство над окружающей обывательщиной. . . но они знают — эта сторона советского быта. . . эта обывательщина являются только подонками нашего общества» (т. 2, с. 521). Связывая романы Ильфа и Петрова с традицией испанского плутовского романа, с произведениями Лесажа и Бомарше, Луначарский очень тонко замечает разницу между героями Лесажа и Бомарше и героями современных писателей: там плут был положительным героем, а у нас нет (см.: т. 2, с. 524).

Анализируя образ главного героя романа, Луначарский высказывал некоторые опасения по поводу той оценки, которую получал герой Ильфа и Петрова на страницах романа. «Остап Бендер, — писал он, — который все разлагает своей философией беспринципности, своим организмом очень умного комбинатора, начинает нас тревожить, как бы не вообразил кто-нибудь, что это — герой нашего времени, как бы Остап Бендер не оказался образчиком для юнцов, не перепрыгнувших еще своего болота» (т. 2, с. 524). Луначарский считал, что Остап вырос в слишком большую величину, иными словами, речь шла о проблеме типичности. Критик отмечал и то, что на авторах романа лежит большая ответственность за судьбу Бендера, так как сочувствие, которое он вызывает, может явиться «элементом анархическим» (т. 2, с. 524).

Широко понимая комическое, Луначарский определял глубину и ценность комического образа не по степени его правдоподобности, а по уровню типизации, по силе синтетичности, обобщения, по умению автора схватить главное, существенное в жизненном явлении. Комические персонажи Грибоедова, писал Луначарский, вряд ли «списаны с действительно существующих людей. . . Эти люди взяты синтетически» (т. 1, с. 25). Тем не менее у Грибоедова «все соответствует действительности, все чистый художественный реализм» (т. 1, с. 25). Критик точно уловил самую

⁴² См. об этом: Ровда К. И. Луначарский и Пушкинский дом. — Русская литература, 1975, № 3, с. 116—117.

сущность метода Грибоедова, когда писал: «Синтетически, не окарикатуривая, взять сквозь смех самую необходимую сущность фигур, типизирующих целую полосу, целую породу в современном обществе, — этому нужно учиться» (т. 1, с. 26). Сказанное во многом перекликается с мыслями самого Грибоедова, писавшего Катенину: «. . . портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии, в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько всякий человек похож на своих двуногих собратий. Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь».⁴³

Луначарский глубоко раскрывал в ряде статей сущность и формы комического у Гоголя. Много общего находил критик у Гоголя с Гофманом. «Гофман, — писал он, — необычайно остро видел окружающую его действительность, и в этом смысле был одним из первых и острых реалистов» (т. 4, с. 255). Гоголь, по мнению Луначарского, «чрезвычайно зависит от Гофмана во многих произведениях, например в „Портрете“ и „Носе“» (т. 4, с. 255). Так же как у Гофмана, его фантастические видения рождались из стремления уйти от мелкой, ничтожной действительности, от «свиных рыл», которые его окружали. С одной стороны, у Гофмана и Гоголя — меткая реалистическая картина действительности, с другой — попытка противопоставить действительности идеал, мир иллюзий, в чем проявилась родственная связь этих писателей с романтизмом. «Зорким глазом он (Гоголь, — Н. Г.) усматривает эту действительность, чтобы сейчас же стилизовать ее, преувеличить, как хороший карикатурист».⁴⁴ «Верно, — писал Луначарский, — что гоголевский реализм не есть правдивое отображение действительности, а карикатура, и злая карикатура, на нее. Это шаржи на жизнь. Но можно ли сказать, что карикатурист не правдив? Нет, он правдив и, может быть, даже иногда правдивее точного портретиста. Почему? Потому что он отмечает самое характерное в вас, может быть, самое уродливое, может быть, какую-нибудь несообразность в вашем организме, которая в действительности заслоняется чем-нибудь, но которую он выдвигает на передний план, оголяет. . . Хороший карикатурист дает внутреннюю сущность объекта путем преувеличения, подчеркиваний отрицательных сторон! Так и Гоголь. Борясь с пошлостью, он показывал пошлость. . . словно сквозь микроскоп. Его художественность заключалась в том, чтобы довести пошлость до грандиозности именно в смысле бесконечной глубины самой этой пошлости».⁴⁵ Луначарский называет Гоголя «первым настоящим писателем — исследователем действительности», отмечая в качестве характерной черты его реализма стремление к преувеличению.⁴⁶ Гоголь, с точки зрения Луначарского, целиком отдается действительности, черпает из нее свои впечатления. Но если Грибоедов дает портреты, «не унижаясь до карикатур», то гоголевские Плюшкин, Коробочка или Манилов «не представляют собой портрета данного лица, это даже не типы, обнимающие небольшое количество лиц. . . они собирают в себе в один какой-то кристалл целую массу черт, разлитых всюду».⁴⁷ И тем не менее это типы, все эти Плюшкины, Собакевичи, Ноздревы, — живые образы, так же как Скалозуб, Молчалин, Хлестова: Только они более резко очерчены, более карикатурны, более смешны. Слезы Гоголя остаются невидимыми миру, тогда как гневный голос автора у Грибоедова звучит обличительно в устах Чацкого. «В смехе есть все градации, — писал Луначарский. — Если человек держится на середине между ужа-

⁴³ Грибоедов А. С. Соч. М.—Л., 1959, с. 557—558.

⁴⁴ Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы, с. 167.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Там же, с. 175.

⁴⁷ Там же, с. 179.

сом перед данным явлением и признанием внутреннего своего превосходства над ним, то получается смех, который перебивается слезою, ядовитый, язвительный смех, смех сквозь слезы» (т. 4, с. 302).

Следующей ступенью сатирического воспроизведения действительности Луначарский считал иронию. Среди величайших сатириков и иронистов в истории мировой литературы критик называл имя Салтыкова-Щедрина, ставя с ним рядом из западных писателей только Свифта. «Его смех волнующий, — писал он о Салтыкове-Щедрине, — его смех — мучительный. Он никогда вас не успокаивает. Вы чувствуете, что он смеется над чем-то страшным; еще немного и он гневно раздражится» (т. 4, с. 302). «Великая сатира, — писал Луначарский в другом месте, — возникает там, где сам сатирик освещен каким-то. . . идеалом».⁴⁸

Но если критик находил такой идеал у Чехова, Салтыкова-Щедрина, Свифта, Гоголя, то совершенно по-другому оценивал он роман Федора Сологуба «Мелкий бес», хотя и признавал, что в «Мелком бесе» Сологуб продолжает линию Гоголя, Щедрина, Чехова.⁴⁹ Предметом его художественного изображения тоже является обывательщина, праздность, пустота провинциальной жизни, но Сологуб показывает это, по мнению Луначарского, «ложно». «Это не гоголевская действительность, — писал критик, — страшная в своей нелепости, не чеховские смешные, жалкие будничные людишки, даже не щедринские взятые со злобой карикатуры, не обременяющие землю лишние люди, а это просто патологические субъекты. . . Все это придает кошмарно сумасшедший характер роману. . . портит его. . .»⁵⁰

Непонимание сущности происходящих событий, расплывчатые представления о деятельности революционеров делали туманным, перенасыщенным символикой, во многом искажающим действительность роман другого символиста — А. Белого — «Петербург». «Ему кажется, — писал Луначарский о Белом, — что он проникновенный поэт, который прошел вселенную и все недра уразумел, на самом деле он является сторонним наблюдателем. Поэтому внутренний смысл этого романа очень мал и не рисует Белого крупным мыслителем. . .»⁵¹

Приведенные высказывания важны не только с точки зрения методологических позиций исследователя, позволивших ему верно оценить ограниченность художественного метода писателей-символистов, но и с точки зрения литературно-эстетической борьбы начала века. Известно, что в произведениях Сологуба, Ремизова, Белого некоторые критики увидели соединение символизма с реализмом, тем самым утверждая, что старый реализм отжил свое.⁵² Суждения Луначарского ценны тем, что он указывал на разницу между «реализмом» Сологуба и реализмом Гоголя, Чехова, Щедрина, отстаивая таким образом жизненность принципов классического реализма. Оценка Луначарским этих романов тем более важна, что и сейчас, даже в учебных пособиях, высказывается нередко противоположная точка зрения. Так, в исследовании «Русская литература конца XIX—начала XX в. Девяностые годы» читаем: «. . . Ф. Сологуб сумел показать „передоношину“ как психологию мещанства, вобравшего в себя всю тупость и все хамство самодержавного строя, — и сумел потому, что в его романе; в отличие от его поэзии, были ощутимые связи с гоголевской, щедринской, чеховской традициями. . . Образ сенатора Аблеухова заключает в себе не меньшее художественное обобщение,

⁴⁸ Там же, с. 294.

⁴⁹ Там же, с. 464.

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Там же, с. 464—465.

⁵² Колтоновская Е. Критические этюды. СПб., 1912; Коган П. С. Очерки по истории новейшей русской литературы, т. III. М., 1910—1911. Об этом см.: Муратова К. Д. Указ. соч., с. 150—153 и др.

чем сологубовский Передонов»;⁵³ эти образы «раскрывают бюрократически-реакционную сущность самодержавия». В другом учебном пособии утверждается, что «реалистический метод изображения позволил автору (Сологубу, — Н. Г.) ярко показать моральное уродство и гнусность, характерные для чиновничье-обывательского мира царской России».⁵⁴ Употребление автором в данном случае термина «реалистический метод изображения» по отношению к роману Сологуба тем более неубедительно, что и сам автор отмечает, что Сологуб не стремился вскрывать социальные корни «передоновщины», считая ее общечеловеческим свойством.

Эти оценки кажутся нам сильно преувеличенными. Гораздо более близок к правде был Д. Тальников, который в 1914 году писал: «... реализм „Мелкого беса“ — более видимый, внешний, казовый, чем действительный». Сравнивая образ Передонова с образами Гоголя и Чехова, Тальников приходил к выводу, что Передонов «весь — неправдоподобен, нелеп с точки зрения реальной действительности. . . Перед нами сплошная художественная выдумка, — вполне правдивая лишь как тенденция. . .»⁵⁵

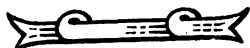
Но есть в оценках и высказываниях, о которых говорилось выше, и более серьезная опасность, — склонность к размыванию границ реализма, к смешению и противопоставлению «изобразительности» и «тенденциозности». Уроки Луначарского, его концепция реализма подсказывают более точные критерии в оценках истинной и мнимой художественности. Луначарский тонко уловил разницу между произведениями великих сатириков и романом Сологуба. Характерно, что он ни словом не обмолвился о смехе у Сологуба. Если критик проводил все градации смеха в произведениях Щедрина, Гоголя, Чехова, то у символиста Сологуба он увидел лишь «патологию», придающую «кошмарно сумасшедший характер роману». У Сологуба действительно смеха нет, это сатира без смеха, этого «великого санитара» (Луначарский), который должен свидетельствовать о силе писателя, о его внутреннем превосходстве над изображаемой пошлостью жизни. Кроме злобы и желчи, которые выливает Сологуб на своих «милых современников», в романе есть страх, ужас перед жизнью, есть непонимание происходящего, есть мистика и есть неубедительная попытка спрятаться от жизни в искусственной атмосфере, в которой живут герои романа Людмила Рутилова и Саша Пыльников.

Глубоко и разносторонне понимая возможности реалистического метода в создании художественных форм, таких, как сатира, романтические и всевозможные условные образы, Луначарский четко осознавал единство метода реалистического искусства. Эта мысль не только теоретически сформулирована в его трудах, но и нашла яркое и убедительное воплощение в конкретном литературном анализе художественных произведений.

⁵³ Русская литература конца XIX—начала XX в. Десяностые годы. М., 1968, с. 22—23.

⁵⁴ Русская литература XX века. Дооктябрьский период. Хрестоматия. Сост. Н. А. Трифонов. М., 1971, с. 625.

⁵⁵ Современный мир, 1914, № 4, с. 131.



ПОЛЕМИКА

П. В. БЕКЕДИН

НЕПОДАТЛИВОЕ ПОЛЕ «ПОДНЯТОЙ ЦЕЛИНЫ»

Творчество Михаила Александровича Шолохова отличается внутренним единством и цельностью. Художественная система этого великого мастера слова на редкость стабильна, выстраданные им принципы изображения действительности устойчивы и не претерпевали коренных изменений. Чтобы убедиться в этом, достаточно, например, перечитать «Донские рассказы» и новые главы из романа «Они сражались за Родину», опубликованные в 1969 году: тот же богатый язык, те же задушевные интонации, та же щедрая палитра красок, звуков, запахов, тот же эпический стиль, то же полнокровие жизни. Мир шолоховских образов неделим — он подчиняется своим собственным законам, помогающим прозаику создавать правдивую летопись революционной России. Произведения этого писателя воспринимаются как равноправные звенья одной цепи.

Сказанное, однако, не означает, что поэтика Шолохова, определившаяся еще в 20-е годы, оставалась все это время застывшей, неподвижной и глухой к ветрам эпохи. Именно мобильность, способность к непрерывному обновлению и обеспечили ей неколебимость и равновесие. В «Тихом Доне» ощутима эволюция взглядов его автора, наложившая известный отпечаток на некоторые особенности содержания и формы эпопеи, что нисколько не вредит ее художественному совершенству. Думается, что если бы исследователи, спорящие вот уже почти четыре десятилетия относительно трагической судьбы Григория Мелехова, пристальнее присмотрелись не только к траектории шолоховского замысла, но и к «кривой» писательского поиска, затрагивающего и мировоззренческую сферу, то их выводы и суждения были бы более основательными и менее противоречивыми. К сожалению, этот вопрос совсем не разработан в науке о Шолохове. Почему-то распространено мнение, что у представителей социалистического реализма не может быть трудных путей к истине. Духовные искания считаются привилегией классиков русской литературы XIX века.

Каждому из произведений Шолохов отдавал жар своего сердца, спешествуя словом-делом строительству коммунистического общества, воспитанию личности нового типа. Вместе с тем было бы натяжкой утверждать, что все созданное прозаиком абсолютно равноценно в художественном отношении. Представляется бесспорным, что очерковый рассказ военных лет «Наука ненависти» несколько уступает рассказу второй половины 50-х годов «Судьба человека». И в этом ничего удивительного нет: разнятся по степени своего совершенства, допустим, пьесы и сонеты В. Шекспира, романы, повести и новеллы Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского... Тем не менее все без исключения творения корифеев мировой литературы отмечены печатью гениальности.

Шолоховские произведения, вылившиеся как бы в одну эпическую песню, которая соотвечует нынешнему веку, изучаются крайне неравномерно. Вероятно, это отчасти объясняется тем, что отдельные исследователи отдаются во власть эмоциям и забывают подчас о важнейших при-

циях историко-литературной науки. Другими словами, субъективное отношение некоторых авторов к тому или иному произведению классика социалистического реализма становится доминирующим и нередко закрывает дорогу к верной и глубокой его интерпретации. Оставляя в стороне вопрос о судьбе шолоховского новеллистического цикла (он нуждается в самостоятельном рассмотрении), мы сосредоточим внимание на актуальных проблемах изучения «Поднятой целины», романа о коллективизации, который, по общему признанию, является одной из вершин отечественной литературы послеоктябрьского периода.

* * *

Спору нет, достигнутое в осмыслении идейно-художественного своеобразия «Поднятой целины» впечатляет. Количество работ о романе продолжает расти. Правда, лишь некоторые из них могут соперничать с современными исследованиями о «Тихом Доне», которым свойственны большой накал мысли, глубина и тщательность анализа. Отчетливо выделяются два десятилетия, характеризующиеся интенсивным изучением шолоховского романа. Прежде всего — это 30-е годы, когда поток брошюр, статей, рецензий казался нескончаемым. По выходе четвертой книги эпопеи «Тихий Дон» критики и литературоведы стали писать о «Поднятой целине» гораздо меньше. Во второй половине 50-х годов наблюдается новая вспышка интереса к произведению о коллективизации: все с нетерпением ждали заключительной его части, опубликование которой вызвало небывалую волну в шолоховедении. Однако уже к концу минувшего десятилетия всех увлекли споры вокруг «Тихого Дона», продолжающиеся до сих пор. Вот уже в течение ряда лет наука о Шолохове не обогащается интересными работами, посвященными «Поднятой целине», хотя о ней по-прежнему печатаются статьи и книги. Нельзя умолчать о том, что последние мало добавляют к уже известному, устоявшемуся, сбиваются на «критику критики» и написаны довольно-таки вяло. Важно при этом подчеркнуть, что любовь читателей к «Поднятой целине», начиная с момента публикации ее первой книги и вплоть до наших дней, никогда не ослабевала.

Образовались ножницы между читательскими запросами и литературоведческими увлечениями. Для подтверждения нашей мысли небезынтересно сравнить объем листаж, отводимого для разбора «Тихого Дона», с одной стороны, и романа о коллективизации — с другой, в самых солидных монографиях, посвященных творчеству Шолохова. Разумеется, этот показатель носит чисто внешний характер (главное заключается в том, что говорится о конкретном произведении), но и сам по себе он весьма красноречив. В третьем издании книги Л. Г. Якименко «Творчество М. А. Шолохова» (М., 1977) раздел об эпопее равняется 385-ти страницам, а раздел о «Поднятой целине» — только лишь 125-ти. Приблизительно та же пропорция выдерживается и в других работах последних лет.

Уяснение причин — а их множество — столь зримой дисгармонии увело бы нас слишком далеко в сторону от темы данной статьи. Впрочем, важнейшие из них все же всплывут при обсуждении актуальных проблем изучения шолоховского романа.

Измучаясь той высоте, на которой стоит первая книга произведения о не остывшей еще современности, А. В. Луначарский подчеркивал, что «Поднятая целина» «поражает правдивостью своих образов и вместе с тем огромной насыщенностью воли, симпатией, пониманием, самым напряженным участием автора в совершающихся событиях».¹ С тех

¹ Лит. наследство, т. 74, 1965, с. 50.

пор и до настоящего времени дискуссий вокруг шолоховского романа, по сути дела, не было. Даже если и велись, то они значительно уступали по своей глубине дискуссиям о «Тихом Доне», ибо затрагивали лишь какие-то частные вопросы. Незаметно и довольно скоро «Поднятая целина» была зачислена в разряд бесспорных вещей, олицетворяющих собой социалистический реализм. Исследования о романе, принадлежащие перу литераторов с разными творческими устремлениями, очень похожи друг на друга, многие узловые формулировки в них совпадают почти дословно. Чтобы удостовериться в этом, достаточно сравнить несколько работ. Сетование В. В. Гуры, имевшего в виду 50-е годы («Значительно менее интенсивно и плодотворно изучался второй роман М. Шолохова — „Поднятая целина“»),² с полным основанием можно повторить и сегодня: за прошедший период мало что изменилось к лучшему...

Чем обусловлена эта ситуация?

К «Поднятой целине» некоторые критики подходят не столько как к явлению словесного искусства, сколько как к достоверному историческому документу революционного переворота в сельском хозяйстве страны. Художественная сила этого романа раскрыта слабо: работы о поэтике и мастерстве Шолохова, построенные на материале произведения о коллективизации, печатаются крайне редко.³ Образная система его осмысливается неравномерно: еще ждут своей разгадки Макар Нагульнов (о нем наговорено много несправедливого и умозрительного) и Андрей Разметнов, внутреннее очарование которого раскрыто явно недостаточно. Женским образам — за исключением одной Вари Харламовой — совсем не повезло: они находятся на правах изгоев.⁴ Как выяснилось, деда Шукаря тоже не легко «раскусить».⁵ Это относится и к большинству второстепенных героев «Поднятой целины», которые не поддаются однозначному определению. Не укладывается в рамки «чистого» середняка и Кондрат Майданников.

Гораздо хуже обстоит дело с исследованием микромира «Поднятой целины»: затрагивая лишь вскользь вопросы о языке, стиле, типизации, индивидуализации, композиции, характере построения отдельных глав, художественном времени и пространстве и т. д., шолоховеды, как правило, ограничиваются эмоционально-комплиментарными суждениями, которые приложимы, в сущности, к любому крупному мастеру слова. Поэтика писателя чаще всего рассматривается на материале «Тихого Дона», тем самым литературоведы заранее сужают сектор своих выводов и наблюдений. Ведь роман, рисующий другой исторический этап в жизни России, значительно расширяет наши представления о шолоховском реализме, который развивается и обогащается вместе с самой революционной действительностью. Коротче говоря, в эпопее-трагедии прозаик выразил себя далеко не полностью, использовал отнюдь не все краски своей палитры. Здесь он реализовал только часть собственных возможностей как художника. «Поднятая целина» — это новая ступень в эволюции Шолохова, ее необходимо исследовать так же досконально, как и ту, кото-

² Гура В. В., Абрамов Ф. А. М. А. Шолохов. Семинарий. Изд. 2-е, доп. Л., 1962, с. 134.

³ Можно упомянуть две книги ставропольского шолоховеда В. М. Тамахина — «Поэтика слова. (Из наблюдений над авторской речью в романе М. А. Шолохова «Поднятая целина»)» (Ставрополь, 1966) и «Роман М. А. Шолохова „Поднятая целина“. (Вопросы мастерства)» (Ставрополь, 1971), отличающиеся дотошностью стилистического анализа.

⁴ См. об этом: Бузник В. В. Многогранность шолоховских образов (Давыдов и Лущка). — В кн.: Шолохов в современном мире. Л., 1977, с. 66—79.

⁵ См.: Марминова Г. Г. О комическом в романе «Поднятая целина» (образ деда Шукаря). — Русская литература, 1975, № 3, с. 38—51; Поздняева З. М. Два образа («Поднятая целина» в театре). — В кн.: Гуманизм художника. К 70-летию со дня рождения М. А. Шолохова. Ставрополь, 1975, с. 38—51 и др.

рая связана с изображением судьбы Григория Мелехова и судьбы народной в эпоху всемирно-исторического перелома. Сражался и сражается не только «Тихий Дон», но и «Поднятая целина» и другие творения шолоховского гения. Влияние романа о коллективизации за рубежом, особенно в странах социалистического содружества, было временами столь сильным, что оно превосходило влияние шолоховской эпопеи. Достаточно сказать о том, что сейчас в ряде капиталистических государств (например, в Англии, где имя советского классика до недавней поры ассоциировалось прежде всего с «Тихим Доном») «Поднятая целина» начинает восприниматься по-иному. Не случайно этот роман ныне выпускается там массовыми тиражами.⁶

Стало почти традицией прямолинейно привязывать «Поднятую целину» к воссозданным в ней нескольким месяцам жизни одного из донских хуторов; довольно часто ее анализируют так, как будто перед нами мастерски беллетризованный социально-политический трактат, а не художественное произведение, в котором безраздельно царит образное мышление.⁷ Любая попытка нарушить эту традицию, выйти за рамки узко социального прочтения романа, обнаружить в «Поднятой целине» философские аспекты вызывает недовольство, если не сказать раздражение; у отдельных авторов, которые свыклись с тем, что данное произведение писателя почти не рассматривается под эстетическим углом зрения. Стоило, например, А. И. Хватову в своей монографии о Шолохове сломать социологическую схему в анализе «Поднятой целины» и подойти к последней как к явлению большого искусства, в котором не могут не быть затронуты «вечные» вопросы человеческого бытия, как на него тут же осерчал критик В. М. Литвинов, который с нравоучительной интонацией писал: «Впрочем, сам-то А. Хватов знает, что в этом случае ему предстоит объяснение и куда более серьезное — непосредственно с автором романа, с Шолоховым. Писатель говорил: „Содержание второй книги — это ожесточенная борьба двух миров — тьмы и света. В сущности, это последняя схватка в великой борьбе «кто кого?». Это будет ответ на вопрос, поставленный еще в «Донских рассказах». В этой схватке и с нашей стороны не обошлось без жертв. Но побеждает новое, побеждает колхозный строй, социализма“.

Так у Шолохова. А что на это Хватов? Он полагает, что „переоценивать значение данного высказывания не следует, ибо речь здесь идет скорее о философской основе концепции, действительно затрагивающей извечную тяжбу (!) добра и зла, света и тьмы“.

Неясно только, во имя чего затеяна эта „тяжба“ исследователя с автором романа.⁸

Восклицательный знак в скобках очень красноречив: он свидетельствует о том, что для В. М. Литвинова неприемлема даже сама постановка вопроса о философском, общечеловеческом начале в структуре «Поднятой целины».

Если же беспристрастно прочесть соответствующие страницы книги А. И. Хватова «Художественный мир Шолохова», то нельзя не заметить, что ее автор, осмелившийся нетрадиционно взглянуть на роман о коллективизации, сумевший выделить в нем непреходящее, волнующее лю-

⁶ См., например: Массовым тиражом. — Известия, 1977, 25 ноября, № 275, с. 3.

⁷ Характерны в этом плане статьи Ф. А. Абрамова. См.: Абрамов Ф. А. 1) О «Поднятой целине» Мих. Шолохова. — Вестник ЛГУ, 1949, № 3, с. 76—93; 2) Образы коммунистов в «Поднятой целине» М. А. Шолохова. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1954, № 173. Сер. филол. наук, вып. 20, с. 3—40; 3) Народ в «Поднятой целине» М. Шолохова. — В кн.: Михаил Шолохов. Сборник статей. [Л.], 1956, с. 64—97.

⁸ Литвинов В. Силовое поле романа. Над страницами «Поднятой целины». — Новый мир, 1974, № 12, с. 241. Ср.: Литвинов В. «Поднятая целина» М. Шолохова. М., 1975, с. 16—17 (далее ссылки на эту книгу даются в тексте, — П. Б.).

дей всегда, нигде не пренебрег принципами конкретно-исторического анализа, нигде не отдал дань абстрактному «мудрствованию». Симптоматично, что после своих слов об «извечной тяжбе добра и зла, света и тьмы», литературовед счел нужным сказать: «Важнее в этом суждении писателя подчеркнуть мысль о связи „Поднятой целины“ с „Донскими рассказами“, отражающей социально-историческую преемственность двух этапов социалистической революции».⁹ Как видим, никакой «тяжбы» известного шолоховеда с создателем произведения нет и не могло быть в принципе, ибо А. И. Хватов, указывая новое направление в исследовании «Поднятой целины» и решительно выступая против упрощенной — иногда вульгарно-социологической — интерпретации ее основного конфликта, учитывал всю совокупность обстоятельств и опирался прежде всего на текст романа, который таит в себе подлинно философские глубины.

Что нового вносит в изучение шолоховского романа своими работами В. М. Литвинов, который столь нетерпим к разного рода отклонениям от известной ему нормы? В сущности, он концептуально дублирует книги и статьи Л. Г. Якименко.

Мало считаясь с писательским отношением к своему герою, В. М. Литвинов, подразумевая события в Китае (и не только в этой стране), так, к примеру, оценивает образ Макара: «Коммунисты Гремячего, осуждая заскоки Нагульнова и квалифицируя их „левизну“, имели в виду конкретно-историческое явление, свойственное 20-м годам. Но в сознании сегодняшнего читателя „Поднятой целины“ это осуждение „левизны“ может прозвучать и куда как современно — мы-то знаем, какой бедой, какой уродливой карикатурой на истинную революционность оборачиваются авантюристические, политически безрассудные деяния всевозможных „новых левых“, замусоривших ныне мировое прогрессивное движение. Так и кажется: в своем Нагульнове Шолохов уже тогда почуствовал всю полноту этой зловещей угрозы народному делу, со всей жестокостью и неотступной правдивостью предупредил об этом людей, предупредил самих Макаров Нагульновых, хоть и любил их, и сострадал им не меньше нашего» (с. 81—82). Перед нами образец чрезмерной «актуализации» классического произведения.

Над критиком довлеет схема, которая мешает ему проникнуть в художественный мир шолоховского романа. Подчиняясь ей, он готов все различия между персонажами «Поднятой целины» свести лишь к классовому признаку. «Пожалуй, где-то и к Половцеву приложимы те же определения (что и к Давыдову. — П. В.) — он ли не волевой человек, не храбрый, не приносит всего себя в жертву делу! Но именно *классовое* и разграничивает резко это кажущееся „сходство“, дает ясно понять, чем одно „волевое“ отличается от другого „волевого“» (с. 25—26). В свое время А. М. Горький справедливо говорил о том, что «один только „классовый признак“ еще не дает живого, цельного человека, художественно оформленный характер», что «нужно в каждой изображаемой единице найти, кроме общеклассового, тот индивидуальный стержень, который наиболее характерен для нее и в конечном счете определяет ее социальное поведение».¹⁰ При аттестации героев «Поднятой целины» В. М. Литвинов равнодушен к их «индивидуальному стержню», поэтому у него и получается, что Давыдов, за вычетом классового момента, чуть ли не равен Половцеву. А между тем произвести этот «вычет» просто невозможно, ибо классовое, по словам А. М. Горького, — это «не бородавка», а есть «нечто очень внутреннее, нервно-мозговое, биологическое».¹¹ И потому антиподы разнятся по многим другим показателям, не связанным непосредственно с классовыми приметами.

⁹ Хватов А. Художественный мир Шолохова. М., 1970, с. 390.

¹⁰ Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 26. М., 1953, с. 415—416, 415.

¹¹ Там же, с. 415.

Быть оригинальным нашему автору удастся только в тех случаях, когда он рассматривает некоторые детали сквозь увеличительное стекло. Не без влияния нынешних споров вокруг «производственной» прозы и драматургии В. М. Литвинов рискнул обозначить в «Поднятой целине» и «определенные черты романа на рабочую тему: где еще с такой тонкостью и последовательностью проанализирована классовая, рабочая психология заводского человека!» (с. 26). Не отрицая правомерности такого аспекта, необходимо сказать о том, что образ Семена не превращает произведение о коллективизации, о крестьянстве после революции в произведение о рабочем классе. Не менее интересно было бы проследить процесс «окрестьянивания» Давыдова, процесс, который выразительно запечатлен в повествовании. К сожалению, этот мотив не привлекал внимание шолоховедов, не привлек он и В. М. Литвинова...

Совсем неудачной оказалась и другая «новация» критика: одним из центральных узлов идейно-художественной концепции романа ему представляется «проблема преодоления Давыдовым в себе образа „страшного хутора“» (с. 52). Какой же смысл вкладывает автор монографии в понятие «страшный хутор», тень которого долгое время преследует председателя гремяченского колхоза? Вводя этот «сюжет», В. М. Литвинов имеет в виду и бесчеловечность, встречающуюся Семену в донской степи, и то, что можно было бы определить как врожденную жестокость казаков, не поддающуюся исправлению. Причем последнее особенно педантируется критиком. «А мы, читавшие „Тихий Дон“, — пишет он, — кое-что знаем о темных нравах казачьего хутора и, сверх того, знаем, как зверски была растерзана юная турчанка, бабка Григория Мелехова, как отец изнасиловал родную дочь, а сыновья забили его до смерти...» (с. 53). В. М. Литвинов так увлечен своей идеей «страшного хутора», которая необходима для подкрепления развиваемой им концепции, что он даже забывает о том, что эти кровавые события происходили задолго до революции. С тех пор многое изменилось на Дону: действительные «Поднятой целины» развертываются в 1930 году. Однако критик по-прежнему настаивает на своем, придавая излюбленной теме почти мистический характер: «По-достоевски концентрированный мотив „страшного“ так властно звучит, что, кажется, автору уже ни за что не „вывернуть“ повествование о Гремячем на иную колею, обещанную в заголовке романа» (с. 55).¹² Разумеется, В. М. Литвинов, чрезмерно сгустивший краски, в конце концов вынужден констатировать, что образ «страшного хутора» постепенно рассасывается и перестает витать над Давыдовым. А ведь Семена скорее можно упрекнуть в излишней доверчивости и неосторожности, чем в страхе перед казаками, который парализовал бы его...

В. М. Литвинов весьма подробно останавливается на своеобразии шолоховского психологизма (этому вопросу посвящена его статья «Правда таланта», почти полностью вошедшая в книгу о «Поднятой целине»). По мнению автора, изучение интересующей его проблемы «находится... все еще в состоянии эмпирического накопления фактов».¹³ Критик явно склонен недооценивать или замалчивать то, что сделано ранее. Иногда он просто не знает о существовании отдельных исследований (скажем, о специальной монографии, посвященной психологическому анализу у Шолохова), что неизбежно приводит к перепевам и повторению хорошо известных истин.

«Поднятая целина», отвечающая самым высоким критериям художественности, не нуждается в поверхностной актуализации, в привнесении не органичных для нее идей, в надуманной переакцентировке содержания (в угоду собственной концепции критик готов объявить ее чуть ли

¹² См. также: Литвинов В. Плоть от плоти народной. — Октябрь, 1975, № 1, с. 175—177.

¹³ Литвинов В. Правда таланта. — Нева, 1975, № 1, с. 195.

не романом о рабочем классе). Под пером В. М. Литвинова психологическая деталь, которую он часто смешивает с деталью бытовой, приобретает самоцельное значение.

Чтобы вернее оценить идейно-художественное богатство шолоховского произведения, нужно в первую очередь отказаться от анализа его в узко понимаемом социальном плане, отбросить схемы, проникнуть в глубинные слои текста. Шолохов принадлежит к тем писателям, которые, обращаясь к злобе дня, умеют запечатлеть вечное, заглянуть в далекое будущее, поэтому-то его роман о коллективизации обладает большим человековедческим, философским зарядом. Раскрыть многие тайны «Поднятой целины», обнаружить новые подводные течения в ней шолоховедам еще предстоит.¹⁴

Основное внимание в работах о «Поднятой целине» уделяется почему-то уяснению вопроса — отнюдь не первостепенной важности — о специфических особенностях двух томов произведения и их единстве. При этом концы не всегда связаны с концами: первая часть вроде бы уступает по основным человековедческим показателям заключительной части, в которой исследователи усматривают и возрастание аналитичности, и необыкновенную глубину психологического анализа, и поразительное внимание автора к каждому индивидууму, и отчетливые приметы новой концепции личности, и укрупнение философского зерна, и дальнейшее совершенствование шолоховского языка, и усиление историзма, в то же время дается понять читателю, что в художественном отношении заключительная книга «Поднятой целины» в чем-то главным проигрывает первой (бывает, впрочем, и наоборот). Право же, разобраться во всех этих несоответствиях, противоречиях и взаимоисключающих оценках очень и очень трудно.

То, что у других было всего лишь намеком, подтекстом и как бы невзначай вытекало из общего хода рассуждений, у Ал. Горловского довольно однозначно и откровенно вырвалось наружу.

Для изложения своего взгляда, не совпадающего с привычным, многократно формулировавшимся в научных работах, посвященных роману о коллективизации, критик дважды выступил в журнале «Литература в школе». Как известно, это издание предназначено в первую очередь для учителей, мысли которых усваиваются миллионами мальчишек и девочек. Хотелось бы надеяться, что наши словесники критически подойдут к теории, развиваемой Ал. Горловским. В статье «Современный герой. Каков он?» автор лишь мимоходом затронул творческую историю «Поднятой целины». «По инерции, идущей еще от тех времен, когда существовала только первая книга, — увещевал он здесь, — мы рассматриваем это произведение как некое единое целое, начисто забывая, что две книги романа разделены не только промежутком в четверть века, но и разными проблемами».¹⁵ Критик всерьез надумал нарушить эту «инерцию» и развести органически связанные между собой и прочно состыкованные писателем две части «Поднятой целины». По его мнению, они разнятся даже своей проблематикой, идейно-художественной концепцией. Он «разламывает» не только произведение в целом, но и отдельные его образы. Так, например, критику чудятся два Давыдова, которые, очевидно, не успели познакомиться... Сосредоточив внимание на разговоре о недостатке культуры у председателя гремяченского колхоза (что делать, если

¹⁴ На наш взгляд, многообещающей является недавняя статья М. С. Кургина «Концепция человека в творчестве Шолохова. (Нравственный аспект характеристики персонажа)», помещенная в сборнике «Михаил Шолохов. Статьи и исследования» (М., 1975, с. 50—85). В ней намечаются помимо всего прочего новые аспекты в изучении «Поднятой целины».

¹⁵ Горловский и Ал. Современный герой. Каков он? — Литература в школе, 1973, № 5, с. 21.

почти все шолоховские герои не шибко грамотные и образованные), критик в лирическом ключе замечает: «И живой, Давыдов второй книги нам дорог не менее, чем Давыдов первой книги, потому что видим мы в нем черты *всею современника*, потому что Семен хотел учиться и учился... и смерть оборвала его в середине пути». ¹⁶ Оказывается, что у двадцатипятилетника, сына своего времени, во втором томе романа появляются особенности людей 50—60-х годов, чего не удастся обнаружить у того Давыдова, который нам известен по довоенному произведению Шолохова. О каком же глубинном историзме шолоховского мышления может идти речь, если прозаик допускает модернизацию периода коллективизации? Ал. Горловскому и невдомек, что подобная трактовка, казалось бы, частного вопроса бросает тень на многое другое, на чем мы остановимся более подробно чуть ниже.

Итак, согласно «неинерционной» концепции критика, две книги «Поднятой целины» следует рассматривать, в сущности, как два самостоятельных произведения, одно из них в качестве литературного явления 30-х годов, другое — второй половины 50-х. Причем составные части некоего «полуединства» отнюдь не равноценны в художественном плане. Ал. Горловскому, который склонен считать события того десятилетия, когда создавалась заключительная часть романа, своего рода переворотом в области общественных отношений, культуры и искусства, ближе вторая книга, ассоциирующаяся у него с «оттепелью». Такой подход к «Поднятой целине», игнорирующий писательский замысел, препарирующий содержание произведения на свой лад, для автора статьи «Современный герой. Каков он?», судя по всему, не случаен и не является, как это иногда бывает, плодом неточных, невыверенных формулировок и дефиниций.

Это, в частности, подтверждается тем, что Ал. Горловский, упомянутая работа которого подверглась справедливой критике в печати, вскоре выступил с новой статьей, где значительно расширил аргументацию в пользу своей концепции. Тем самым подтвердилось предположение Н. Е. Пашкевича, который, споря с критиком, заметил: «У автора статьи, надо полагать, осталось в запасе еще изрядное количество фактов-наблюдений, которые можно было бы кирпичами уложить в капитальную стену, отгораживающую первую книгу «Поднятой целины» от второй и бросающую на первую книгу густую тень намека на схематизм и одноплановость. К сожалению, он вынужден быть лаконичным, потому что статья... посвящена не шолоховскому роману, а широкой проблеме, охватывающей всю нашу литературу». ¹⁷

Ал. Горловский не внял ни одному критическому замечанию в свой адрес и дал волю словам. Вероятно, выступление с открытым забралом и побудило Л. А. Финка подвергнуть сомнению положения автора статьи. ¹⁸ Бросается в глаза, однако, что в своих полемических заметках литературовед даже не поставил вопроса о том, чем был движим Ал. Горловский, когда с таким рвением развивал идею о принципиальной разнородности двух книг шолоховского романа, об их взаимоотталкиваемости и полюсности. А ведь это, на наш взгляд, должно было быть корнем неожиданного возникшего спора, почему-то не привлечшего внимания шолоховедов, в частности, тех из них, которые занимаются скрупулезным изучением «Поднятой целины».

Ставя последовательно акцент на различиях (подлинных и мнимых, придуманных им самим в угоду схеме) двух частей произведения, Ал. Горловский без обиняков заявляет: «И когда в начале 50-х годов

¹⁶ Там же (курсив наш, — П. Б.).

¹⁷ Пашкевич Н. Возводя капитальную стену... — Лит. обозрение, 1974, № 1, с. 63.

¹⁸ См.: Финк Л. Спорное и бесспорное. — Лит. обозрение, 1975, № 9, с. 70—71.

М. Шолохов снова *вспомнил* о гремяченцах, им руководило желание не просто восстановить по памяти пропавшую рукопись, но *воспользоваться давним незаконченным сюжетом и героями, чтобы написать нечто новое*. И в другом месте: «В „Поднятой целине“ мы имеем дело с совершенно особым случаем автопродолжения. М. Шолохов *использовал полюбившихся читателю героев и сюжетную незавершенность первой книги своего давнего романа...*»¹⁹ В приведенных суждениях, которые являются исходными для критика, почти все неверно или неточно. Писатель никогда не забывал «дорогих... сердцу Давыдова и Нагульнова»²⁰ и многих других жителей донского хутора. Они тревожили его даже тогда, когда он работал над «Тихим Доном» и военными произведениями, поэтому гремяченцев не надо было «вспоминать». Автору не нужно было перечитывать и изучать первую книгу романа... Хотя его и не удовлетворяло то, что было написано до войны, он все же не собирался отказываться от первоначального замысла, который сложился полностью еще в 30-е годы (это подтверждается многими фактами); и сочинять «нечто новое» в духе послевоенных десятилетий, как то представляется Ал. Горловскому. Вторая книга — это не свободная вариация на тему «незаконченного сюжета» и недоовожденных судеб героев, а естественное, органическое продолжение первой. Как теперь стало ясно, и единственно возможное. Так что говорить о том, что Шолохов «воспользовался» старым материалом для решения каких-то новых художественных задач, почти никак не связанных с теми, которые волновали прозаика в первой части романа, значит извращать творческую историю произведения, значит не считаться с принципами шолоховской эстетики, с законами художественного мира писателя.

«Неужели „защитникам“ „непререкаемого единства“ обеих книг романа не видно, что своим утверждением они принижают самый талант писателя, заставляют его писать „вдогонку прошлому“, отрицают живую связь настоящей литературы с современностью?» (с. 5), — недоумевает автор статьи «Классика и время», словно не подозревая о том, что его концепция «двух произведений», построенная на песке, не только поляризует неразрывные части романа, но и вынуждает заподозрить одного из самых честных мастеров слова в конъюнктурных соображениях, в «осовременивании» прошлого, вызванном «злостью дня». Ведь сторонники диалектического единства «Поднятой целины» — а их большинство — не закрывают глаза на своеобразие двух томов ее, обусловленное отчасти временной дистанцией: именно они весьма успешно освещают эти особенности, не абсолютизируя последние. Причем ими учитывается и «давление» минувших десятилетий, которое не могло не сказаться на второй книге романа: Шолохов принадлежит к тем художникам, которые хорошо чувствуют пульс эпохи. Иначе говоря, замечание Ал. Горловского, что ревнители несомненного единства обоих томов произведения якобы умаляют писательский дар, не выдерживает критики. Незаурядный талант Шолохова проявился, в частности, и в том, что романист смог в 50-е годы вжиться в пройденную эпоху коллективизации, взглянуть на нее с новой исторической высоты и раскрыть в прошлом те грани, которые остались нетронутыми в ту пору, когда художник писал буквально по следам событий, сильно влияя на ход последних, и которые оказались созвучными нашему времени.

Мысль о том, что определенное различие книг является необходимым условием их единства, не допускается критиком, у которого разговор

¹⁹ Горловский Ал. Классика и время. Размышления над первой и второй книгами романа «Поднятая целина». — Литература в школе, 1975, № 3, с. 3, 15—16 (курсив наш; далее ссылки на эту статью даются в тексте, — П. Б.).

²⁰ Шолохов Михаил. Собр. соч. в 8-ми т., т. VII. М., 1960, с. 400 (в дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте, с указанием тома и страницы, — П. Б.).

о своеобразии двух частей всегда приводит к отторжению их друг от друга. Подчеркивая достоинства второго тома, где «все иначе» (с. 6), Ал. Горловский упрощает идейное содержание первой книги романа, объединяет и схематизирует его. Читая некоторые куски его статьи («... Созданная в начальные годы коллективизации, книга аргументировала ее необходимость прежде всего экономическими и социальными соображениями»; «Коллективизация представляла в первой книге „Поднятой целины“ и как историческая неизбежность, вытекавшая из положения и желаний народа, и как социальная справедливость, осуществленное возмездие за издевательства предыдущих лет и столетий», — с. 4), можно подумать, что речь идет не о художественном произведении, а о популярном пособии по истории сельского хозяйства. Зато о заключительной части «Поднятой целины» критик пишет взахлеб, хваля романиста иной раз за такое, что чуждо ему. С умилением Ал. Горловский констатирует, что в 50-е годы «герои интересуют М. Шолохова просто *сами по себе* как личности», что «словно бы жизнь теперь стала интересовать писателя *сама по себе*, независимо от ее социальной и политической направленности» (с. 8, 9; курсив наш, — П. Б.). Сомнительными «достоинствами» наделяет критик вторую книгу, уверяя читателя при этом, что «и здесь отразилось время, тонко почувствованное художником» (с. 9).

Разведение двух книг романа осуществляется Ал. Горловским по нескольким направлениям. Затрагивая вопрос о специфических чертах композиции второго тома, автор обращает внимание на то, что он состоит как бы из новелл, и явно спешит с окончательными выводами: «И точно так же как первая книга в основном своем конфликте была похожа на книги-современницы, так и вторая книга в самом характере построения оказалась родственна книгам 50—60-х годов. Нам вспомнятся романы в новеллах М. Алексеева и О. Гончара, новеллистический характер повестей К. Паустовского, В. Солоухина, В. Липатова» (с. 8). Однако хорошо известно, что «вставные новеллы» вообще характерны для шолоховского повествования: они часто встречаются в «Тихом Доне», в «Они сражались за Родину» и в первой книге романа о коллективизации, о чем неоднократно писали исследователи.²¹ Поэтому нет достаточных оснований для того, чтобы структуру второй части «Поднятой целины» объяснять лишь историко-литературным контекстом 50-х годов.

Не менее спорны и поверхностны рассуждения критика и об эволюции некоторых шолоховских героев. Создается впечатление, что автор статьи признал бы «Поднятую целину» произведением единым и цельным, если бы основные персонажи оказались статичными. Судите сами. «Что же касается утверждения, что во второй книге „Поднятой целины“ характеры героев первой книги развиваются и углубляются, то это утверждение верно лишь в ограниченном смысле» (с. 8), — указывает Ал. Горловский, смущенный тем, что Ипполит Шалый в конце концов заговорил, что Кондрат Майданников отошел на задний план повествования, что меняется Семен Давыдов, что отдельные второстепенные герои исчезли совсем и появились новые, не известные по первому тому. За примерами далеко ходить не надо, чтобы осознать право Шолохова на известные «причуды» своего повествования. Достаточно вспомнить, как разительно преобразуются отдельные герои из «Войны и мира», «Хождения по мукам» и других произведений, где так явственно проступает «текучесть» человека. В Наташе Ростовской, обзаведшейся детьми, почти ничего не осталось от той черноглазой, с большим ртом, некрасивой, но живой девочки, чей громкий смех наполнял гостиную; существенную

²¹ См., например: Бритиков А. Ф. Мастерство Михаила Шолохова. М.—Л., 1964, с. 117—133.

эволюцию претерпевают характеры Андрея Болконского и Пьера Безухова; в непрерывном движении находятся и главные действующие лица толстовской трилогии — сестры Катя и Даша Булавины, Иван Телегин, Вадим Рощин. Пожалуй, никто не будет утверждать, что названные герои раздваиваются или распадаются. Все они отличаются цельностью и наделены их создателями жизненной диалектикой. Почему же тогда Ипполиту Шалому, сроднившемуся с колхозом, или Семену Давыдову, который прекрасно видит, что гремяченцы уже не те, какие были в самом начале коллективизации, не разрешается быть многогранными, непривычно-неожиданными и не укладывающимися в готовые схемы?! Нет, у Шолохова не два разных Давыдова, как кажется Ал. Горловскому, а один — монолитный, живой, полнокровный. Ведь за время, изображенное в «Поднятой целине», в хуторе происходят большие перемены, которые затронули души и сознание людей. Важно учесть при этом, что писатель воссоздает период перестройки сельского хозяйства в предельно концентрированной форме, поэтому-то месяц в его сжатом повествовании равняется целому году. На столь непродолжительном временном отрезке прозаик сумел показать разные этапы коллективизации. Не этим ли объясняются те метаморфозы, которые произошли с шолоховскими героями во второй части романа? Эволюция их, на наш взгляд, естественна и закономерна.

Нисколько не удивительно также и то, что некоторые герои, исчерпав себя, надолго или даже навсегда исчезают из повествования. Допустим, в той же «Войне и мире» встречаются десятки персонажей, которые довольно быстро выпадают из поля зрения писателя. Однако эти эпизодические фигуры хорошо запоминаются. Многолюдность, характерная для Льва Толстого, близка и Шолохову, который не обязан рисовать жизнь всех своих героев от рождения до смерти. Вполне понятно, почему Кондрат Майданников в заключительной части произведения не оказывается в центре авторского внимания: думы, сомнения и переживания крестьянина-середняка волновали художника-психолога прежде всего тогда, когда он запечатлевал начальный период в биографии гремяченского колхоза.

Имея весьма однозначное мнение о коммунистах предвоенной поры, критик без всяких оговорок заявляет: «... фактически Нестеренко судил Давыдова с высоты 50-х годов, и не случайна переключка его слов о недопустимости отношения к человеку как к куску ржавого железа с тем, что писалось в те годы в нашей партийной печати» (с. 14). Образ секретаря райкома Ивана Нестеренко (кстати, у него есть своего рода предшественник — командир агитколонны Осип Кондратько из первой книги, который «все время говорил мягко, без малейшего намека на желание руководить и поучать, по ходу речи советуясь то с Давыдовым, то с Разметновым, то с Нагульновым», — VI, 172) не перенесен искусственно Шолоховым из послевоенного десятилетия: в его обличье, ухватке, характере угадывается «районщик» начала 30-х годов. Такие, как он, укрепляли доверие народа к своей партии в ту трудную пору. Вводя этого героя, встреча с которым двадцатипятилетнему на многое раскрывает глаза, писатель не изменил исторической истине, не подпал под влияние тенденции «очернительства», проявившейся в отдельных произведениях конца 50-х годов.²² Отнюдь не все, «что писалось в те годы в нашей партийной печати», могло бы помочь романисту пристальней всмотреться в описываемую эпоху и увидеть в ней новые краски и оттенки.

Хотя Ал. Горловский в конце своих размышлений над первой и второй книгами «Поднятой целины» и обмолвился, что перед нами «не два

²² См. подробнее об этом: Ковалев В. Из литературной полемики после Второго съезда писателей. — Русская литература, 1959, № 1, с. 186—203.

разных романа» (с. 15), всей статьёй он стремится доказать обратное. Однако сделать это невозможно, ибо произведение говорит само за себя.

Перечитывая «Поднятую целину», все больше убеждаешься в том, что проблемы единства двух книг, в сущности, нет, она создана и по-мерно раздута критиками и литературоведами, которые анализ шолоховского произведения сводят к разговору о цельности последнего, в чем, думается, заключается одна из причин того, почему разделы в ряде монографий, посвященные рассмотрению этого романа, а также многие статьи и книги о нем столь сдержанны, сухи и трафаретны. Нуждается ли в доказательствах то, что самоочевидно, бесспорно? Нет, не нуждается. Однако и в работах, опубликованных недавно, по-прежнему основной упор делается на освещение этого «вечного» вопроса. Казалось бы, пришло время остановиться и объявить данную «проблему» решенной. Не тут-то было!.. По старинке продолжается подмена целостного анализа произведения бесконечными рассуждениями о связности его составных частей. Видимо, здесь отрицательно сказывается знание сложной, даже драматической творческой истории «Поднятой целины». Современникам трудно отрешиться от сильного ее давления, ведь книга рождалась на глазах у всех. Поэтому нынешние литераторы считают чуть ли не своим долгом поделиться с читателем соображениями, часто весьма интересными, относительно единства двух томов романа. Если же попытаться хоть на минуту «забыть» тот факт, что вторая книга вышла в свет намного позднее, чем первая, и беспристрастно — без всякой установки — прочитать «Поднятую целину» целиком, то нельзя не прийти к выводу, что проблема, столько лет занимающая шолоховедов, является мнимой, не подкрепленной текстом произведения.

Парадоксальность сложившейся ситуации, которая тормозит плодотворное изучение романа Шолохова, выражается и в другом: нередко тезис о спаянности двух книг, горячо отстаиваемый авторами некоторых работ, как бы повисает в воздухе, не подкрепляясь конкретным анализом.²³ Разговор о своеобразии второго тома (первый стал интересовать критиков гораздо меньше) заходит так далеко, приобретает столь самодовлеющее значение, что ни о каком единстве романа не может быть и речи. Причем это своеобразие заметно утрируется, гиперболизируется: почему-то бытует убеждение, что две части, создававшиеся в разное время, должны сильно отличаться. Обоснованию подобной предустановки и подчиняется детальное рассмотрение произведения, что очень ограничивает исследовательский угол зрения и обедняет реальное содержание «Поднятой целины».

Вероятно, этот перекося получается потому, что принято подходить ко второй части «Поднятой целины» как к произведению 50-х годов (не случайно же анализ часто сводится к отысканию в ее идейной концепции прямых откликов на общественно-политические события послевоенного периода). Веским аргументом в пользу такого подхода является тот факт, что роман был закончен Шолоховым в 1959 году. Думается, однако, что дело здесь обстоит гораздо сложнее, и вот почему.

Замысел «Поднятой целины», сложившийся у писателя полностью довольно быстро, параллельно с процессом коллективизации, как известно, не претерпевал сколько-нибудь серьезных изменений, хотя книги романа разделены между собой тремя десятилетиями, да еще какими десятилетиями. Об этом свидетельствуют многочисленные авторские признания. Еще в середине 30-х годов Шолохов, намереваясь усилить в заключительной части своего произведения человековедческий и философский аспекты, говорил корреспонденту: «... заранее предвижу, что вторая книга

²³ См., например: Андреев Юрий. Наша жизнь, наша литература. Л., 1974, с. 38—47; Якименко Л. О «Поднятой целине» М. Шолохова. М., 1960 и др.

будет скучнее первой». И еще: «Хочется мне и во второй книге не все разжевывать, оставить читателю место для размышлений, для домыслов».²⁴ Некоторым критикам, не увидевшим возрастания философичности в творчестве писателя, последняя часть романа действительно показалась «скучной», «растянутой», «многословной» и т. п. Неоднократно также прозаик «подготавливал» читателей к трагической развязке романа. В беседе с К. И. Приимой, которая состоялась за пять лет до публикации второй книги «Поднятой целины», он предупреждал, что «финал будет драматичен, будут жертвы».²⁵ А в статье «О маленьком мальчике Гарри и большом мистере Солсбери» (1960) Шолохов, отвечая американскому журналисту, придумавшему за писателя нелепую концовку «Поднятой целины», прямо заявлял, что основная сюжетная линия произведения оставалась на протяжении многих лет неизменной: «...если м-ра Солсбери действительно интересовал конец книги, то почему он не обратился с таким вопросом ко мне, так сказать, к первоисточнику, хотя бы в тридцатых годах, после выхода первой книги? Или почему он не спросил у меня об этом, когда я был в Америке?.. Я в нескольких фразах сообщил бы ему о развязке. А эта развязка как была задумана в ходе работы еще над первой книгой, так и завершена теперь безо всяких изменений и переделок. Секрета из этого я никогда не делал» (VIII, 363). Приведенные здесь факты — а их количество легко увеличить — заставляют нас поставить под сомнение распространенную концепцию, согласно которой вторая книга «Поднятой целины» — это по духу и содержанию своему произведение не 30-х, а 50-х годов.

Стремясь во что бы то ни стало «осовременить» и без того актуальную «Поднятую целину», отдельные критики невольно нарушают ленинский принцип историзма, который, как верно указывает А. И. Метченко, «означает не модернизацию прошлого (неизбежную, если в него «привносятся» современность), а выявление в прошлом процессов, подготавливающих настоящее или в той или иной форме сохранившихся в нем. В противном случае писатель рискует уподобиться персонажу горьковской „русской сказки“, любившему выдергивать из истории факты „сообразно требованиям обстоятельств и доказывать все, что ему надобно“».²⁶ В самом деле, если Шолохов, художественно воссоздавая эпоху коллективизации, был в большей степени озабочен не тем, чтобы как можно глубже и правдивее воспроизвести типичные черты процесса тридцатилетней давности, а тем, чтобы потрогать современникам — читателям 50—70-х годов, то можно с полным правом говорить об антиисторизме второй части «Поднятой целины», о модернизации в ней изображаемых событий. Литераторы, абсолютизирующие время написания книги, оказывают, как уже отмечалось, плохую услугу великому эпику: бросают тень на идейно-художественную концепцию произведения, берут под сомнение ее историчность и заодно возводят между первой и второй книгами романа непреодолимую стену. Кроме времени создания, которое, естественно, налагает отпечаток на творение художника, необходимо для точности выводов иметь в виду и другие не менее важные моменты: время действия (сюжетное время) и писательский замысел. Главная задача исследователей, обращающихся к вопросу о своеобразии второй части «Поднятой целины», заключается не в том, чтобы найти в ней только отзвуки общественной ситуации 50-х годов, а в том, чтобы понять сложное переплетение изображаемого времени с временем создания произведения.

²⁴ Дир. Разговор с Шолоховым. — Известия, 1935, № 60, 10 марта.

²⁵ Прийма Константин. Шолохов в Вешках. — Советский Казахстан, 1955, № 5, с. 83.

²⁶ Метченко А. Кровное, завоеванное. (О народности и коммунистической партийности советской литературы). — В кн.: Эстетика сегодня. (Актуальные проблемы). М., 1968, с. 239.

чтобы измерить ту глубину, с какой писателю удалось показать годы коллективизации. Художественный историзм последней части «Поднятой целины», отвечающий уровню развития научного знания и эстетической мысли конца 50-х годов, обладает рядом специфических черт по сравнению с художественным историзмом первой книги романа. И это закономерно. Определить их сущность еще предстоит шолоховедом.

Вторая книга, появившаяся почти тридцать лет спустя после первой и впитавшая в себя опыт минувших времен, — это старый «долг» художника перед читателем. Писатель выплатил его сполна и с честью, нигде не покрывив душой и не поддавшись соблазну дешевой актуализации прожитого. Два тома романа находятся в полном соответствии с принципом историзма, поэтому трудно понять тех критиков, которые, фетишизируя время написания второй части, объективно отказывают ей в историчности и тем самым отлучают ее от первой.

Шолохов, работавший над продолжением «Поднятой целины» еще в 30-е годы (в войну рукописи пропали), отчасти восстанавливал по памяти уже написанное и не опасался, что вторая книга его романа будет воспринята кем-то как анахронизм, ибо был уверен в том, что с высоты сегодняшнего дня прошлое заиграет новыми красками, которые не оставят равнодушными современных читателей. И он не ошибся.

Хотелось бы быть правильно понятым. Признавая правомерным только такой подход к оценке двух книг романа, автор настоящей статьи отдает себе отчет в том, что подключенность художника к своему времени неизбежна, что шолоховский замысел не пребывал в вакуумных условиях и что писатель, создавая последнюю часть «Поднятой целины», неизменно находился на стряжне жизни. Тем не менее этих факторов явно недостаточно для того, чтобы «перетянуть» роман из предвоенного десятилетия в 50-е годы...

Одним из перспективных направлений в изучении романа нам видится уяснение самого механизма сплетения двух его книг, который отличается исключительной сложностью. Это лишний раз будет свидетельствовать о редкой силе шолоховского таланта. И тогда ощущаемое всеми своеобразие двух томов, которое, по мнению отдельных критиков, отделяет их друг от друга, предстанет с обратным знаком: необходимым условием для монолитности, целостности романа.

* * *

Затронув лишь некоторые, существенные, на наш взгляд, проблемы изучения «Поднятой целины», можно воочию убедиться в том, что ее поле оказалось довольно-таки неподатливым для внушительной армии шолоховедов, которым придется еще много сделать для того, чтобы роман о коллективизации предстал во всем своем величии и совершенстве.



О ПРИРОДЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

1

За время, прошедшее после опубликования Постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972), особенно за последние 2—3 года, заметно усилилось внимание исследователей к научной разработке актуальных проблем теории и методологии критики. Пример тому — новые коллективные монографии и сборники статей, журнальные публикации,¹ а также недавние выступления по вопросам литературной критики М. Храпченко, А. Метченко, В. Озерова, Ю. Барабаша, Л. Новиченко, А. Мясникова и др. Ряд содержательных высказываний наших писателей и критиков о сущности и назначении критики опубликовал за последние годы журнал «Вопросы литературы». Интересные материалы о критике напечатаны в «Литературном обозрении». В «Литературной газете» уже не раз в дискуссионном порядке обсуждались спорные проблемы критики, ее специфические особенности, важная роль ее в развитии литературы.

Тема настоящей статьи — *природа* литературной критики, вопрос, до сих пор не имеющий в нашей науке сколько-нибудь однозначного решения. Но прежде чем критически оценивать те точки зрения, которые, по моему мнению, являются ошибочными или неубедительными, необходимо внести ясность в самую терминологию. Вопрос о терминологии в науке о литературе — давний и большой вопрос. Еще в 1931 году А. В. Луначарский с сожалением отмечал, что «у нас нет еще более или менее удовлетворительно разработанной марксистско-ленинской системы литературных понятий» и это отрицательно сказывается на развитии науки о литературе.² С тех пор уже немало сделано в истолковании и «упорядочении» литературоведческой терминологии, однако значительный разбой и субъективизм в понимании некоторых важных терминов в науке о литературе — все еще нередкое явление. Это особенно бросается в глаза в критике. Порой даже встречаются в печати попытки если не оправдать, то явно «сгладить» терминологическую разногласицу: мол, в критической работе строгая точность в обращении к тем или иным понятиям «необязательна» — ведь это «не наука, а творчество». Поэтому уместно вспомнить совет В. И. Ленина: «Спорить о словах, конечно, не умно... Но надо выяснить точно понятия, если хотеть вести дискуссию».³

¹ «Современный литературный процесс и критика» (М., 1975), «Современная литературно-художественная критика» (Л., 1975), «Методологические проблемы современной литературной критики» (М., 1976); Б. Бурсов — «Критика как литература» (Л., 1976), Ю. Суворцев — «Критика: задачи и заботы» (Вопросы литературы, 1971, № 10), С. Можнягин — «Размышления о критике» (Октябрь, 1971, № 12), Л. Якименко — «Критерии оценок. Методологические проблемы современной литературной критики» (Новый мир, 1974, № 7), А. Урбан — «Критика — работа» (Звезда, 1976, № 3), А. Бочаров — «Огонь критической мысли» (Октябрь, 1977, № 6), А. Эльшавич — «Мастерство критики» (Знамя, 1977, № 9) и др.

² Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми т., т. VIII. М., 1967, с. 318.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 93.

А в статье «Некритическая критика» (1900) Владимир Ильич обстоятельно показал, к каким печальным результатам приводит исследователя (в том числе критика) беззаботное, несерьезное отношение к терминологии и ее субъективистскому «использованию». Строго продуманное употребление тех или иных понятий, учил Ленин, — одно из неизменных условий научного спора.

В этой связи я хотел бы обратиться к такому, ныне широко распространенному и на первый взгляд «всем понятному» выражению, как «литературно-художественная критика». В самом деле: что оно означает? Ведь наряду с этим составным названием часто употребляются и односложные определения: *литературная* критика и *художественная* критика. Известно, что *литературная* критика — это вид критики, относящейся к анализу и оценке художественной литературы. Однако в прошлом, особенно в дооктябрьские годы, литературную критику часто называли также *художественной* (в смысле — посвященной изучению художественной литературы). Но постепенно понятие «художественная критика» стало все чаще относиться к анализу и оценке различных видов *искусства* (музыки, живописи, скульптуры), тогда как изучение художественной литературы стало связываться со специальным видом критики — *литературной*.

Это разграничение имеет относительный характер. И в наше время понятие «художественная критика» относят нередко не только к анализу и оценке различных видов искусства, но и литературы (которая ведь тоже является искусством, его словесным видом). В выражении «литературная критика» определение *литературная* означает не то, что сама критика превращается в художественную литературу, а лишь то, что данный вид критики (в отличие от всех других) связан с художественной литературой, с анализом и оценкой произведений художественной литературы. Также и в выражении «художественная критика» определение *художественная* вовсе не означает, что сама критика является художественным творчеством. Оно лишь подчеркивает, что данный вид критики связан с различными видами искусства (музыкой, живописью и др.) — отсюда *музыкальная* критика, *театральная* критика и т. п.). Хотя все виды критики находят свое выражение в слове, относятся к критической литературе, но в узком, специальном значении *литературной* называется лишь критика, изучающая художественную литературу.

Напомню, что термины «литературная» и «художественная» критика в том их значении, о котором сказано выше, встречаются в работах Плеханова, Воровского, Луначарского. Никто из них не рассматривал критику как разновидность художественного творчества. Напротив, они не раз говорили о *научном* характере марксистской критики. Напомню также, что Белинский пользовался (например, в статье «Речь о критике») не только выражением «литературная критика», но и «критика эстетическая» (т. е. относящаяся к различным видам искусства). В последние годы своей деятельности он стал употреблять выражение «критика искусства и литературы», означавшее по сути то, что ныне передается понятием «литературно-художественная критика».

Казалось бы, приведенные выше определения должны употребляться в соответствии с присущим им точным смыслом. К сожалению, в действительности некоторые критики допускают произвольное их истолкование: литературную критику они называют «разновидностью» художественной литературы, а понятие «художественная критика» означает для них, что якобы сама критика является «художественным творчеством». Такое употребление названных терминов приводит к отождествлению разных видов творческой работы в литературе — *художественной* и *критической*. При всей связи литературы и критики эти виды творчества существенно отличаются друг от друга, и попытки отождествить их, как

это мы увидим далее, вносят лишь путаницу в теорию и практику художественной и критической деятельности.

Значительные расхождения существуют у нас и в понимании часто встречающегося в нашей печати выражения: «Критика и литературоведение». На первый взгляд кажется, что оно не требует никаких пояснений. На самом же деле это не так. Термин «литературоведение» употребляется в различных значениях. В широком смысле литературоведение — это совокупность наук, изучающих художественную литературу. К основным разделам литературоведения относятся: история литературы, теория литературы и литературная критика; вспомогательными дисциплинами литературоведения являются: текстология, библиография и некоторые другие. В более узком смысле под литературоведением некогда (в 20—30-е годы) понимали историю литературы и теорию литературы, а критику условно выделяли как нечто самостоятельное, обладающее в изучении литературы своей спецификой и имеющее свое особое общественное назначение. Так впервые появилось у нас выражение: «Критика и литературоведение», которое некоторое время означало лишь *относительное* выделение критики в самом литературоведении (а не ее *отделение* от литературоведения). Но с годами это условное выделение критики в составе литературоведения стало превращаться в фактическое *отделение*, а порой даже *противопоставление* критики и литературоведения. Под литературоведением все чаще стали понимать собственно науку о литературе, а под критикой — нечто среднее, «промежуточное» между научным осмыслением текущей литературы и своеобразным «художественно-критическим» творчеством. В результате выражение «критика и литературоведение» приобрело новый смысл. Оно стало означать не относительное выделение критики среди других основных разделов литературоведения, а по сути — *исключение* критики из науки о литературе.

Так постепенно утверждался и все шире распространялся новый, с моей точки зрения, ошибочный взгляд на критику. Его сторонники полагают, что критика вообще не входит в науку о литературе, что «критика не является частью литературоведения...» (Г. Поспелов), что «литературоведение начинается там, где кончается литературная критика...» (А. Курилов).⁴

Итак, что же собой представляет труд критика? На что направлена критическая деятельность? Чем отличается изучение литературы критиком от изучения ее историком литературы и теоретиком литературы? Ответы на эти и другие важные вопросы во многом зависят от того, как мы будем понимать содержание науки, именуемой «литературоведением», и будем ли мы включать в литературоведение и литературную критику. Решение этой проблемы, которая на первый взгляд может показаться «чисто академической», на самом деле имеет очень важное значение для творческой работы наших критиков. Не ясно ли, что взгляд на критику как на составную часть марксистского литературоведения ориентирует критика на последовательно научный подход к анализу и оценке литературных явлений. С другой стороны, взгляд на критику как на «полунауку-полуискусство» (а тем более как на «разновидность» художественной литературы) и в связи с этим то или иное «отгораживание», а то и полный отрыв критики от литературоведения неизбежно ведет к умалению или даже к отрицанию научных основ критики.

Вот почему так важно внести необходимую ясность в понимание и употребление таких «ходовых» выражений, как «художественная критика», «критика и литературоведение». И не лучше ли было бы всегда пользоваться сложным понятием «литературоведения», когда речь идет о совокупности ряда научных дисциплин о литературе, о литературной

⁴ Лит. газ., 1974, 9 янв., с. 4; 1973, 19 сент., с. 6.

науке в целом, а ту или иную составную часть этой науки именовать не общим термином «литературоведение», а конкретно называть ее: история литературы, теория литературы, литературная критика. Тогда мы будем и литературную критику рассматривать как составную часть науки о литературе, обладающую своей спецификой (так же как обладающую своей спецификой и все остальные разделы литературоведения), а не говорить о «связи критики с литературоведением», о «приближении критики к литературоведению» или о «благоприятном влиянии литературоведения на критику». Ведь когда говорят о «благоприятном влиянии» литературоведения на критику, то по сути имеют в виду не литературоведение в целом, а соответствующие его разделы (например, историю или теорию литературы).

Если же все-таки пользоваться выражением «критика и литературоведение» (поскольку ныне оно получило очень широкое распространение), то необходимо признать *относительный* характер этого выделения критики в *составе* литературоведения и никогда не забывать, что критика в основе своей сама является важным разделом литературоведения, что и определяет ее научный характер.

2

Разногласия в истолковании природы критики и попытки отделить критику от науки о литературе нашли свое отражение и в новом, третьем издании Большой советской энциклопедии. В статье «Литературоведение» (т. 14) вначале говорится о критике как об одной из «трех главных отраслей» науки о литературе (наряду с историей и теорией литературы), а затем делается оговорка: «Принадлежность критики к литературоведению как к науке не является общепризнанной» (с. 524). Такой взгляд на критику в корне противоположен «старому» истолкованию научной природы критики. В статье А. Цейтлина «Литературоведение», опубликованной в 6-м томе «Литературной энциклопедии» (1932) еще при жизни А. В. Луначарского, редактировавшего это издание, было ясно сказано, что литературная критика не только входит в «общий состав» науки о литературе, но и представляет собой ее «авангардную» часть. Литературная критика, говорится в названной статье, является «передовым отрядом литературоведения... пионером научного анализа...» (стлб. 486). Поэтому, подчеркивал А. Цейтлин, «ни исключать критику из научного литературоведения, ни тем более противопоставлять ее ему... мы не имеем никаких оснований» (стлб. 488). Этот вывод опирался на изучение литературно-критического наследия В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, а также на важнейшие суждения о критике Белинского, Чернышевского, Воровского, Луначарского. Кстати замечу, что за год до появления статьи А. Цейтлина, в 5-м томе «Литературной энциклопедии» (1931) была напечатана большая работа А. В. Луначарского «Критика», в которой дана глубокая и тонкая характеристика сущности и главных особенностей критики. Говоря о «специально художественной (т. е. относящейся к искусству, — В. В.) — и уже того — литературной критике»,⁵ А. В. Луначарский сослался на тот исторический факт, что «крупные критики во все времена были... не только теоретиками данного искусства (литературы), но и философами, социологами и т. д.»⁶ Исходя из этого, Луначарский заметил, что «критику нельзя выделять как нечто изолированное: писать, скажем, историю литературной критики, отделяя ее от истории литературоведения...».⁷ В марксистском понима-

⁵ Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми т., т. VIII, с. 336.

⁶ Там же, с. 339.

⁷ Там же.

нии, писал Луначарский, «художественная критика сливается с искусствоведением, литературная критика — с литературоведением».⁸

Как видим, свою мысль о научной природе критики Луначарский выразил со всей определенностью. И это несколько не противоречит тому, что в критике существуют *разные* формы и виды изучения художественных произведений, в том числе и близкие по своему методу к самому художественному творчеству, формы, которые, как известно, часто использовал в своей критической работе сам Луначарский. Когда речь шла об истолковании *сущности* критики в целом как особого вида литературной работы, Луначарский определял эту сущность как специфический род научно-эстетического осмысления литературы (или искусства). Он исходил при этом не из тех или иных индивидуальных особенностей, присущих критической деятельности отдельных критиков (даже самых выдающихся), и не из «признаков» некоторых критических жанров, наиболее близких по своим особенностям к творческой работе писателей, художников, а из *общей* природы критики как *научно-логического суждения* о художественном творчестве. Именно это качество отличает критику в целом от литературы в целом (при всех существующих между ними связях, а порой и наличии «переходных» форм).

Отсюда и коренное различие главных предметов познания в литературе и критике: писатель изучает прежде всего *жизнь* (проявляя при этом определенный интерес и к самой литературе, к осмыслению творчества различных писателей), критик изучает прежде всего *литературу*, творчество писателей, литературный процесс, делая это в тесной связи с познанием различных явлений жизни, находящих свое отражение в произведениях литературы. Это и порождает *качественные* различия между творческой работой писателя и творческой работой критика: первый — создает художественные произведения, второй — изучает, оценивает и пропагандирует их. Именно об этом существенном различии между литературой и критикой, находящем свое выражение в специфике мышления писателя и критика, не раз говорил такой великий знаток художественного творчества, как Белинский. По его словам, критика «есть приложение теории к практике, есть та же наука, созданная искусством...»⁹ Белинский считал, что критика «есть сознание философское, а искусство — сознание непосредственное».¹⁰ Указывая на существенные различия в мышлении писателя, художника, с одной стороны, и критика — с другой, Белинский пояснял: «Художник и литератор выражает свое понятие об искусстве и литературе *непосредственно*, самими творениями своими; критик выражает свое понятие об искусстве и литературе *через посредство* мысли, сознательно».¹¹

Исходя из того, что «критика беспрепятственно движется, идет вперед, собирает для науки новые материалы, новые данные», Белинский метко назвал ее «движущейся эстетикой».¹² В этом кратком, но исключительно глубоком определении Белинский подчеркнул то, что критика тесно связана с эстетикой как общей научной теорией художественного творчества и что критика развивается и научно углубляется путем анализа и познания все нового и нового художественного опыта, его изучения, обобщения. Будучи сама, по природе своей, научной, критика не только «собирает» для эстетики «новые материалы, новые данные», но и опирается на них, изучая и оценивая художественные произведения, характеризуя закономерности развития литературы и искусства, раскрывая идейные и

⁸ Там же, с. 338.

⁹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. II. М., 1953, с. 139—140.

¹⁰ Там же, т. VI, с. 271.

¹¹ Там же, с. 287.

¹² Там же, т. II, с. 123.

эстетические достоинства творчества того или иного писателя, художника. Иначе говоря, критика не просто чем-то или как-то «связана» с наукой или, как говорят некоторые, «пересекается» с ней, испытывает ее «благоотворное влияние». Нет, надо говорить точнее, а именно: критика по сути своей сама научна, тесно связана с рядом других наук, изучающих художественное творчество и общественную жизнь. И только как *составная часть* литературоведения (или искусствоведения) критика проявляет себя наиболее полно и глубоко, не теряя при этом своей специфики. *Научная природа критики и делает ее движущейся эстетикой* (а не художественным творчеством или «чисто субъективным», эмпирическим его восприятием).

Эти «старые» взгляды на критику считались у нас истинными не только в 20-е или 30-е годы. «Традиционного» взгляда на критику как на один из основных разделов науки о литературе придерживаются и ныне многие наши известные литературоведы и эстетики. Сошлюсь на мнения некоторых из них.

Член-корреспондент АН СССР А. С. Бушмин в своей книге, посвященной изучению методологических проблем марксистского литературоведения, пишет: «В моем представлении литературная критика своими существенными чертами сливается с понятием литературоведения... литературная критика в принципе совпадает с литературоведением в широком смысле слова, с его основными слагаемыми — историей литературы и теорией литературы, — точнее сказать, является тем же литературоведением, но обращенным к современному литературному движению».¹³ С этим, говорит далее А. Бушмин, и связаны некоторые важные особенности критики как раздела науки о литературе, своеобразии «стиля, жанров, задач, функций» литературно-критических работ, отсюда и «относительная самостоятельность самого наименования *литературная критика*».¹⁴ По мнению ученого, литературная критика — это «литературоведение, имеющее дело с живым совершающимся литературным процессом...»¹⁵ Это выражается в самой *специфике* критики, ее *публицистической* направленности. «Являясь непосредственным участником еще не завершенной стадии литературного развития, литературная критика уступает ретроспективному литературоведению, опирающемуся на более длительный опыт истории, в научной строгости выводов, но имеет и свое преимущество: возможность более активно воздействовать на художественное творчество своего времени».¹⁶ Как верно отмечает далее А. Бушмин, литературная критика «не может успешно развиваться без опоры на научную историю и теорию литературы», она «продолжает их дело и вносит свой научный вклад в общий фонд литературоведения».¹⁷

А в статье «Критику — в первые ряды» А. Бушмин, говоря о взаимосвязи литературной критики с другими разделами литературоведения и ее авангардной роли в развитии науки о литературе, пришел к важному выводу, что теория и история литературы «осуществляют свою связь с „практикой“, с современным художественным развитием общества прежде всего через литературную критику».¹⁸ С этой точки зрения, отмечает исследователь, критика — это «подвижный отряд, оперативный штаб литературоведения. Она находится в авангарде идейной борьбы, происходящей на фронте искусства. Ей принадлежит первое слово о новых явлениях в художественном мире. Она формирует о них первые пред-

¹³ Бушмин А. С. Методологические вопросы литературоведческих исследований. Л., 1969, с. 87.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же, с. 87—88.

¹⁷ Там же, с. 88.

¹⁸ Русская литература, 1972, № 3, с. 15.

7 Русская литература, № 4, 1978 г.

ставления и выполняет первую роль в пропаганде литературных знаний».¹⁹

О научном характере литературно-художественной критики и необходимости дальнейшего углубления ее философско-эстетических основ убедительно говорится в книге академика А. Егорова «Проблемы эстетики». В чем же видит автор названной книги важнейшее средство повышения идейно-теоретического уровня критики? «... Если говорить о путях совершенствования художественной критики, — пишет ученый, — то это, на мой взгляд, прежде всего дальнейшее углубление ее органической связи с марксистско-ленинской эстетикой — и в том смысле, что художественная критика должна всегда и во всем твердо опираться на принципы марксистско-ленинской эстетики, и в том смысле, чтобы художественная критика, в свою очередь, способствовала дальнейшему развитию эстетики, анализируя и обобщая новый художественный опыт, накопленный литературой, всем искусством».²⁰ Как видим, по мнению А. Егорова, литературно-художественная критика (при всех ее особенностях и существенных отличиях от других видов изучения литературы и искусства) в основе своей является научной формой познания художественного творчества. Этой точки зрения придерживаются и такие наши видные критики и теоретики литературы, как В. Иванов, Ю. Барабаш, А. Метченко, Л. Новиченко, В. Озеров, и др.

Не лишне напомнить также, что многие выдающиеся писатели как прошлого, так и нашего времени (Пушкин, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Короленко, Горький, А. Толстой, Фадеев и др.) в своих высказываниях о критике отмечали ее *научно-философский* характер и большое значение для развития художественной культуры и творческой работы художников слова. Особенно много интересных и ценных суждений о критике содержится в статьях, речах и письмах А. Фадеева. Он верно чувствовал и глубоко понимал специфику творческой работы критика, но при этом никогда не переставал подчеркивать первостепенного значения для марксистской критики ее подлинной научности. Говоря об этом, он часто ссылался на высказывания классиков марксизма-ленинизма о критике, на работы Плеханова и великих мастеров русской революционно-демократической критики. Для А. Фадеева «наша советская критика — критика научная и революционная...»²¹ В этом он видел ее огромную силу. В статье «Задачи художественной критики в наши дни» (1942) он писал: «Обобщить и осмыслить художественный опыт советского искусства, проверить его правдой жизни... раскрыть и отбросить все ложное, случайное, фальшивое, а все настоящее, правдивое вернуть народу как бы в очищенном, осмысленном виде... — это задача художественной критики...»²² Важно отметить также, что «разделение» изучающих литературу «на так называемых „литературоведов“, занимающихся только прошлым литературы... и на собственно критиков, занимающихся только современной литературой»,²³ А. Фадеев считал научно необоснованным, тормозящим изучение советской литературы и ее развитие. Он полагал, что ошибочно относить к науке только историков литературы, а на критиков смотреть как на людей «неученых». По мнению А. Фадеева, научный характер критики не исключает многообразия ее форм, средств, жанров. Оно связано не только с особенностями дарования, жизненного опыта и личными склонностями того или иного критика, но и с идейно-

¹⁹ Там же.

²⁰ Егоров А. Проблемы эстетики. М., 1974, с. 384.

²¹ Фадеев Александр. За тридцать лет. Избр. статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М., 1957, с. 205.

²² Там же, с. 263—264.

²³ Там же, с. 528.

эстетической «многомерностью», смысловой многогранностью художественных образов, а также с необходимостью удовлетворения эстетических запросов различных категорий читателей.²⁴

3

Тенденция рассматривать критику как «особый род» художественного (а не научно-эстетического) творчества возникла давно. Так, еще в конце XVIII—начале XIX века один из крупнейших представителей эстетики немецкого романтизма Ф. Шлегель утверждал, что критика — это особый жанр художественной литературы. По его словам, «художественная оценка, не являющаяся сама по себе художественным произведением... не имеет никаких прав гражданства в мире искусства».²⁵ Так судили о критике многие сторонники идеалистических взглядов на литературу и искусство, по сути отождествляя труд критика с художественным творчеством. Такое понимание критики открывало путь к произвольному, субъективистскому «истолкованию» творчества писателей, художников. Об этом прямо говорится в «диалоге» О. Уайльда «Критик как художник». Устами одного из участников диалога писатель утверждает, что «критика сама по себе несомненно есть искусство».²⁶ Тот же «герой» диалога заявляет, что критика является «чистейшим видом личных переживаний», что «единственная цель» творчества критика — «летописать собственные впечатления».²⁷ Поэтому для критика «художественное произведение — просто толчок к новому, собственному произведению...»²⁸ Поскольку, говорит писатель, «всякое художественное произведение абсолютно субъективно»,²⁹ то и взгляд на него и его оценка критиком являются «чисто субъективными». Из этого вытекает, что «в высшем своем развитии все виды критики являются только настроением...»³⁰

Такого рода идеалистические, субъективистские, формалистические взгляды на художественное творчество и критику как якобы его разновидность были не случайно подхвачены в России декадентской, импрессионистической критикой (А. Волынский, Ю. Айхенвальд и др.), которая противопоставляла «научному рационализму» революционно-демократической, а затем марксистской критики свою «художественную», а по сути антинаучную концепцию творческой работы критика. Сторонники буржуазно-идеалистической эстетики всегда стремились оторвать критику от науки и тем самым ослабить идейно-эстетическую силу критики и умалить ее общественное значение. Они настойчиво пытались доказать, что «изучение искусства, которое во что бы то ни стало хочет стать наукой, грозит стать наукой, направленной против искусства».³¹ Конечно, если критика опирается на псевдонаучные, вульгарно-социологические взгляды на художественное творчество, то действительно такой «научный» подход направлен против искусства. Но автор цитируемого высказывания Макс Фридендер имел в виду другое: он в принципе выступал

²⁴ О богатстве и разнообразии типов критических работ как одной из важных закономерностей, присущих этому виду научно-эстетического познания литературы, обстоятельно и убедительно говорится в недавно опубликованной статье А. Бочарова «Критическое прочтение и критическое своеволие» (Октябрь, 1978, № 1).

²⁵ См. в кн: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли в 5-ти т., т. III. М., 1967, с. 250.

²⁶ Уайльд О. Полн. собр. соч., т. III. [СПб.], 1912, с. 230.

²⁷ Там же, с. 231.

²⁸ Там же, с. 234.

²⁹ Там же, с. 252.

³⁰ Там же, с. 253. Я сейчас не касаюсь некоторых метких суждений О. Уайльда, содержащихся в его диалоге «Критик как художник». Речь идет только о неверном, ненаучном истолковании писателем природы критики.

³¹ Фридендер Макс. Знаком искусства. М., 1923, с. 20.

против научного характера критики, — а это в корне чуждо марксистскому пониманию ее научно-эстетической природы.

Ныне ошибочное отождествление критики с художественным творчеством делается порой с целью противопоставить «художественность» критики как особого вида искусства научности исследования художественных произведений. «...Критика — это особый вид искусства, именно искусства»,³² — подчеркивает К. Бобулов. Другой критик довольно решительно заявляет: «Теоретически никто не станет оспаривать тезис, что критика — искусство, что она, равно как проза или поэзия, требует таланта».³³ Да, конечно, критик безусловно должен обладать эстетической одаренностью и способностью глубоко и тонко воспринимать, анализировать и верно оценивать произведения писателя, художника. Но талант критика — это талант особого рода, он направлен не на создание, а на *изучение* литературы и искусства.

Поэтому нельзя согласиться с мнением тех литераторов, которые так или иначе, прямо или с различными оговорками рассматривают критику как художественное творчество и требуют от нее «художественности» как якобы качества, определяющего ее сущность. Разве не вызывает серьезного возражения хотя бы такое утверждение И. Золотусского: в критике, говорит он, «те, кому не дается художественность, толкуют о „научности“...»?³⁴ И этот же критик заявляет: «С точки зрения тех, кто твердит, что критика — это наука или „часть науки“, Белинский не был критиком».³⁵ Спрашивается: на чем же основано столь «оригинальное» обвинение тех, кто «твердит» (слово-то какое!), что критика — это наука? Оказывается, величие и силу Белинского-критика надо видеть не в его огромных знаниях и глубоком научно-эстетическом анализе художественных произведений, а в... «непосредственном чувстве искусства, в интуиции», с которыми и связаны «его необыкновенные догадки и прозрения...»³⁶ Вот, мол, где надо искать первооснову «художественной» критики!

Я не собираюсь преуменьшать ни огромного таланта, ни значения исключительно тонкого дара непосредственного чувства прекрасного и поразительно верной эстетической интуиции Белинского, но думать, что «необыкновенные догадки и прозрения» великого критика порождались только этими качествами, а не связаны также с глубоким научно-философским подходом к искусству как художественно-образному отражению жизни, значит впадать в односторонность и забыть о тех высоких и верных оценках *научного* характера критики Белинского, какие содержатся в трудах Чернышевского, Плеханова и Луначарского, в высказываниях В. И. Ленина о Белинском, которого он считал одним из предшественников марксизма в России.

Не связано ли суждение И. Золотусского о Белинском с теми ошибочными взглядами на критику как «ненауку», о которых было сказано выше? Ведь если полагать, что критика — это «исповедь автора», что критик шипет «в известной мере для себя», а не облуживает литературу» и читателей, то тогда и впрямь придется к выводу, что критика должна быть не научной, а «художественной», и поэтому «уважаемой „научности“ (да еще взятой в иронические кавычки, — В. В.) придется тут, — как говорит И. Золотусский, — отступить, стусеваться и убраться в свои профессиональные недра».³⁷

³² Бобулов К. Критика и литературный процесс. Фрунзе, 1976, с. 32.

³³ Вопросы литературы, 1971, № 5, с. 78.

³⁴ Лит. газ., 1977, 21 дек., с. 6.

³⁵ Там же.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

Весь вопрос только в том: выиграет ли от этого критика?

К сожалению, взгляд на критику как на художественное творчество высказывается не одним И. Золотусским. Л. Аннинский тоже полагает, что критик творит не для читателя, «потому что читатель писателя и без меня прочтет, и разберется...» Главное для критика — не читатель и писатель, а личная «исповедь» (?!), потому что «во всяком человеке есть жажда исповеди».³⁸ Не удивительно поэтому, что важнейшие достоинства критического суждения Л. Аннинский видит в «исповедальности» и «нестандартном» взгляде на искусство. Вот только неясно: как быть, если «исповедь» и «нестандартность» мнений критика носят субъективистский и ложный характер? Влияет ли это на «художественность» работы критика?

О критике как об особом разделе «изящной словесности» недавно писал В. Сахаров. Именно потому, что критика — это «изящная словесность», ее путь к литературе, к творчеству писателей «лежит через художественный образ». В противном случае «в критику приходит сухощавый, по природе своей антилитературный академизм...»³⁹ А как же в таком случае быть с аналитическими, строго научными работами В. И. Ленина, основанными на философско-эстетическом, научно-логическом подходе к явлениям литературы и искусства? Неужели кто-либо отважится «вывести» эти работы за пределы критики по причине их «недостаточной художественности»? Или, скажем, никто не сомневается в том, что Писарев или Плеханов — выдающиеся критики, но известно, что ни тот, ни другой не были писателями, художниками. Говоря о редком и общественно ценном даровании, «особом таланте», присущем подлинному критику, Луначарский отмечал, что дарование критика, его творческая работа проявляются прежде всего в создании *критических* произведений, тогда как талант писателя направлен на создание *художественных* произведений. И так же как не все писатели обладают способностями настоящего критика, далеко не каждый талантливый критик может создать истинно художественное произведение. У Луначарского об этом сказано так: «Иной раз такой критик может написать хорошую драму или хороший сонет. Иной раз он совсем не может этого сделать».⁴⁰ Но это не умаляет его достоинств как критика, не делает его работы неполноценными — его талант проявляется в *критическом творчестве*.

Вот как тонко и ярко описывает Луначарский вдохновенный, подлинно творческий труд талантливого критика: «Флюиды критика входят в блестящие соединения с положительными силами произведения данного художника. Яркость его образов, сила его чувства, точность его формул загораются от прикосновения с критикой ярчайшим светом, и те, кто наблюдает это, говорит себе: „Но посмотрите, — под реакцией на разбор критика произведения А. засияли, как северное сияние“. И вдруг рядом с этим вы замечаете пустоты, серые ямы, жалкую поддельную мишуру. Что такое, кто это исказил вдруг творческий лик великого художника Б.? Никто не исказил его творческого лика, а только под влиянием реакции на критику сделалось ясно то, что у него недочувствовано, недоумано».⁴¹ Одаренный критик, владеющий мастерством своего дела, говорит далее Луначарский, «уточняет писателя и для него самого и для широкого читателя».⁴²

Хорошо известно, что Луначарский, будучи выдающимся критиком, обладал также незаурядным талантом писателя, художника. Какое бы, кому, как не ему, можно было бы говорить о «художественной»

³⁸ Там же, 1978, 18 янв., с. 6.

³⁹ Там же, 1977, 21 дек., с. 6.

⁴⁰ Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1957, с. 126.

⁴¹ Там же, с. 123.

⁴² Там же, с. 125.

природе работы критика. Однако подходя к истолкованию этого вопроса с марксистских позиций, *объективно* определяя сущность критики как особой формы познания (и поэтому не ограничивая себя только отдельными видами творческой работы критика), Луначарский был убежден в том, что по *природе* своей критика — не художественно-образное, а научно-эстетическое мышление.

О критике как художественном творчестве пишут не только на страницах некоторых газет и журналов — такая точка зрения проникла и в научные сборники, и в отдельные монографии. Кратко коснусь двух больших исследований, специально посвященных изучению важных вопросов критики. Это книги М. Полякова «Поэзия критической мысли» (1968) и Б. Бурсова «Критика как литература» (1976). Начну с работы Б. Бурсова. Напомню, что его исследование под тем же заглавием вначале было опубликовано в виде цикла статей в журнале «Звезда» в 1973 году. Затем в сокращенном виде оно напечатано в сборнике «Современная литературно-художественная критика» (1975), а позже вошло в новую книгу автора (как ее первый раздел, давший название работе в целом). Я уже писал о журнальном варианте названного исследования. И поскольку автор в принципе придерживается тех же взглядов на критику, которые он высказал в первой публикации работы «Критика как литература», я не хотел бы повторять того, о чем уже говорил в печати по поводу спорности, а порой, с моей точки зрения, и ошибочности некоторых суждений Б. Бурсова по отдельным принципиальным вопросам.⁴³ Скажу только, что стремление исследователя видеть «корень» существенных недостатков многих литературно-критических работ в слабости или низкой степени их «литературности» (а не прежде всего в сравнительно невысоком научно-философском их уровне, методологической слабости и значительных идейно-эстетических промахах, как об этом говорится в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике») заметно снижает научную ценность названного исследования, написанного человеком большой эрудиции и завидного дарования.

Мне думается, что превращение критики в литературу (с какими бы благими намерениями оно не предпринималось) *объективно* означает отрыв критики от литературоведения. Впрочем, Б. Бурсов в своем ответе на анкету журнала «Вопросы литературы», озаглавленную «Боевые задачи критики», прямо сказал, что не только критика, но и вся наука о литературе должна стать *литературой*. Он утверждал, что «по-прежнему остается задача превращения „литературоведения“ в „литературу“». ⁴⁴ Но выиграет ли от этого наука о литературе и для чего это «превращение» необходимо самой литературе — вот вопросы, на которые Б. Бурсов, к сожалению, не дает убедительных ответов.

Другая большая работа — монография М. Полякова, озаглавленная, очевидно, преднамеренно «художественно»: «Поэзия критической мысли». Правда, эта «поэтичность» названия несколько осложняет правильное понимание содержания работы в целом. Во всяком случае, читая это заглавие, не сразу поймешь, о чем идет речь: то ли о *поэзии*, насыщенной критической мыслью, то ли о *поэтичности* самой критической мысли. Но главное не в этом. Из подзаголовка все же видно, что работа посвящена изучению мастерства Белинского и некоторых вопросов литературной теории.

Настораживает уже издательская аннотация, которой открывается данная книга. Здесь сказано, что автор, анализируя труды Белинского,

⁴³ См.: Воробьев В. Нужно ли критику «перевоплощаться»? — Дов, 1974, № 7, с. 164—171.

⁴⁴ Вопросы литературы, 1971, № 5, с. 45.

показывает, как «глубокая научно оснащенная работа становится искусством...» Правда, слово «искусство» в этом случае можно понять не как художественное творчество, а в широком смысле — как высокое умение, замечательное мастерство великого критика. Но вот мы читаем написанное автором о Белинском и все более убеждаемся в том, что в приведенном выше рекомендательном отзыве издательства речь таки идет об искусстве в прямом значении этого слова. Автор говорит «о художественности критики, о ее принадлежности к обширной и многообразной области искусства...»⁴⁵ Он называет работы Белинского «публицистически-художественной прозой»⁴⁶ и утверждает, что не только в критических статьях по конкретным вопросам литературы, но и в «теоретических высказываниях» Белинского якобы нашла яркое выражение «специфическая природа критики как особого жанра художественной литературы...»⁴⁷ В другом месте книги говорится, что Белинский рассуждал «о критике как художественном жанре...»⁴⁸ Ну а как же в таком случае быть с широко известным определением Белинским критики как «движущейся эстетики»? Как самосознания литературы, выраженного в суждениях о ней? Как философско-эстетического анализа и оценки художественного творчества на основе научного подхода к литературе и искусству? Вот вопросы, которые невольно возникают, когда мы знакомимся с некоторыми утверждениями М. Полякова относительно взглядов Белинского на природу критики. В результате появляется сомнение: прав ли исследователь, попытавшийся непревзойденное мастерство Белинского-критика рассматривать как искусство (в смысле художественное творчество)?

Повторяю, М. Поляков говорит не только об эстетической глубине и тонкости научного анализа и необыкновенно ярком изложении, присущих критическим трудам Белинского, но и об их «художественности». Тем самым необоснованно (хотя порой и с оговорками) автор отождествляет разные формы познания — научно-логическую и художественно-образную. И хотя эти формы не отгорожены одна от другой, но в гносеологическом отношении они качественно различны. Поэтому только исходя из внутренней природы каждой из них, можно верно осмыслить специфику как науки, так и искусства, как понятийную, так и образную формы познания и отражения действительности.

В глубине научного анализа произведений писателя и отраженных им явлений жизни, в правильном философско-эстетическом истолковании художественного творчества — вот в чем проявляются и одаренность, и знания, и умение критика. Эти качества и получили условное наименование «критического искусства».

4

Кроме охарактеризованных мною двух прямо противоположных точек зрения на критику, существуют еще две. Кратко коснусь их.

Сторонники одной из них утверждают, что критика — это не наука и не искусство, а творческая деятельность, находящаяся на «стыке» или «пересечении» научного и художественного познания. Такое понимание критики появилось не вчера. Оно имеет уже длительную историю. Еще в конце XIX века известный русский историк и теоретик литературы Д. Н. Овсяннико-Куликовский в статье «К вопросу о приемах и задачах художественной критики» писал, что критика представляет собой

⁴⁵ Поляков М. Поэзия критической мысли. М., 1968, с. 7.

⁴⁶ Там же, с. 67.

⁴⁷ Там же, с. 62 (курсив мой, — В. В.).

⁴⁸ Там же, с. 17.

«синтез художественной и научно-философской мысли».⁴⁹ С тех пор эта формула неоднократно повторяется в научной литературе. Сам Овсяннико-Куликовский, не отрицая известного «причастия» критики к науке, вместе с тем полагал, что критика — это наука «прикладная». Поэтому «не ее дело открывать психологические законы творчества». За критикой он признавал право установления «предварительного понятия» о том или ином явлении художественного творчества, понятия, которое отличается от собственно «научного исследования этого явления».⁵⁰ Так было положено начало той концепции критики, которую А. С. Бушмин назвал «гибридной». Ее сущность состоит в признании критики «полунаукой-полуискусством», хотя бы при этом говорилось о «синтезе» или «слиянии» науки и художественного творчества. Тем более что никто из сторонников этого взгляда не отважился утверждать, что критика по природе своей является полноценным выражением научного и художественного познания одновременно. По сути дело ограничивается общими суждениями. Критика — это «органический синтез науки и искусства, логического и образного мышления»,⁵¹ — считает В. Баранов. Об этом же пишет В. Ковский, видящий специфику критики и ее методологии в том, что творчество критика находится «на стыке» науки и искусства, социологии и публицистики, литературоведения и самой литературы...»⁵²

Думается, что те, кто придерживается взгляда на критику как на «синтез науки и искусства», пытаются одну из форм, существующих в критике («полунаука-полуискусство»), истолковать как *всеобщую*, якобы определяющую природу критики вообще. Действительно, в критике существуют такие виды и жанры, которые появились как бы на «пересечении» науки и искусства — например, хорошо известны литературно-критические рассказы о жизни и деятельности замечательных людей, литературно-критические портреты, критические диалоги, художественно-критические очерки о писателях и отдельных произведениях (так называемые «эссе») и др. Сюда можно причислить «критические повести» В. Шкловского и «романы-исследования», создаваемые Б. Бурсовым. Все это интересно, ценно и имеет полное право на существование в критике, являясь одной из ее форм. Но это никак не значит, что вся критика должна быть непременно «полунаукой-полуискусством». К примеру, существуют (и бесполезно) «Занимательная физика», «Занимательная геометрия» и другие, подобные им, виды пропаганды научных знаний, но, кажется, никому и в голову не приходит утверждать, что именно *эти* формы научного мышления определяют основу физики и геометрии как специфических отраслей науки. Почему же литературоведение должно быть ограничено только «занимательным» и «художественным»?

Сторонники другой, выдвинутой в последние годы точки зрения на критику как на «сугубо оценочную» духовную деятельность полагают, что критика «не есть по природе своей ни наука, ни искусство, а нечто третье...», принадлежащее к «ценностно-ориентационной — в первую очередь идеологической... деятельности».⁵³ Именно такое понимание сущности критики содержится в ответе М. Кагана на анкету журнала «Вопросы литературы». Он одобрительно относится к попыткам некото-

⁴⁹ Новое слово, 1897, № 12, с. 54.

⁵⁰ Там же, с. 31.

⁵¹ Вопросы литературы, 1971, № 5, с. 38.

⁵² Там же, 1976, № 2, с. 99. Пожалуй, наиболее развернуто эта точка зрения выражена в статьях В. Брюховецкого «Едність наукового й художнього» (Жовтень, 1975, № 1) и Ю. Борева «Природа критики та її суспільне призначення» (Радянське літературознавство, 1977, № 10).

⁵³ Вопросы литературы, 1971, № 5, с. 91, 92.

рых исследователей (в частности, Б. Бернштейна) связать специфику критики с проявлением «ценностного отношения» человека к окружающей его действительности.

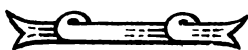
Для понимания сути такой точки зрения обратимся к статье Б. Бернштейна «История искусств и художественная критика». Свою главную мысль исследователь выразил так: «Научный анализ для самого искусства имеет второстепенное (?) значение, сфера же ценностного отношения — суть сфера его подлинного бытия. Кристаллизацией ценностного отношения и в то же время его инструментом является критика».⁵⁴

Возникает ряд вопросов. Прежде всего что значит «сфера ценностного отношения»? Разве *все* виды общественного сознания не включают в себя, как составной элемент, и *оценку* того, что познается? Понятно, что критика, направленная на изучение художественного творчества, не может существовать без тех или иных оценок произведений, о которых критик ведет речь. Против этого вряд ли можно что-либо возразить. Но вместе с тем критику нельзя сводить *только* к «оценочной деятельности». В основе подлинно научной критики лежит *научный анализ*, объективное раскрытие сущности и значения изображенных писателем явлений, сопоставление художественных образов с жизнью, стремление критика глубоко осмыслить содержание произведения, его идейно-эстетическую направленность, определить творческую индивидуальность автора, раскрыть главные особенности его художественного мышления, стиля. Вряд ли все это можно осуществить только «оценочным подходом» к литературе и искусству. Марксистская критика не может существовать как «чисто оценочное» явление. Она по характеру своему — научный вид мышления, обладающий своей спецификой. Будучи составной частью литературоведения (или искусствоведения), критика опирается также на другие гуманитарные науки. Как справедливо утверждал Луначарский, марксистская критика связана с философией, социологией, историей, психологией, лингвистикой (а не только с историей и теорией литературы, с эстетикой). Лишь широко и глубоко оснащенная научно, критика в силах решать самые сложные аналитические задачи.

Поэтому попытки свести критику лишь к «оценочному суждению» на деле (даже помимо желания тех, кто придерживается такой точки зрения) означают отрицание научных основ критики как особой формы мышления, связанной с изучением художественного творчества. А это, думается, не такая уж безобидная вещь — и для теории марксистской критики, и для творческой работы наших критиков. Вот почему нельзя оставить без внимания эту новую концепцию, вызывающую серьезные сомнения в ее истинности.

Я кратко рассмотрел существующие ныне четыре точки зрения на литературно-художественную критику. Труд талантливых критиков и некоторые исследования, посвященные изучению коренных вопросов теории и методологии критики, убеждают в том, что наиболее научно обоснованным является взгляд на критику как на особый вид научно-эстетического осмысления художественного творчества. Думается, что только исходя из этого, можно правильно понять специфику критики, ее внутреннюю природу и верно определить важную общественную роль критики, ее большое значение для развития литературы, творческой работы писателей и эстетического воспитания читателей.

⁵⁴ В кн.: Советское искусствознание. 1973. М., 1974, с. 258.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

И. Ф. ИОВВА

ПУШКИН В ДОКУМЕНТАХ ДЕЛА АЛЕКСЕЕВА—РАДИЧА

О жизни Пушкина на юге опубликован ряд работ и известно немало фактов. Однако этот период биографии поэта имеет значительные пробелы, много неясного и спорного. Нам удалось разыскать новые архивные материалы, содержащие сведения о связях Пушкина с декабристами, его поведении, об отношении к нему графа Воронцова и некоторых военных лиц и гражданских чиновников. Они находятся в деле под названием: «О кишиневских: почтмейстере отставном полковнике Алексееве и полицмейстере полковнике Радиче, доставленных по высочайшему повелению в С. Петербург для допроса», хранящемся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции.¹

А. П. Алексеев и Я. Н. Радич были арестованы в 1829 году за то, что Алексеев, будучи почтмейстером Кишинева, распечатывал служебные секретные пакеты, с содержанием которых знакомил Радича. При аресте были опечатаны их бумаги и вместе с ними доставлены в Петербург. После допроса Алексеев был отстранен от должности, а Радич «выдержан на гаубахте один месяц, отправлен обратно в Кишинев на ту же должность». До ареста за кишиневским почтмейстером был установлен надзор. Об этом свидетельствует и дело из Государственного архива Одесской области. 20 июля 1829 года Бессарабский гражданский губернатор А. Сорокунский из Аккермана доносил высшему начальству: «Я не имею доселе никакого ответа о армянском архиепископе, ни о действиях почтмейстера. Желательно весьма, чтобы разрешения по обоим сим предметам попали ко мне».²

Дело из ЦГАОР, насчитывающее около ста листов большого формата, включает материалы допроса Алексеева и Радича, их переписку, извлечения из писем Радичу правителя канцелярии Воронцова действительного статского советника А. И. Казначеева, хорошо знакомого Пушкину, и командира 6-го корпуса генерала И. В. Сабанеева. В нем отражены важнейшие политические события, содержится характеристика некоторых высокопоставленных военных и гражданских чиновников, раскрывается характер их взаимоотношений.

Следователи произвели ряд выписок из писем Казначеева и Сабанеева к Радичу. Они обратили внимание на следующее место из письма Казначеева, которое в деле обозначено № 1: «Поклонись Живковичу и Алексееву, скажи последнему, что мы его не выдадим, а поддержим по-русски во всяком случае. В поимке товарища Урсула ты молодец, только вспомни, что ты муж и скоро будешь отцом».³

Приведенная выдержка по времени относится к 1823 году. Казначеев передает поклон жившему тогда в Кишиневе видному деятелю сербского освободительного движения воеводе отставному полковнику Живковичу и кишиневскому почтмейстеру Алексееву. Трудно сказать, что означает фраза «скажи последнему, что мы его не выдадим, а поддержим по-русски». Возможно, что Алексеев, будучи по национальности сербом, был так же, как и Живкович, связан с сербским освободительным движением и что Казначеев одобрительно относился к этому. Казначеев хвалит Радича за то, что он в 1823 году поймал в Кишиневе одного из руководителей гайдуцкого движения в Молдавии Урсула, которого, по свидетельству находившихся тогда в Кишиневе Вельтмана и Липранди, видел и Пушкин.⁴

Особый интерес представляет извлечение из письма Казначеева Радичу, которое в деле приводится под № 2: «Молодой наш поэт Пушкин с позволения графа Михаила Семеновича отпущен на несколько дней в Кишинев. Он малой славной и благородной; но часто во вред себе лишнее говорит, любит водиться с Ультрибералами и неосторожен иногда. Граф пишет ко мне из Крыма, чтобы я тебя просил невидимо присмотреть за пылким молодыяком: что где он вредное говорит, с кем водится и какое будет его занятие или прохождение времени. Если что

¹ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., д. 287 (1829 г.).

² ГАОО, ф. 1, оп. 200, д. 46, л. 14 (о бессарабском почтмейстере полковнике Алексееве).

³ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., д. 287, л. 56.

⁴ Вельтман А. Ф. Воспоминания о Бессарабии. — В кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1974, с. 281.

узнаешь, намеки ему деликатно об осторожности и папшии мне о всем обстоятельнее».⁵

Так как приведенный текст является отрывком из письма, то он не датирован. Известно, что Пушкин, после того как в июле 1823 года переехал из Кишинева в Одессу, дважды в 1824 году приезжал в Кишинев: первый раз в середине января на два дня и второй — в середине марта, и гостил здесь до конца месяца. По содержанию текста и сопоставляя факты из биографии Пушкина, можно предполагать, что это письмо скорее всего относится ко второй его поездке в Кишинев, т. е. к мартовской.

Приведенный отрывок представляет собой новое свидетельство, и весьма любопытное, о кишиневском и одесском периоде жизни Пушкина. Хотя текст допускает оттенки толкований, однако он является убедительным подтверждением того, что поэт имел связи с кишиневскими декабристами. Либералами, или либералистами, в высших правительственных и военных кругах в то время в первую очередь называли членов тайных обществ — декабристов. Это видно и из недавно обнаруженных документов (некоторые из них уже опубликованы), посвященных исследованию деятельности кишиневских декабристов. Так, в декабре 1821 года Сабанев и его начальник штаба О. И. Вахтен доносили начальнику штаба армии Киселеву: «... Раевский самой первой степени либералист...»⁶ «Ланкастеровскую школу в Кишиневе управляет один из либералистов Охотников».⁷ Поэтому и в данном случае автор письма, используя термин «ультра-либералы», бесспорно имеет в виду декабристов.

Возникает вопрос, чем была вызвана эта поездка Пушкина в Кишинев? Одни объясняют ее его желанием повидаться с бывшим своим начальником Инзовым, другие — приглашением вице-губернатора Бессарабии Ф. Ф. Вигеля. Возможно. Но не только. Скорее всего, она была вызвана стремлением поэта встретиться со своими кишиневскими друзьями-декабристами и другими приятелями. В это время кишиневская организация декабристов была уже разгромлена. Раевский содержался в Тираспольской крепости. Только отдельные члены Общества еще действовали. В этот приезд Сабанев, который был главным обвинителем Раевского, хорошо зная, что Пушкин и Раевский были друзьями, предложил ему свидание с тираспольским узником, но Пушкин отказался, заподозрив провокацию.⁸ В это время Пушкин стал более сдержанным и осторожным в разговорах даже с людьми, которым раньше доверял. Он более требовательно относился к себе и более серьезен в своих суждениях. Об этом свидетельствуют современники, его приятели. Так, И. П. Липранди, автор самых подробных и ценных воспоминаний о южном периоде пушкинской биографии, в письме от 5 мая 1865 года к известному русскому писателю А. Ф. Вельтману, говоря о встречах Пушкина с декабристами в Кишиневе, в которых и они сами принимали участие, пишет: «... эти беседы я могу изложить, а равно и одесскую (Пушкина, — И. П.) жизнь, где она приняла уже более серьезный характер».⁹

Из письма Казначеева видно, что Воронцов, отпустив на несколько дней Пушкина в Кишинев, и здесь организовал полицейскую слежку за каждым шагом молодого поэта. Это очень важная деталь. Она помогает прояснить некоторые аспекты отношений между Пушкиным и Воронцовым. В конце марта Воронцов, вернувшись из Крыма, написал министру иностранных дел графу Нессельроде, требуя удаления поэта из Одессы.¹⁰ В связи с этим 24 апреля Воронцов сообщал Н. М. Лонгинову: «О Пушкине не имею еще ответа от графа Нессельрода, но надеюсь, что меня от него избавят».¹¹ Не явилось ли это отчасти результатом тайной слежки за поэтом во время его поездки в Кишинев? Жаль, что до сих пор не обнаружен ответ Радича на письмо Казначеева, как и вообще переписка между ними. Это бы дало возможность выяснить многие подробности, связанные с вопросами биографии поэта. Радич, будучи до этого адъютантом Сабанеева и имевший прямое отношение к расследованию деятельности кишиневских декабристов, много знал о них и о связях с ними Пушкина. Свое желание удалить Пушкина с юга Воронцов объяснял тем, что в Одессе поэт оказался в окружении молодежи, выражающей восторженное отношение к его таланту, что за летний сезон число этих молодых людей станет еще больше и постоянное общение их с Пушкиным

⁵ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., д. 287, л. 56—57.

⁶ Иовва И. Ф. Декабристы в Молдавии. Кишинев, 1975, с. 156.

⁷ ИРЛИ, архив П. Д. Киселева, ф. 143, 29.6.84, л. 25; 29.6.103, л. 219.

⁸ Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний. — В кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 337.

⁹ ГБЛ, ф. 47 (А. Ф. Вельтман), оп. 2, п. 4, № 17, л. 34 (письма И. П. Липранди А. Ф. Вельтману).

¹⁰ Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951, с. 450.

¹¹ ИРЛИ, архив Н. М. Лонгинова, д. 23633, л. 43 (письма М. С. Воронцова к Н. М. Лонгинову).

будет опасным и нежелательным для обеих сторон. Возвращение же в Кишинев «не поможет ничему», так как там он найдет в боярах и молодых греках «достаточно скверное общество».¹²

Говоря о молодых греках и боярах, Воронцов, по-видимому, имел в виду и молдавского боярина Иордаки Россети-Рознована, имяне которого служило местом сосредоточения греческих этеристов при их отступлении (и оно неоднократно упоминается Пушкиным в его черновых набросках, связанных с описанием этерии), и его сына Николая, у которого в Кишиневе «собиралась молдавская молодежь, любящая потолковать о политике».¹³ Это тем более убедительно, что в используемом нами деле имеется одно из писем Н. Россети из Петербурга своим родителям в Кишинев от 12 апреля 1826 года.¹⁴ По-видимому, в числе собиравшихся была и кишиневская молодежь, которая, по свидетельству И. П. Липранди, «увиделась за Пушкиным»¹⁵ и о которой Воронцов говорил как о «скверном обществе молодых греков и бояр», находя связи ее с Пушкиным политически опасными.

На первый взгляд кажется, что Воронцов ни в чем не обвиняет Пушкина. Но если внимательно вникнуть в суть этого скрытого доноса, то в нем содержатся намеки на политическую неблагонадежность поэта.

Из приведенного отрывка из письма Казначеева видно, что его автор лестно отзывался о Пушкине. Он ласково называет его «малой славной и благородной». Больше того, Казначеев проявляет заботу о «пылком молодяке» Пушкине, старается предупредить его о возможных неприятностях. Как известно, Казначеев пытался оказывать содействие Пушкину и в других ситуациях. Так, когда в 20-х числах мая 1824 года Воронцов решил послать поэта на саранчу, Казначеев ходатайствовал за него перед графом. Он, как свидетельствует Вигель, медлил с исполнением этого распоряжения и просил Воронцова «об отмене приговора».¹⁶ Все это подтверждает свидетельства современников о том, что поэт находился под «покровительством» начальника канцелярии Воронцова.

Казначеев не скрывает свою симпатию к Пушкину от кишиневского полицмейстера Радича. Он просит его, чтобы тот в тактичной форме напомнил поэту об осторожности. Интересно отметить, что сам Пушкин считал Радича порядочным человеком.

В прямой связи с приведенным свидетельством находится другая выписка из писем Казначеева Радичу под № 5, по времени относящаяся к середине 1826 года. В ней говорится о служебном положении Казначеева и взаимоотношениях его с Воронцовым. Здесь же автор письма сообщает своему адресату потрясающую новость: о восстании декабристов и жестокой расправе царизма с первыми дворянскими революционерами, многие из которых были не только знакомыми Пушкина, но и его друзьями. «Суд в Петербурге кончился и покуда известно только то, что *Пестель*, Сергей Муравьев, Бестужев-Рюмин, Каховский и Рылеев 13 июля на гласисе Петропавловской крепости повешены на виселице. Ужасная казнь! Ужасный урок безумным либералам».¹⁷ Это сообщение свидетельствует о том, что и на юге, как и во всей империи общественность проявляла большой интерес к судьбе участников восстания декабристов и быстро и хорошо была информирована о результатах суда над ними.

Обнаруженные архивные материалы являются новым доказательством связи Пушкина с южными декабристами, а также свидетельствуют о том, что за молодым поэтом в годы южной ссылки со стороны Воронцова была установлена постоянная полицейская слежка. Они позволяют выяснить более правильно взаимоотношения между Пушкиным и Воронцовым и помогут дальнейшему всестороннему освещению общественно-политического движения на юге России и роли в нем Пушкина.

¹² Абрамович С. К истории конфликта Пушкина с Воронцовым. — Звезда, 1974, № 6, с. 193.

¹³ ЦГВИА СССР, ф. 14057, оп. 16/183, св. 393, д. 21, л. 37 (рапорт директора высшей полиции 2-й армии от 25 июля 1823 года П. Д. Киселеву); Двойченко М. Маркова Е. М. Заметки о Пушкине и беженцах этерии в Кишиневе. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1973. Л., 1975, с. 27.

¹⁴ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., д. 287, л. 11.

¹⁵ Цявловский М. Из воспоминаний И. П. Липранди о Пушкине. — В кн.: Летопись гос. лит. музея, кн. I. М., 1936, с. 556.

¹⁶ Вигель Ф. Ф. Записки, т. II. М., 1928, с. 245.

¹⁷ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., д. 287, л. 60.

Т. С. ЦАРЬКОВА

РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО Н. А. НЕКРАСОВА И ФОЛЬКЛОР

На современном этапе некрасоведения вопрос о фольклоризме Некрасова как одной из определяющих черт содержания и индивидуального стиля его поэзии решается широко, в масштабе всего творчества. «Мы вправе сказать... что не 15, и не 30, и не 50 произведений Некрасова, а все его творчество соотносилось с фольклором, взаимодействовало с ним. Оно питалось во многом содержанием фольклора, его традициями, его эстетикой, его духом...» — писал Ф. Я. Прийма в статье «Черты поэтического стиля Некрасова».¹ С этими словами невозможно не согласиться. К настоящему времени в некрасоведении много сделано для выявления фольклорных источников и определения принципов работы поэта с фольклорным материалом. В новейших исследованиях по этой теме (В. Г. Базанова, Ф. Я. Прийма и др.) предприняты попытки осмысления фольклоризма Некрасова как категории мировоззренческой.

Однако конкретную разыскательскую работу, расширяющую наши представления о творческом методе писателя, нельзя считать завершённой. До сих пор подобные разыскания касались преимущественно произведений Некрасова, посвящённых народной жизни, т. е. стихотворений и поэм о крестьянстве. Урбанистические стихотворения меньше привлекали внимание некрасоведов с этой точки зрения. В качестве примера такой работы можно назвать лишь главу из книги М. М. Гина «От факта к образу и сюжету» (1971) — об эпиграфе, предпосланном первой части сатиры «О погоде». Тем не менее важно отметить, что уже с шестнадцати лет, сразу по приезде в Петербург, Некрасов был погружен в стихию низовой столичной жизни, атмосферу улицы, торговой площади, народных спен и гуляний. И эта стихия, так же как и классическая литература, и поэзия русской деревни, влияла на него.

Недаром в мемуарах «Петербург в сороковых годах» В. Р. Зотов, вспоминая об издании совместно с Некрасовым сборника «Статейки в стихах», назвал этот сборник началом «уличной литературы», «которая вскоре сделалась совершенно невозможной (по цензурным причинам, — Т. Ц.) и возобновилась с новой силой только в новое царствование, в конце пятидесятых годов, пока не сосредоточилась окончательно в уличных листках так называемой мелкой прессы».² Проследить влияние поэзии Некрасова первой половины 1840-х годов на «уличную поэзию» позднейшего времени мы попытались в статье «О литературной жизни ранних произведений Н. А. Некрасова».³ Сейчас было бы интересно поставить вопрос об истоках «уличной литературы», пользуясь термином Зотова, самого Некрасова.

Первым и несомненным источником, конечно, были жизненные наблюдения поэта. В его стихи и прозу вошла петербургская улица, говорящая языком всех сословий. Народная городская поэзия того времени многоструйна: это и торговый фольклор (присловья уличных торговцев и приказчиков всех рангов), лакейские и солдатские песни и поговорки, и ассимилированный крестьянский фольклор тех местностей, откуда приходили на заработки крестьяне. Специфика петербургского уличного говора определялась еще и тем, что общерусский фольклор сливался в нем в большей степени, чем где бы то ни было в России, с иностранными речениями многочисленных тогда в столице заходящих мелких торговцев, шарманщиков, балаганщиков, преимущественно немцев и итальянцев.

Есть нечто в некрасовских стихотворных фельетонах «Провинциальный подьячий в Петербурге» и «Говорун», в афише «Кабинета восковых фигур», что действительно не находит аналогий в поэзии того времени, что заставляло литературоведов не одного поколения писать о «внелитературной» продукции Некрасова, «испортившей до некоторой степени его природное чутье художественной меры и такта и отучившей тщательно работать над воплощением поэтического образа в стихотворную форму».⁴ Так же пренебрежительно оценивали это явление и старшие современники поэта. В начале 1844 года хроникер «Живописного обозрения», перечисляя новости столичной жизни, писал: «... у нас есть *кит* „во чреве которого“, как говорит афишка, играет музыка, и показываются тоже диорама, косморама, панорама, неорама, и еще какая-то рама. У нас есть еще собрание общипанных восковых статуй и автоматов, о которых возвещает огромная афишка в стихах. Многие спрашивают, куда убежала Русская поэзия? Странный вопрос: она извещает о собрании восковых статуй, поздравляет вместе с швейцарами клубов при наступлении каждого праздника, пишет объявления в стихах для вин-

¹ Русская литература, 1968, № 3, с. 24.

² Исторический вестник, 1890, т. XXXIX, с. 342.

³ Русская литература, 1977, № 3, с. 89—100.

⁴ Мельшин Л. [Якубович П. Ф.]. Н. А. Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1907, с. 67.

ных погребов — все это факты, а не выдумка».⁵ Есть основания предполагать, что речь в этой заметке идет о некрасовской афише кабинета восковых фигур. Квит, показываемый публике за деньги зимой 1843—1844 года, как известно, тоже стал предметом поэтического изображения в девятой подглавке второй главы «Говоруна». Итак, некрасовская муза на время стала рекламной, воспевающей петербургские балаганные фокусы. Если не в литературных, то в каких же традициях велось это воспевание?

В настоящем сообщении мы попытаемся проследить влияние поэтики некоторых жанров зрелищного и городского фольклора — присловий балаганных дедов-зазывал и раешников, выкриков торговцев, площадного театра — на строй ранних некрасовских произведений. Раскрытие этой темы затруднено, во-первых, тем, что влияние это более опосредовано, чем влияние поэзии крестьянской. Как известно, Некрасов включал в свои произведения фрагменты народных песен и сказаний зачастую и без коренной их переработки. Во-вторых, тем, что фольклорных записей этих жанров от некрасовского времени дошло до нас чрезвычайно мало.

Анализируя «Кабинет восковых фигур» Некрасова, прежде всего обратим внимание на композицию. Начинается афиша развернутым риторическим вопросом:

Кто не учился в детстве в школах,
Историй мира не читал,
Кто исторических героев
В натуре видеть не желал? .⁶ и т. д.

Таким образом очерчивается круг адресатов, в котором оказывается каждый, все, потому что кто же откажется «видеть исторических героев в натуре»? Затем, риторически подготовленный, следует откровенный «зазыв» или «заман» публики:

Чтоб оживить свои идеи,
О чем мечтала старина,
Так вы идите в галерею,
Идите в дом Осоргина.
Там все, что умерло и сгнило,
Мы оживили навсегда.
Оно и дешево и мило:
Ей-ей, смотрите, господа!
Чем вам по Невскому слоняться,
Морозить уши и носы,
Идите с прошлым повидаться,
Смотреть истлевшие красы.

Настойчиво повторяемый императив «Идите!», наивные аргументы «Чем вам по Невскому слоняться...» — все это и зазывательная интонация, то и дело перебивающая описания фигур:

Есть и для вас в моей палате
Презанимательный предмет.
Сюда, сюда, Кузьма Петрович,
Сюда, сюда, почтенный Шпак,
Взойдите прямо и смотрите,
Немного вправо, точно так...
.....
Когда угодно приходите,
Мы будем рады завсегда...

(т. 1, с. 459—460, 467)

создают такое же впечатление, как сцены, так часто описываемые современниками Некрасова, когда приказчики-зазывалы выбегают из лавок, хватают прохожих за полы одежды и за руки, почти силой затягивая их с этими словами в свои «заведения». Роднит некрасовский «зазыв» с площадной поэзией и ирония, намешка над рекламируемым, что было так характерно для русского балагана. Афиша приглашает смотреть «истлевшие красы», «все, что умерло и сгнило», при этом Некрасов рифмой обыгрывает известную торговую пословицу, «дорого да мило, дешево да гнило» — в «кабинете» Шульца то, «что сгнило», «продается» «и дешево и мило». После «зазыва» следует своеобразный, исторически весьма

⁵ Живописное обозрение, 1844, т. IX, с. 92—93.

⁶ Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений в 3-х т., т. 1. Л., 1967, с. 455. (Библиотека поэта, большая серия). Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома (арабской цифрой) и страницы.

вольный и опять-таки ироничный комментарий — представление каждого героя или группы фигур, образующих сцену:

А здесь Махмуд, султан турецкий,
Среди наложниц молодых,
И азиатских, и немецких,
И итальянчочек живых.

А вот, пленительна как счастье,
Стройна как дикая сосна,
Царица неги, сладострастья

Сидит, детьми окружена.

А вот и тот, кто целый мир
Геройской славой изумил,
Пред кем Европа трепетала,
Чье слово чтилось как закон,
Чье имя храбрых ужасало,
Кто прежде был Наполеон,

(т. 1, с. 459, 460)

Т. е. композиция предельно проста — ряд текстовых пояснений к уже существующим изображениям, восковым фигурам, картинке — рассказы о них, без переходов, логических мостиков. Автор не утруждает себя и разнообразием ввода темы, применяя примитивные анафоры: «А вот...», «А здесь...», «А это...». Точно так же строил свой рассказ обладатель раешного ящика: «А эфто, госпо-о-да, горрод Китай, в Бел-арабской земле на поднебесной выси стоит. А эфто, примерр-ро-ом, девка Винерка, в старину она богиней бывала... А эфта, я вам доложусь-с французский царь Наполеонт...»⁷ Те же сюжеты, та же аудитория, что у раешного ящика, а следовательно, те же приемы зазыва. Вероятно, не случайно в хронике «Живописного обозрения» они и стоят рядом: диарама, косморама (т. е. раек) и афиша «кабинета».

В фельетонах Некрасова «Провинциальный подьячий в Петербурге» и «Говорун» отдельные подглавки тоже не соединяются логическими переходами, организует повествование только центральный образ героя-рассказчика.

В статье «Художественные средства в юмористическом ярмарочном фольклоре» П. Г. Богатырев выделяет как ведущие выразительные средства фольклора этого типа оксюморон, фамильярную речь и грамматическую однородность рифмующихся слов.⁸ У Некрасова они особенно ярко представлены в афише. Несомненный оксюморон:

А вот еще компания,
Прекраснейший народ,
Картежники да пьяницы,
Один из них урод.

.....

А здесь две старушончки
Танцуют менуэт.
Величиной с котеночка,
А 70 лишь лет...

(т. 1, с. 462, 459)

Словосочетание, близкое к оксюморону, построенное на том же эстетическом эффекте:

Потом Антония-девица,
Она с усами, с бородой,
Хотя с усами не годится
Ходить девице молодой.

(т. 1, с. 460)

В специальных работах по райку отмечалась тяга балаганщиков к выставлению всевозможных физических уродств: великанов, карликов, людей непомерной толщины, т. е. эксплуатация любопытства толпы ко всяческим аномалиям.⁹ И в этом смысле кабинет Шульца — тоже балаган, в нем демонстрировались уродства, сцены зверских убийств и сцены фривольные, что допускалось балаганскими нормами нравственности.

Фамильярное обращение со слушателем, приближение к его восприятию, без чего афиша не была бы понята и принята, не играла бы, осуществлялась у Некрасова двумя путями — введением экспрессивно-просторечной лексики:

Ба, ба, а это что за рожки,
А это что за генерал?
Зачем себе и адъютанту
Он сажей рожу замарал?

(т. 1, с. 465)

⁷ Этот раешный текст см. в очерке А. Левитова «Типы и сцены сельской ярмарки» в кн.: Левитов А. И. Собр. соч., т. 1. М., 1884, с. 16.

⁸ В кн.: Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971, с. 450—496.

⁹ Об этом см.: Лотман Ю. Художественная природа русских народных картинок. — В кн.: Народная гравюра и фольклор в России XVII—XIX вв. М., 1976, с. 262—263.

и русификацией (подчас вульгарной) иностранных имен и реалий. Так, Мария Стюарт в тексте афиши названа «царевной», Карл X — «добрый царь», палач стоит за спиной шотландской королевы с «секирою» в руке, Виланд — «в бархатной скуфейке». Телль как положительный герой, вызывающий симпатию, максимально приближен русскому зрителю:

А вот Вильгельм Васильевич
Телль, парень молодой;
Он славно дрался с немцами
За город свой родной.

(т. 1, с. 466)

Немец-шарманщик вводится в текст сравнением, основанным на русской поговорке: «Стоит да ухмыляется, Как лошадь на овес» (т. 1, с. 462).

Фамильярность такого же типа, но уже как средство характеристики героя, встречается и в «Провинциальном подьячем». Боб восхищается «сфинками», поставленными на невской набережной «Мемноновым», у которых «фалборки, как из кисеи», а «физиономия такая, как у нас».

Стихи, имеющие грамматически однородные рифмы, перемежаются со стихами нерифмованными, что у Некрасова, уже владевшего культурой стиха, исключительно редко, но тоже в традиции раешника. Отметим рифму устойчивую, пришедшую явно с улицы. Частым у балаганных дедов было присловье:

Наш хозяин с публики
Охоч собирать рублики.¹⁰

У Некрасова эта рифма встречается в рассматриваемых текстах по крайней мере дважды. В афише:

Почтеннейшая публика,
Уж дали вы два рублика,
Так что и толковать,
Как гривны-то не дать?

(т. 1, с. 466)

В «Говоруне»:

Ну, словом: Боско рублики,
Как фокусник и враль,
Выманивал у публики
Так ловко, что не жаль!¹¹

Часты пословичные и в этом смысле тоже «всеобщие», «уличные» рифмы типа:

Смирив свою амбицию,
За ленью слуги
Почистишь амуницию
И даже сапоги.

(I, 183)

«На грош амуниции, на алтын амбиции» — иронически играет созвучиями пословица, пришедшая из военного обихода. Наиболее органична эта рифма в тексте куплетов из водевиля «Похождения Петра Степанова, сына Столбикова»:

Дворянскую амбицию
Считая нипочем,
С солдата амуницию
Надели с тесаком!

(IV, 346)

Встречается рифма омонимичная, каламбурная, также характерная для зрелищной поэзии:

Не мысля о погибели,
Рад сам себя на *не*,
Согнувши в три погибели,
Пустить, на зло судьбе.

(I, 187)

Здесь у Некрасова омонимичная рифма не фольклорная, а литературная, но построена она по тем же правилам, что и в фольклоре: рифмующиеся слова-омонимы берутся из разных, контрастирующих стилистических пластов.

¹⁰ Русская народная драма XVII—XX веков. Редакция, вступит. статья и комментарий П. Н. Беркова. М., 1953, с. 136.

¹¹ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. I. М., 1948, с. 179. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома (римской цифрой) и страницы.

Поэзия «Кабинета восковых фигур» — утилитарная. Содержащаяся в этих стихах сильно приукрашенная информация о зрелище, которое ждет посетителей, адресована той же публике, что и зазывы балаганных дедов, поэтому не удивительно, что Некрасов так широко пользуется их рекламными приемами.

Стихотворные фельетоны сложнее по замыслу и исполнению. У них иная художественная цель: сатирически раскрыть образ подъячего-взяточника и мелкого чиновника-обывателя, и генетически они, конечно, не восходят к присловьям балаганных дедов, а ближе всего стоят к прозаическому газетному фельетону. Но газетный фельетон некрасовского времени — это преимущественно хроника столичной жизни, а зачастую фельетон брал на себя и функции афиши, анонса. Поэтому элементы поэзии уличной, рекламной вошли в фельетон. Некоторые подглавки «Говоруна» можно было бы определить как своеобразный (иногда сатирический) концерт петербургских общедоступных увеселений, концеранс, рассчитанный уже не на низший, а на средний, читающий Петербург: чиновников, купцов и их семьи, мещан, разночинцев. Так же как и в афише «Кабинета», мимоходом упомянуты цены:

Дерут за рассмотрение
Полтинник, четвертак...

Но реклама оплачивается не содержанием заведения, а издателем газеты, поэтому насмешка уже не прячется в подтекст:

А взглянешь — наслаждение
Почувствуешь в пятак!

(I, 187)

Центральное место, наряду с театральными и книжными новостями, в «Говорунах» занимают описания балаганов. И хотя рассказывает нам о них Белопяткин, в этих рассказах светится живой интерес самого Некрасова к этому яркому, праздничному, веселому, шумному народному развлечению, где метко острили не только полупрофессиональные актеры-балагуры, но где открывался широкий простор народному остро словию, где устанавливалась атмосфера языковой свободы и раскованности:

И сам в минуту пьяную,
По страсти иль нужде,
Шарманщик с обезьяною
Танцует *падеде*.

Все скачет, все волнуется,
Как будто маскарад.
А русский люд любитя:
«Как немцы-то хитрят!»

(I, 176).

Как тут не вспомнить современное Некрасову, народное о загожих гаерах: «Хитёр немец — обезьяну выдумал!»

Из пословичного ряда мы попытались вывести и этимологию первого поэтического псевдонима Некрасова, имени героя его фельетона и водевиля — Феоклист Онуфрич Боб. Почему именно «Боб»? Вероятно потому, что индикаторное «бобы разводить» означает «побасенки рассказывать, с прямым желанием подлаживаться, угодничая находчивым, острым или веселым словом»,¹² «обманывать рассказами... делишки обделывать»,¹³ что вполне отвечает характеру героя фельетона. При таком толковании почти синонимично этому имени название второго некрасовского фельетона в стихах — «Говорун», во многом развивающего тематику и поэтику «Провинциального подъячего». Перекликается с этими именами-прозвищами говорящая фамилия из водевиля «Феоклист Онуфрич Боб» — Сыромолотный.

Необходимо отметить, что и на поэтике водевиля сказалось внимание Некрасова к народному зрелищному искусству и городскому фольклору.

Вопрос о связи профессионального водевиля второй формации (40-х годов XIX века) с народным театром не исследован в нашей литературе. Возможно, что обилие переводных и переделанных с французского водевилей, шедших на русской сцене, заслонило эту параллель. Но ведь и французский водевиль родился на площади, а многое в площадном театре разных народов (театре Полишинеля-Петрушки, народных интермедиях с Арлекином, уличных и рыночных сценах) было общим, интернациональным. Еще в XVII веке на Руси в народных театрах демократических слоев городского населения ставились инсценировки переводных романов и повестей, содержание которых, конечно, адаптировалось и приводилось в соответствие с традиционными приемами народного театра, а также вкусами и национальными особенностями зрителя. 30—40-е годы XIX века — время демократизации профессионального театрального искусства. Менялся социальный состав публики: в театр пришли купцы, мелкие чиновники, студенты, городские низы — приказчики, дворовые, те, кто раньше довольствовался в основном площадными представлениями, да и теперь посещал балаганы параллельно с Александринским

¹² Крылатые слова по толкованию С. Максимова. М., 1955, с. 114.

¹³ Михельсон М. И. Русская мысль и речь, свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний, т. 1. [СПб., 1903], с. 60.

театром. Этот зритель определял успех спектакля, а следовательно, и репертуар, и антураж, и манеру исполнения. Недаром в театральной критике того времени часты сравнения водевиля — наиболее ходового жанра — с площадными фарсами, а «Северная пчела» в 1834 году писала: «Все, что теперь влечет нас в театр, все это мы давно уже видели в балагане».¹⁴

Наиболее ярко, на наш взгляд, приемы народного театра проявились в оригинальном водевиле Некрасова «Актер» и переведенном с французского водевиле «Волшебное кокорикю». Оба эти водевиля отличает внешний комизм, основанный на таких традиционных трюках, как переодевание, подслушивание, прятанье в сундуке, веселые потасовки, буффонада и балагурство, а также статичная типизация в виде образов-масок: находчивый плут, глупый вояка. Интересны в водевиле «Актер» типаж, окрашенные местным колоритом, — уличные петербургские торговцы, итальянец и татарин. Конечно, это водевильные герои, на которых держится интрига, они по водевильному острят и поют затейливые куплеты. Некрасов ставил своей задачей создать образы прежде всего занимательные; полного жизненного правдоподобия их такой жанр, как водевиль, и не требовал. Но что стало отличительным штрихом, характерной приметой уличных торговцев в водевиле, как происходит узнавание их зрителем? Прежде всего по языку. В статье «Выкрики разносчиков и бродячих ремесленников — знаки рекламы» П. Г. Богатырев писал: «Знаком товара, который продается или покупается, являлось особое произношение человека иной национальности, отличающееся от обычных норм языка. Так, деформированный русский язык, произносимый татаринцом, был знаком татарина-старьевщика».¹⁵ Вот фонетическая запись выкрика татарина-торговца, сделанная в XIX веке: «Есь т'вар, т'вар! Менэт, пр'д'вать! Купы, бары, матэр хорош!»¹⁶ У Некрасова в водевиле «Актер»: «...не угодно ли купить, бары? Товар хорош... купы, купы!... Матерья есть хорош бухарска!» (IV, 137). Как видим, Некрасов был точен в воспроизведении формул торгового присловья и передаче специфики произношения.

В ряде случаев можно говорить и о прямых заимствованиях из фольклорной драматургии. Так, обращает на себя внимание сентенция из присказки к шестой главе сказки «Баба-Яга», точно воспроизводящая мысль и лишь слегка изменившая стилистику строк из финала драмы «Царь Максимилиан», пьесы, как утверждают исследователи, «родившейся, несомненно, в городской, быть может, даже столичной — солдатской среде и выражающей идеологию городских демократических слоев»,¹⁷ но к которой, по меткому наблюдению А. Ремизова, «поистине весь русский народ приложил руку... от семинариста до рашника».¹⁸

Время льется
Так, как речка,
Год проходит
Так, как час,
Человек живет,
Как свечка:
Ветер дунул — он погас.¹⁹

Время льется словно речка,
В жизни человек как свечка:
Проблеснет и догорит,
Только смрад распространит.
(I, 326)

Необходимо отметить совпадения и на другом уровне, сюжетном. Одним из постоянных объектов насмешек балаганных дедов была приверженность части русской невежественной публики к одежде, сшитой по иностранной моде:

Сарафан у ней французское пике,
а рожа в муке.²⁰

¹⁴ Северная пчела, 1834, № 48.

¹⁵ В кн.: Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962, с. 40.

¹⁶ Труды музыкально-этнографической комиссии, состоящей при этнографическом отделении Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 1. М., 1906, с. 514.

¹⁷ Всеволодский-Гернгросс В. Н. Русская устная народная драма. М., 1959, с. 99.

¹⁸ В кн.: Царь Максимилиан. Театр Алексея Ремизова. Пгр., [1920], с. 126.

¹⁹ Цит. по: Комедия о царе Максимилиане и непокорном сыне его Адольфе. Свод Вл. Бакрылова. М., 1921, с. 95.

²⁰ Кельсиев В. И. Петербургские балаганные прибаутки. — В кн.: Труды этнографического отделения Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, кн. IX. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России, вып. 1. М., 1889, с. 113.

Эта же тема появляется и в сатирических куплетах Феоклита Онуфрича Боба:

Что это за история?
Во что ты наряжен?..
Купил в столице с горя я
Французский балахон...

Одежда хоть престранная,
Не стоит ни гроша;
Но так как иностранная,
Так очень хороша!

(IV, 90)

Другой пример. Дважды в прозе Некрасова возникает мелодраматическая ситуация — узнавание ребенка, много лет назад волей судьбы оторванного от родителей, по медальону («Ростовщик», «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»). Точно такой же сюжетный ход — в народной драме «Шлюпка». Атаман в наказанные непокорной невольнице хочет выдать ее замуж за старого разбойника Приклонского. Тот по медальону узнает в невольнице Раизе свою дочь. Вряд ли правильно говорить в данном случае о заимствовании Некрасовым этого романтического эпизода из народной драмы, тем более что запись этого варианта «Шлюпки» поздняя, что не исключает влияния литературных источников. Важно подчеркнуть другое, то, что мы иллюстрировали всеми примерами, приведенными выше: творчество Некрасова этого времени рассчитано на низовую, простонародную аудиторию, и поэтому он пользуется приемами, знакомыми и понятными этой аудитории, учитывая один из законов восприятия — узнаваемое легче усваивается. Таким образом, фольклоризм раннего Некрасова еще очень условен. В своем стремлении приблизиться к низовому читателю, быть понятным всеми Некрасов принципиально ориентируется на рыночную литературу и лубок. Но учитывая общее состояние разработки вопроса о народности в критике и литературе того времени, эти тенденции в творчестве начинающего поэта следует определять как демократические.

Позднее обращение к зрелищному фольклору примет у Некрасова другие формы — не стилизация или отдаленное, скорее всего неосознанное, подражание с опорой на выработанные фольклором приемы, а зачастую прямое, без коренной переработки, вплетение фольклорного текста в ткань произведения. Пример — вложенные в уста коробейника Тихонича раешные стихи:

Город есть такой: Париж,
Про него недаром сказано:
Как заедешь — угоришь.

(II, 131)

В петербургском райке:

А вот город Париж,
Как туда приедешь —
Тотчас угоришь! ²¹

Некрасов слушает меткое народное слово и бережно относится к нему, воспринимает как неповторимую ценность. Но иногда фольклорный текст подвергался авторскому переосмыслению, Некрасов усиливал звучание одной его идеи, как правило, социальной. Многочисленные примеры тому приводит К. И. Чуковский в главе «Работа над фольклором» книги «Мастерство Некрасова» (1971). По поводу названного им источника одного некрасовского стихотворения о крестьянской жизни из цикла «Песни» — «Молодые» — выскажем свои соображения. Чуковский считает, что прибаутки, зафиксированные в сборнике Даля: «Скотины — таракан да жуколица; посуды — крест да пуговица; одежи — мешок да рядно», — Некрасов развернул в сюжетный рассказ.²² Однако подобные рассказы существовали в фольклоре и в лубочных картинках уже в XVII веке, а в XIX веке они перешли в репертуар балаганых дедов. Мы имеем в виду сатирические «Росписи о приданом». Балаганная прибаутка с этим сюжетом звучала так:

Уж и приданое мы ей, братцы, закатали —
Целый месяц тряпки собирали и шили.
Платье мор-мор
С Воробьиных гор.
А салоп соболиного меха —
Что ни ткни рукой, то прореха.
Воротник елот —
Вот что лает у ворот.
На прощанье ее побили
И полным домом наградили.
Дали разные вещи:
Молоток да клещи,
Чайник без дна,

²¹ Русская народная драма XVII—XX веков, с. 126.

²² Чуковский Корней. Мастерство Некрасова. М., 1971, с. 541.

Лишь ручка одна,
 Да резиновые калоши
 С отдушиной, без подошвы,
 Рогатого скота ей — петух да курица,
 И медной посуды — крест да пуговица.²³

В стихотворении Некрасова тот же повод для возникновения похожей ситуации — свадьба, после которой с горькой иронией исчисляется, правда, уже не приданое, а имущество мужа:

Повенчавшись, Парасковье
 Муж имущество казал:
 Это стойлице коровье,
 А коровку бог прибрал!
 Нет перинки, нет кровати,
 Да теплы в избе полати,

А в клетти, вместо телят,
 Два котеночка пищат!
 Есть и овощ в огороде —
 Хрен да луковица,
 Есть и медная посуда —
 Крест да пуговица!

(II, 258)

Здесь мы имеем дело как бы с зеркальным отражением основного мотива фольклорного текста, причем комизм оксюморона окрашивается в стихотворении «Молодые» безысходным трагизмом. Из лубочной картинки Некрасов создает повествование огромного смысла, прибаутка постепенно превращается в социальный, жизненно важный сюжет.²⁴

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» дважды появляются зарисовки народных гуляний: в главе «Сельская ярмонка» и в «Пире — на весь мир». Для нашей темы представляет интерес песенное присловье отставного солдата, «кормившегося райком», Овсянникова — «Солдатская» (из последней части поэмы). Чуковский установил, что фольклорная запись, частично послужившая материалом для «Солдатской», была сделана поэтом еще в 1840-х годах на черновых листах повести «Жизнь и похождения Тихона Тростникова».²⁵ Спустя тридцать лет Некрасов снова обратился к этому тексту, но, сохранив основную тему, народные обороты речи и рифмы, усилил в своей песне пафос социального обличения. Этот факт — ярчайшая иллюстрация эволюции принципов работы поэта с фольклорным материалом. Если в начале творческого пути Некрасов пользуется приемами народной зрелищной поэзии, чтобы овладеть вниманием публики, достигнуть взаимопонимания с низовым читателем, и его фольклоризм носит орнаментальный характер и лишен еще истинной народности, то в 1870-е годы поэт создает на фольклорной основе стихотворения новой идейной и жанровой ориентации. В данном случае мы имеем дело с присловьем-прокламацией:

Пули немецкие,
 Пули турецкие,
 Пули французские,
 Палочки русские!
 Тошен свет,
 Хлеба нет,
 Крова нет,
 Смерти нет.

Нутка, с редута-то с первого номеру,
 Нутка, с Георгием — по-миру, по-миру!

(III, 376—377)

Впоследствии такое направление в поэзии получило широкое распространение в пропагандистских народнических изданиях.

²³ Русская народная драма XVII—XX веков, с. 133—134. Другие параллели см.: Дмитриев Ю. Русский цирк. М., 1953, с. 36; Ончуков Н. Е. Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губернии). СПб., 1909, с. 508; Ровинский Д. Русские народные картинки, кн. 1. СПб., 1881, с. 367—374.

²⁴ Отметим кстати, что первая комическая песенка о приданом появилась у Некрасова еще в 1842 году. Это знаменитое «Савойское приданое» из мелодрамы «Материнское благословение» — вольный перевод с французского. В 1900 году, после представления «Материнского благословения» в петербургском народном театре «Америка», И. Щеглов, писатель, театровед и устроитель народных театров, на сцене которых среди инсценировок классических произведений русской литературы шла и пьеса «Мороз, Красный нос», писал: «А пресловутое „Савойское приданое“? Нет старого актера, который бы не знал его наизусть и не напевал начальные куплеты в тяжкую минуту жизни. В передаче Некрасова юмор этой народной песенки опять-таки выступает гораздо выпуклее, чем во французском оригинале («La dot d'Auvergne»), да и самый стих куда ярче» (Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива», 1906, № 11, с. 393).

²⁵ Чуковский и Корней. Указ. соч., с. 458—459.

В. Г. БАЗАНОВ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЕВГРАФА ИВАНОВИЧА ПОКУСАЕВА
ПОСВЯЩАЮ

Д. М. РОГАЧЕВ — «ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

В. И. Ленин отзывался о революционерах 70-х годов как о предшественниках русской социалистической демократии, он отмечал их героизм, самоотверженность, преданность освободительному движению.¹ К числу выдающихся деятелей той поры относятся Сергей Кравчинский и Дмитрий Рогачев. Иногда удивительно скрещиваются человеческие судьбы. Кравчинский и Рогачев вместе учились в Орловской военной гимназии, затем, осенью 1873 года, они вместе из Петербурга совершили путешествие в Тверскую губернию, чтобы изучить жизнь народа и начать среди крестьян революционную пропаганду. Революционеры-пропагандисты были земляками И. С. Тургенева и Н. С. Лескова, знаменитых писателей, которые первыми стали изображать в своих романах и повестях «новых людей». Н. С. Лесков еще в повести «Овцебык» (1863) нарисовал семинариста Василия Богословского, безуспешно совершавшего «хождение в народ». Не встретив среди крестьян-лесорубов сочувствия и понимания, Богословский покончил жизнь самоубийством. Тургеневская «Новь» — роман о несбывшихся надеждах, о заблудившихся народниках, совсем одиноких, отвергнутых крестьянами, безысходно трагических. Конечно, всякое было в ту пору, в трудное время поисков и практических начинаний. И все же были тогда такие герои революционного дела, которые стояли куда выше «симпатичных нигилистов». Так получилось, что именно из Орла вышли самые видные участники героического «хождения в народ», им бы только и быть героями романов о «новых людях». Но этого не произошло. Только Сергей Кравчинский, оглядываясь на пройденный путь, чтя память о революционерах 70-х годов, писал в «Подпольной России»: «...оставляя родной кров, богатство, почести, семью, отдавались движению с тем восторженным энтузиазмом, с той горячей верой, которая не знает препятствий, не меряет жертв и для которой страдания и гибель являются самым жгучим, непреодолимым стимулом к деятельности».²

Дмитрий Михайлович Рогачев был дворянином по своему происхождению. Окончив военную гимназию и уйдя в отставку в чине поручика, он в 1872 году поступает в Петербургский технологический институт. Здесь Рогачев принимает активное участие в студенческом движении. Осенью 1873 года он знакомится с С. Перовской, С. Синегубом и Л. Шишко. На своей квартире Рогачев организует конспиративную явку для рабочих, которые в народническом кружке проходят школу политического воспитания. Рогачеву недостаточно вести пропаганду среди рабочих — он сам поступает на Путиловский завод, работает там котелником у плавильной печи. «Я, — вспоминал Рогачев в «Исповеди к друзьям», — решил приглядеться к деятельности других и в то же время я хотел испытать на своей шкуре положение народа, хотел его узнать, хотел чтоб он мне вполне доверял, чтоб он отнесился ко мне как к равному; я поступил на Путиловский завод рабочим».³ С. Кравчинский свидетельствовал, что стоило Рогачеву «провести на заводе 2—3 недели, после чего он становился общим любимцем. И рабочие давали ему дорогу, когда он проходил среди них своим твердым шагом, и слышались восклицания: смотрите, это наш Дмитрий Михайлович!».⁴

Осенью 1873 года, после рискованного и во многом неудачного путешествия в Тверскую губернию (Рогачев и Кравчинский были арестованы жандармами, но бежали из-под стражи) и встречи в Москве с П. И. Войнаральским, одним из организаторов массового «хождения в народ», Дмитрий Рогачев под именем тульского семинариста Василия Петровича Орлова появляется в селе Нижний Шкафт Пензенской губернии. Пребывание Рогачева на пензенской земле, в этом важном стратегическом пункте революционной пропаганды, заслуживает специального внимания. Историки народнического движения Б. С. Итенберг и Р. В. Филиппов⁵ в своих работах отдают Рогачеву должное, они высоко оценивают пропагандистскую деятельность этого неутомимого агитатора. В нашем сообщении

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 25.

² Степняк-Кравчинский С. Сочинения, т. I. М., 1958, с. 380.

³ Аптекман О. В. Дмитрий Рогачев в его «Исповеди к друзьям» и письмах к родным. (По материалам архива бывшего III Отделения). — Былое, 1924, № 26, с. 75.

⁴ Воспоминания С. Кравчинского, написанные в 1885 году, цит. по: Итенберг Б. М. Дмитрий Рогачев, революционер-народник. М., 1960, с. 20.

⁵ См.: Итенберг Б. Указ. соч.; Филиппов Р. В. Первый этап «хождения в народ» (1873—1874). Петрозаводск, 1960.

более подробно освещается деятельность Рогачева в Пензе, где ему довелось много поработать среди молодежи. Вторая тема — путешествие Рогачева по Волге, путешествие, во многом напоминающее *разметовское*. Дмитрий Рогачев находился под сильнейшим влиянием романа «Что делать?», и в чем-то очень существенном он походил на «особенного человека».

* * *

19 сентября 1874 года начальник Пензенского губернского жандармского управления полковник Глоба сообщил своему помощнику:

«По дознанию, находящемуся у меня в производстве, о лицах Пензенской губернии, обвиняемых по участию в преступной пропаганде народу, из показаний обвиняемых, бывших семинаристов Доброва, Ареопагитского и пензенского гимназиста Кротонова, видно, что бывшие семинаристы Пензенской духовной семинарии Троянов, Михаил Салманов и Добромыслов уличаются в том:

1-е. Что они вечером, в прошлом великом посту, по приглашению Доброва и Ареопагитского были на сходке в квартире гимназиста Разумовского, где находился Орлов⁶ и другие семинаристы и гимназисты, при которых Орлов и Кулябко читали статью Добролюбова «Темное царство» и рассуждали о прочитанном, причем Орлов рассказывал о бедствиях и страданиях русского мужика, предлагал помочь переменить порядок управления революционным путем, советовал идти в народ и склонять его к бунту. Затем Орлов, вынув из чемодана 1-й том цюрихского издания «Вперед!», начал читать, но будучи прерван вопедшим хозяином дома, где жил Разумовский, прекратил чтение, после чего все разошлись.

2-е. По показаниям тех лиц видно, что на Фоминой неделе Троянов, Салманов и Добромыслов по приглашению Доброва и Ареопагитского были на сходке в За-секе, близ Пензенского летнего бега, где собралось гимназистов и семинаристов до 20 человек, вторично слышали речь Орлова в том же преступном характере и направлении, как и в квартире Разумовского.

Из показания семинариста Алмазова видно, что Троянов был очевидцем, когда Орлов вместе с Добровым приходили на квартиру его, Троянова, в доме Семилноровой, где жили с Трояновым и другие семинаристы; он, Троянов, слышал, как Орлов приглашал его и других его товарищей идти в народ и разъяснял, что помочь крестьянам можно лишь только путем революции.

А так как вышеозначенные Троянов, Салманов и Добромыслов по собранным мною сведениям оказываются на жительстве в Пензенской губернии, а именно: первый — в Нижнеломовском уездном училище учителем, второй — Наровчатского уезда, в селе Панже, у отпа священника, и третий — того же уезда, в селе Орловке, то, сообщая о вышеизложенном, поручаю Вашему благородию отправиться в г. Ломов и Наровчатский уезд, в указанные селения, и исполнить, на основании закона 19 мая 1871 года, следующее:

1-е. Произвести строжайший обыск в помещениях вышеозначенных семинаристов.

2-е. Допросить их во всей подробности по касающимся до них обстоятельствам дела, а равно и согласно известного вам циркуляра от 18 августа за № 174.

3-е. Принять против каждого из них соответствующую меру пресечения.

и

4-е. По исполнении сего возвратиться в г. Пензу и представить ко мне все производство для приложения к общему делу, и примерно на эту поездку предоставить вам тридцать руб.⁷

Так началось следственное дело о кружке пензенских семинаристов и гимназистов, ставившем своей целью вести революционную пропаганду в народе. Основные участники этого кружка были немедленно арестованы и заключены в крепость. Из показаний Доброва, Ареопагитского, Добромыслова и Кротонова было установлено, что кружок действительно существовал и организатором его был Дмитрий Рогачев, выступавший в Пензе под вымышленной фамилией тульского семинариста Василия Орлова. Одним из самых преданных и энергичных помощников Рогачева стал Иван Добров, сын сельского священника, окончивший Пензенскую духовную семинарию. Он несколько раз давал показания, сообщая все новые и новые факты, восстанавливая всю историю возникновения и деятельности кружка, в котором он играл немаловажную роль. Иван Добров был человеком незаурядным, типичным разношцеком, готовящимся к революционной деятельности. Это не был случайный участник кружка, он имел уже определенный запас жизненных впечатлений, сам пытался создать в Пензе кружок для семинаристов по политическому самообразованию. Он и рассказал во время следствия о всех начинаниях и намерениях Рогачева, к которому относился с большим уважением. В показаниях от 1 ноября 1874 года

⁶ Здесь и в других документах следственного дознания под фамилией «Орлов» фигурирует Дмитрий Рогачев.

⁷ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 274, лл. 286—287 об.

Иван Добров следующим образом сформулировал мотивы, побудившие его встать на путь борьбы с существующей действительностью.

«Мои мысли о необходимости улучшения положения низшего класса главным образом были возбуждены самою жизнью народа, полною самых печальных явлений. Я жил в помещичьем селе, видел жестокое обращение помещичьих слуг с крестьянами, видел, как страдали от этого даже личности, которых я любил. Наконец, впоследствии я видел притеснения, какие терпели крестьяне от различных чиновников, притеснения даже противозаконные. Потом, сама жизнь крестьян, характерные черты которой — невежество и бедность, заставила обращать мое особенное внимание на народ. Наконец, чтение книг, содержание которых или всецело или постольку, поскольку касалось жизни народа, помогло мне формулировать незавидную жизнь народа, увидеть по возможности как причины незавидного социального положения русского народа, так и возможный выход из этого положения к лучшему. Все данные, каковы я только имел о жизни народа, я подвел под следующую логическую формулу: народ терпит различные притеснения; материальная обстановка его незавидна; его мирозерцание полно предрассудков и суеверий; это происходит от того, что народ невежествен, что он, вследствие невежества, не уяснил свои гражданские права, что у него нет ясного и разумного представления о лучшей жизни; точно так же грубы и невежественны по большей части те люди, которым правительство вручило заботу о благосостоянии крестьян, они, вследствие невежества, не знают более разумных и гуманных средств, ведущих к улучшению народного быта. Следовательно, одно образование есть единственный выход народа из печального положения к лучшему. Что же касается до привилегированных классов, то они, кроме сочувствия к народу, кроме честного исполнения своих обязанностей относительно народа, наконец, кроме теоретического образования, должны практически изучать быт народа. Ввиду этого, у меня до знакомства еще с г. Орловым родилась мысль провести некоторое время в среде народа, но эта мысль у меня не окрепла еще совершенно, так что я, кажется, никому ее не высказывал. О положении народа я до знакомства с Орловым беседовал со многими, это была моя любимая тема... Кроме Орлова, заинтересовавшего меня своими новыми идеями и начитанностью, я в этом роде никем заинтересован не был. Орлов высказывал мне свои замыслы и цели не в начале нашего знакомства, он высказывал их мне постепенно, а не вдруг».⁸

Таким образом, еще до знакомства с Рогачевым Иван Добров собирался идти в народ, возлагая особые надежды на мирную пропаганду, на народное просвещение. Об этом свидетельствует и его попытка выпустить журнал под названием «Товарищество», в котором должны были участвовать семинаристы и гимназисты. В показаниях от 11 сентября Добров говорил об этом журнале: «В это время я окончательно приступил к изданию своего журнала, я написал нечто вроде передовой статьи под заглавием „Письмо студента к семинаристу“. В этом письме студент жалуется на чересчур узкий материальный взгляд на жизнь учащейся молодежи, обвиняет студентов в том, что они всю пользу науки видят в доставлении чисто внешних материальных удобств, что они не заботятся о полезной общественной деятельности, а только о такой деятельности, которая доставляет значительные денежные вознаграждения, что у нас в России так мало развита общественная деятельность, непосредственное служение обществу, вследствие чего у нас существует чересчур много официальных деятелей, которые, как вообще бывает в действительности, еще мало приносят желанных результатов своей деятельностью обществу. Потом студент делает воззвание совсем молодым людям к бескорыстной общественной деятельности, убеждает, чтобы молодая интеллигенция все силы свои направляла в народ, так как он один нуждается в заботах и своем благосостоянии. Далее он анализирует социальное положение русского народа, указывает на существующий экономический закон, по которому работники, удовлетворяя всеми необходимыми и ответственными потребностями привилегированные классы, тем не менее получают только минимум средств для материального обеспечения. Потом он говорит о необходимости организации товарищеских кружков, имеющих целью саморазвитие и приготовление к деятельности на пользу народа. Советует, как устроить эти кружки. Вот резюме упомянутого письма. Теперь я должен сказать еще то, что и г. Орлов обещал что-то написать для нашего журнала».⁹

Дмитрий Рогачев появляется в Пензе очень кстати, он быстро сближается с оппозиционно настроенной молодежью и, прежде всего, с Добровым. Приезжий профессиональный революционер познакомил провинциального семинариста со своими планами и намерениями, подготовил к восприятию передовых идей. В своих показаниях Добров отзываясь о новом знакомом с восхищением, он говорит о Рогачеве как исключительно умном и образованном человеке. В своих самых первых показаниях, данных в августе 1874 года, пензенский семинарист откровенно признавался:

«На второй день третьей недели великого поста, бывшего в текущем 1874 году, как-то раз я пришел с уроков к себе на квартиру позже обыкновенного, именно

⁸ Там же, ед. хр. 277, л. 3—3 об.

⁹ Там же, ед. хр. 274, л. 100 об.

в 12 часов вечера. Войдя в свою комнату, я нашел на столе записку, в которой я приглашался в гостиницу Шарашкина (позабыл, в какой номер), и притом просят прийти или в этот вечер, не позже 12 часов, или на следующее утро, не позже 9 часов. Подписано было: „твой Алексей Кулябко“. С Кулябко я познакомился, когда он был еще гимназистом, и мы с ним сошлись довольно-таки коротко, вследствие чего я и решил пойти к нему в номер на следующее утро в 8 часов. Войдя в занимаемый им номер, я самого его не застал, но встретил там какого-то незнакомого мне господина, немного погодя входит и сам Кулябко. После обычных приветствий г. Кулябко познакомил меня с сидевшим господином. Тут я узнал, что сидевший господин — письмоводитель у того же мирового судьи, у которого состоит и Кулябко, — у г. Войнаралевского, Василий Петрович Орлов. После этого я спросил Кулябко, зачем он приехал в Пензу. Тот объяснил, что единственно для того, чтобы подписаться в библиотеку г. Иванова, и потом прибавил, что он желает серьезно заняться чтением книг и что у него есть программа, систематизирующая книги, необходимые для прочтения. Я попросил показать мне эту программу. Когда я было просмотрел ее, то увидел, что как самый выбор книг, так и систематизация их показываает в составителе этой программы человека умного и много читавшего. Наконец, я сделал какое-то замечание относительно этой программы, тогда вступил со мной в разговор и г. Орлов, до сих пор молчавший. Содержание нашего первоначального разговора я позабыл, потому что оно, как помнится, было слишком маловажно и обыденно. Помню только, что мы каким-то путем перешли к социальным наукам. Я изъявил сожаление, что вовсе почти незнаком с политической экономией и ни с одной теорией новейших экономистов. Он начал мне говорить о Лассалле, о Шульце-Деличе и др. Я был удивлен его начитанностью. На мой вопрос, где он получил образование, он ответил, что в Тульской семинарии. Посидевши еще немного, я стал торопиться в класс. При прощании г. Орлов объявил мне, что он скоро приедет в Пензу и, если я желаю, привезет мне Милля, Лассалля и др. Я дал ему адрес своей квартиры и ушел очарованным умным разговором г. Орлова. По приходе в класс я с восхищением начал рассказывать в кругу своих товарищей о тульском семинаристе Орлове, главным образом о его многосторонней начитанности, — так что не прошло и четверти часа, как все мои товарищи узнали о существовании личности Орлова. Но я должен заметить, что во время моего разговора с Орловым последний не высказывал ни одной мысли, которая могла бы поразить смелостью или своим оппозиционным духом. Через неделю после этого обстоятельства я достал помянутую программу у Андрея Кулябко, брата Алексея. Однажды, на пятый или шестой день великого поста, я занялся перепиской помянутой программы. Вдруг ко мне входит г. Орлов. Я обрадовался его приходу. Он просидел у меня не более как $\frac{1}{4}$ часа, и я не помню, о чем мы разговаривали в это время. Наконец, он пригласил меня в номер той же гостиницы Шарашкина. Так как это дело было в субботу или накануне какого-то праздника, следовательно, я свободен был от уроков и потому охотно согласился на его предложение — и мы отправились. Дорогой, помню, я спросил его, к какому роду деятельности он желает посвятить себя — в университет ли пойдет предварительно или изберет какое-нибудь постоянное положение, которое обеспечивало бы его существование? На это он мне ответил, что ни в университет, ни в какое другое высшее учебное заведение он не намерен идти; а что касается его определенного положения как источника средств к существованию, то он сказал, что у каждого честного человека должно быть одно положение, один путь деятельности — это всеми силами стараться быть полезным обществу. А средства, говорил, к существованию можно достать, лишь были бы руки, да голова, следоват.ельно, об этом много-то нечего заботиться. Я на это возразил ему, что не в помешки же идти со своими знаниями. На это он сказал, что всякий честный труд хорош, как бы груб ни был, лишь бы был только производителем в смысле общественной пользы. Скверно только эксплуатировать чужой труд, жить потом и кровью другого, как это будто бы и делается у нас: меньшинство — купцы, помещики, духовенство — живет на счет большинства — мужиков. И тут он начал желчно ругать помещиков, купцов и духовенство. Говорил, что они одни препятствуют экономическому и нравственному развитию народа. И многое он говорил в этом духе — всего не могу припомнить... Когда мы пришли в номер, он спросил меня: куда я намерен поступить по выходе из семинарии? Когда я сказал, что единственное мое желание — поступить в Медико-хирургическую академию и что я, вследствие расстроенного своего здоровья, желаю выйти из Семинарии, не кончивши курса, чтобы на досуге основательно подготовить себя к поступлению в высшее учебное заведение. Тут он высказал мнение такое, что мне показалось явно парадоксальным. Он говорил, что напрасно мы думаем, что при настоящем порядке вещей можно посредством науки принести пользу обществу. В помощи, говорил он, нуждается только народ, так как он один страдает и наука ему не поможет, наука не может изменить его социальный быт во имя лучшего. Напротив, говорил он, новейшие успехи науки, всякое изобретение усиливало эксплуататоров народного труда... После этого он начал систематизировать ненормальность существующей социальной жизни в трех отношениях: в экономическом, политическом и умственном... Я спросил его, что если существующее социальное положение общества так

печально, то где же выход из подобного положения? Он на это сказал, что история нам показывает, как выйти из подобного положения. Выйти из подобного положения нельзя, по его мнению, ни путем правительственной реформы, ни путем народного образования, ни путем учреждения рабочих производительных и потребительных ассоциаций. Все это, по его мнению, ветхие заплата на ветхое платье. На мой вопрос, какой же единственный выход, он отвечал как-то издалека. Так, например, начал говорить, что все великие реформы в обществе осуществлялись кровавым путем... При прощании он мне дал: Флеровского „Положение рабочего класса в России“, „Политическую экономию“ Милля и „Азбуку социальных наук“, 1-ый том „Политической экономии“ Лассалья, литографированного издания (дал адрес, где его найти в Пензе)...

Следующая встреча.

Дорогой мы опять разговорились про положение рабочего класса в России, рабочего пролетариата в Западной Европе... Орлов начал говорить мне о положении рабочего пролетариата в средние века, потом дошел до французской революции, на которую он смотрел как на явление прогрессивное в истории человечества, потом, наконец, упомянул об интернациональном обществе рабочих... Потом он перенесся к положению русского мужика в допетровский период. Говорил про бунт Стеньки Разина, на который он смотрел как на политическое движение русского народа, вызванное горьким экономическим положением его. Наконец, он высказал мне ту мысль, что у русского народа есть свой идеал лучшего общественного устройства и что деспотизм немногих мешает осуществиться народному идеалу. Я попросил его объяснить мне, в чем заключается, по его мнению, народный идеал? Он ответил, что народ мечтает о том времени, когда у всех будет земли поровну, когда он будет свободен от всяких принудительных повинностей... При прощании он сказал мне: „Не желаю ли я прочитать несколько книжек, которые покажут мне, каким путем может выйти народ из своего положения, покажут также, что должны делать при существующем порядке мы, молодые люди“... Он вынул из чемодана те самые книжки, которые вы нашли у меня при обыске. Кроме того, дал мне еще одну книгу. „Отщепенцы“ Н. Соколова...

Следующий разговор.

„Знаешь ли, Иван Иванович, единственно честная жизнь для каждого молодого человека должна быть, по моему мнению, не другая какая-либо, как только жизнь в народе, жизнь, полная лишений и страданий. Жить в другой какой-либо привилегированной среде — значит быть подлецом, потому что придется жить на счет народного труда“... Я спросил его, что же мы будем делать в народе, если пойдем в его среду? Он ответил на это как-то неопределенно: „Организовывать в народе кружки... служить связующими элементами между этими кружками... уяснить народу его права... и чтобы сам народ устроил свою жизнь по своему идеалу, не входя ни в какие компромиссы с правительством, с которым будто бы народ в своих интересах не имеет ничего общего“. Потом он дружески ударил меня по плечу и сказал, что летом, в июле или в августе, он побывает в Пензе и тогда, дескать, он со мною придет к чему-нибудь определенному, а что теперь он отправится по Тамбовскому тракту в одно какое-то место...¹⁰

Иван Добров подробно рассказал о беседах с новым знакомым, поразившим его обширностью знаний и самостоятельностью суждений. Беседы, носившие откровенный характер, достаточно характеризуют революционно-демократические взгляды Рогачева на существующий социально-политический строй России и социалистическое будущее. Отвергая возможность социального устройства в духе теории Лассалья и Шульца-Делича, считая проектерскими их проекты создания производственных ассоциаций и не возлагая особых надежд на развитие народного просвещения в условиях помещичье-буржуазного государства, Рогачев давал понять Доброву, что только революционным путем народ может завоевать себе свободу и вольную жизнь. Кстати сказать, увлечение теорией рабочих ассоциаций Лассалья, которую К. Маркс называл «фантастической», испытывали на себе и пензенские семинаристы, в частности — Добров. Об этом свидетельствует следующее заявление Доброва, сделанное им в одном из своих показаний:

«Что касается до того пункта, где именно и когда я пришел к окончательному решению действовать с Орловым заодно и помогать ему в вербовке членов в среде семинаристов для приведения в исполнение замыслов Орлова, то я хочу распространиться поподробнее на этот счет. Во-первых, я не мог прийти к решению действовать с г. Орловым заодно на очень простом основании, что я в некоторых пунктах не соглашался с ним, именно: он утверждал, что единственно возможный, честный и целесообразный путь для деятельности во имя улучшения народного быта — это занять положение простого рабочего. С этим, после долгих прений, я с ним не согласился. Что делать в народе? По его мнению, нужно организовывать кружки с целью возбудить народ к требованию от правительства уравнивания состояний — как экономического, так и политического — наряду с прочими сословиями, пользовавшимися гражданскими привилегиями, к требованию, в случае отказа правитель-

¹⁰ Там же, ед. хр. 273, лл. 44—247 об.

ства, даже с оружием в руках. Это он справедливо называл революцией. Я же, между прочим, утверждал, что если и нужно идти в народ, так с целью быть непосредственным учителем народа, т. е. сообщать ему здравые экономические и политические понятия, разрушать его суеверие и предрассудки, через что народ без всякого насилия, но путем мирной агитации примет участие в политической жизни и улучшит свое экономическое положение. Я это называл тоже революцией, понимая слово революция в том значении, которое ему придавал Лассаль, т. е. мирное, постепенное разрушение старого порядка во имя лучшего, нового. Ввиду этого я утверждал, что молодым людям, стремящимся в народ, необходимо нужно быть научно образованными, тогда как Орлов утверждал, что достаточно иметь только элементарные сведения о природе, но хорошо изучить социальную жизнь народа. Что я мыслил так, это может доказать мое „Письмо студента к семинаристу“ и могут подтвердить те лица, с которыми я беседовал, и все это я объяснял, хотя вскользь, в своих показаниях».¹¹

Добров, видимо, хотел несколько смягчить свою «вину», сказать, что он не всегда соглашался с Рогачевым. Фактически Добров перешел на сторону Рогачева, активно участвовал в осуществлении его замыслов, был одним из главных деятелей кружка, выступал в качестве «связного» между Рогачевым и пензенской молодежью. Гимназисту Францену Добров говорил, что он намерен «образовать из молодежи кружок с целью пропаганды революционных идей в народе», и предлагал ему «сделаться членом этого кружка, идти в народ и возбуждать его против правительства».¹² С. Добромыслову Добров также говорил, что цель кружка — «подготовить народ к восстанию и путем революции свергнуть правительство».¹³

Рогачев очень много сделал для перевоспитания пензенских семинаристов и гимназистов, для их теоретического образования и внушения революционных понятий. С этой целью он составил «программу, систематизирующую книги, необходимые для чтения». В эту программу входили статьи Добролюбова и Писарева, работа Чернышевского «Об общинном владении землей» и роман «Что делать?», книга Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России», произведения Ш. Фурье, Р. Оуэна, Ф. Лассаля, Прудона, Бокля, Гизо, Луи Блана. В программу включались монографии по русской истории — А. П. Шапова, Д. Л. Мордовцева, Н. И. Костомарова, а также исследования по западноевропейской истории: «История цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля, «История цивилизации во Франции» Ф. Гизо. В список рекомендованной литературы входили труды по истории рабочего движения, в частности работа Н. В. Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции», представляющая собой популяризацию книги Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Советские историки Б. С. Итенберг и Р. В. Филиппов справедливо отмечают, что этот большой круг доступной для молодежи литературы должен был, по замыслу Рогачева, способствовать развитию критической мысли и становлению революционных взглядов. Сама по себе эта программа «свидетельствовала о широком кругозоре ее составителя, сумевшего в легальной литературе отобрать наиболее ценные произведения революционно-демократического направления и утопического социализма».¹⁴

Естественно, что у Рогачева сказывались некоторые предрассудки народников, в частности проблему будущего общественного устройства он понимал еще слишком по-бакунински. Добров в своих показаниях свидетельствует: «На страстной неделе г. Орлов опять приехал в Пензу и остановился уже у госпожи Цыбишевой. Тогда мы с ним довольно долго разговаривали (самой г-жи Цыбишевой в это время не было). Содержание нашего разговора я несколько помню. Помню, что он говорил мне о Карле Марксе, о Либкнехте, Бебеле, Гильоме и других деятелях Интернационала». На вопрос Доброва о положительной программе I Интернационала Рогачев отвечал: «Члены Интернационала желают разрушения государства, какой бы то ни было формы, и заменят их союзом вольных, одна от другой не зависящих, федераций; желают полного равенства, как экономического, так и политического и образовательного».¹⁵

Высоко оценивая деятельность I Интернационала и Парижской коммуны, с симпатией отзываясь о Карле Марксе, Вильгельме Либкнехте и Августе Бебеле, Рогачев в то же самое время находился под некоторым влиянием Бакунина. Преодолеть крайности бакунинской теории ему помогали его непосредственные учителя, революционные демократы из «Современника». Нужно сказать, что среди народников 70-х годов, испытавших сильное влияние Бакунина, Рогачев оказался одним из приверженцев идейного наследия Чернышевского и Добролюбова. В этом мы сможем убедиться, когда познакомимся с содержанием его дружеских бесед и литературных вечеров, которые возглавлял этот неутомимый пропагандист. Но прежде скажем о его связях с П. И. Войнаральским.

¹¹ Там же, ед. хр. 277, л. 2—2 об.

¹² Там же, ед. хр. 361, л. 254 об.

¹³ Там же, ед. хр. 274, л. 302.

¹⁴ Итенберг Б. Указ. соч., с. 34; Филиппов Р. В. Указ. соч., с. 254.

¹⁵ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 274, л. 100.

* * *

В разговорах с пензенскими семинаристами и гимназистами Рогачев не вдавался в подробности своей биографии, не рассказывал о своей прежней пропагандистской работе. Добров в показаниях от 1 ноября 1874 года уточнял, что «Орлов говорил только, что был где-то пыльщиком и на каком-то чугуно-литейном заводе кочегаром, но что он там делал и где именно он был, он мне об этом не говорил. Вообще о местностях, где он вел пропаганду, он не говорил. Орлова я принимал за тульского семинариста. Действительно, иногда приходило мне в голову сомнение в этом. Причиной этого было то, что он как-то избегал разговора о семинарии; кроме этого, великолепное знание французского языка, что между семинаристами большая редкость, подробное знание внешней жизни высшего общества — все это иногда заставляло меня сомневаться, что он семинарист. Но сам он мне никогда не сознавался в этом, точно так же как не говорил и о том, что он женат».¹⁶

И в Пензенской губернии Рогачев пытался вести пропаганду среди крестьян и рабочих. Так, в феврале 1874 года он под видом писмоводителя Войнарского останавливался в селе Нижний Шкафт, где встречался с крестьянами. Дознанием было установлено, что Рогачев в избах читал рассказы Н. И. Наумова «Сила солому ломит» и М. Цебриковой «Дедушка Егор», а также прокламацию «Чтой-то, братцы...». Беседа с крестьянами Я. Власовым и П. Челушкиным, пропагандист «незаметно перешел на разговор о земле, нарвал бумажек, разложил их по столу и стал определять, какая земля казенная, какая помещичья и какая крестьянская, — на крестьян выпала самая меньшая доля. По этому поводу Рогачев стал говорить им, что нужно так сделать, чтобы везде земли было поровну...».¹⁷ Волостной писарь Е. Кульков показывал, что после отъезда Рогачева из Нижнего Шкафта по селу «стали носиться слухи в отношении отнятия земли от помещиков». Царские власти приказали отдать под особый надзор полиции 10 крестьян за то, что они «читали и слушали преступного содержания книги». Пробыв в Нижнем Шкафте около двух месяцев, Рогачев переехал в Пензу, где стал устанавливать связи среди передовой молодежи, чтобы затем перейти к организации революционного кружка.¹⁸ В Пензу Рогачев приехал вместе с Алексеем Кулябко, который и познакомил его с Добровым, Сабелькиным, Кротоновым и Ареопагитским. Об Алексее Кулябко Добров показывал (11 сентября):

«Будучи еще в Семинарии, я часто ходил на квартиру одного гимназиста — Владимира Разумовского, где я познакомился с его соквартирантом Алексеем Ку-

¹⁶ Там же, ед. хр. 277, л. 8. Орловская гимназистка Вера Павловна Карпова, решившая избавиться от опеки родителей, вступила в 1873 году в фиктивный брак с Д. М. Рогачевым. Теперь она могла покинуть родительский дом и посвятить себя делу народного освобождения. Фиктивный брак Рогачева перерос в действительный. 9 июля 1874 года начальник Саратовского губернского жандармского управления в связи с розыском Рогачева получил из Петербурга следующее сообщение: «Получено достоверное сведение, что известный отставной поручик артиллерии Дмитрий Михайлович Рогачев 1-го его июля был в Саратове и, может быть, до сих пор там проживает... Жена Рогачева Вера, карточка которой прилагается, состоя под надзором полиции в Петербурге, скрылась и, очень может быть, находится в Саратове» (Итенберг Б. Указ. соч., с. 44). В 1874 году Вера Павловна поступает работницей на Охтинскую фабрику в Петербурге под именем Авдотьи Даниловой. Затем она принимает участие в революционном движении, пропагандирует среди крестьян Витебской губернии, переезжает в Киев, где снова занимается революционной пропагандой. Осенью 1874 года Рогачеву арестовывают в Петербурге. При обыске у нее были обнаружены статьи из журнала «Вперед!», третий том нелегального издания сочинений Чернышевского, а также другие пропагандистские книги. 5 октября 1876 года ее заключают в Петропавловскую крепость. После «процесса 193-х» В. П. Рогачева была выслана в Вологодскую губернию. Находясь в ссылке, Вера Павловна несколько раз обращалась к царским властям за разрешением следовать за мужем на каторгу и всегда получала отказ. Только в 1881 году она с большим трудом получила разрешение отправиться в Восточную Сибирь к мужу-каторжанину.

В. Г. Короленко в «Истории моего современника» рассказывает о В. П. Рогачевой: «В свое время Вера Павловна Рогачева пользовалась в радикальных кругах большой известностью. Это была красивая молодая женщина, несколько цыганского типа, с черными страстными глазами. Все в ней указывало на бурный темперамент. Рогачев, молодой артиллерийский офицер, тоже красивый атлет, был захвачен революционным народничеством. Они были единомышленники, сильно любили друг друга и составляли прекрасную пару, которой можно было залюбоваться» (Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 208—209).

¹⁷ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 361, л. 200.

¹⁸ В показаниях Доброва от 1 ноября 1874 года содержится следующее признание: «От Орлова я слышал, что не мешало бы сходить куда-нибудь на фабрику или завод, но бывал ли он или нет, я не знаю» (там же, ед. хр. 277, л. 6 об.).

лябко, служившим тогда на телеграфной станции. С последним я сошелся довольно коротко. Я часто брал у него книги для чтения, часто с ним беседовал. При том, что делало в моих глазах симпатичным, так это — его честность и благородство стремлений и убеждений, которые он с дружескою искренностью поверил мне. Из наших дружеских бесед я узнал, что его единственное стремление — всеми силами быть полезным народу и для этой цели он хочет избрать педагогическое поприще, разумея после предварительного приготовления, и что по внешней обстановке он на этом пути нисколько не будет отличаться от простого мужика. В стремлении служить народным интересам я вполне симпатизировал Кулябке. Я с детства привык сочувствовать народным нуждам, и потом это сочувствие перешло у меня в сильное желание служить на пользу народа. В начале текущего 1874 года Кулябко уехал на должность письмоводителя к Городищенскому мировому судье, г-ну Войнаральскому. Спустя месяц Кулябко приехал в Пензу и не замедлил известить меня о своем приезде запискою, которую оставил у меня в кватире».¹⁹

Важно отметить, что и Рогачев, и Кулябко выступают в качестве письмоводителей Войнаральского. Все нити сходятся именно к нему, к П. И. Войнаральскому. Рогачев приехал в Пензенскую губернию после встречи в Москве с Войнаральским, одним из самых видных революционных народников. Войнаральский был родом из Пензы, здесь он в 1860 году с отличием окончил гимназию, потом поступил на медицинский факультет Московского университета. За участие в студенческом движении Войнаральский отбывал ссылку в Вятской, затем Вологодской губерниях, но в 1868 году ему было разрешено вернуться в имение матери. Освобожденный от надзора полиции, Войнаральский в 1873 году избирается мировым судьей Городищенского уезда Пензенской губернии. Занимая эту должность, Войнаральский в то же самое время выступает в качестве одного из главных организаторов революционной пропаганды в народе. В Саратове на свои средства он открывает тайную типографию, где печатаются книги для народа демократического и социального содержания. Летом 1874 года Войнаральский приезжает в Пензу для встречи с Рогачевым, интересуется практической деятельностью кружка, снабжает пропагандистов необходимой литературой. Рогачев говорил Доброву, что «Войнаральскому скоро, пожалуй, придется ехать за границу, что его преследует полиция». «Потом, — писал Добров в своих следственных показаниях, — он (Войнаральский, — В. Б.) мне сказал, что в Саратове, по плану Войнаральского, открыта мастерская и что Войнаральский весь свой капитал жертвует на дело пропаганды в народе. Из личных свиданий с Войнаральским я ничего не узнал о нем, так как видел его всего два раза: один раз в его номере у Варенцова, когда я на минуту зашел туда, чтобы взять у Кулябко роман Чернышевского „Что делать?“, и другой раз у Цыбшевой весною, но тут он пробыл самое короткое время, ни о чем с ним не говорил. Когда я окончательно уехал из деревни и приехал в Пензу, то услышал, что Войнаральский с Иваном Селивановым был в Пензе, что они, вследствие преследования полиции, принуждены были бежать из Самары и под строжайшим инкогнито, в платье простолоудинов прибывши в Пензу. Услышал также, что саратовская мастерская арестована, что противуправительственная деятельность Войнаральского известна уже полиции, что они остановились у Каменского. Но когда они были в Пензе, я хорошо не помню, знаю только, что в первых числах июня».²⁰

Бывший гимназист Е. Г. Вифанский, который после ареста взялся добровольно объяснять «все тайны революционного общества» и оговорил массу лиц, имевших лишь косвенное отношение к пензенскому кружку, показывал о Рогачеве и Войнаральском, а также о тех, кто был с ними связан, участвовал или собирался участвовать в революционной пропаганде. Наслушавшись толков и суждений, сам посещавший собрания и сходки, Вифанский сообщил и вполне достоверные факты. Так он свидетельствовал:

«Относительно Орлова я знаю, что он был поручиком, говорил он лично, письмоводитель у Войнаральского, а потом был в каком-то селе или деревне Городищенского уезда, пилил там дрова и вообще, под формой простого рабочего побуждал народ к восстанию, читая им книги и разговаривая, ездил, возбуждая к волнению кроме учащих еще городских пензенских ремесленников. Много ли было ремесленников, принадлежащих к нашему обществу, я не знаю. Видел из них только одного столяра, и то случайно. Однажды вечером, часов в 5 пополудни, в середине, приблизительно, июня, сидел дома, по привычке у окна, открытого на улицу, я увидел подходящего к моему окну Сабелькина с Корнеевым и еще каким-то господином. Все они были в холодных простых пальто и сапогах. Они шли с какой-то фабрики (определенно не знаю); там они занимались преступною пропагандой между рабочими, что я узнал от Сабелькина, и искали какого-то прибывшего туда студента. Сабелькин подошел к окну моему с целью известить о том, что он мне даст (не помню какую-то книгу) читать... Кроме пилки дров в селе Городищенского

¹⁹ Там же, ед. хр. 274, л. 96—96 об.

²⁰ Там же, ед. хр. 277, л. 3—3 об.

уезда Орлов занимался там бесплатным обучением детей грамоте частным образом. Орлов давал, смотря по надобности, своим товарищам по делу деньги.

О Войнаральском я знаю весьма мало. Сообщал мне о нем Орлов следующее: Войнаральский был мировым судьей в Городищенском (кажется) уезде, помещик, ездит по всей России и занимается преступной пропагандой, тратит на дело свое состояние беспощадно, живет не пышно, детей своих поставил почти в такое положение, как и детей крестьян, заводит во многих местах народные школы, нанимает для того учителей, спсособных кроме обучения грамоте познакомить ребят с положением дел и вообще подготовить из них революционеров, был в университете, деньги свои он разместил для большего удобства преступных действий по многим местам России.

Добров занимался распространением революционных идей не только между семинаристами, но главным образом действовал в деревнях (название селений я или совсем не знаю, или забыл); обучал крестьянских ребят грамоте и, так же как Орлов, действовал на них согласно планам дела. Добров изучал, кажется, какие-то ремесла; с некоторым благовоением, как мне кажется, смотрел на Орлова и Войнаральского. Ареопагитский (кажется) ходил к Кротонову, Францену, Сабелькину, по всей вероятности, и другим нашим; у меня совершенно не был. Ареопагитский, уезжая домой на каникулы, говорил, что он намерен там сблизиться с народом и подготовить, сколько может, народ к исполнению задуманных нами планов.

Однажды Корнеев проезжал через какое-то селение во время пожара, остановился, приняв деятельное участие в потушении его; по окончании пожара он, увидев толпу хмельных рабочих, прочитал им брошюру „Плохо живем“. Это так сильно подействовало на разгоряченные вином сердца рабочих, что они тотчас же с криком „целовальники мироеды“ отправились в кабак и стали требовать без денег водки. Сиделец не соглашался исполнить их требование. Работники за это хотели разграбить и разломать кабак и столь сильно возгорелись гневом, что Корнеев с величайшим усилием мог остановить их. Корнеев проехал довольно значительное количество селений и выполнял по возможности свои преступные планы. О результатах своих действий он сообщал следующее: „Народ скоро склонится на нашу сторону“. Он горячо занимался своим делом и был в числе главных членов, которые были суть: Орлов, Добров, Сабелькин, Миллер, Каменский и он.

Каменский — поляк, содержавшийся, кажется, под надзором полиции, добывал средства существования уроками, главным образом по французскому языку. У него имелись запрещенные книги и деньги на расходы по делу. Все, что я говорю о Каменском, я слышал от Сабелькина, Миллера, Кротонова, Талантова. Орлов и Каменский были между нами распорядителями и зачинщиками.²¹ Орлов и Каменский имели с кем-то переписку шифрованную. Каменский имел в своих руках книги различных сортов, давал их для чтения многим из нас, как-то: Миллеру, Корнееву, Талантову, Кротонову и другим. Каменский после Орлова был главным и первым рассадником преступных идей между пензенской молодежи, и начав с Селивановым, кажется, как с самым близким ему знакомым: он был у Селивановых домашним учителем, когда те были маленькими. Во время польского восстания Каменский был не из последних участников и, как выражался, он мягко был наказан, не сообразно вине, несмотря на то, что он на допросах не сознавался и давал самые неопределенные показания. Во время, когда в Саратове была открыта полицией сапожная мастерская, Каменский, для поправления дел погибавших, отправился в Саратов и недели две был в этих разъездах. Каменский вел шифрованную переписку, кажется, с Войнаральским и другими. Миллер разделял все планы дела Орлова и вообще был горячим поборником: читал много запрещенных книг, ходил, кажется, с преступною целью в деревню Елшанку несколько раз.²² Здесь, в Елшанке, Миллер был с Корнеевым. Здесь они занимались чтением книг крестьянам и разговорами преступного содержания.²³

* * *

Вернемся к пропагандистской деятельности Дмитрия Рогачева и постараемся на основе показаний пензенских семинаристов и гимназистов, участников политических сходок и литературных вечеров, хотя бы частично восстановить характер дружеских бесед, содержание речей и споров, неизбежно возникавших при обсуждении внутреннего состояния России и задач в связи с предстоящим «хождением в на-

²¹ Эд. Каменский, участник польского восстания 1863 года. После отбывания ссылки он снова был вовлечен в революционную деятельность Войнаральским. В частности, он отвечал за денежные дела.

²² И. И. Добров, Н. В. Миллер, В. И. Сабелькин и П. В. Кротонов принадлежали к числу наиболее сознательных союзников Рогачева. У Миллера на квартире собирались члены пензенского кружка; был арестован 3 августа 1874 года и в ноябре умер в тюрьме.

²³ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 273, лл. 140—146.

род». Рогачеву принадлежала главная роль: он организовывал сходки, произносил речи, воодушевлял молодежь. В частных беседах и на собраниях Рогачев открыто высказывал свои убеждения относительно социальной революции в России, он не скрывал, что только революционным путем можно изменить существующий государственный строй, завоевать настоящую свободу для народа. В конечном итоге Рогачев не был сторонником анархических методов борьбы. Когда его спрашивали о сроках народного восстания, он отвечал: этого нельзя определить с точностью, потому что народ — стихийная сила. Огромное значение Рогачев придавал революционной пропаганде и подготовке пропагандистов, знающих народную жизнь и законы общественного развития. Для того чтобы побороть угнетателей, установить новый социальный строй, для этого передовой молодежи нужно готовиться к встрече с народом, к трудному искусству, преодолевая на своем пути фатальный разрыв между революционером-агитатором и неграмотным мужиком. Сблизиться с простым народом, познать его жизнь, нужды и помыслы не так просто. Но к этому необходимо стремиться. Только в совместной борьбе, общими силами можно победить самодержавие. Огромное значение Рогачев придавал идейному наследию революционных демократов. Не случайно литературный вечер, проходивший в квартире Разумовского, начинался с чтения статей Добролюбова «Темное царство». На одной из следующих встреч читалась добролюбовская статья «Когда же придет настоящий день?». Вообще Рогачев считал, что «Современник» и «Русское слово», где «работали авторы, получившие всеобщую известность своей даровитостью», должны звать каждый интеллигентный человек, тем более будущие участники героического «хождения в народ».

Следственные показания не дают полного представления о выступлениях Рогачева, о содержании речей, об ораторском даровании выдающегося революционера-народника. И все же можно представить себе Рогачева на трибуне и за дружеским столом, горячо отстаивавшего идею крестьянской революции. Так, например, он воспользовался обсуждением статьи «Темное царство», чтобы рассказать о бедственном положении крестьян, осудить реформу 1861 года, которая не имела «почти никакого значения для простого народа». Необходимо учитывать, что Рогачеву пришлось выступать перед довольно пестрой аудиторией, слушатели были разные, разные по общеобразовательному уровню, интеллектуальному развитию и своему мировоззрению. В пензенском кружке участвовало около 30 семинаристов и гимназистов. Но далеко не все прислушивались к призывам Рогачева, были его идейными союзниками. Активно поддерживали Рогачева семь-восемь человек, среди них — И. И. Добров, В. И. Сабелькин, П. В. Кротов, А. Ф. Селиванов, Н. В. Миллер, И. И. Ареопагитский. В. Н. Гинев, автор книги «Народническое движение в Среднем Поволжье», справедливо утверждает, что «лишь о девяти членах кружка можно сказать, что они стояли за революцию. Еще четыре человека собирались идти в народ, но не ясно, с какими целями. Остальные распределяются так: двое с самого начала отрицательно отнеслись к попыткам вовлечь их в революционную среду, четверо не были окончательно убеждены в необходимости социальных изменений, один защищал мирный путь преобразований, пятеро по этому вопросу колебались. Так обстояло дело в Пензе».²⁴ Среди гимназистов и семинаристов, посещавших литературные вечера, были принципиальные противники Рогачева, сильные оппоненты, отстаивавшие свои взгляды. Не случайно после чтения статьи Добролюбова «Темное царство» и выступления Рогачева разгорелся спор. «Содержание нашего спора, — показывал Добров, — уже забыл. Помню только, что в конце концов г. Орлов начал говорить об экономическом положении рабочего класса в России, приводя много фактов, характеризующих грубое отношение хозяев к рабочим; потом он говорил о жалком состоянии народного образования, о положении земства и многое такое в этом роде...»²⁵ Добров указывает, что в завязавшей полемике приняли участие Кулябко и Ареопагитский. Можно не сомневаться, что и Алексей Кулябко, и Иван Ареопагитский поддерживали Рогачева, защищали его от нападок консерваторов и либералов, которые тоже присутствовали на собрании. И. И. Ареопагитский заявлял судьям:

«Я, Иван Иванов Ареопагитский, из духовного звания, окончил курс пензенской Духовной семинарии. Веры православной. 22 лет. Постоянного жительства нигде не имею, я живу у родных своих в разных уездах Пензенской губернии. О существовании в Пензенской губернии тайного общества с преступной целью я знаю, и сам в нем участвовал. Я желаю во всей подробности объяснить, как и когда я вошел в это общество. А именно: прошлым великим постом, не помню на какой неделе, товарищ мой по Семинарии Иван Иванов Добров сообщил мне, что он недавно познакомился с семинаристом Орловым, который удивил его своими обширными познаниями по всем отраслям науки, особенно же по социологии, и предложил мне свое посредство познакомиться с ним. Раз как-то он пришел ко мне и сказал, что на квартире гимназиста Владимира Разумовского собрался кружок, в котором будет

²⁴ Гинев В. Н. Народническое движение в Среднем Поволжье. 70-е годы XIX века. М.—Л., 1966, с. 56.

²⁵ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 244, л. 98 об.

участвовать г. Орлов и будут прочитаны некоторые статьи г. Добролюбова. Я сейчас же отправился и нашел там гимназистов Францена, Разумовского, Чернозерского и чиновника губернской канцелярии Каменского, Кулябко, других же не могу упомянуть. На этом вечере прочтены статьи Добролюбова «Темное царство». По поводу этих статей г. Орлов говорил, что у нас в России находится в плохом состоянии экономический быт крестьян, а от этого происходит их невежество и невежество купцов; рассказывал некоторые случаи, где крестьянин терпит обиду со стороны волостного писаря и со стороны станového. На этот раз только этим и ограничился. Потом я уже с ним не виделся месяца 2 или 3. От Орлова же на другой день я получил книгу „Вперед!“, потом читал „Отщепенцы“, „Интернационал“, которые по прочтению, кажется, дал Доброву.²⁶ В мае месяце от Доброва я узнал, что г. Орлов опять приехал в Пензу. На квартире Разумовского я его действительно нашел, так как он здесь остановился. В этот раз он меня вполне убедил, что крестьянам нельзя иначе освободиться, как только посредством революции.²⁷

Если Ареопагитский убедился в необходимости революционных действий, революционной пропаганды в народе, то Чернозерский, как об этом свидетельствует Добров, после выступления Рогачева «особенно вооружился», говорил, что «не нужно подрывать в народе религиозное верование, как и суеверные понятия, препятствующие революционному движению народа; точно так же вооружился и против революционной пропаганды».²⁸ Одним из наиболее подготовленных к полемике с Рогачевым оказался Семен Добромыслов, окончивший Пензенскую духовную семинарию. О нем Иван Добров сообщает не совсем точно: «Добромыслов же, кроме того, что был на сходке в квартире Разумовского, на которой был недолгое время, не принимал положительно никакого участия в нашем деле».²⁹ В революционной пропаганде Добромыслов действительно не принимал никакого участия, но на собраниях в квартире Разумовского он не молчал. Из всех присутствующих на этом вечере именно Добромыслов оказался наиболее подготовленным вести полемику, записывать «постепеновцев», принципы либерального реформизма, мирной просветительской деятельности. До чтения и обсуждения статьи «Темное царство» Рогачев имел возможность поговорить с Добромысловым на литературные темы. Показания Добромыслова, данные 27 сентября 1874 года, равноценны мемуарным воспоминаниям. Им можно вполне доверять.

«Однажды, не помню числа и месяца, только дело было зимою, г. Чернозерский приходит с урока от Селиванова и говорит мне, что он познакомился с одним очень умным человеком, который выдает себя за семинариста из г. Тулы, имя его — Василий Петрович Орлов. При этом Чернозерский сказал, что он может и меня познакомить с г. Орловым, так как г. Орлов обещается доставлять нам разные хорошие книжки и, следовательно, может быть нам полезен. Выслушав это от г. Чернозерского, я сказал ему, что я не против познакомиться с хорошим и умным человеком, имея в виду, что этот человек доставит нам возможность даром пользоваться книгами. Через несколько времени, два или три дня после этого случая, после обеда, я и г. Чернозерский сидели в кабинете; вдруг к нам в комнату входит незнакомый мне человек среднего возраста, одетый в овчинное, покрытое сукном, пальто, при первом взгляде на незнакомца я подумал, что это и есть г. Орлов, о котором у меня с Чернозерским несколько раньше шла речь; тотчас я убедился в справедливости своей мысли: незнакомец подал руку Чернозерскому, а сей последний отрекомендовал мне незнакомца, что это — Василий Петрович Орлов.

Орлов тотчас завел речь о современной литературе. На его вопрос, что читал и читаю, я сказал, что у меня под руками книг очень мало, и из этих книг — больше духовного содержания, а именно духовные журналы „Православное обозрение“, „Христианское чтение“, „Труды Киевской академии“, а из светских, говорил я, случается иногда читать за последние годы журналы „Отечественные записки“, „Дело“, при этом я добавил, что я в последнее время очень интересуюсь духовными журналами, так как в них часто можно встретить удовлетворительное разъяснение некоторых трудных догматических вопросов. (При этих словах я заметил ироническую улыбку на устах Орлова). После этого г. Орлов сказал, что в духовных журналах едва ли можно найти что-нибудь доброго. На мой вопрос, где же можно найти это доброе, г. Орлов заметил: „Ищите его в литературе за 60-е годы, в журналах «Современник» и «Русское слово»“. Такое заключение г. Орлова показалось мне странным, и я спросил: почему он рекомендует отжившие свой век журналы, а не современные, например, „Отечественные записки“, „Дело“, в которых удобнее и лучше можно изучить современное умственное и общественное состояние русского народа. По поводу этого вопроса г. Орлов энергично сказал, что „нынешняя литература стеснена в свободе мысли, что все статьи пишутся, как по заказу,

²⁶ После окончания вечера в квартире Разумовского Рогачев Доброву вручил «Капитал» К. Маркса, первый том сочинений Лассаля, рассказ «Дедущка Егор» (несколько экземпляров) и рассказ «Сила солону ломит».

²⁷ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 274, л. 116.

²⁸ Там же, ед. хр. 277, л. 5 об.

²⁹ Там же, л. 5.

по-казенному, что нет больше даровитых и честных авторов, тогда как в «Современнике» и «Русском слове» работали авторы, получившие всеобщую известность своею даровитостью, как-то: Писарев, Чернышевский, Добролюбов». Я стал с Орловым спорить и доказывать, что, он совершенно напрасно порицает современную литературу, так как и в ней нельзя отрицать богатства мысли. Спор наш о литературе кончился ничем: я не согласился с г. Орловым, а он со мной. Из этого спора я вывел для себя то заключение, что г. Орлов весьма много читал книг. Потом г. Орлов начал говорить об одном романе, именно о романе „Знамение времени“, и очень расхваливал его. Я и г. Чернозерский изъявили желание прочитать этот роман, а г. Орлов пообещал в скором времени достать нам его. Тотчас г. Орлов распрощался с нами и оставил нашу квартиру.

Не более как через два дня г. Чернозерский пришел с урока от Семеновых и принес номер „Всемирного труда“, в котором отпечатан был роман „Знамение времени“. Мы оба, я и Чернозерский, принялись за чтение этого романа; Чернозерский читал, а я слушал. В двое суток роман был кончен. Через несколько времени, не помню числа, в субботу вечером, во время всеночного благовещения, мне вручают записку; не читая, я положил записку в карман. Я был в это время на клиросе и пел. По окончании богослужения я развернул записку и прочитал ее. Записка была от г. Доброва. Считаю нужным заметить здесь об отношениях моих к Доброву. Добров — мой товарищ по курсу и довольно близкий знакомый, и только. В записке Доброва говорилось: „Приходи ко мне после всенощной выпить чаю, между тем поболтаем что-нибудь; я познакомлю тебя с некоторыми личностями; захвати с собой и Чернозерского“. Прочитав записку, я передал об этом Чернозерскому, последний согласился, и мы вместе пошли в квартиру Доброва. Квартира его находилась в доме г-жи Колдашаговой. При входе нашем мы встретили у Доброва много народу. Здесь я встретил г. Орлова, но с первого взгляда я его не мог узнать, так как на нем был совершенно иной костюм, чем в каком я видел его у себя в квартире в первый раз. Когда я заметил ему об этой перемене в костюме, г. Орлов сказал, что он любит костюм русского мужика. На г. Орлове была красная рубаха, сверх ее поддевка, а на ногах сапоги. . . Ко мне подошел г. Орлов и спросил, читал ли я „Знамение времени“ и как этот роман понравился. Тут у нас с ним завязалась речь об этом романе. Я наотрез сказал, что этот роман мне не нравится, в доказательство своего взгляда я представлял то, что роман „Знамение времени“ вполне односторонний, лица в нем какие-то уродливые, непохожие на действительных лиц, скорее помешанные, где действуют по рассудку и вообще весь роман не выдерживает критики со стороны действительной правды. Такое мое суждение крайне не понравилось г. Орлову, который заметил мне, что я невнимательно читал роман этот, отчего и составил о нем суждение неправильное. Орлов, со своей стороны, доказывал, что лица в романе „Знамение времени“ энергичные, весьма умные, с благородными стремлениями, что эти лица подают нам добрый пример.³⁰ По окончании моей беседы с г. Орловым началось пение народных песен, гиканье, прыганье, так что компания эта в глазах моих в эту минуту представилась скопищем умалишенных. Это впечатление я, впрочем, никому не высказывал, но ждал терпеливо, что будет далее.

Вскоре голос г. Орлова прекратил эти беспорядки. „Господа! — сказал он, — давайте почитаем что-нибудь, у меня есть одно сочинение Добролюбова, садитесь по местам и слушайте“. Все сели чинно. Сначала стал читать Кулябка, но его чтение не понравилось. Взятся читать сам г. Орлов. Читано было „Темное царство“ Добролюбова. По прочтении нескольких глав (наверное не знаю, сколько именно)

³⁰ Гимназисты Талантов и Кротонов еще до приезда в Пензу Рогачева читали роман Мордовцева «Знамение времени» и приходили к выводу об «обязанностях человека» по отношению к «бедному люду», рассуждали о средствах улучшения «быта рабочих», о необходимости просвещения народных масс и т. п. (ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 273, л. 203). У молодежи семидесятых годов не было единого мнения о романе Д. Л. Мордовцева. И это естественно. В. Г. Короленко писал, что «Мордовцев был писатель не вполне искренний и сильно „себе на уме“, но он же свидетельствовал, что роман „Знамение времени“ имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора» (Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. V. М., 1954, с. 316). Современный исследователь Н. И. Соколов справедливо указывает, что идеины позиции Мордовцева были далеки от подлинного демократизма. «Весьма неприязненно относился он и к революционным устремлениям молодежи. С полной очевидностью это сказалось и в его романах „Новые русские люди“ (1868) и „Знамение времени“ (1869), напечатанных в журнале „Всемирный труд“, прославившемся своей беспринципностью и выстулениями против демократического лагеря. . . Однако романы Мордовцева, особенно „Знамение времени“, приобрели довольно широкую популярность среди демократической молодежи. Молодые читатели по-своему комментировали суждения и действия героев, делая выводы, о которых и не помышлял писатель» (Соколов Н. И. Русская литература и народничество. Изд. ЛГУ, 1968, с. 57).

из эпилога этого сочинения, г. Орлов остановился и попросил всех слушавших высказать, кто, что и как усвоил. Когда все молчали, тогда г. Орлов сам начал выяснять содержание прочитанного... Из всей речи Орлова я помню следующее: для уяснения того, каким образом из фактов выводится общая мысль или идея, г. Орлов приводит такой пример: „Вот, например, я вижу, что на улице один будочник бьет мужика, я поглядел и прошел мимо; иду далее и вижу подобную сцену: двое будочников взяли за ноги мужика и влачат немилосердно в часть; я знаю, что подобные сцены повторяются раз, два и три; из всего этого у меня составляется в уме моем понятие, что действия полиции бесчеловечны, а так как полиция есть учреждение высшего правительства, то я заключаю, что правительство своим учреждением теснит народ“.

По поводу этого рассуждения г. Чернозерский вступил в спор с г. Орловым. Чернозерский говорил, что заключение г. Орлова лишено логики и пример не годится, так как г. Орлов от частного заключает к общему, что противно здравой логике. Долго спорили Чернозерский с Орловым, и все-таки из них ни один друг другу не уступил. Я в душе раскаялся, что пришел сюда. Улучив минуту, я сказал Чернозерскому, что хочу идти домой; этот тотчас и сам изъявил желание, и мы начали прощаться со всеми. Несмотря на убеждения Доброва и Орлова остаться и продолжить чтение, мы все-таки ушли, отговариваясь страшным недосугом. По выходе из квартиры Доброва я сказал Чернозерскому, что я никогда не позволю еще себе так обмануться. На другой день я встретился с Добровым, он мне сказал, что по уходе нашем у них долго еще продолжалось чтение и что были горячие споры. Я спросил Доброва, к чему ведут подобные собрания, — на это он мне сказал, что у них составляет общество, цель и стремление которого пропагандировать революционные идеи среди простого народа, чтобы приготовить народ к восстанию и путем революции свергнуть правительство. Слова Доброва произвели во мне ужас и негодование против их общества, я стал положительно удаляться от встреч с Добровым и Орловым. С г. Орловым я еще только раз встречался, и то на улице, я только поклонился с ним. С Добровым я несколько раз еще встречался на улице. Он приглашал меня на свои литературные вечера, но я упорно всякий раз отказывался по каким-либо причинам. Весною, когда стало сухо, Добров, встретившись со мной, сообщил мне, что он был на собрании в Засеке, при этом он описал мне картину их заседания: все были, говорил он, в одинаковых костюмах революционных; один читал, а все прочие, окружая его, слушали. О подробностях я не расспрашивал его. Таким образом, я знал, что Добров составляет собрания в лесу в Засеке, но сам я решительно не участвовал в этих собраниях. Последний раз я виделся с Добровым на Троицкой пятнице, где я ему встретился, когда шел из Семинарии, получив уже аттестат об окончании курса. В это время он спросил у меня, куда я думаю поступить, — я сказал, что имею намерение в учителя поступить. „Просвещать юношество хочешь“, — заметил он с иронией. „Да! — сказал я, — сколько бог поможет“. Добров засмеялся, отвернулся и ушел. Я с прискорбием посмотрел ему вслед и пошел своей дорогой. С тех пор я Доброва не видел более. Почему я не донес в свое время кому следует об этих собраниях самочинных, хотя и должен был донести? На это я имел такое соображение: если я донесу об этих собраниях начальству, то я должен вполне оправдать свое донесение; в противном случае, если я окажусь несостоятельным, не в силах доказать справедливость своего донесения, вся вина падет на меня как на ложного свидетеля. А сам я слушателем и очевидцем не был. Все сказано мною по сущей справедливости, ничего не угаивая и не прибавляя, и более сего объяснить ничего не имею».³¹

* * *

В начинаниях, в проектах и в самом поведении пензенских семинаристов и гимназистов, объединившихся в политический кружок, было еще много непродуманного, слишком романтического и простодушного. Пензенские вольнодумцы были настолько доверчивы, непосредственны, по молодости даже наивны, что им ничего не стоило разглашать свои замыслы, на глазах у жандармов устраивать сходки и митинги, открыто заявлять о необходимости революции в России.³² Встретив на

³¹ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 274, лл. 300—303 об.

³² Отсутствие должной конспирации вообще показательно для народных кружков. Н. А. Троицкий справедливо отмечает, что «народники, отвергнув макиавеллизм и крайний авторитаризм организации С. Г. Нечаева, впали в другую крайность: вместе с нечаевщиной они отвергли саму идею централизованной организации, которая так уродливо преломилась в нечаевщине. Деятели 1871—1875 гг., большей частью, не признавали ни централизма, ни дисциплины, косо смотрели на любое проявление организаторской инициативы, считая это „генеральством“, знать не хотели об уставах и стремились, как они говорили, „к полной индивидуальной самостоятельности“. Все это ослабляло движение» (Троицкий Н. А. Царские суды против революционной России. Политические процессы 1871—1880 гг. Изд. Саратовского ун-та, 1976, с. 55—56).

улице Добромыслова, покинувшего кружок, оппозиционно настроенного к «самочинным» собраниям и ко всему, что там провозглашалось, Добров по душевной простоте признается ему, что пензенские заговорщики решили «путем революции» свергнуть правительство. Когда стало опасно собираться по частным квартирам, то ли хозяева квартир заявили протест, потребовали прекратить недозволенные сходки, то ли жандармы прослышали о собраниях, где витийствовал какой-то приезжий пропагандист, выдававший себя за тульского семинариста Василия Орлова, было решено собираться за городом, в Засеке, где обычно происходили бега. И. И. Ареопагитский так рассказывает о сходке у лесной поляны:

«Сходка эта должна была состояться в Засеке потому, что о прежней сходке было узнано в Пензе или потому, что хозяин отказал в квартире. На эту сходку я пришел последним, найдя ее в полном составе: Кротонов, Сабелькин, Селиванов, Миллер и Корнеев, еще женщина, которую называли Екатериной Николаевной.³³ На этой сходке г. Орлов пропел сперва песню „Ах ты, сукин сын, проклятый становой“, потом начал свою речь так: „Вы господа, знаете, что крестьяне бедствуют и знаете также, отчего они бедствуют“, — и тотчас же сам развил эту последнюю мысль. Потом он сказал, что есть три средства, которыми можно крестьянам избавиться от гнета — образовательное, социальное и революционное, и начал разбирать эти средства по порядку, остановился на революционном, так как первые два средства оказались утопическими средствами. Потом он в конце речи сказал: „Итак, господа, теперь надобно идти в народ и разъяснять ему то, о чем я говорил“. Все с этим согласилось, кажется, потому что пошли оттуда веселые и перезнакомились друг с другом».³⁴

Видимо, на сходке были и другие гимназисты и семинаристы, с которыми Ареопагитский раньше не был знаком, и только сейчас «перезнакомились друг с другом». А главное — «все согласилось» с Рогачевым, призывавшим идти в народ, занимаясь распространением революционных идей.

Петр Кротонов в своих показаниях значительно дополняет картину сходки в Засеке. Он и раньше встречался часто с Рогачевым. «Темой их разговора, — показывает Иван Добров, — был роман Чернышевского „Что делать?“».³⁵ От себя Кротонов свидетельствует: «Орлов рассуждал со мной по поводу романа „Что делать?“... Давал читать книги: журнал „Вперед!“, „Историю одного французского крестьянина“, „Чтой-то братцы“ и другие книги преступного содержания. После Пасхи был сход всех личностей одинакового мнения преступного в Засеке, около бега. Там находились: Орлов, Добров, я, Сабелькин, Миллер, Корнеев, Ареопагитский, Аполинарий Селиванов, Дмитрий Никольский (семинарист), Морозов (семинарист), гимназист Семенов и девушка, Елена Николаевна, вместе с Андреем Кулябко. Здесь пелись песни преступного содержания и разговор следующий (говорил Орлов): „Теперь, господа, вы, я думаю, все сознаете, что настоящий порядок нехорош, причиною этому служит следующее: политическое неравенство, неравенство материальное и неравенство в образовании. Устранить это можно следующим способом: образованием и введением ассоциаций, но это очень трудно и теперь почти невозможно; самый лучший и краткий способ — это посредством революции“. На это ответом было молчание. Затем Орлов стал говорить о том, что для этого нужно идти в народ и, следовательно, никаких аттестатов не надо, а нужно приобрести знания чтением и изучением ремесла... Подобные сходки повторялись несколько раз на поляне близ мельницы Корицина и монастыря, на которых то же самое проводилось, что и на первой. Орлов рекомендовал кассу для приобретения книг революционного содержания».³⁶

О встречах с «тульским семинаристом» Василием Орловым, неожиданно появившимся в Пензе, рассказывают все участники кружка, причем некоторые подсудимые, не растерявшиеся во время следствия, отзываются о революционере-пропагандисте с исключительным уважением, как о своем старшем и умном наставнике. Дмитрий Рогачев быстро завоевал доверие, он умел разговаривать по душам, располагать к себе. Каждую встречу Рогачев использовал, чтобы давать практические советы, просвещать молодых людей, только что оставивших затхлые стены Духовной семинарии и гимназии. Во время одной из сходок на поляне возле старой мельницы Рогачев каждому из присутствующих давал указания: «... Один из нас должен

³³ Имеется в виду Евгения Константиновна Судзиловская, которая по поручению П. Войнаральского выезжала в Пензенскую губернию для пропаганды среди крестьян. Жила там в селе Степановке Городищенского уезда под именем крестьянки Екатерины Петровой. Арестована 19 августа 1874 года. В Пензе также побывали Н. Ю. Юргенсон и К. Блаудзевич. Все они были связаны с Войнаральским, от него получали деньги на разъезды и пропагандистские книги. Юргенсон совершила «хождение в народ» под именем Дарьи Николаевны. У Блаудзевич в Саратове, в мастерской И. Пельконева, работал ее муж, Иван Павлович, причастный к печатанию пропагандистских книжек (он работал над брошюровкой этих книжек).

³⁴ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 274, л. 117—117 об.

³⁵ Там же, л. 99 об.

³⁶ Там же, ед. хр. 274, лл. 27, 28.

идти в деревню какую-нибудь, чтобы возбуждать народ к бунту, другому — изучать какие-либо ремесла, третьему — оставаться в городе каком-либо и по возможности завлекать в это дело учащуюся молодежь — гимназистов, семинаристов, женскую гимназию и пр.». «Мне, — показывал Е. Г. Вифанский, — советовал заняться ремеслом сапожника или, вышедши из гимназии, уехать в какую-то московскую типографию и поступить там в наборщики».³⁷ Тут же, во время сходки, Рогачев раздавал книги и брошюры, а именно: 1-й выпуск журнала «Вперед!», «Историческое развитие Интернационала» Бакунина, «Отщепенцы» Н. В. Соколова, «Положение рабочего класса в России» Берви-Флеровского, 1-й том и часть 2-го сочинений Ф. Лассалья, «Знамение времени» и «Гайдамачина» Мордовцева, «Сила солому ломит» Н. И. Наумова, «Дедушка Егор» М. Цебриковой, «Сказку о четырех братьях» Л. А. Тихомирова, брошюру «Степан Тимофеевич Разин», роман Чернышевского «Что делать?», некоторые статьи Шелгунова и Михайлова, а также брошюру под названием «Какую пользу принесли цари?».³⁸

Рогачев был не только отличным оратором и рассказчиком, он любил петь народные песни и революционные гимны, обладал сильным голосом. Тот же Евлампий Вифанский рассказывает, как на очередном сборище, на квартире Францена, пензенские гимназисты и семинаристы читали «какие-то статьи Чернышевского», а затем пели песни: «Дубинушку», «Когда я был царем российским», «Ах ты, сукин сын, проклятый становой», «Не слышно шума городского», «Ходил я по улице» и др. Запевалой обычно выступал Рогачев.³⁹ Пели и другие песни. На сходке в Засеке раздавались революционные гимны и песни, отчасти вошедшие в сборник «Песенник» (Женева, 1873): «Я вижу рабскую Россию...», «Перед святыней алтаря...», «Под тяжким игом самовластья...», «Свободы гордые вдохновений...», «Друзья, дадим друг другу руки...», «От безделья горького, от людского зла...», «Эх ты доля, моя доля...».⁴⁰

На сходке в Засеке фактически прекратилось существование пензенского кружка, который мы должны рассматривать как своеобразный филиал Большого общества пропаганды, где готовились кадры для начавшегося массового «хождения в народ». Воспитанникам Рогачева так и не удалось перейти от слов к делу, разбегаться по деревням и селам, чтобы принять участие в распространении пропагандистской литературы среди крестьян и в устной пропаганде. В августе 1874 года в Пензе начались повальные обыски и аресты.

* * *

Какова же дальнейшая судьба Рогачева? В жандармском донесении сообщалось, что «Рогачев скрывается, как ныне дознано, с паспортом бывшего воспитанника Пензенской духовной семинарии, сына заштатного дьячка, Ивана Иванова Ареопагитского, уже арестованного в Саранске». Петербургскому градоначальнику было дано секретное предписание, что Дмитрий Рогачев «принадлежит к числу главных руководителей преступной пропаганды в народе революционных идей. Задержание Рогачева представляется существенно важным в интересах полного разъяснения дела, которым он руководит...».⁴¹

Рогачева разыскивали в Саратове. Было установлено, что здесь, в Саратове, Рогачев встречался с Войнаральским, чтобы получать нелегальную литературу и заводить знакомства со здешней молодежью. Пребывание Рогачева в Саратове было кратковременным, но и оно оставило глубокий след. Один из участников встреч вспоминал, что саратовская молодежь долго находилась под «впечатлением налетевшей, как шумный и веселый весенний дождь, пропаганды 74-го года, имевшей в Саратове таких представителей, как Рогачев, Войнаральский и мн. др. Недолгое пребывание этих агитаторов в городе оставило в тех, кто их знал, яркие воспоминания».

³⁷ Там же, ед. хр. 273, лл. 143, 144.

³⁸ Е. Г. Вифанский сопровождает эту брошюру замечанием: «Рукописная и писана Орловым». Содержание этой брошюры Рогачева выяснить нам не удалось.

³⁹ В показаниях Ареопагитского о сходке в квартире гимназиста Францена говорится: «Была еще одна сходка, в которой я участвовал, в квартире гимназиста Францена. Здесь были Сабелькин, Кротонов, Талантов... На этой сходке прочитана статья „Записки современника“, потом пропели несколько обыкновенных песен и разошлись» (ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 274, л. 117 об.). На сходке у Францена присутствовал также Иван Добров. Он показывал: «Собрание у Францена было чуть ли не накануне сходки в Засеке. На нем присутствовали: я, Францен, Орлов, Сабелькин, Кротонов и Миллер. Помню, тут Орлов читал „Фабричные очерки“ Голицынского (книга цензурованная). Потом, помню, мы рассуждали, как организовать кружки из пензенской учащейся молодежи» (ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 277, л. 2).

⁴⁰ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 361, л. 61.

⁴¹ Цит. по: Итенберг Б. Указ. соч., с. 44.

нения, — а знали их многие, и в товарищеских беседах не было конца рассказам об этом периоде».⁴²

Рогачев оказался на родине Чернышевского и на Волге, где действовал Рахметов. Касаясь путешествия Рогачева с бурлаками вниз по Волге, Б. С. Итенберг замечает: «Дмитрий Михайлович хорошо понимал, что он еще мало знает народ, а нужно было бы глубоко изучить его. Он, конечно, вспомнил героя романа Чернышевского „Что делать?“ Рахметова, который бурлачил на Волге. Образ Рахметова имел тогда неотразимое влияние не только на Рогачева, но и на многих других революционеров».⁴³ По признанию Чернышевского, прототипом «особенного человека» служил некто П. А. Бахметев, окончивший саратовскую гимназию в 1851 году. Д. Л. Мордовцев в своих воспоминаниях утверждает, что Рахметов — «преувеличенный и идеализированный снимок с лица существовавшего, именно с П. А. Бахметева». «Бахметев, — рассказывает Мордовцев, — был моим товарищем по Саратовской гимназии. В седьмом классе мы жили с ним вместе. Но Чернышевский взглянул на него в увеличительное стекло и создал такого Рахметова, на которого Бахметев не мог быть похож... В жизни он был барич; без помощи лакея он не мог достать из комода носового платка. За это барство я постоянно преследовал его насмешками. Но вообще это был честный, редко благородный человек».⁴⁴ Рахметов был совсем другой... «Он мало бывал дома, все ходил и разъезжал, больше ходил». Особенно показательно рахметовское путешествие по Волге. «Он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее, как следует настоящему рабочему; скоро заметили, как он тянет, начали пробовать слух, — он перетягивал троих, даже четверых самых здоровых из своих товарищей, тогда ему было 20 лет, и товарищи его по лямке окрестили его Никитушкой Ломовым, по памяти героя, уже сошедшего тогда со сцены».⁴⁵

По справедливому замечанию Е. А. Соловьева-Андреевича, Рахметов — «это крупная фигура и крупное предчувствие. Создав его, Чернышевский проявил, несомненно, нечто большее, чем полемическое остроумие, критическое чутье, диалектическую ловкость, — он угадал и усмотрел нарождение нового человека, новой полосы общественного развития, наступление которой жизнь отсрочила, однако, почти на 10 лет».⁴⁶ Образом Рахметова Чернышевский не только предвосхищал революционное будущее, но и готовил его. Через десять лет после появления романа в «Современнике» началось массовое «хождение в народ». Революционные народники идут в народ, чтобы жить его жизнью, работать среди народа и вести революционную пропаганду. У Рахметова были последователи, его настоящие приверженцы, которые подражали ему, шли по его пути. Таким Рахметовым в жизни и был Дмитрий Рогачев, личность героическая, до конца преданная революционному делу. Сам Рогачев был под стать Никитушке Ломову: он тоже как бы вышел из былинного эпоса, был человеком огромной нравственной и физической силы. О. В. Аптекман отзывался о Рогачеве не иначе как о Микуле Селяниновиче: «О нем создавались легенды, словно о былинном богатыре. Это Микула Селянинович — неустранный, непобедимый, неуловимый, одаренный исключительной физической силой в сочетании с большими пропагандистскими и агитаторскими способностями. Человек сердца, воли и долга. И внешность его была в высокой степени подкупающая: типичный русский добрый молодец. Среднего роста, плечи — косая сажень, простое, скуластое, обрамленное русой бородкою лопатой, лицо; серые глаза, то чуть-чуть лукаво-насмешливо улыбающиеся, то тяжело-напряженные, то, порою, подернутые дымкой скорби... Но как он умел петь и плясать русскую пляску! В русской песне и пляске всецело выливались и его „широкая русская натура“, и бесконечная скорьбь народная, и порыв, и сдержанная страсть, и вера глубокая, непосредственная, и практический скептицизм, оглядка, — одним словом, типичный русский интеллигент 70-х годов, впитавший с молоком матери все мощ-

⁴² Саратовец. Саратовский семидесятник. — Минувшие годы, 1908, № 1, с. 255.

⁴³ Итенберг Б. Указ. соч., с. 45.

⁴⁴ Воспоминания Д. Л. Мордовцева цит. по сообщению С. А. Рейсера «„Особенный человек“ П. А. Бахметев». — Русская литература, 1963, № 1, с. 176. П. А. Бахметев, происходивший из захиревшего дворянского рода, учился в саратовской гимназии (1845—1851), где русскую словесность с января 1850 года преподавал Чернышевский; в мае 1857 года Бахметев был в Петербурге, где встречался со своим бывшим учителем. Весной того же года он выехал за границу. В Лондоне встречался с Герценом. Никакими достоверными сведениями о Бахметеве после его отъезда из Лондона исследователи не располагают, возможно, что Бахметев отправился в Новую Зеландию в надежде основать там новый социальный строй. См.: Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л., 1975. Примечания, с. 848—849.

⁴⁵ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. XI. М., 1939, с. 206, 200.

⁴⁶ Андреевич (Соловьев Е. А.). Опыт философии русской литературы. СПб., 1905, с. 304—305.

ное и слабое, чарующее и разочаровывающее своего родного, столь милого его сердцу народа...»⁴⁷

После пребывания в Пензе, посещения Саратова и Тамбова Рогачев летом 1874 года работает грузчиком на пристанях, тянет бурлацкую лямку, вместе с бурлаками ночует на берегах Волги у костра, ест с ними из одного котла. В Астрахани путешествующий революционер-пропагандист знакомится с грузчиком-волгарем дядей Васей, обладавшим богатырской силой и протестантским характером. Рогачев увидел толпу. Бурлаки громили дом купца-хозяина, обсытывавшего рабочих. «Валяя кирпичами!» — крикнул вожак. Град кирпичей посыпался в окна купческого дома. Потом этот народный атаман скомандовал: «Стой! За мной!» И вся толпа двинулась за ним, в сторону острога, который находился на окраине города. Но тут появились полицейские. Бурлаки стали расходиться. «Остался, — вспоминает Рогачев, — только коновод с опущенною головою, недалеко от него я... Два полицейских хотели его схватить, но он, со словом: „братцы, неужели ж выдадите“... дал так сильно этим полицейским, что они повалились как снопы, и я не успел сделать прыжка, думая ему помочь... На помощь этим полицейским бросились другие... Но бывалый командир крикнул: „оставить его“... И его отпустили... Толпа разошлась...» Рогачев заинтересовался незаурядным человеком из народа, старался разыскать его. Встреча произошла в кабаке, где дядя Вася пил с горя. Так возникло знакомство Рогачева с волжским силачом. Около двух месяцев они вместе работали в бурлацких артелях. На Рогачева дядя Вася произвел сильное впечатление. В своей «Исповеди» он писал о новом знакомце: «Он стал моим идеалом. Это действительно замечательная личность. Такие личности во время народных движений становятся Разиными и Пугачевыми. Но в мирное время им нет деятельности».⁴⁸ Но вот Рогачев неожиданно появляется в Крыму. Брат Софьи Перовской Василий рассказывает, что когда пошли вместе купаться в море, то он был поражен, увидев рубцы и красные пятна на спине Рогачева — страшные следы бурлацкой жизни.⁴⁹ В конце лета 1876 года Рогачев возвращается в Петербург с нелегальным паспортом Ивана Звонникова. В Петербурге он встречается со своим близким другом Сергеем Кравчинским, принимавшим участие в освобождении Болгарии от османского ига. Рогачев вернулся в Петербург, обогащенный живыми впечатлениями от путешествий по России и встреч с народом. Что же извлек этот выдающийся революционный народник из «хождения в народ»? Находясь в Доме предварительного заключения, Рогачев написал «Исповедь к друзьям», где поделился своими впечатлениями и убеждениями. Совсем недавно он был настроен весьма оптимистически, надеялся на скорое революционное пробуждение крестьянства, сам собирался принять участие в народной революции. Рогачев не изменил своим прежним социалистическим идеалам, но значительно пересмотрел тактику и политическую программу. Что Рогачев увидел в действительности? Он убедился, что обшчное землевладение, на которое народники возлагали особые надежды как на основной источник будущего социалистического преобразования, фактически отсутствует в пореформенной деревне. После 1861 года наступил «переход от рабского строя к капиталистическому». «На первый раз, впрочем, оставили еще общину крестьянскую с землею, только все, что зарабатывалось с этой земли крестьянином, отбиралось в виде податей. Так было нужно для правительства; но теперь правительство быстро стремится к уничтожению общины, и я, — заключает Рогачев, — убежден, что в недалеком будущем община уничтожится, и у нас образуется пролетариат, одним словом — мы повторим то же, что совершается теперь в западноевропейских государствах».

Не было никакой уверенности в том, что в ближайшее время вспыхнет крупное народное движение. Бакунин с его ультрареволюционными лозунгами, рассчитанными на молниеносный удар, на стихийное крестьянское восстание и уничтожение государства, страдает прожектерством; он мыслит догматически, в отрыве от реального исторического процесса. «Я не согласен с теми, кто говорит, что теперь возможно какое-нибудь крупное движение среди народа, не согласен, — пишет Рогачев, — потому, что у народа нет такой силы, около которой он мог бы сгруппироваться. Я не согласен с теми, кто говорит: бунтуй от нуля до бесконечности, потому что подобное расшатывание государства, не основанное на умственной подкладке, ни к чему не поведет (тому множество примеров в истории и между прочим в русской: смутное время, движение Малороссии в половине XVII столетия и т. д.)».⁵⁰

Что же остается делать? Рогачев отвечает: «Итак, организация народной партии есть главная наша цель».⁵¹ На этот путь встают землевольцы, создавшие революционную организацию «Земля и воля», имеющую свой устав и программу. Народо-вольцы идут еще дальше, придавая огромное значение политической борьбе с правительством.

⁴⁷ Былое, 1924, № 26, с. 72—73.

⁴⁸ Там же, с. 76—77.

⁴⁹ См.: Итенберг Б. Указ. соч., с. 49.

⁵⁰ Былое, 1924, № 26, с. 77—78.

⁵¹ Там же, с. 78.

Оглядываясь на пройденный путь, Рогачев скептически отзывается о книжной пропаганде, отмечает, что в книгах для народа было много отвлеченного, далекого от повседневных крестьянских надежд и чаяний. «... Каждый из нас, — замечает он. — не должен заикаться ни о какой пропаганде, пока не узнает народ. Далее, находя, что все народные книжки почти не удовлетворительны, потому что народу не нужны такие книжки, в которых говорилось бы неопределенно о восстании, ему нужны книжки, в которых, за выяснением современного строя, была бы предложена определенная программа, с чего начинать и чего требовать».⁵²

Рогачев даже несколько недооценивает книжную пропаганду. Но замечательна сама идея: необходимо знать народ, знать его потребности, мировоззрение, практические идеалы, социально-экономический строй современной деревни. Пропагандистские книжки нужны, но они должны опираться на реальные «народные требования», отражать пореформенную действительность, сопутствовать народной истории.⁵³ Сама теория революционных народников уточнялась и изменялась под воздействием тех наблюдений и впечатлений, которые были накоплены в годы «хождения в народ». Всероссийская встреча с народом была полезна прежде всего для самих пропагандистов, ибо она способствовала окончательному освобождению от бакунинских настроений и преодолению собственных иллюзий.

«Хождение в народ» 1873—1874 годов явилось хорошей школой для русских революционеров. Стремясь преодолеть разделяющие перегородки между интеллигенцией и народом, желая активно участвовать в освободительном движении, участники героического «хождения в народ» испытали весь ужас бездорожья и одновременно многое уяснили, поняли, проверили на практике. Две силы этого движения — стихийно-крестьянское и революционно-народническое — так и не соединились, не слились в один мощный поток. В жизни оказалось все куда сложнее. Трагедия одиноких борцов заново повторялась. Однако она повторялась в новых формах и в новых размерах. Это была оптимистическая трагедия. Наиболее сознательные, закаленные в борьбе участники «хождения в народ» верили в успех революционного дела, возлагая все надежды на будущую революционную партию, которая только и может возглавить народное движение. Об этом свидетельствует знаменитый «процесс 193-х». Перед отправлением на каторгу и в ссылку наиболее видные революционеры, в числе которых был Д. М. Рогачев, в Петропавловской крепости написали обращение к будущему поколению, которое было опубликовано в нелегальном журнале «Община». В этом коллективном обращении говорилось: «Товарищи по убеждениям! Процесс русской народно-революционной (социально-революционной) партии официально закончен... Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свой долг... мы считаем нашим правом и нашей обязанностью обратиться к вам, товарищи, с несколькими словами... Мы по-прежнему остаемся врагами действующей в России системы, составляющей несчастье и позор нашей родины... Мы завещаем нашим товарищам по убеждениям идти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться и страдать до последнего вздоха».⁵⁴

В крепости, в одиночной камере, в дни томительных ожиданий приговора Рогачев продолжал мечтать о новом социальном обществе, где не будет эксплуататоров, где вся власть принадлежит трудящемуся народу. Узнику приснился сон о прошлом, настоящем и будущем России, сон, навеянный собственными размышлениями, народными чаяниями и социалистической литературой («Запутанное дело» Щедрина, «Кто виноват?» Герцена, «Что делать?» Чернышевского). «Сначала мысли страшно бродят, идут одна за другой, трудно остановиться на чем-либо определенном. Но вот постепенно брожение кончается, мысль останавливается на своем прошедшем, а с своего прошедшего переходит на прошедшее России. И представляется оно в виде какого-то мрака, среди которого виднеется огромная пирамида, книзу все увеличивающаяся... Наверху стоит один человек, всем повелевающий, — слово его свято... вокруг него стоят представители духовной власти и держат королю над ним; за этим непосредственно следует другой пласт пирамиды, это — дворянское сословие, оно приводит волю повелителя в исполнение; затем пласт купечества, которое помогает обмениваться продуктами людям; и все это сидит и держится на последнем пласте пирамиды, самом обширном основании пирамиды... Народу... Все это представляется в виде какого-то мрака, среди которого трудно что-либо разобрать, — слышатся только повеления да стоны и крики от боли... По временам среди этого мрака слышатся раскаты грома, да блеснет молния, это — народные движения вроде Гайдамачины, Пугачевщины, но потом опять все смолкнет... Но вот появляется блестящая точка, она видится с запада, она начинает все более и более возрастать, это — наука; она достигает и нашей пирамиды и

⁵² Там же.

⁵³ О пропагандистских книгах для народа см.: Базанов В. Г. От фольклора к народной книге. Л., 1973.

⁵⁴ Впервые текст этого завещания был опубликован в № 6—7 журнала «Община» за 1879 год, с. 1.

начинает ее сначала освещать сверху... Потом мало-помалу свет ее распространяется и на другие пласты пирамиды и — о, ужас! — пирамида рушится... Вдруг я вижу свет вместо мрака, пирамиды нет... люди равны, все работают, на всех всего хватает, труд человеческий до минимума упрощен и уменьшен, все делается помощью машин, — и папуг, и сеют, и жнут и т. д.; я вижу одну из таких колоний, где среди колонии находятся странные здания — пантеон — это храм науки... далее огромный сад, ботанический, зоологический и т. д., где тоже огромные здания — это воспитательный дом... Как это все хорошо! — восклицаю я... Но звук ключа будит меня, я просыпаюсь, — тут я только припомню, что последнее видел во сне...»⁵⁵

Когда в августе 1874 года жандармы напали на след Рогачева и арестовали его, в докладной записке на имя царя отмечалось: «Ввиду важности для дела личности Рогачева, а также решительности его характера и большой физической силы, сделано сношение с комендантом петербургской крепости о более строгом за арестантом надзоре». На полях этого доклада Александр II собственноручно написал: «Весьма важное сообщение, не лучше ли Рогачева посадить в Алексеевский равелин».⁵⁶ 23 августа 1876 года Рогачев был отправлен в Петропавловскую крепость. На предварительном следствии и во время суда Рогачев отказывался давать показания, сделав в следственном протоколе такую запись: «Признаю себя виновным в распространении запрещенных сочинений, но подробностей по существу дела давать объяснения не желаю».⁵⁷ Только 23 января 1877 года был объявлен Рогачеву приговор: лишить всех прав состояния и десять лет каторги. Пройдя через многие тюремные камеры и каторжные поселения, Дмитрий Рогачев скончался 24 января 1884 года в возрасте 33 лет. Он умер от воспаления легких в тюрьме Карийской каторги. В октябре того же года в Шлиссельбургской крепости повесили его младшего брата. Николай Михайлович Рогачев принадлежал к военной группе «Народной воли». Так трагически оборвалась жизнь братьев Рогачевых, бесстрашных борцов с самодержавием. Братья Рогачевы принадлежали к числу тех русских революционных интеллигентов 70-х годов, которые верно служили интересам народа. «Марксизм, — писал Ленин в 1920 году, — как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».⁵⁸

⁵⁵ Былое, 1924, № 26, с. 82—83. Свой сон Рогачев изложил в письме к сестре. Письмо не было передано адресату, оно оставалось лежать в делах III Отделения как одно из «вещественных доказательств», характеризующих мировоззрение Рогачева. Дмитрий Рогачев занимался литературным трудом, собирался стать писателем. Путешествуя по Волге, он свои впечатления заносил в «Записки пропагандиста». Эта ценнейшая рукопись не сохранилась. Но В. Г. Короленко читал «Записки пропагандиста» и писал о них в «Истории моего современника»: «... Записки Рогачева, лишённые художественных претензий, простые и бесхитростные, произвели на меня прямо обаятельное впечатление. В них Рогачев рассказывал только то, что видел в том новом мире, в который многие из нас стремились окунуться, сбросив с себя „ветхого человека“. В его простых рассказах мне чудился волжский простор и поэзия того настроения, которому наше поколение отдало столько жертв» (Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 246). С мыслью написать «эпопею народной жизни» Рогачев не расставался и в неволе, когда сидел в Петропавловской крепости. В «Исповеди к друзьям» содержится такое признание: «Просил в крепости, чтоб мне позволили писать в каком-либо официальном журнале, я хотел в виде романа написать „эпопею народной жизни“, — мне не позволили» (Былое, 1924, № 26, с. 79).

⁵⁶ См.: Итенберг Б. Указ. соч., с. 54.

⁵⁷ Там же, с. 59.

⁵⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 8.

О ПРОТОТИПЕ ГРАФА ТВЭРДООНТО В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ЗА РУБЕЖОМ»

Одной из постоянных и важных проблем литературоведения является выяснение прототипов литературных произведений. Художественный вымысел автора идет рядом с жизненными его наблюдениями, питающими этот вымысел, и в этом заключается неослабевающий читательский интерес к вопросу: чьи черты или чья судьба отражены в образе литературного персонажа. Известно, например, что даже такой нелепый и, кажется, могущий появиться только в богатой творческой фантазии автора образ, как Гуго Пекторалис, с его невероятной судьбой и из ряда вон выходящими чудачествами, из повести Н. С. Лескова «Железная воля» имел своего реального прототипа.

Особенно остро встает вопрос о прототипах в произведениях тех писателей, которые выводили в своих книгах образы литературных, общественных, военных, политических деятелей, поскольку за ними скрывались люди, широко известные. В этом случае литературные произведения начинают приобретать еще и исторический интерес, восстанавливая для потомков живую ткань исторических событий и реально действовавших в них лиц. К М. Е. Салтыкову-Щедрину все это относится в полной мере. Его острый полемический и публицистический талант, большое чувство гражданственности, осведомленность в общественно-политических делах в полной мере отражались в его произведениях, всегда бывших очень злободневными, откликавшимися на самые последние события общественно-политической жизни России. Современники читали эти произведения, узнавая в персонажах своих знакомых, а в придуманных ситуациях — вчерашние события. Теперь произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина требуют во многом специальной расшифровки, чем постоянно и занимается литературоведение. В этой связи небезынтересным представляется вопрос о прототипе графа Твэрдоонтó в книге М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом».

Книга эта увидела впервые свет в «Отечественных записках» в 1880—1881 годах. Она не имеет длинной творческой истории. Ее материалами послужили впечатления заграничной поездки М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1880 году, тогда же он начал писать ее и по мере написания публиковал отдельными главами. В книге выведены, кроме обывателей, европейские политические и общественные деятели, причем многие из них под своими именами, а также и соотечественники автора, встреченные им за границей, среди них — граф Твэрдоонтó. Это в прошлом очень крупный деятель внутренней политики, прославившийся своими решительными мерами по давлению русского общества, ныне находящийся не у дел. В советском литературоведении утвердилось мнение, что хотя это образ собирательный, его реальным прототипом по ряду признаков (прежняя влияние, вынужденное нахождение не у дел) был Дмитрий Андреевич Толстой,¹ являвшийся с 1865 по 1880 год обер-прокурором синода и с 1866 года совмещавший эту должность с должностью министра народного просвещения. Это мнение основывается частью и на расшифровке имени персонажа, составленном из названий двух букв русской азбуки — «твердо» (т) и «он» (о), т. е. То(лстой). Действительно, значительная роль Толстого во внутренней политике (напомним, однако, что эту роль он стал играть позже, будучи назначен в 1882 году министром внутренних дел), консервативность его взглядов, реакционная направленность его политики в области народного просвещения, отставка и нахождение не у дел именно в 1880 году, участие в церковных делах позволяют вспомнить этого государственного деятеля в связи с фигурой графа Твэрдоонтó. Однако в облике и судьбе Д. А. Толстого есть множество несовпадений с чертами щедринского персонажа, зато последний обнаруживает поразительное сходство, даже во внешних приметах, с графом Петром Андреевичем Шуваловым.

П. А. Шувалов (1827—1889) — глава реакционной группировки в составе правительства, являясь петербургским обер-полицмейстером (1857—1860), имел влияние на внутреннюю политику, которое чрезвычайно возросло в 1866—1874 годы, когда он занимал должность главного начальника III Отделения и шефа жандармов. В 1874 году по неясным до сих пор мотивам Шувалов получил отставку и был назначен на пост русского посла в Лондоне. Дипломатические промахи повлекли в 1879 году очередную отставку, и в 1880—1881 годах, как раз во время создания очерков «За рубежом», Шувалов оказался не у дел — обстоятельство, смущавшее

¹ См. комментарии к изданиям: Салтыков-Щедрин М. Е. Письма. 1845—1889. Л., 1924, с. 224—225; Щедрин Н. (Салтыков М. Е.) Полн. собр. соч., т. XIV. Л., 1936, с. 567; Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., т. XIV. М., 1972, с. 570, 571 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

русскую общественность, опасавшуюся привлечения его вновь к государственной деятельности. Облик П. А. Шувалова настолько явно проступает в лице графа Твэрдоонтó, что необходимо рассмотреть вопрос о нем как прототипе последнего.

М. Е. Салтыков-Щедрин не просто знал П. А. Шувалова, как обычно знают крупных чиновников и государственных деятелей, но был с ним знаком в связи со своей государственной службой. Они встречались в 1860 году в комиссии по преобразованию полиции, куда был вызван в качестве эксперта Салтыков-Щедрин и членом которой был П. А. Шувалов. Он объяснялся с ним, и очень резко, в 1867 году, когда узнал через министра финансов М. Х. Рейтерна (своего товарища по Лицею) о том, что П. А. Шувалов, являвшийся в это время шефом жандармов, в докладе Александру II отрицательно отозвался о его деятельности.² Известен оскорбительный отзыв в 1875 году М. Е. Салтыкова-Щедрина о П. А. Шувалове и тогдашнем министре внутренних дел А. Е. Тимашеве — «эти идиоты».³

В серии очерков «За рубежом» М. Е. Салтыков-Щедрин несколько раз сводит читателя с графом Твэрдоонтó. Автор встречается с ним в Швейцарии случайно и намеренно, появляясь у него под маской бульварного журналиста Подхалимова, мистифицирует графа, берет у него интервью, начинает писать по предложению графа «трагедию» из его жизни и т. д. Несколько раз автор и вскользь упоминает о графе Твэрдоонтó как о зловещем символе.

Какие же черты Твэрдоонтó сближают его с графом П. А. Шуваловым?

Во-первых, его неподготовленность к государственной деятельности, ибо он «получил... скудное образование в кадетском корпусе» (с. 85), «даже латинской грамматики не знает», так как в корпусе его заставляли «танцевать, фехтовать, делать гимнастику. В низших классах учили повиноваться, в высших — повелевать. Сверх того: немного истории, немного географии, чуть-чуть арифметики и, наконец, краткие понятия о божестве» (с. 105). Это в корне противоречит тому, что мы знаем о Д. А. Толстом, который был человеком широко образованным. Он окончил (притом с золотой медалью!) одно из видных учебных заведений страны — Царскосельский лицей, считавшийся лучшей школой подготовки к государственной деятельности. В советской исторической науке Толстой фигурирует как деятель реакционного направления, но его образованность отнюдь не оспаривается.⁴ Зато П. А. Шувалов действительно был человеком, к государственной деятельности весьма слабо подготовленным, действительно окончившим «корпус» — только не кадетский, а Пажеский, который, как представляется, и имеется в виду в данном случае. Воспитанников Пажеского корпуса готовили для придворной и военной деятельности, стремились придать им внешний лоск, необходимый для пребывания при дворе, и перечисленные выше занятия «кадетов» очень сильно напоминают программу занятий Пажеского корпуса. П. А. Кропоткин, сам учившийся в Пажеском корпусе, писал о том времени, когда в корпусе обучался П. А. Шувалов, что там поощрялись занятия гимнастикой и фехтованием, но зато мало интересовались знаниями учащихся.⁵ Все единодушно отмечают слабую подготовку выпускников Пажеского корпуса. Пажеский корпус был «собранием молодежи, ничему не учащейся», — писал один из современников.⁶ Даже один из расположенных к Шувалову людей, А. А. Половцев, писал о «весьма поверхностном» его образовании.⁷

Во-вторых, граф Твэрдоонтó в прошлом явно человек военный. Его одежда (жилет, застегнутый à la militaire), манера держаться (он принимает стойку смирно, трубит время от времени воинские сигналы) выдают в нем военного. Более того, автор указывает и его воинскую специальность — он кавалерист. «... Однажды при мне зашел у него с Мамелфиным разговор о том, что есть истинная кобыла и каковы должны быть у нее статьи? — и я решительно залюбовался им, — пишет Салтыков-Щедрин. — Совсем другой человек стоял передо мной. Умен, образован, начитан и... доброжелателен. И он знал кобылу, и кобыла знала его» (с. 105). Однако Д. А. Толстой был человеком штатским, за исключением службы в Морском министерстве в качестве правителя канцелярии, всю жизнь служившим по гражданскому ведомству. П. А. Шувалов же по окончании Пажеского корпуса служил в конногвардейском полку, и здесь, как представляется, автор специально дает одну из реальных примет героя, тем более, что это обстоятельство позволяет ему обыграть всю нелепость привлечения человека с подобным «опытом», знающего лишь дела «конюшни», к руководству внутренней политикой. В то время назначение людей военных, пользовавшихся особенным расположением императора, на гражданские должности — министров, губернаторов и т. д., — требовавшие, и зачастую, специальной подготовки, было явлением постоянным и всегда волновало общество. Один из ярких примеров тому — назначение в 1866 году, в момент острейшего

² М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Л., 1957, с. 528—529.

³ Салтыков-Щедрин М. Е. Письма, с. 100.

⁴ Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. (Политическая реакция 80-х—начала 90-х годов). М., 1970, с. 51.

⁵ Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 107—108.

⁶ Корф Н. А. Из пережитого. — Русская старина, 1884 (1883), апрель, с. 132.

⁷ Половцев А. А. Дневник, т. II. М., 1966, с. 174.

финансового кризиса, С. А. Грейга (приятеля П. А. Шувалова, в прошлом конно-гвардейца, служившего затем по Морскому ведомству) товарищем министра финансов. Поэт и известный светский остроумец Ф. И. Тютчев по этому поводу сочинил эпиграмму:

Когда расстроенный кредит
Не бьется кое-как,
А просто на мели сидит,
Сидит себе, как рак, —
Кто ж тут спасет, кто пособит?
Ну кто ж, коль не моряк.⁸

В-третьих, полицейско-жандармский характер деятельности персонажа. «Был такой момент, — пишет М. Е. Салтыков-Щедрин, — когда казалось, что русское общество одержимо сверхъестественным недугом, от которого может избавить его только смерть» (с. 86). Под этим моментом, как мы полагаем, подразумеваются события 1866 года, последовавшие после покушения на Александра II Д. В. Каракозова: растерянность правительственных кругов, искавших спасения в политике «твердой руки», реакции, развитию полиции, подавлению общественного движения и т. д. Как раз они и привели к министерским постам П. А. Шувалова, назначенного вместо не проявившего достаточной твердости в борьбе с «крамолой» В. А. Долгорукова, и Д. А. Толстого, сменившего министра народного просвещения А. В. Головнина, считавшегося либералом, «распустившим» студенчество, к которому принадлежал и Каракозов. Шувалов приступил к исполнению своих обязанностей под лозунгом: «Восстановление власти и улучшение полиции».⁹ Очевидно, под «смерчем» Салтыков-Щедрин подразумевает карательный аппарат самодержавия, в первую очередь жандармерию и полицию, когда пишет, что графу Твэрдоонтó представлялся в воображении «какой-то вселенский смерч, который надлежало навсегда и повсеместно водворить и которому предстояло *все знать, все видеть и в особенности наблюдать, чтобы не было превратных идей и недоумок*» (с. 86) (курсив мой, — В. Ч.). (Слова «все видеть» сразу же приводят на память лермонтовскую фразу о «всевидащем взгляде» «голубых мундиров»). Далее автор приводит заявление графа Твэрдоонтó, еще более отчетливо говорящее об охранительной миссии графа: «Для меня главное — чтоб в пределах моего ведомства царствовало спокойствие» (с. 92). В бытность у дел граф действовал через исправников, много «народу погубил» (с. 91, 101) и т. д. Ни одного намека на то, что граф имел касательство к сфере народного просвещения, книга не содержит. Все это и позволяет, как нам кажется, с большим основанием говорить о том, что под графом Твэрдоонтó подразумевается П. А. Шувалов.

Для сравнения интересно привести высказывания современника тех событий А. В. Никитенко. Восприятие событий автором дневника удивительно соответствует той картине деятельности графа Твэрдоонтó, которую дал М. Е. Салтыков-Щедрин: «Шувалов работает неумоимо: он непрерывно высылает то того, то другого в отдаленные губернии, забирает людей и сажает их в кутузку — все это секретно. Все в страхе; шпионов несть числа».¹⁰

В-четвертых, конституционные симпатии графа, «мечтавшего об увенчании здания» (с. 85), как тогда говорилось. О конституционных симпатиях Д. А. Толстого ничего не известно, а П. А. Шувалов был убежденным сторонником конституционной монархии по английскому образцу, и он не только мечтал, но и пытался сделать шаг к введению ее в России, выступив в 1873—1874 годах с предложением о привлечении к законосовещательной деятельности представителей дворянства, земства и городов.¹¹ Возможно, что именно эта его попытка и была причиной его внезапной отставки и отправления в почетную ссылку послом в Лондон.

В-пятых, прямое указание на дипломатическую миссию графа Твэрдоонтó. Автор говорит о приезде графа Твэрдоонтó в Париж и восклицает: «Как не пройтись ему големом по boulevard des Italiens? как не сообщить москё Гамбетте о своих видах и предположениях насчет харчевенно-ресторанного союза, который, по его мнению, должен еще более скрепить сердечные узы, соединяющие Россию с Францией? Ведь это значило бы обидеть Сен-Валье и Даркура, с которыми вместе он, Твэрдоонтó, предназначен судьбою петь в концерте европейских держав» (с. 142).

⁸ Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Изд. 2-е. Л., 1957, с. 278 (Библиотека поэта, большая серия).

⁹ Валуев П. А. Дневник, т. II. М., 1961, с. 121. Подробно о последовавших за покушением Д. В. Каракозова событиях и нарастании реакции в правительственной политике см.: Оржеховский И. В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60-х—70-х годах XIX в. Горький, 1974.

¹⁰ Никитенко А. В. Дневник, т. III. Л., 1956, с. 191.

¹¹ См. об этом: Чернуха В. Г. Проблема политической реформы в правительственных кругах России в начале 70-х годов XIX в. — В кн.: Проблемы крестьянского землевладения и внутренней политики России. Л., 1972, с. 138—190.

Все это не имеет ни малейшего отношения к Д. А. Толстому, но зато имеет прямое отношение к П. А. Шувалову. Будучи в 1874—1879 годах русским послом в Лондоне, он вырос в первостепенную величину не только русского, но и вообще дипломатического мира, ибо в напряженной обстановке, предшествовавшей русско-турецкой войне 1877—1878 годов, сопровождавшей войну, и в последующие годы отношения России с Англией были особенно важны. Его личные приятельские отношения с Бисмарком, участие в Берлинском конгрессе в качестве представителя России, постоянные встречи с правительственными и дипломатическими деятелями европейских государств — все это делало его фигурой европейского масштаба. После Берлинского конгресса 1878 года он объехал столицы европейских государств, упокаявая их правительства относительно намерений России. Упомянутые М. Е. Салтыковым-Щедриным в качестве дипломатических коллег графа Твэрдоонтó граф Сен-Валье и граф Даркур — это действительно его коллеги, причем того же ранга. Первый из них был послом Франции в Берлине, второй — в Турции.

В-шестых, автор говорит о каком-то исключительном положении графа Твэрдоонтó в период его административной деятельности. Сам герой признается автору, пришедшему к нему под видом журналиста Подхалимова: «Никто не видел столько лести, как я, но никто не испытал и столько вероломства!» (с. 106). Д. А. Толстой такого исключительного положения не занимал, и хотя слова о лести с известным основанием могут быть отнесены к человеку, занимавшему министерское кресло, имевшему власть, а стало быть видевшему и льстивых просителей, однако с неизмеримо большим основанием их можно отнести к П. А. Шувалову. Два человека среди русских правительственных лиц занимали в царствование Александра II исключительное положение, положение фактических первых министров — М. Т. Лорис-Меликов и П. А. Шувалов, но Лорис-Меликов мог об этом сказать лишь позже, когда произведение «За рубежом» уже увидело свет. П. А. Шувалов не только мог, но и должен был так говорить. Он действительно был окружен всеобщим вниманием в период его «всевластия», отразившегося даже в его прозвище Петр IV, и действительно пережил тяжелое потрясение, когда после внезапной отставки сразу же оказался в изоляции. Н. Г. Залесов в своих воспоминаниях так описывает обстановку, сложившуюся после отставки П. А. Шувалова. «Шувалова (имеется в виду брат Петра Андреевича Шувалова — Павел Андреевич, — В. Ч.) я нашел в мрачном настроении духа, смена брата очень на него подействовала, он сетовал на придворные интриги, с горечью говорил, что на другой же день по смене брат его начал получать разные колкие запросы по разным делам от таких министров, которые накануне еще считали законом всякое слово, сказанное шефом».¹²

К этому можно добавить и некоторые другие соображения. Например, на вопрос журналиста о происхождении граф отвечает: «Я происхожу по боковой линии» (с. 90). Этот ответ можно истолковать как язвительный намек автора на «боковую» связь П. А. Шувалова с царствующей фамилией: мать его была в первом браке замужем за последним фаворитом Екатерины II Платоном Zubовым, а отец (до женитьбы на вдове Zubова) — женихом внебрачной дочери Александра I Софьи от его фаворитки М. А. Нарышкиной.¹³ Эти факты в обществе были широко известны. А. О. Смирнова-Россет писала об отце П. А. Шувалова — графе А. П. Шувалове: «Этот пройдоха, чтобы сделать карьеру, просил руки Софьи Нарышкиной, когда она была уже в чухотке. У нее был дом на набережной и 25 тыс. асс. дохода; Александр I был очень скуп. Но эта свадьба не состоялась, а в вознаграждение его послали секретарем Татищеву в Вену».¹⁴

И, наконец, автора все время преследует мысль о возможности возвращения графа Твэрдоонтó к деятельности. Это в равной мере может относиться и к Д. А. Толстому и П. А. Шувалову, в то время находившихся в одинаковом положении оставленных «странствующих администраторов». Относительно тревоги по поводу П. А. Шувалова сохранилось прямое заявление М. Е. Салтыкова-Щедрина: в письме Н. К. Михайловскому от 10 октября 1881 года в связи со слухами о предстоящих переменах в правительственном составе он с горечью и иронией писал: «Здесь в газетах пишут якобы Игнатъев пал, а Шувалов воскрес. Неужели нельзя было обоих сохранить?»¹⁵

Конечно, М. Е. Салтыков-Щедрин был художником и создавал свои персонажи, пользуясь всеми приемами литературного творчества; в том числе художественным вымыслом, собирательностью черт героев, гиперболизацией и т. д., — теми, которые наиболее ярко выразили бы авторскую идею, поэтому нелепо было бы утверждать, что в образе графа Твэрдоонтó нельзя найти черты, присущие другим государственным деятелям, или действия, которые нельзя соотнести с П. А. Шуваловым, однако

¹² Записки Н. Г. Залесова. — Русская старина, 1905, июнь, с. 524.

¹³ В. кн. Николай Михайлович. Императрица Елизавета Алексеевна — супруга императора Александра I, т. III. СПб., 1909.

¹⁴ Смирнова А. О. Записки, дневники, воспоминания, письма со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой. Под ред. М. А. Цявловского. Л., 1929, с. 206—207.

¹⁵ Салтыков-Щедрин М. Е. Письма, с. 213.

мы полагаем, что последний был именно тем прототипом, который наиболее подходил для авторского замысла, а потому и максимально отразился в нем.

Но если за персонажем Салтыкова-Щедрина скрывается граф П. А. Шувалов, то возникает вопрос, чем руководствовался гениальный сатирик, назвав его графом Твэрдоногб? Не является ли это зашифрованное имя аббревиатурой названия ведомства, возглавлявшегося П. А. Шуваловым, т. е. Т(ретьего) о(тделения), и не звучит ли в таком случае имя персонажа в расшифрованном виде так: граф Третьеотделенский?

В. В. ИЛЬИН

М. К. ЦЕБРИКОВА НА СМОЛЕНЩИНЕ

(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ)

В государственном архиве Смоленской области хранятся материалы о пребывании на Смоленщине известной писательницы, литературного критика и публициста М. К. Цебриковой (1835—1917). По преимуществу они проходили через канцелярии смоленского губернатора и губернского жандармского управления, нити от которых тянутся в Петербург — в департамент полиции и «святейший синод». Особое место среди этих документов занимает «Дело о состоящей под надзором полиции обвиняемой в государственном преступлении дочери генерал-майора Марии Константиновны Цебриковой»¹ на 62 листах.

8 мая 1884 года смоленское губернское жандармское управление получило из Петербурга секретное уведомление о том, что состоящая под «негласным» надзором полиции М. К. Цебрикова покинула столицу, отметив свое свидетельство выбытием в город Смоленск. Начались поиски поднадзорной писательницы, продолжавшиеся около месяца. Они не увенчались успехом, и в начале июня полицмейстер Смоленска доложил в губернское жандармское управление о «неприбытии» М. К. Цебриковой, о чем было незамедлительно сообщено в Петербург, в департамент полиции.² Но оказывается, губернские власти поспешили с сообщением, ибо 8 августа из Краснинского уезда в Смоленск поступил запоздалый рапорт о том, что М. К. Цебрикова приехала летом к своим знакомым или родственникам, а затем выехала «неизвестно куда».³ 10 августа 1884 года в канцелярии смоленского губернатора заводится специальное «Дело» о ней как о «государственной преступнице».

Под «государственным преступлением» М. К. Цебриковой, видимо, надо понимать ее сношения с политическими эмигрантами за рубежом. Позднее в автобиографии, составленной для В. В. Святловского, писательница отметит: «Мне не давали заграничного пачпорта с 72 г. Полагаю, за то, что когда в Цюрихе красные затеяли демонстрацию о невыдаче Швейцарией Нечаева, я после одной сходки на площади перед гостиницей, где была сходка, невольно сымпровизировала речь. Досталось и террористам, выставившим юнцов и юниц, которые манифестацией порттили себе культурную работу в России. Досталось и властям».⁴ Г. П. Шторм числит на личном счету М. К. Цебриковой серию политических дел: «учреждение в Швейцарии женского социал-демократического общества, сочинение брошюры „Теория ценности по Марксу“ и распространение революционных идей в народе путем устройства библиотек».⁵

Словом, после возвращения из-за границы М. К. Цебрикова оказалась под пристальным наблюдением полиции. Ее книги и статьи удалялись, по ее выражению, «особенного преследования цензуры», они «выходили без подписи автора или вообще не выходили».⁶

К сказанному необходимо добавить, что огромное влияние на формирование мировоззрения М. К. Цебриковой оказал Н. В. Шелгунов.

Весной 1885 года писательница снова появляется на Смоленщине, о чем департамент полиции поставил в известность смоленское губернское жандармское управление. Понимая всю важность поступившего из столицы предупреждения, управление на этот раз обращается к губернатору с просьбой сделать распоряжение о ро-

¹ Гос. архив Смоленск. обл., ф. 1, оп. 8, д. 15.

² Там же, ф. 1289, оп. 2, лл. 48, 49.

³ Там же, л. 19.

⁴ Русская литература, 1971, № 1, с. 105.

⁵ Шторм Г. Узница Бутырской тюрьмы. — В кн.: Потаенный Радичев. М., 1956, с. 178.

⁶ См. письма М. К. Цебриковой. — В кн.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. V. СПб., 1913, с. 157.

зыске «опасной преступницы». В ответ на это предписание с мест стали поступать сообщения о «непрохождении Цебриковой». Рапортовали все уезды, кроме Краснинского. Только 30 ноября 1885 года Краснинский уездный исправник сообщил: «Мария Константиновна Цебрикова, как видно из рапорта пристава 3-го стана Краснинского уезда от 19 сего ноября за № 8, на короткое время приехала осенью с. г. в имение Андреевское помещиц Борзенковых, но сейчас же переехала в соседнее с ними имение Воробьево, находящееся в $\frac{1}{4}$ версты расстояния от первого и принадлежащее помещику Попову, где гостила значительное время, затем более месяца тому назад неизвестно куда уехала».⁷

В Петербурге беспокоились не на шутку: поднадзорная писательница покидает почти на полгода столицу и остается без полицейского надзора. В смоленском губернском жандармском управлении тоже хорошо понимали, что упущена из-под контроля «поднадзорная», которая, как оказалось, «значительное время» гостила у А. Н. Попова, в усадьбе которого проживал вот уже год находившийся в ссылке «по обвинению в государственном преступлении» Н. В. Шелгунов. Такой недосмотр со стороны местной полиции мог обернуться кое для кого большими неприятностями по службе. И поэтому, чтобы скрыть свою нераспорядительность, губернское управление жандармов во второй раз «скрывает» от департамента полиции факт пребывания М. К. Цебриковой в Краснинском уезде. В декабре 1885 года в Петербург был послан рапорт о том, что «М. К. Цебрикова в Смоленской губернии не проживает».⁸

Архивные и другие материалы свидетельствуют о том, что Цебрикова неоднократно появлялась на Смоленщине. Об этом, в частности, можно узнать из письма Н. В. Шелгунова к одному из редакторов журнала «Русская мысль» В. А. Гольцеву, отправленного из Воробьева 21 июля 1888 года. «Жара и духота такая, — пишет Н. В. Шелгунов, — что нет сил. У меня на крыльце сидит Цебрикова. И хотя особенными взаимными вожделованиями мы с нею не отличаемся, но тем не менее она дама, а я — кавалер».⁹ Об очередном посещении Цебриковой Краснинского уезда сообщает в «конфиденциальном» письме на имя смоленского губернатора обер-прокурор святейшего синода К. П. Победоносцев. Письмо датировано 20 февраля 1889 года. В нем говорится: «Преосвященный Смоленский, на основании донесения заведующего церковно-приходской школою в селе Стегримове, Краснинского уезда, местного приходского священника Тимофея Горанского, сообщает мне, что издательница журнала „Детский сад“ Мария Цебрикова, живя летом 1888 г. в имении г-жи Борзенковой, Краснинского уезда, приглашала к себе учеников означенной церковно-приходской школы и rozdala им более 20-ти названий брошюр разных авторов. Когда же при начале занятий в школе мальчики стали носить с собою полученные ими от Цебриковой брошюры... Горанский отобрал от них таковые. Оказалось, что все они издания фирмы „Посредник“ и 8 из них не одобрены Учебным Комитетом при Святейшем Синоде для народного употребления, из остальных же одни одобрены названным Комитетом, другие же еще не были на его рассмотрении».

Вследствие сего Смоленский епископ Нестор просит о воспрещении Цебриковой распространения среди учеников церковно-приходских и других народных школ каких бы то ни было книг и брошюр без дозволения на то епархиального начальства и начальства земских и министерских училищ.

С своей стороны, находя предложенное Преосвященством воспрещение распространения среди воспитанников сказанных учебных заведений книг и брошюр без разрешения надлежащих учебных начальств совершенно основательным, долгом считаю покорнейше просить Ваше Превосходительство, не признаете ли возможным, в случае прибытия г-жи Цебриковой на летнее время во вверенную Вам губернию, принять соответственные меры против распространения ею неодобренных для народного обращения изданий, о последующем же не оставить меня уведомлением».¹⁰

Из «конфиденциального» письма К. П. Победоносцева можно установить, чем занималась М. К. Цебрикова во время летних приездов на Смоленщину. Помимо отдыха от городского суеда на лоне среднейрусской природы, писательница вела большую пропагандистскую и просветительскую работу. Книги издательства «Посредник», которые она распространяла среди учеников Стегримовской церковно-приходской школы, не были одобрены церковью. Это вынудило «духовного жандарма» России прибегнуть к административным мерам воздействия. Он боялся, что свободное русское слово глубоко западет в сердца и души пытливых деревенских мальчишек. Обер-прокурор святейшего синода упоминает в своем письме о восьми изданиях фирмы «Посредник». Надо полагать, что в числе этих книг были сочинения Л. Н. Толстого, по инициативе которого возникло издательство «Посредник», потому что среди четырех первых книг, выпущенных этим издательством, три принадлежали его перу: «Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро ска-

⁷ Гос. архив Смоленск. обл., ф. 1, оп. 8, д. 15, л. 5.

⁸ Там же, ф. 1289, оп. 2, л. 263.

⁹ Памяти В. А. Гольцева. М., 1910, с. 176.

¹⁰ Гос. архив Смоленск. обл., ф. 1, оп. 8, д. 15, лл. 13—16.

жет», «Кавказский пленник». Л. Н. Толстой был особенно ненавистен Победоносцеву. Пройдет несколько лет, и он добьется отлучения великого писателя от православной церкви. Письмо обер-прокурора святейшего синода дает возможность еще раз убедиться в самом тесном переплетении действий полиции, администрации и церкви.

В департаменте полиции давно уже следили за каждым шагом неугодной писательницы, публицистический пафос которой достиг своего апогея в открытом «Письме императору Александру III» (1889). В нем говорилось, что «вся система гонит в стан недовольных, в пропаганду революции даже тех, кому противны кровь и насилие»; «там, где гибнут тысячами жертвы произвола, где народ безнаказанно грабится и засекается, там жгучее чувство жалости будет всегда поднимать мстителей».¹¹

За дерзкое «Письмо» М. К. Цебрикова была выслана в Вологодскую губернию, сначала в Яренск, а затем Сольвычегодск.

После двухлетних мытарств, подорвавших и без того слабое здоровье писательницы, она направляет в департамент полиции прошение о переводе ее на Смоленщину. По этому поводу в «Деле» имеется письмо следующего содержания: «Высланная на основании высочайшего повеления 21 марта 1890 года по обвинению в государственном преступлении на жительство под гласный надзор полиции сроком на три года в один из северо-восточных уездов Вологодской губернии дочь генерал-лейтенанта М. К. Цебрикова обратилась в министерство внутренних дел с ходатайством о разрешении ей, в виду крайне болезненного состояния, отпуска в принадлежащую отставному штабс-капитану Попову в Краснинском уезде усадьбу Воробьево, сроком с конца августа с. г. по 30 марта 1893 года».

Вследствие сего, предварительно каких-либо по сему предмету распоряжений, департамент полиции имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в распоряжении о спросе штабс-капитана Попова, может ли он ругаться, что Цебрикова, находясь в его усадьбе, ничем не нарушит правил о полицейском надзоре, и о последующем уведомить».¹²

После получения такого предписания смоленский губернатор начал переписку с А. Н. Поповым, завершившуюся тем, что владелец сельца Воробьева дал согласие принять ссыльную писательницу на тех условиях, которые были определены департаментом полиции.

14 августа 1892 года департамент полиции признал возможным «разрешить состоящей в г. Сольвычегодске под гласным надзором полиции М. К. Цебриковой» ввиду «ее болезненного состояния, отпуск под таковой же надзор в принадлежащую отставному штабс-капитану Попову в Краснинском уезде Смоленской губернии усадьбу Воробьево, сроком по 21 марта 1893 года».¹³

23 августа 1892 года, согласно рапорту Сольвычегодского уездного исправника, М. К. Цебрикова с «выданным ей на следование до города Красного проходным свидетельством за № 91» выбыла из Вологодской губернии, а 17 сентября того же года из канцелярии смоленского губернатора сообщили в Вологду, что ссыльная «прибыла в Краснинский уезд под гласный надзор полиции».¹⁴

Из материалов переписки вологодского и смоленского губернаторов большой интерес представляет еще один документ — аттестация ссыльной писательницы, составленная в 1892 году в форме вопросов и ответов. Как можно установить из этого документа, М. К. Цебриковой в это время было 57 лет, что она была незамужняя, «образование получила домашнее», из родителей никого в живых уже не было (отец ее умер в 1879 году в чине отставного генерал-лейтенанта), из близких родственников указана сестра Н. К. Шпеер, проживавшая в Ярославле, что после смерти отца Цебриковой назначена была пенсия в размере 137 рублей в год, что до ссылки средства к существованию она добывала литературным трудом.¹⁵

Усадьба А. Н. Попова располагалась на живописном берегу реки Вихры. М. К. Цебрикова занимала отдельный флигель, построенный когда-то специально для Н. В. Шелгунова. По свидетельству А. И. Назарова, заведующего издательством О. Н. Поповой, «стены уютного домика были увиты диким виноградом; перед домом несколько клумб с разнообразными цветами».¹⁶ В Воробьево М. К. Цебрикова имела возможность заниматься медицинской практикой. В семидесяти годы она получила в Цюрихе медицинское образование. Население окрестных деревень знало ее еще по прошлым приездам и относилось к ней с глубоким уважением. В письме к С. А. Венгеру Цебрикова вспоминала, как, вернувшись из Вологодской ссылки, она на масляничной неделе проезжала вместе с А. Н. Поповым мимо кабака, и крестьяне вслед ей кричали: «Ура, Цебричиха вернулась!» И тем не менее с официальной точки зрения положение ссыльной оставалось крайне неустойчивым. Хотя

¹¹ Цебрикова М. К. Письмо к Александру III. СПб., 1906, с. 28, 30.

¹² Гос. архив Смоленск. обл., ф. 1, оп. 8, д. 15, л. 19.

¹³ Там же, л. 21.

¹⁴ Там же, лл. 26—29.

¹⁵ Там же, л. 25.

¹⁶ ГБЛ, ф. 369, ех. 4, л. 2.

краснинский уездный исправник писал в рапорте, что поднадзорная «ведет уединенную жизнь и ни с кем не поддерживает знакомства... не замечена ни в чем предосудительном»,¹⁷ в Петербурге, в департаменте полиции, думали иначе, там считали ее «опасной преступницей»; по истечении срока «секретного полицейского надзора» в 1893 году, на нее был наложен «негласный надзор», ей запрещалось проживание «в столичных губерниях, университетских городах, Твери, в Нижнем Новгороде в течение трех лет».¹⁸

Цебрикова предпочла остаться в Смоленской губернии. В 1896 году истек срок и «негласного надзора» над ней, однако «как состоящая ранее под надзором» она по-прежнему была лишена права «проживать в столицах и С.-Петербургской губернии».¹⁹

А. И. Назаров рассказывает о своих встречах с М. К. Цебриковой в Воробьеве как раз в это время, в 1896 году. Он приезжал туда к своему другу, который работал учителем в школе, построенной А. Н. Поповым. «Передо мной, — пишет он о М. К. Цебриковой, — сидела дородная, полная, крепко сложенная, широкошечая женщина лет шестидесяти, с крупными чертами маломорщинистого лица, с двойным подбородком. Поверж очков смотрели испытующе большие глаза». В разговоре с молодым человеком (А. И. Назарову шел тогда 21-й год) она живо интересовалась, где он учился, что читал, знаком ли с такими журналами, как «Современник» и «Отечественные записки». Она вспоминала «своего дядю декабриста, свою работу с Некрасовым, Елисеевым в „Отечественных записках“, хождение молодежи в народ и т. п.». М. К. Цебрикова давала А. И. Назарову читать свое «Письмо» Александру III, впечатление от которого, по его словам, было таким, как будто он «вылез из темного подвала и увидел незнакому... обстановку, о которой ранее не имел никакого представления». Мемуарист рассказывает об образе жизни писательницы. Вставала она в 8 часов утра и сразу начинала писать. Переписка у нее была обширная, «редкий день проходил без того, чтобы из почтового отделения Монастырщина ей не было бы корреспонденции». Из периодических изданий она получала «Русские ведомости» и «Русское богатство»; «получала также на папиросной бумаге заграничные нелегальные листочки». Летом она почти все время проводила в беседе из вьющегося плюща («Монрепо»); «ежедневно, часов в 12, посещал ее Пойов А. Н., который очень ее уважал и окружал вниманием». Один раз в неделю из соседнего села Каблукова приезжал к ней доктор Андреев и часами просиживал у нее. «Порой, — пишет автор воспоминаний, — приезжал становой пристав, но он ограничивался обедом или ужжином на веранде и к Цебриковой не заходил».²⁰

Судя по воспоминаниям А. И. Назарова, М. К. Цебрикова принимала самое активное участие в спектаклях народного театра, который был организован О. Н. Поповой в Воробьеве. Артистами его были два воспитанника Поповых, обучавшиеся в Военно-медицинской академии, три их однокурсника, приезжавшие вместе с ними из Петербурга, местные учителя, молодежь из соседних поместий, М. К. Цебрикова и О. Н. Попова. Все «артисты», кроме М. К. Цебриковой, питались «за счет имения», обедали и ужинали на веранде, «а самовар целый день не сходил со стола».

Архивные источники и мемуарные материалы показывают, что М. К. Цебрикова жила в Воробьеве полнокровной духовной жизнью, не прекращая своей литературной деятельности.

В 1897—1899 годах писательница предпринимает последние попытки возвратиться в Петербург. Но, как и ранее, получает категорический отказ. В этом отношении показательное секретное предписание департамента полиции смоленскому губернатору от 14 декабря 1899 года, завершающее «Дело». Из него видно, что властям нежелательно было даже на короткое время пустить ее в столицу. «Департамент полиции, — говорится в этом предписании, — имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в распоряжении об объявлении проживающей в Краснинском уезде, в усадьбе Воробьеве, дочери генерал-лейтенанта Марии Константиновны Цебриковой, что ходатайство о дозволении ей приезда в Санкт-Петербург для совета с врачами-специалистами по поводу ее болезни признано неподлежащим удовлетворению, так как для означенной цели она, Цебрикова, может прибыть в другой город, кроме столиц».²¹

Начало нового века писательница встретила на Смоленщине. По имеющимся у нас данным, она жила не только в Соболеве-Воробьеве, но и в других населенных пунктах: в 1902 году — в Быковщине Смоленского уезда, в 1903 — в Корытне Краснинского уезда, в 1905 — в селе Сайбутове Смоленского уезда и т. д.

В селе Сайбутове в 1905 году прогрессивная общественность Смоленщины отметила юбилей ее семидесятилетия и тридцатилетия литературной деятельности. Газета «Днепровский вестник», выходившая в Смоленске, назвав М. К. Цебрикову

¹⁷ Гос. архив Смоленск. обл., ф. 1, оп. 8, д. 15, лл. 19, 28.

¹⁸ Там же, л. 29.

¹⁹ Там же, л. 42.

²⁰ Назаров А. И. Цебрикова в Соболеве-Воробьеве (воспоминания). — ГБЛ, ф. 369, ед. хр. 4, лл. 2, 3, 4.

²¹ Гос. архив Смоленск. обл., ф. 1, оп. 8, д. 15, л. 62.

«сподвижницей Шелгунова, Лаврова, Михайловского и других корифеев 60-х годов», отметила ее большие заслуги перед литературой и русским женским движением. Чествование состоялось 13 марта. От интеллигенции Смоленщины ей преподнесли приветственный адрес, начинающийся следующими словами:

«Глубокоуважаемая Мария Константиновна!

Тридцатилетие Вашей литературной деятельности, по поводу которой мы, смоляне, приветствуем Вас, исполнилось как раз в то время, когда для всех стало очевидно, что отжившие устои русского государственного строя не сегодня-завтра должны рухнуть и что близок час, когда мы увидим освобожденную Россию. И вместе с Вами мы глубоко надеемся, что теперь уже нельзя сомневаться в близком торжестве тех великих освободительных принципов, за которые Вы боролись в течение всей своей жизни».²²

Самый юбилей, содержание приветственных материалов, помещенных в местной прессе, являются ярким свидетельством того, насколько сильно всколыхнула Россию первая русская революция. В приветственном адресе, под которым стояло сорок подписей, выражена была мысль о скором падении ненавистного царского режима, о возникновении в результате революции новой, «освобожденной России». Все это результат тех огромных социальных потрясений, которые были вызваны революцией, тех существенных сдвигов, которые произошли в общественном сознании страны.

С 1906 года М. К. Цебрикова живет в Смоленске (письма ее к профессору С. А. Венгеру имеют обратный адрес: г. Смоленск, Офицерская слобода, Мееровское шоссе, Константиновская улица). Физические силы ее были подорваны. В последнем письме, отправленном из Смоленска С. А. Венгеру в 1910 году, писательница сетовала на то, что въезд в Петербург ей навсегда запрещен, да и длительной дороги она уже не вынесет, что вследствие «переутомления мозга» и старчества она не владеет нервами, что вообще она в таком настроении, что «хоть сейчас в могилу». По совету врачей она уехала в Крым к своему двоюродному брату Н. Н. Титушкину. Там она и скончалась 20 марта 1917 года.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО ДЖ. КЕННАНА Г. А. МАЧТЕТУ

(ПУБЛИКАЦИЯ Е. И. МЕЛАМЕДА)

Когда известного американского путешественника и публициста Джорджа Кеннана (1845—1924) спросили однажды, где он получил свое высшее образование, он, не имевший за плечами даже колледжа, отшутился: «В России». Если верить, что в каждой шутке есть доля истины, в этой — она большая. Свыше полувека американец постигал чужую страну, неоднократно приезжал в Россию, писал о ней книги, лучшая из которых «Сибирь и сырка» (1891) принесла ему мировое признание.

Составной частью «русского университета» для Кеннана было общение с писателями из России. Известно, что «чувства добрые» связывали его с Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко, К. М. Станюковичем, С. М. Степняком-Кравчинским, Ф. В. Волховским, А. И. Иванчиным-Писаревым, И. П. Белоконым и др. В рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранится неопубликованное письмо Дж. Кеннана к писателю-народнику Г. А. Мачтету,¹ открывающее еще одну страницу истории русско-американских литературных связей.

«г. Вашингтон, 17 марта 1887 года

Мой дорогой г-н Мачтет!

У меня сегодня почти нет времени писать, но я не могу не сообщить Вам хотя бы коротко о получении Ваших новогодних открыток, Вашей книги и писем, которые пришли в полном порядке и доставили мне огромное удовольствие.

Только что мне вручили Ваше письмо, посланное через доктора Вольмана, и я рад представшейся возможности выразить Вам мою признательность и дружеские чувства, оказав доктору всяческое содействие.

Думаю, я смогу помочь ему получить место, но только не в Нью-Йорке. Там очень трудно найти работу для приезжего и иностранца. Возможно, я предложу ему приехать сюда, я решу это после дальнейшей переписки. Как бы то ни было, я окажу ему необходимую помощь. Этим я хоть в какой-то степени компенсирую долг благодарности перед многими друзьями в России, которые были так добры ко мне.

²² Днепровский вестник, 1905, 15 марта, № 73.

¹ ГБЛ, ф. 162 (Г. А. Мачтета), карт. № 3, ед. хр. 27, лл. 1—6.

С огорчением узнал из Вашего письма, что Вам нездоровилось. Мы с госпожой Кеннан также долго болели по возвращении в Америку. Осенью жена была в таком опасном состоянии, что в продолжение недели я со страхом думал о том, что она не выживет. Тем не менее дело пошло на поправку, и теперь она себя чувствует почти так же хорошо, как обычно. Самому мне стало лучше начиная с 1-го января.

Я уже успел прочитать «Рассказы из сибирской жизни» в той небольшой книжке,² которую Вы были так любезны прислать, и остался *очень* доволен ими, в особенности рассказами «Вторая правда» и «Мирское дело».³ «Сон одного заседателя» тоже хорош, но мне больше понравились первый и последний очерки. Там есть очень много чувства и патетики в описании юноши, который умирает в тюрьме за убийство, им не совершенное, и дает доктору горсть земли, чтобы тот бросил ему на могилу, и два рубля для Аннушки. Это художественно очень сильный эпизод, который верно отражает жизнь и русский характер.

«Мирское дело» — также очень трогательная история. Диалог Аксиньи и крестьян мира, зарождение их жалости и сочувствия и заключительная сцена — диалог Кузьки и Аксиньи — произвели на меня очень глубокое впечатление. Как только найду время, я надеюсь перевести оба этих рассказа и опубликовать их здесь, в Америке.⁴ Они делают Вам честь, мой дорогой г-н Мачтет. Не так часто бывает, что русский рассказ или очерк вызывают слезы на моих глазах, как это случилось с Вашими.

В ближайшее время я собираюсь послать Вам томик коротких рассказов Роберта-Льюиса Стивенсона, который недавно сделал себе громкое имя в Европе и Америке.⁵ Думаю, что некоторые вещи заинтересуют Вас. Пожалуйста, обратите внимание на подражание «Преступлению и наказанию» Достоевского в очерке, названном «Маркхейм».⁶

Сегодня у меня нет больше времени писать что-либо, но я вскоре отправлю Вам еще одно письмо.

Пожалуйста, передайте от меня привет г-ну Гольцеву⁷ из журнала «Русская мысль», если увидите его в Москве, и госпоже Успенской,⁸ и г-ну Пругавину,⁹ если знаете их. Напишите мне, пожалуйста, если Вам что-либо известно о моих друзьях в Сибири и в особенности в Забайкалье.

Госпожа Кеннан присоединяется ко мне и передает Вам самый сердечный привет. С наилучшими пожеланиями, тепло жму Вашу руку.

Ваш друг Джордж Кеннан».

Как явствует из содержания письма, между Кеннаном и Мачтетом существовала регулярная переписка. Личное знакомство двух писателей произошло, по-видимому, летом 1885 года в Ишиме, где Мачтет находился на поселении. Вернувшись из сибирской ссылки, тяжелобольной писатель поселился в Твери (везд в столицы ему был запрещен), и здесь, спустя год, знакомство, должно быть, продолжилось: о том, что, летом 1886 года Кеннан заезжал в Тверь имеется указание в «Сибири и ссылке».¹⁰

Выскажем предположение, что последняя встреча не была случайной. Завершая свое 16-месячное пребывание в России, Дж. Кеннан, по собственному признанию, посещал друзей тех политических ссыльных, с которыми он встречался в Сибири, вручал им письма, передавал приветы от товарищей.¹¹ Среди тех, с кем американский публицист свел знакомство на казенных трактах и в местах поселения, было немало и знакомых Мачтета, его соратников по революционной

² Имеется в виду: Мачтет Г. А. Повести и рассказы. М., изд. А. А. Карцева, 1887.

³ Показательно, что эти же рассказы выделила и современная автору критика (см.: Мачтет Г. А. Избранное. М., 1958, с. 596).

⁴ По-видимому, это намерение осталось неосуществленным.

⁵ В 1884—1887 годах, в так называемый «борнмутский период» Р.-Л. Стивенсон пишет «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда» и ряд других произведений, имевших большой успех у публики. Подробнее см.: Олдингтон Р. Стивенсон. (Портрет бунтаря). М., 1973, с. 180.

⁶ Русский перевод рассказа см. в кн.: Стивенсон Р.-Л. Собр. соч. в 5-ти т., т. 2. М., 1967, с. 448—466. О влиянии «Преступления и наказания» на творчество Стивенсона, ссылаясь на признание самого писателя, пишет Д. Урнов в послесловии к книге Р. Олдингтона (с. 262).

⁷ В. А. Гольцев (1850—1906) — публицист, с 1885 по 1905 год — редактор журнала «Русская мысль».

⁸ Очевидно, имеется в виду А. В. Успенская (1845—1906), жена писателя Г. И. Успенского.

⁹ А. С. Пругавин (1850—1920) — публицист, этнограф, исследователь раскола и сектанства.

¹⁰ Кеннан Дж. Сибирь и ссылка, т. II. Б. м., изд. А. Сурат, [1906], с. 251.

¹¹ Там же.

борьбе. В частности, известно, что Кеннан дважды виделся с близким другом Мачтета, поэтом Ф. В. Волховским, в судьбе которого американец принял близкое участие.¹²

Не вызывает сомнения, что автор популярной революционной песни «Замучен тяжелой неволей» интересовал Кеннана и как писатель, пользовавшийся в 80-х годах большой популярностью в России, и как революционер, который около десяти лет провел в тюрьмах и ссылке. Будучи хорошо осведомленным в вопросах, составивших предмет исследования американского публициста, Мачтет мог существенно дополнить его впечатления. Полезными в этом смысле оказались и «Рассказы из сибирской жизни». Не случайно Кеннан указал на это произведение в перечне литературных источников своей книги в приложении к ее первому изданию.¹³

На страницах «Сибири и ссылки» имя Мачтета встречается неоднократно. Там же помещены портреты писателя и его жены, революционерки-народницы Елены Петровны Мачтет (Медведевой).¹⁴

К. М. АЗАДОВСКИЙ И, А. В. ЛАВРОВ

НОВОЕ О ВСТРЕЧАХ ТОМАСА МАННА С РУССКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

(«СЛОВО БЛАГОДАРСТВЕННОЕ» АНДРЕЯ БЕЛОГО ТОМАСУ МАННУ)

Андрей Белый и Томас Манн... Имена этих писателей, насколько известно, еще никогда не ставились рядом. В многочисленных ныне работах, разносторонне освещающих тему «Томас Манн и русская литература», среди интересовавшихся Т. Манна современных русских писателей, его знакомых и корреспондентов, называют обычно И. Бунина, Д. Мережковского, А. Ремизова, А. Н. Толстого, Л. Шестова, И. Шмелева, А. Элиасберга, И. Эренбурга. О Белом же не упоминает никто. Между тем русскому и немецкому писателям пришлось однажды встретиться при обстоятельствах, имевших общественное звучание, и далеко не случайных как для одного, так и для другого.

Общеизвестно, что Томас Манн был страстным приверженцем русской культуры; он не раз писал о Достоевском, Толстом, Чехове. Уже в ранней своей новелле «Тонно Крегер» (1903) Т. Манн упоминает о «святой русской литературе». «Как я люблю все русское!» — восклицает он в одном из своих писем.¹ В начале 1920-х годов, в связи с наметившимся в нем поворотом от «аполитичности» к демократизму и «новому гуманизму», писатель настойчиво предается размышлениям о России и русской литературе, что ясно прослеживается в его публицистических и общественных выступлениях тех лет.

В знакомстве Т. Манна с русской литературой, особенно современной, определенную роль сыграл Александр Самойлович Элиасберг (1878—1924), литератор и переводчик русских авторов на немецкий язык. С 1906 года Элиасберг постоянно жил в Мюнхене. Здесь в 1914 году он и познакомился с Т. Манном и впоследствии регулярно общался с ним.² В 1920 году в Берлине появилась составленная им антология русских писателей, которую Элиасберг посвятил «Томасу Манну, мастеру немецкой художественной прозы».³ В антологию вошли современные писатели России (Бальмонт, Брюсов, Бунин, Кузмин, Мережковский, Пришвин, Ремизов); среди них — Андрей Белый, имя которого Т. Манн к этому времени уже знал.⁴ В начале 1921 года в Мюнхене был издан специальный выпуск журнала «Süddeutsche Monatshefte», посвященный русской литературе (составитель А. С. Элиасберг). В нем были представлены русские классики (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, До-

¹² Там же, т. I, с. 131—140.

¹³ Ken nan George. Siberia and the Exile System, v: II. London, 1891, p. 477.

¹⁴ Ibid., p. 444.

¹ Письмо к Ф. Виткопу от 4 октября 1917 года. — В кн.: Man n Th. Briefe 1889—1936. Frankfurt am Main, 1962, S. 140.

² 29 писем Томаса Манна к Элиасбергу за 1914—1924 годы, основной темой которых является русская литература, опубликованы в кн.: Hof man Alois. Thomas Mann a Rusko. Praha, 1959, s. 113—159.

³ Neue russische Erzähler. Ausgewählt, übertragen und herausgegeben von Alexander Eliasberg. Berlin, 1920.

⁴ В письме к Элиасбергу от 20 августа 1919 года Т. Манн спрашивал его о романе Белого «Петербург», только что появившемся в немецком переводе (Hof man Alois. Thomas Mann a Rusko, s. 144).

стовский, Толстой), а также современные авторы (Горький, Брюсов, Сологуб, А. Н. Толстой). Номер открывался предисловием Т. Манна («Русская антология»), в котором немецкий писатель вновь признавался в своей любви к русской литературе. «...Россия и Германия должны знать друг друга все лучше и лучше. Они должны рука об руку идти в будущее», — этими словами завершилась статья.⁵ И наконец, в декабре 1922 года Т. Манн публикует еще одну статью — «Галерея русских писателей»,⁶ послужившую вступлением к альбому-антологии «Русская литература в портретах и письменах», составленному Элиасбергом.⁷ В него вошло 88 портретов русских писателей (от Тредиаковского до Ахматовой); текст был дан на русском и немецком языках. В своем предисловии Т. Манн упоминает о писателях-«ровесниках» и называет имена Бунина, А. Толстого, Ремизова и Андрея Белого. Заключительные слова статьи — о «содружестве двух великих, страдающих и полных будущего народов».⁸

В те же годы (1921—1923) Т. Манн неоднократно (в общей сложности более десяти раз)⁹ выступал в разных городах с докладом на тему «Гете и Толстой» (со временем текст был им расширен и переработан в самостоятельное исследование). Первые прочитанный в сентябре 1921 года в Любеке, родном городе Т. Манна, он был многократно повторен писателем во время его поездки по городам Европы в январе 1922 года (Прага—Брюн—Вена—Будапешт). Отрывок из доклада был прочитан также в конце февраля 1922 года во Франкфурте-на-Майне, где в то время происходило организованное музеем Гете чествование немецкого классика. Спустя четыре месяца Томас Манн вновь выступает на эту тему в Гейдельберге.¹⁰ Тогда же, в апреле 1922 года, в берлинском журнале «Tagebuch» он печатает небольшую статью о Д. С. Мережковском («Über Mereschkowski»), написанную по поводу его пьесы «Царевич Алексей», поставленной Русским драматическим театром.¹¹ Кроме того, русские мотивы, имена, реминисценции заняли немаловажное место в известной статье Т. Манна «О национальном и интернациональном искусстве», впервые опубликованной в августе 1922 года.

Таким образом, именно 1921—1922 годы были для Томаса Манна периодом его интенсивного сближения с русской культурой.¹²

В марте 1922 года Томас Манн прибыл в Берлин. 19 марта он выступает с чтением главы из романа «Волшебная гора» в театре на улице Курфюрстендамм; на другой день аналогичное выступление состоялось в зале Берлинского «Сецесиона».¹³

Берлин в начале 1920-х годов был, наряду с Парижем, одним из главных центров русской культурной жизни на Западе. В столице Германии открылись в то время широкие издательские возможности; условия жизни — в отличие от Петрограда и Москвы, еще переживавших последствия экономической разрухи, — здесь были сравнительно нормальными. Сюда в большом количестве стекались белоземляне и представители различных политических партий, в том числе их лидеры (кадеты В. Д. Набоков, И. В. Гессен; эсеры В. М. Чернов, В. М. Зензинов и т. д.). К 1922 году в Берлине сформировалась довольно многочисленная русская колония, в которую входили и деятели искусства самых раз-

⁵ Mann Thomas. Zum Geleit. — Süddeutsche Monatshefte, 1921, Februar, H. 5 («Meisterwerke der russischen Erzählungskunst»), S. 289—296; под заглавием «Russische Anthologie» — в кн.: Mann Thomas. Rede und Antwort. Gesammelte Abhandlungen und kleine Aufsätze. Berlin, 1922. Статья «Русская антология» в русском переводе впервые опубликована в 1975 году (В мире книг, 1975, № 6, с. 73—75; Дон, 1975, № 6, с. 188—189).

⁶ Mann Thomas. Russische Dichtergalerie. — Prager Presse, 1922, 3. Dezember, № 332.

⁷ Eliasberg Alexander. Bibdergalerie zur russischen Literatur. München, 1922, S. VI—VII (S. VIII—IX — русский перевод).

⁸ Mann Thomas. Gesammelte Werke in 12 Bänden, Bd. X. Frankfurt am Main, 1960, S. 629.

⁹ См.: Mann Thomas. Eine Chronik seines Lebens. Zusammengestellt von Hans Bürgin und Hans-Otto Meyer. Frankfurt am Main, 1974, S. 64—71.

¹⁰ Отклики на выступления Т. Манна с этим докладом появлялись и в русской печати. См., например: Ковров А. Встреча с Гете и Толстым. — Новый мир (Берлин), 1922, 23 марта, № 70.

¹¹ Das Tagebuch, 1922, 29. April, H. 17, S. 654—655.

¹² Библиографию работ об отношении Т. Манна к русской литературе см. в кн.: Die Literatur über Thomas Mann. Eine Bibliographie. 1898—1969. Bearbeitet von Harry Matter, Bd. 2. Berlin—Weimar, 1972, S. 443—450. О статьях Т. Манна «Русская антология» и «Галерея русских писателей» см. подробнее в кн.: Hofman Alois. Thomas Mann und die Welt der russischen Literatur. Berlin, 1967, S. 96—100. См. также: Русакова А. В. Томас Манн в поисках нового гуманизма. Л., 1969, с. 9—23; Мотылева Т. Л. Томас Манн и русская литература. М., 1975, с. 29—32.

¹³ Mann Thomas. Eine Chronik seines Lebens, S. 67.

личных идейных убеждений и художественных ориентаций. Многие из них находились там временно; они не порывали связей с родиной и вскоре вернулись в Советскую Россию, где активно продолжали свою литературную деятельность (Андрей Белый, И. Соколов-Микитов, А. Н. Толстой, И. Эренбург и др.). Часть писателей осталась в эмиграции (А. Кусиков, А. Ремизов, В. Ходасевич, М. Цветаева и др.). В Германии жил тогда (с осени 1921 года) и М. Горький, который часто бывал в Берлине и, не вступая в контакт с белоэмигрантскими кругами, поддерживал в то же время дружеские и деловые связи с русскими литераторами. В Берлине издавался ряд газет на русском языке: от белоэмигрантских («Родина», «Русская сила» и др.) и буржуазных («Голос России», «Руль») до «сменовеховских» («Накануне») и газеты «Новый мир», поддерживавшей Советскую Россию. Работали русские издательства («Геликон», издательство З. И. Гржебина, издательство И. П. Ладыжникова, издательство С. Ефрон, «Литература», «Мысль», «Огоньки», «Русское универсальное издательство», «Скифы», «Слово» и др.); их продукция поступала в берлинские русские книжные магазины («Град-Китеж», «Заря», «Москва») и частично распространялась в Советской России. В январе 1922 года начал издаваться ряд еженесячный критико-библиографический журнал «Новая русская книга» (редактор — проф. А. С. Яценко); спустя несколько месяцев появился первый номер литературного журнала «Эпопея» под редакцией Андрея Белого. Несколько позднее, в 1923—1925 годах, в Берлине издавался редактируемый М. Горьким, В. Ф. Ходасевичем, Андреем Белым и др. журнал «Беседа», выходили в свет литературно-художественные журналы «Жар-птица», «Звено», «Слово», «Театр и жизнь». С декабря 1921 года в Берлине действовали «Дом искусств», образованный по аналогии с петроградским обществом, и филиал петроградского объединения «Вольная философская ассоциация» («Вольфила»).

Берлинский «Дом искусств» был образован в середине ноября 1921 года группой находившихся тогда в Берлине писателей и художников. Главным инициатором этого начинания был Н. М. Минский. 29 ноября «собрание, оказавшееся многочисленным, утвердило устав „Дома“ и избрало Совет и Контрольную Комиссию. В состав Совета были избраны: Н. М. Минский (председатель), А. М. Ремизов (тов. председателя), Г. С. Сумский-Каплун (секретарь), З. А. Венгерова (казначей), Андрей Белый, А. Н. Толстой, И. А. Пуни; проф. А. С. Яценко, Д. Н. Милоти, С. М. Пистрак и Д. А. Гартман». Далее сообщалось, что, согласно уставу, «Дом искусств» — «организация аполитическая, ставящая себе следующие цели: объединение и защита прав и интересов деятелей русской литературы и искусства, устройство постоянных вечеров „Дома“, лекций, концертов, выставок и пр.»¹⁴ В другом информационном сообщении о берлинском «Доме искусств» подчеркивалось, что эта организация ставит себе целью «служение культуре и искусству, защиту правовых и материальных интересов своих членов, взаимное их общение... материальную и нематериальную поддержку писателей и художников, оставшихся в России, „решительно выступает против тех нападков на них, которые — прежде чаще, а теперь реже — имели место“».¹⁵ 14 декабря 1921 года состоялась первая публичная лекция «Дома искусств»: Андрей Белый выступил на тему «Культура в современной России».¹⁶ Вечера «Дома искусств» проводились еженедельно, в специально арендованных залах или кафе. На этих вечерах происходило общение между членами «Дома», некоторые из писателей читали свои сочинения (неоднократно выступали Андрей Белый, З. Венгерова, Н. Минский, А. Ремизов, А. Толстой, И. Эренбург), музыканты исполняли собственные произведения или произведения других русских композиторов. Действительным членом «Дома искусств» был М. Горький.

В марте 1922 года в Берлине был проведен ряд мероприятий, организованных Общественным Комитетом помощи голодающему населению России в связи с голодом, охватившем в 1921 году Поволжье и многие другие области Советской России. Призывы помочь голодающим в РСФСР регулярно появлялись тогда на страницах немецкой печати и встречали отклик в широких кругах общественности. Известный эффект имела книга «Россия и мир» («Russland und die Welt»), изданная в Берлине в марте 1922 года и состоявшая из статей Ф. Напсена, Г. Гаупмана и М. Горького, посвященных проблемам международной помощи России.

10 марта 1922 года в помещении Берлинской филармонии состоялся митинг. На нем выступали представители Германского Красного креста и лидеры политических партий старой России. «Этот митинг был едва ли не самым многочисленным собранием русской колонии в Берлине за последние два года. Все выступавшие

¹⁴ Бюллетень Дома Искусств, 1922, 17 февраля, № 1—2, стлб. 21.

¹⁵ Летопись Дома Литераторов, 1922, 1 февраля, № 7, с. 7. (Письмо берлинского «Дома искусств»). См. также: Летопись Дома Литераторов, 1921, 20 декабря, № 4, с. 10. (Информация о создании в Берлине «Дома искусств»).

¹⁶ «Дом Искусств» в Берлине. — Новая русская книга, 1922, № 1, с. 34. В том же номере журнала опубликован и текст выступления Андрея Белого (с. 2—6).

ораторы, принадлежащие к самым различным политическим направлениям, нашли общий язык для того, чтобы высказаться по вопросу о необходимости организации самой широкой помощи голодающему населению Советской России.¹⁷ Среди выступавших был и Андрей Белый. Приехавший в Берлин 19 ноября 1921 года (и проживший затем там почти два года), Белый со всем свойственным ему энтузиазмом содействовал в те дни работе Общественного комитета. «Русская интеллигенция, — говорил Белый, — должна переродиться, она должна понять тех, на чью долю выпали страдания. Русский интеллигент должен сказать, что „я — это ты“, если он это скажет и осознает это, тогда он сможет исполнить свой долг перед народом в этот тяжелый момент».¹⁸ Спустя несколько дней сообщалось, что «митинг, устроенный русским Общественным комитетом, дал около 35 000 марок чистого сбора... В бюро комитета кроме пожертвованных деньгами поступили пожертвования — одно золотое кольцо и две золотых цепочки, которые проданы комитетом за 1630 марок. К цепочке было приложено письмо, указывавшее на сильное впечатление, произведенное речью Андрея Белого».¹⁹

Несколько дней спустя после этого митинга «Дом искусств» решил пригласить только что приехавшего тогда в Берлин Томаса Манна выступить с чтением своих произведений на ближайшем вечере «Дома», сбор с которого должен был, по замыслу его устроителей, целиком поступить в распоряжение петроградского «Дома искусств». Зная отношение Т. Манна к русской литературе, можно было не сомневаться, что он охотно откликнется на это приглашение. К участию в вечере был, естественно, привлечен и Андрей Белый — знаток и ценитель германской культуры.²⁰

17 марта в газете «Руль» появилось объявление: «По приглашению Дома Искусств знаменитый немецкий романист Томас Манн любезно согласился прочесть одно из своих ненапечатанных произведений в пользу русских писателей в Петрограде. Чтение состоится в понедельник, 20-го марта, в Logenhaus (Kleiststrasse 10). Начало в 8 ч. 30 м. вечера. Билеты в русских книжных магазинах».²¹

О том, как проходил этот вечер, состоявшийся 20 марта, рассказано в заметке «Лекция Томаса Манна»: «... в зале „Ложенгауз“ состоялся организованный берлинским Домом искусств доклад Томаса Манна, чистый сбор которого поступает на нужды русских писателей, находящихся в Петербурге. Лекция талантливого немецкого писателя собрала почти полный зал публики. С приветственным словом к Томасу Манну, написанным Н. Минским, выступила З. А. Венгерова. Томас Манн в первой части программы вечера прочел свой доклад на тему „Гете и Толстой“. С речью на немецком языке выступил Андрей Белый, приветствовавший Томаса Манна и благодаривший его за стремление прийти на помощь голодающим в России. Последним выступал Томас Манн, прочитавший свою новую новеллу „Железнодорожное несчастье“».²²

¹⁷ Бор. Ор. [Оречкин Б. С.]. Помогите голодающим! — Руль, 1922, 12 марта, № 402, с. 5. Автор этой заметки заведовал в «Руле» информационным отделом; с 1926 года работал в рижской газете «Сегодня»; умер в 1943 году в каунасском гетто. О нем см.: Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 358. Труды по русской и славянской филологии. XXIV. Литературоведение. Тарту, 1975, с. 369.

¹⁸ Руль, 1922, 12 марта, № 402, с. 5.

¹⁹ Там же, 18 марта, № 407, с. 5.

²⁰ Белый неоднократно признавался, что связан с Германией корнями своего мироощущения и творчества. Его самоопределение как художника протекало под сильнейшим воздействием музыки Вагнера, Шумана и Бетховена, живописи Бёклина, философско-поэтической прозы Ницше. Особенно важную роль играли для Белого — на всех этапах его духовного развития — немецкие философы и философские школы. Шопенгауэр был «властителем дум» его ранней юности, Кант и неокантианцы — в 1900-е годы, в пору расцвета его творчества; наконец, с годами все большее значение приобретает для Белого Гете. В 1912—1916 годах Белый жил в основном в Германии и Швейцарии, «пополненный» учением Рудольфа Штейнера; плодом его антропософских увлечений явилась книга «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М., 1917) и целый ряд других произведений конца 1910-х годов. Свое пребывание в Берлине в 1921—1923 годах Белый описал в своеобразном очерке-памфлете (см.: Белый Андрей. Одна из обителей царства теней. Л., 1924). «Германскую ориентацию» писатель сохранил до конца своих дней. Показательно, что незадолго до смерти Белый задумал написать антифашистский роман «Германия» (1931), в котором намеревался «дать картину жизни раздавленной после войны Германии» (см.: Гречинский С. С., Лавров А. В. Неосуществленный замысел Андрея Белого. — Русская литература, 1974, № 1, с. 197—200).

²¹ Руль, 1922, 17 марта, № 406, с. 5. Ср.: Голос России, 1922, 19 марта, № 921.

²² Руль, 1922, 22 марта, № 410, с. 5. Новелла «Железнодорожное злоключение» («Das Eisenbahnglück») была написана Т. Манном в 1906 году.

Сам Белый в списке своих публичных выступлений после даты «1922, март» указал: «Выступление с речью Томасу Ману в „Доме искусств“». ²³ В летописи жизни и творчества Андрея Белого, составленной его вдовой К. Н. Бугаевой, этот факт отмечен в ряду других общественных выступлений писателя, состоявшихся в марте 1922 года: «Речь на чествовании Томаса Манна в Доме искусств. Участие в вечере в пользу голодающих в РСФСР. ²⁴ — Речь на публичном митинге в Филармонии. — Беседа группы русско-германских писателей». ²⁵

Сохранился и текст выступления Белого. Этот документ обнаруживает прямые аналогии с выступлением Белого на митинге в Берлинской филармонии (10 марта 1922 года) и вместе с тем представляет собой яркое и взволнованное выражение благодарности крупнейшему немецкому писателю. Текст приводится полностью (в русском переводе):

«Слово благодарственное, сказанное Томасу Ману, читавшему в „Доме Искусств“ в пользу голодающих.»

Разрешите мне горячо поблагодарить Вас от имени русских писателей и русской публики. Благодарим Вас за огромное художественное наслаждение, которое Вы доставили нам, и еще больше за то, что Вы откликнулись на наш призыв. В это трудное время, когда все мы почти в полной растерянности стоим перед чудовищной нищетой, обрушившейся на нашу страну, любой из нас сознает, что, лишь обнаружив в себе титанические силы, он сможет продолжать борьбу с голодом. Но только нравственный пафос и нравственное воображение способны вдохнуть в наши души такие силы. И когда мы видим, что и другие люди близко к сердцу принимают бедствие нашей страны, когда мы сегодня видим Вас здесь, у нас, мы вновь — после всех ужасов войны — готовы верить, что человек опять может стать человеком для человека, независимо от своей национальной принадлежности. Сегодня Вы пришли к нам на помощь как большой немецкий писатель, сегодня Вы объединились с нами для общего дела. Пусть же как можно чаще повторяются такие минуты — минуты встреч между отдельными людьми и взаимного сближения между Германией и Россией, чтобы во имя вечно человеческих скорбей и радостей протянулись от сердца к сердцу нити истинно братской любви и связи. Примите же нашу глубокую искреннюю благодарность за доставленное нам художественное наслаждение и за то сострадание, которое Вы проявили по отношению к нам.

Андрей Белый. ²⁶

Как реагировал Томас Манн на обращенные к нему слова Н. Мпнского (написанный им текст читала по-немецки Э. Венгерова) и Андрея Белого? Сказал ли он несколько слов «от себя» или ограничился чтением доклада «Гете и Толстой» и довеллы «Железнодорожное злоключение»? Трудно ответить на эти вопросы со всей определенностью прежде всего потому, что немецкая пресса, видимо, обошла выступление Томаса Манна полным молчанием. Информация о вечере «Дома искусств» в пользу русских писателей не попала в берлинские газеты, участие Т. Манна в нем не комментировалось в немецкой периодической печати и, по всей вероятности, осталось неизвестным его биографам. ²⁷ Единственным обна-

²³ Белый Андрей. Себе на память. Перечень прочитанных рефератов, публичных лекций, бесед (на заседаниях), оппонирований, председательствований и участия (активных) в заседаниях и т. п. с 1899 до 1932 года. — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 96, л. 15 об.

²⁴ Возможно, имеется в виду вечер, устроенный «Домом искусств» 19 марта в пользу голодающих русских детей (см.: Руль, 1922, 16 марта, № 405).

²⁵ Бугаева К. Н. Андрей Белый. Летопись жизни и творчества. — ГПБ. ф. 60, ед. хр. 107, л. 116.

²⁶ Документ представляет собой авторизованную машинопись на немецком языке; заглавие написано Белым от руки по-русски; подпись — автограф. — ГПБ. ф. 124, собр. П. Л. Вакселя, ед. хр. 386. На том же листе наклеено извещение на имя Белого о заседании «Вольфиль» 21 марта 1922 года, подписанное секретарем Ассоциации А. З. Штейнбергом. 6 апреля 1927 года в письме к историку литературы Д. М. Пинесу Белый сообщил о хранящихся у него материалах: «Я могу Вам передать: а) текст воззвания группы *русско-германских друзей* России (писателей, художников, музыкантов), приглашающий всемерно помогать русским голодающим (время голода, т. е. 22 год); текст составлен мною; б) текст адреса Гергардту Гауптману, составленный мною от имени русских писателей [всех направлений]; с) текст приветствия Томасу Ману, прочтенный ему от группы русских: тоже составлен мною» (ЦГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр. 109). В обзоре «Литературное наследство Андрея Белого», составленном К. Н. Бугаевой, А. С. Петровским и Д. М. Пинесом, об этих документах сказано, что они хранятся в частном собрании (Литературное наследство, т. 27—28, 1937, с. 630—631).

²⁷ Искренне благодарим швейцарского коллегу д-ра Феликса Ф. Ингольда за предпринятые им по нашей просьбе тщательные разыскания в цюрихском архиве

руженным нами откликом на этот знаменательный вечер следует считать статью З. А. Венгеровой «Томас Манн о современной русской литературе», напечатанную в газете «Накануне» (издававшейся с конца марта 1922 года). Видная переводчица и историк литературы, хорошо знакомая с современной германской культурой, З. Венгерова, безусловно, участвовала как член Совета «Дома искусств» вместе с Белым и Минским в организации вечера Томаса Манна. В свое время З. Венгерова выполнила сокращенный перевод-пересказ «Будденброков» (1903) — первый перевод романа на русский язык;²⁸ она же была автором первого в России обстоятельного отзыва о раннем творчестве Т. Манна.²⁹ Приводим выдержку из ее статьи, написанной через несколько дней после вечера 20 марта.³⁰

«Среди немецких писателей романист Томас Манн (автор хорошо известного и в России бытового романа в большом стиле «Будденброки» и целого ряда мастерски сделанных психологических повестей отчасти на музыкальные темы) проявляет особенное, исключительно восторженное отношение к русской литературе. Недавнее его публичное чтение в пользу русских литераторов дало ему случай высказать свои симпатии в непосредственном общении с русскими писателями, в ответе на обращения к нему приветствия берлинского Дома искусств (речи А. Белого и Н. Минского).

То, что Манн говорил по этому случаю, соответствует его очень интересным для нас суждениям о русской литературе в недавно вышедшей его книге „Rede und Antwort“. В книге этой перепечатано его предисловие к сборнику переведенных с русского рассказов (Русская антология), и оно отражает наряду со знанием и пониманием классической русской литературы почти романтическое нежное отношение к живой русской литературной действительности. Русская литература для Манна — „святая русская литература“. Так он ее назвал в одной из своих ранних повестей и теперь повторяет это, радуясь, что так говорит о ней также другой, скандинавский писатель Герман Банг».³¹

Томасу Манну — несмотря на его огромный интерес к России и русской культуре — так и не удалось посетить нашу страну (хотя он неоднократно стремился это сделать).³² Сравнительно редко встречался он в своей жизни с русскими людьми. Выступая публично, писатель, как отмечалось, с неизменной любовью говорил о русской литературе, однако лишь однажды ему пришлось говорить о ней перед русской аудиторией. Его участие в вечере, по-видимому, не ограничилось чтением; за ним, насколько можно судить, последовали частные беседы с русскими писателями, новые знакомства.³³ Поэтому вечер 20 марта 1922 года, когда Т. Манн в первый и последний раз оказался в окружении русских, можно без особого преувеличения считать своего рода апогеем его неустанного влечения к России, его единственной непосредственной встречей с ней.

Томаса Манна, а также за усилия, потраченные им на просмотр немецких газет и журналов, отсутствующих в библиотеках СССР.

²⁸ Семейство Будденброков. Эскиз. По роману «Buddenbrooks. Verfall einer Familie». Roman, v. Thomas Mann. Berlin, 1903. — Вестник Европы, 1903, кн. 10, с. 682—727; кн. 11, с. 287—344; кн. 12, с. 741—790 (подпись: З. В.).

²⁹ Рецензия З. Венгеровой на сборники новелл Томаса Манна «Тристан» («Tristan. Sechs Novellen». Berlin, 1903) и «Маленький господин Фридемманн» («Der kleine Herr Friedemann. Novellen». Berlin, 1898). — Вестник Европы, 1903, кн. 11, с. 439—444.

³⁰ Накануне, 1922, 29 марта, № 3, с. 5.

³¹ З. Венгерова имеет в виду следующий отрывок из «Русской антологии»: «„Святая русская литература“ — так, склонные к исповеди и к славословию, назвали мы ее в юные годы в одной новелле, не зная, что далеко на датском севере один наш собрат — это был Герман Банг — уже назвал ее так же. Как широка, как прекрасна и как полна сопереживания жизнь в духе» («В мире книг», 1975, № 6, с. 74).

³² См., например, письмо Т. Манна к Р. Шпекле от 19 февраля 1936 года. — В кн.: M a n n Th. Briefe 1889—1936, S. 416.

³³ «Я с удовольствием вспоминаю о нашей встрече в прошлом году», — писал Т. Манн А. М. Ремизову из Мюнхена в январе 1923 года. Письмо заканчивалось просьбой: «... передайте сердечный привет Вашим соотечественникам, с которыми я тогда познакомился». — В кн.: Hofman Alois. Thomas Mann a Rusko, s. 160. Приводя это письмо в подлиннике и в своем переводе на русский язык, Ремизов дает в скобках пояснение к словам Томаса Манна о «соотечественниках»: «А. Белый и Б. Пильняк» (Ремизов Алексей. Мышкина дудочка. Париж, «Олешник», 1953, с. 163).

Г. А. ТИШКИН

Н. К. ПИКСАНОВ — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ БЕСТУЖЕВСКИХ КУРСОВ

Уже на склоне лет своих Н. К. Пиксанов, оглянувшись на пройденный путь, написал о работе на Санкт-Петербургских высших женских (Бестужевских) курсах как о «счастливой удаче» в своей научной и педагогической деятельности.¹ Он откровенно признавался, что в тот период он не только учил, но и учился сам. «И если смог чему-нибудь научить своих слушательниц, то и сам научился многому в общении с ними. Научился в прямом профессиональном смысле слова. В моих семинарах не раз зачитывались и обсуждались очень содержательные доклады. Возвращаясь домой после очередного собрания, я продумывал все слышанное там и нередко заносил в свой научный дневник ценные, свежие, чуткие высказывания курсисток».²

Бестужевские курсы до слияния с Ленинградским университетом просуществовали около сорока лет (1878—1918) — срок небольшой для истории учебного заведения. Однако выпускницы курсов оставили заметный след в истории отечественной науки и культуры, в революционном движении, в строительстве социалистического общества. Бестужевские курсы пользовались большой популярностью у демократической женской молодежи России, из их стен вышло немало славных деятельниц большевистской партии и Советского государства. Здесь учились А. И. Ульянова, О. И. Ульянова, Н. К. Крупская, К. Н. Самойлова, Л. А. Фотиева, Н. М. Москвина, П. Ф. Куделли. Получили образование на курсах и женщины из некоторых зарубежных стран.

Значительной популярности Бестужевских курсов в России и за границей способствовал высокий уровень преподавательских кадров и то обстоятельство, что они возникли и развивались при непосредственной поддержке передовой интеллигенции, в первую очередь профессоров Петербургского университета. Много сил преподаванию на Бестужевских курсах отдали Д. И. Менделеев, А. Н. Бекетов, И. М. Сеченов, И. И. Мечников, Ф. Ф. Петрушевский, С. К. Булич, А. И. Введенский и мн. др. Здесь в последнее десятилетие существования курсов начали свою деятельность и такие выдающиеся представители отечественной науки, как историк Б. Д. Греков, лингвист Л. В. Щерба, литературовед Н. К. Пиксанов. Это было время расцвета курсов, когда вследствие автономии высших учебных заведений, которой удалось добиться в годы первой русской революции, в учебный процесс была введена в 1906 году предметная система, сменявшая курсовую. Она была разработана группой профессоров Бестужевских курсов во главе с И. М. Гревсом и В. А. Фаусеком. Предметная система значительно расширяла свободу преподавания, а для студентов открывала дорогу в науку. Она отменяла обязательное прохождение прежних четырех курсов в неизменной последовательности с «неподвижными» экзаменами в конце каждого учебного года и однотипными дипломами. «Курсы» были заменены «группами», появилась возможность сосредоточить занятия вокруг наиболее актуальных научных проблем. Слушательницам было предоставлено право посещать те занятия, которые они считали необходимыми, но существовали и учебные предметы, обязательные на данном факультете, список которых определял Ученый совет. Экзамены можно было сдавать в течение всего учебного года, а возможность попытки определена один раз в семестр. Большое внимание в предметной системе уделялось деятельности семинариев.³

Пиксанов во время поступления своего на Бестужевские курсы был еще молодым человеком, но вдумчивым, внимательным и в то же время строгим учителем. «Строгость» необходима была, пожалуй, больше ему самому, чем слушательницам. Его ученица, сама в дальнейшем долгие годы работавшая учительницей, писала: «Николай Кирыкович Пиксанов, молодой преподаватель, старательно прятал свою молодость под солидной манерой держаться. Всегда наглухо застегнутый сюртук не мешал участницам его семинария увидеть в нем почти ровесника и за глаза называть его ласково „наш Пикса“». Но авторитета это не колебало.⁴ Несмотря на то что рядом на факультете работали более известные и опытные преподаватели, аудитория Н. К. Пиксанова никогда не пустовала — он производил

¹ Пиксанов Н. К. О работе на ВЖК. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. Изд. 2-е, ЛГУ, 1973, с. 171. (Далее сокращенно: Бестужевские курсы).

² Музей ЛГУ, ф. ВЖК, письмо Н. К. Пиксанова Ленинградскому комитету бестужевков от 27 мая 1963 года.

³ См.: Отчет о состоянии Санкт-Петербургских высших женских курсов за 1906—1907 учебный год. СПб., 1908, с. 15—17.

⁴ Кабинет-библиотека Н. К. Пиксанова в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее: КБП ИРЛИ), Мельникова Е. Ю. Они нас учили и были нашими наставниками. Воспоминания о профессорах и преподавателях ВЖК. Н. К. Пиксанов, л. 11.

впечатление человека, у которого действительно можно научиться приемам научного исследования.

По поводу даты начала преподавания Пиксанова на курсах в имеющейся литературе существуют различные мнения. А. И. Ревякин пишет, что деятельность Пиксанова на курсах началась в 1908 году и одновременно он вел занятия в Педагогической академии и Психоневрологическом институте.⁵ Авторы статьи «Преподавание литературы на историко-филологическом факультете» М. М. Ивлева и М. С. Цветова допускают сразу две ошибки: во-первых, что он был приглашен на курсы в 1909 году и, во-вторых, что он был в это время приват-доцентом Петербургского университета.⁶

Хранившиеся в Пушкинском доме в кабинете-библиотеке Н. К. Пиксанова документы свидетельствуют о том, что по предложению руководства Бестужевских курсов от 26 июня 1908 года товарищ министра народного просвещения утвердил Пиксанова преподавателем курсов «для ведения семинария по новой русской литературе».⁷ И лишь через шесть лет он был утвержден постоянным преподавателем «с правом чтения лекций и ведения семинариев по истории русской литературы».⁸

Вероятно, у министерства народного просвещения были основания с подозрением относиться к молодому Пиксанову. Еще в годы учебы в Дерптском университете проявился его яркий общественный темперамент: он активно участвовал в революционном движении студенчества, выступал как пропагандист, был председателем «Союзного совета дерптских объединенных организаций и землячеств», подвергся высылке на родину в Самару после пятимесячного тюремного заключения.⁹

Активное участие Пиксанова в революционном движении накануне 1905—1907 годов отразилось на всей его дальнейшей научной и педагогической деятельности, повлияло на выбор для семинариев целого ряда тем определенного демократического звучания: «Радищев и декабристы», «Грибоедов и декабристы», «Женский вопрос в теоретических понятиях и личной судьбе Белинского», «Русские материалисты 50—60-х годов», «Роман Чернышевского „Что делать?“», «Нигилисты в обличительном романе» и нек. др.¹⁰

В семинариях Пиксанова обсуждение докладов превращалось в оживленный обмен мнений, возникали интересные споры, но происходило это не стихийно, а при умелом руководстве со стороны преподавателя, который направлял в нужное русло поток различных высказываний. Бестужевка М. Ф. Щербакова в период учебы на курсах вела обстоятельные дневниковые записи, которые составляют около тысячи рукописных листов. Значительное место в них уделено занятиям в Лермонтовском семинарии Пиксанова. По материалам, любезно предоставленным М. Ф. Щербаковой автору настоящей статьи, можно подробно проследить работу как руководителя, так и некоторых участниц семинария, а также получить представление об отношении курсисток к молодому преподавателю.

Для поступления в семинарий нужно было сдать коллоквиум в конце предыдущего учебного года, а в текущем году подготовить реферат. На одну тему одновременно готовилось три реферата различными слушательницами. Но с публичным чтением выступала только та, чей реферат был признан более глубоким и серьезным исследованием. Темы, которые Пиксанов предлагал для работы, требовали самостоятельных изысканий, и у слушательниц складывалось впечатление, что они своей научной работой могут сообщить нечто интересное не только друг другу, но и преподавателю. Курсисткам нравилось добросовестное отношение Пиксанова к своей работе. «Я испытала интеллектуальное наслаждение, когда была у него в семинарии и когда сама писала реферат, — занесла в дневник М. Ф. Щербакова 16 апреля 1915 года, в последний день своей работы в Лермонтовской семинарии. — У него серьезно поставлено дело и порядка больше, чем у других. Затем он очень внимательно относится к семинарию».

Влияние Пиксанова на слушательниц было так велико, что его отзывы об их рефератах запомнились на всю жизнь. «Но совершенно пленила меня, — вспоминала заслуженная учительница РСФСР А. А. Семашко, — исключительная тактичность Николая Кирьяковича. Он терпеливо выслушивал все высказывания, как бы иногда паивны они ни были. Если же он улавливал в отдельных выступлениях нотки переоценки автором своих сил, своих достижений, он не прибегал к резкой критике, к суровому разоблачению. Он задавал два-три вопроса по существу доклада, но ставил их так искусно, что ответ на них выявлял допущенные ошибки

⁵ Ревякин А. И. Николай Кирьякович Пиксанов. — В кн.: Материалы к био-библиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз., вып. 8. М., 1968, с. 28.

⁶ В кн.: Бестужевские курсы, с. 104.

⁷ КВП ИРЛИ, письмо директора ВЖК В. А. Фаусека от 13 августа 1908 года.

⁸ Там же, письмо директора ВЖК С. К. Булича от 27 августа 1914 года.

⁹ См.: Ревякин А. И. Указ. соч., с. 8—9.

¹⁰ Об этом см.: Пиксанов Н. К. Трп эпохи. Изд. 2-е, СПб., 1913.

и все становилось на свое место».¹¹ А секретарь семинария «Русский театр XVIII века» Зарецкая более чем через полвека после окончания курсов писала Пиксанову о том впечатлении, которое произвела на нее обстановка, царившая на его занятиях: «После родного дома это была самая светлая, самая солнечная полоса моей жизни. Спасибо».¹² С другой стороны, энтузиазм, с которым работали слушательницы, запомнился и Пиксанову. Много лет спустя он писал: «Считаю себя обязанным отметить редкую тщательность, добросовестность, с какою бестужевки готовились к зачетам и экзаменам. И еще добавлю: за долгие десятилетия моей педагогической деятельности во многих городах — Москве, Ленинграде, Саратове, Ташкенте — мне часто приходилось наблюдать, как хорошо, плодотворно работали бывшие бестужевки-учительницы в школах разных типов».¹³

В. Е. Евгеньев-Максимов, известный советский литературовед, в 1916 году по приглашению Пиксанова посетил его Некрасовский семинарий на Бестужевских курсах. Он так описал впечатление, полученное от этих занятий, в письме к Пиксанову: «Белика Ваша заслуга как организатора и руководителя этих семинариев и кружка, но и отношение Ваших слушательниц к занятиям в них не может не вызвать восхищения. Видно, что Ваша любовь к литературе, Ваше стремление поставить на должную высоту ее изучение в полной мере передались им. Об этом свидетельствуют и прослушанные мною прекрасные доклады и прения по поводу них».¹⁴ То же похвальное слово повторил В. Е. Евгеньев-Максимов и много лет спустя в своих воспоминаниях, где он значительное место уделит и деятельности Пиксанова на Бестужевских курсах: «Мое участие в работе семинара... было консультативное, я был как бы присяжным оппонентом на всех докладах, на которых мне доводилось присутствовать. Выказывался я, подобно Н. К. Пиксанову, прямо и откровенно, но энтузиазм, с которым участницы семинара отдавались изучению моего любимого поэта, был настолько мне приятен, что я тщательно выбирал выражения, чтобы моя критика не действовала обескураживающе, не производила впечатления ушата холодной воды».¹⁵

Было бы неверно считать, что интерес Пиксанова и его учениц к творчеству Н. А. Некрасова проявился лишь в 1916 году, с организацией семинария, посвященного творчеству поэта. М. Ф. Щербакова в своем дневнике 8 февраля 1913 года подробно описала вечер памяти Некрасова: одна из слушательниц прочитала доклад о личности Некрасова, сам Пиксанов выступил с речью о том, «знаем ли мы Некрасова и откуда знаем», сообщил, что из произведений поэта издано и в каком виде, какая есть критическая литература о нем. После перерыва читали стихи Некрасова, оперная артистка Шишмарева пела, а С. К. Булич ей аккомпанировал и потом декламировал сам. Такие вечера организовывались на историко-филологическом факультете часто. Они проходили при значительном числе слушательниц других факультетов. Все это несомненно способствовало привлечению интереса к новой русской литературе.

Участником, а часто и организатором тематических вечеров совместно со слушательницами своих семинаров были Пиксанов. Так, 19 марта 1913 года чувствовался один из любимейших профессоров Бестужевских курсов — Д. Н. Овсянко-Куликовский, в связи с 35-летием его научной и педагогической деятельности; Пиксанов приветствовал юбиляра от имени своих трех семинариев и литературного кружка. М. Ф. Щербакова описала и вечер 7 октября 1913 года, на котором отмечался юбилей профессора С. К. Булича. Пиксанов очень хвалил потом этот вечер, который ярко показал дружеские взаимоотношения, существовавшие на курсах между профессорами и курсистками.

Е. Ю. Мельникова в своих воспоминаниях пишет, что однажды, при подготовке торжества в честь Л. Н. Толстого, один из приглашенных лекторов отказался принять участие, поставив в тяжелое положение организаторов. «Обратитесь к нашему Пиксе: он знает, он сделает», — убеждали устроительниц студентки из семинария Пиксанова. И он, несмотря на то, что времени на подготовку почти не было, все же помог. «Мы же, устроительницы, храним благодарную память о Николае Кирьяковиче за товарищескую помощь, за чуткое отношение к нашим бестужевским делам...»¹⁶

Есть интересные сведения о занятиях Пиксанова и со студентками филологического факультета. В связи с тем, что на Бестужевских курсах была принята предметная система, семинарии и лекции Пиксанова посещали и те де-

¹¹ Семашко А. А. Из воспоминаний о Николае Кирьяковиче Пиксанове. — В кн.: Бестужевские курсы, с. 208—209.

¹² КБП ИРЛИ, А. И. Зарецкая — Н. К. Пиксанову, 14 января 1969 года.

¹³ Пиксанов Н. К. О работе на ВЖК, с. 172.

¹⁴ ИРЛИ, ф. 496 (Н. К. Пиксанова), письмо В. Е. Евгеньева-Максимова от 6 ноября 1916 года.

¹⁵ Музей-квартира Н. А. Некрасова, ф. В. Е. Евгеньева-Максимова, п. 11, д. 2. Евгеньев-Максимов В. Е. Из прошлого. Записки некрасововеда, л. 181.

¹⁶ КБП ИРЛИ, Мельникова Е. Ю. Они нас учили и были нашими наставниками... л. 11.

вущки, которые специализировались в области математики, физики, или химии. Вместе с курсистками Пиксанов организовал «Кiosk книжных новинок», где можно было купить книгу или почитать ее, как в библиотеке. Бывшая студентка физико-математического факультета М. А. Аболина сообщила о поездке на зимних каникулах в 1912 году в Москву групп слушательниц вместе с Пиксановым. Целью этой поездки было посещение Художественного театра — премьеры спектакля «Живой труп». Пьеса произвела огромное впечатление на студентов.¹⁷ Но очень важно в воспитательном отношении было и то, что курсистки во главе с Пиксановым посетили не только Музей изящных искусств, Кремль, Румянцевский музей, но и Красную Пресню и почтили память Н. Баумана. Им были близки и понятны герои Красной Пресни. Многие бестужевки принимали самое активное участие в революции 1905—1907 годов. Девушки помнили о подругах, казненных царским правительством: А. Венедиктовой, А. Мамаевой, Л. Стуре, А. Шулятиковой. На самих Бестужевских курсах ежегодно 20 октября собиралась сходка в память павших борцов с самодержавием.

Основой успеха преподавательской деятельности Пиксанова и возраставшего в течение целого десятилетия интереса слушательниц к русской литературе была большая методическая работа, тщательная подготовка преподавателя к каждому занятию со студентами. Новаторские приемы, применявшиеся Пиксановым в высшей школе, представляют и сегодня большой интерес для тех, кто стремится развивать самостоятельность студентов и прививать им любовь к научно-исследовательской работе. А. И. Барсук справедливо указал на роль Пиксанова как основоположника научно-вспомогательного жанра, способствовавшего внедрению тематического принципа в изучение литературы.¹⁸

Во время работы Пиксанова на Бестужевских курсах им были подготовлены специальные пособия для слушательниц.¹⁹ Однако значение этой методической литературы перешло границы Петербурга — она широко использовалась в различных учебных заведениях. В фонде Пиксанова в ИРЛИ хранится ряд писем из различных городов России, в которых выражена горячая благодарность ученому за создание методической литературы. Так, например, учитель Клевенский из Твери писал о «Хронологии русской литературы для учащихся»: «Как только Ваша книжка вышла, я приобрел ее для того учебного заведения, где занимаюсь, в количестве нескольких десятков экземпляров для того, чтобы она была постоянным справочным изданием для учениц. Это достаточно показывает, насколько полезной и пригодной я ее считаю».²⁰

Русское женское движение добилося разрешения на открытие Высших женских курсов в Петербурге в 1878 году и продолжало вести борьбу за предоставление женщинам права на труд. Курсы, несмотря на свое название, официально высшим учебным заведением не признавались, а свидетельства, выдаваемые слушательницам по завершении учебы, не предоставляли им тех прав, которые имели владельцы университетских дипломов. Дискриминация по отношению к выпускницам курсов при устройстве на работу существовала в дореволюционное время на протяжении всей истории курсов. Только в 1904 году министерство народного просвещения разрешило бестужевкам преподавать в старших классах женских гимназий, а в 1906 году — и в четырех классах мужских учебных заведений. И лишь в 1910 году были изданы временные правила о допущении женщин к государственным экзаменам в испытательных комиссиях при университетах,²¹ а несколько позже право присвоения дипломов о высшем образовании было предоставлено и Бестужевским курсам. Однако несмотря на разрешение, бестужевкам, желавшим реализовать свое право, продолжали чинить препятствия и создавать искусственные затруднения.²²

В этих условиях Пиксанов старался помочь своим ученицам найти возможности для применения своих сил и знаний. Он привлек бестужевок к сотрудничеству в энциклопедическом словаре, в комиссии по составлению библиографического пособия по истории русской литературы, оказывал помощь в публикации научных статей наиболее способным участницам своих семинариев.

Значительное место в деятельности Пиксанова на Бестужевских курсах принадлежит созданному им Тургеневскому кружку. Как показывают данные анкетной переписи, И. С. Тургенев пользовался большой популярностью среди слушатель-

¹⁷ Личный архив М. И. Колесниковой-Пиксановой, письмо М. А. Аболиной от 5 апреля 1978 года.

¹⁸ Барсук А. И. Печатные семинарии по русской литературе. Историко-библиографический очерк. М., 1964, с. 8, 16, 21—26.

¹⁹ Пиксанов Н. К. 1) Семинарий по русской литературе. СПб., 1909 (литограф. изд.); 2) Три эпохи. СПб., 1912; 3) Хронология русской литературы для учащихся. СПб., 1914.

²⁰ ИРЛИ, ф. 496, письмо Клевенского от 9 марта 1915 года.

²¹ Журнал Министерства народного просвещения, 1910, № 3, с. 13—15.

²² Мерварт Л. А. Как бестужевки впервые сдавали государственные экзамены в 1911 году. — В кн.: Бестужевские курсы, с. 244—247.

ниц курсов: почти 60% студентов назвали его своим любимым писателем, более одной трети курсисток историко-филологического факультета заявили о решающем воздействии произведений И. С. Тургенева на развитие их мировоззрения.²³ Но ко времени образования кружка исследование творчества И. С. Тургенева по существу еще только начиналось: ощущался недостаток источников для изучения наследия писателя, не были собраны многие биографические материалы. Преподаватели Ф. А. Браун и И. А. Ляронд составили письмо с просьбой присылать материалы о Тургеневе. Оно было опубликовано во многих периодических изданиях Германии и Франции и вызвало живой отклик.²⁴ Таким же способом к немецкой общественности обратился и сам руководитель Тургеневского кружка.²⁵

Бестужевки с большим удовольствием занимались исследовательской работой, использовали иностранные источники, встречались с людьми, знавшими Тургенева, и записывали их воспоминания, проводили разыскания документов в библиотеке Академии наук, в Пушкинском доме, в рукописном отделе Публичной библиотеки. Итогом этих плодотворных занятий явился сборник студенческих работ, в который вошло шесть статей четырех участниц кружка. Хотя проявили себя активно гораздо больше слушательниц (С. М. Кавелина, Н. К. Гинс, М. Н. Дьяченко, М. Н. Медведовская, К. В. Ползикова, А. П. Михелева, Г. Н. Борисоглебская, А. С. Попова), но работы их не попали в первый сборник.²⁶ Этот коллективный труд под редакцией Пиксанова был посвящен Бестужевским курсам и заслужил высокую оценку в отчете факультета как реальное доказательство «жизненности семинарской работы».²⁷ Далее в отчете декан факультета И. М. Гревс сообщил о подготовке «следующих выпусков научных этюдов слушательниц о Тургеневе под редакцией Н. К. Пиксанова».

Сохранились ли какие-либо материалы о подготовке к публикации других сочинений участниц Тургеневского кружка? Тем более что в 1963 году Пиксанов писал: «... я напечатал целый сборник научных трудов своих слушательниц, к нему до сих пор обращаются не только другие тургеновисты, но и сам я. Однако почти никому не известно, что я подготовлял второй тургеновский сборник, и только события Великого Октября направили наш труд к другим достижениям. Впрочем, одна из видных участниц моего тургеновского семинара С. П. Петрашкевич, жена академика С. Г. Струмилина, еще опубликовала свой труд (о Германе Лопатине) в советской печати».²⁸ В кабинете-библиотеке Н. К. Пиксанова в ИРЛИ находится папка, озаглавленная «Тургеневский сборник. 2». Уже сам факт, что Пиксанов в течение столь продолжительного времени сберегал работы своих учениц, говорит сам за себя. Как видно из сохранившихся материалов, готовились к печати статьи Н. Богдановой «Тургенев в письмах к П. В. Шумахеру», С. Струмилиной «Г. Лопатин и Тургенев», М. Платоновой «Где тонко, там и рвется», А. Вишневской «Тургенев и Флобер». Здесь же находится и письмо С. Струмилиной о встрече с Г. Лопатиным в 1917 году, датированное 4 июля 1927 года.

Однако ограничить круг работ, подготовленных к печати слушательницами семинариев Пиксанова, только «Тургеневским сборником», как это сделали авторы статьи по истории преподавания литературы на Бестужевских курсах, было бы ошибочно.²⁹ В своих воспоминаниях В. Е. Евгеньев-Максимов сообщает, что в 1917 году в Некрасовском семинарии под руководством Пиксанова был завершён ряд работ и возник вопрос об их печатном использовании в «Некрасовском сборнике». Инициативу издания взял на себя В. Е. Евгеньев-Максимов. «Когда я сообщил об этой возможности Николаю Кирьяковичу, он отнесся к ней очень сочувственно и обещал свое полнейшее содействие. Решено было, что сборник выйдет под нашей общей редакцией к концу 1917 года, то есть к сорокалетию Некрасова».³⁰ Публикации учеников Пиксанова занимают около половины сборника. Это дань молодых словесников «властителю дум ряда поколений русской молодежи».³¹ Они

²³ Слушательницы С.-Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов. По данным переписи, выполненной статистическим семинарием в ноябре 1909 года. СПб., 1912, с. 118, 121—122.

²⁴ См.: Ивлева М. М., Цветова М. С. Преподавание литературы на историко-филологическом факультете. — В кн.: Бестужевские курсы, с. 104.

²⁵ Brief in der Redaction. — Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte, 1913, Bd. 3. N. 1, S. 156—157.

²⁶ Тургеневский сборник. Новооткрытые страницы Тургенева. Незданная переписка, воспоминания, библиография. [Пг., 1915], с. XIV—XV, 138.

²⁷ Петроградские высшие женские курсы за 1914—1915 г. Отчет Комитета общества для доставления средств высшим женским курсам. Пг., 1916, с. 114—115.

²⁸ Музей ЛГУ, ф. ВЖК, письмо Н. К. Пиксанова Ленинградскому комитету бестужевок от 27 мая 1963 года.

²⁹ Бестужевские курсы, с. 104—105.

³⁰ Евгеньев-Максимов В. Е. Указ. соч., л. 184.

³¹ Некрасовский сборник. Незданная переписка и воспоминания. статьи, библиография. Под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. К. Пиксанова. Пг., 1918, с. VII.

носят библиографический характер, но «это, конечно, никоим образом не снижает их значения. Скорее наоборот, увеличивает его, ибо отсутствие библиографических работ по Некрасову в течение долгого времени служило серьезным тормозом к изучению литературного наследия поэта».³²

Успешной деятельностью Пиксанова на Бестужевских курсах во многом способствовало и то обстоятельство, что его взаимоотношения со слушательницами на лекциях и во внеаудиторной работе соответствовали идейным и нравственным запросам русских женщин конца XIX—начала XX века. В дореволюционной России женщина, стремившаяся приобщиться к науке, попадала в недоброжелательную, а часто и враждебную обстановку, она считалась существом в умственном отношении низким, неспособным к серьезной исследовательской работе. В семинариях Пиксанова были созданы условия для развития самостоятельности и духовной независимости женщин, для их быстрого научного роста. Курсисткам нравилось также и то, что, работая в женском учебном заведении, Пиксанов не снижал требований ни к ученицам, ни к себе.

Горячую неизменную симпатию испытывали бестужевки к своему преподавателю. Такое же чувство владело его ученицами и в других городах страны, где приходилось работать Пиксанову. Н. М. Чернышевская, одна из его учениц на Бестужевских курсах и в Саратовском университете, долгие годы переписывавшаяся с ним, вспоминала в 1966 году: «После Вашего отъезда из Саратова мы осиротели».³³

За годы работы на Бестужевских курсах Пиксанов подготовил немало способных литературоведов, заложил основы методики ведения семинарских занятий в советской высшей школе. С другой стороны, творческая обстановка, созданная Пиксановым в семинариях и научных кружках, оказывала воздействие и на самого руководителя, стала источником его замечательного научного и педагогического роста.

В. Э. ВАЦУРО

«ЛЕРМОНТОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Двадцать лет назад, 30 июня 1958 года, известный лермонтовед проф. Семенов обратился к группе ленинградских литературоведов с предложением создать совместно «Лермонтовскую энциклопедию» — всесторонний свод данных о биографии Лермонтова, его творчестве, эпохе, о связях его наследия с русской литературой и литературами других народов, наконец, об истории восприятия его творчества последующей литературой, наукой и искусством.

Л. П. Семенов скончался, не успев принять участия в осуществлении этого обширного замысла. Однако выдвинутая им идея была поддержана. В 1959 году началось собирание материалов для будущей энциклопедии; руководителем этой работы стал В. А. Мануйлов, организовавший на общественных началах группу энтузиастов.

На первом своем этапе эта работа встретила значительные трудности. В 1959 году было окончено издание нового академического собрания сочинений Лермонтова — необходимой базы для энциклопедического справочника, но сводных трудов, систематизировавших огромный и разрозненный историко-литературный и биографический материал, в том числе и накопившийся за последние десятилетия, практически не существовало. Их нужно было создавать параллельно с собиранием материалов для энциклопедии.

Первым из таких предварительных сводных трудов был семинарий по Лермонтову, вышедший под редакцией В. А. Мануйлова в 1960 году,¹ куда, в отступление от обычных принципов учебного семинария, были включены довольно обширные по объему обзоры истории изучения и издания Лермонтова, публикации мемуарных и документальных материалов о нем и более детализированные, нежели обычно, библиографии литературы к учебным темам. Семинарий должен был хотя бы отчасти восполнить один из существеннейших пробелов в научном изучении Лермонтова — отсутствие полной библиографии. Далее последовали коммен-

³² Евгеньев-Максимов В. Е. Указ. соч., л. 186.

³³ КБП ИРЛИ, письмо Н. М. Чернышевской Н. К. Пиксанову от 8 декабря 1966 года.

¹ Мануйлов В. А., Гиллельсон М. И., Вацуро В. Э. М. Ю. Лермонтов. Семинарий. Под ред. В. А. Мануйлова. Л., 1960.

тированный свод мемуаров о Лермонтове (М. И. Гиллельсона и В. А. Мануйлова)² и составленный В. А. Мануйловым наиболее полный вариант «Летописи жизни и творчества М. Ю. Лермонтова».³

Все эти издания явились необходимыми подготовительными этапами к «Лермонтовской энциклопедии». Конечно, отсутствие новейшего подробного комментария к лермонтовским произведениям и в особенности библиографии литературы о Лермонтове значительно осложнило ее осуществление. Тем не менее большая часть накопленного в лермонтоведении материала стала обозримой, и появилась возможность составить словник и приступить к написанию статей по выработанной инструкции. На этом последнем этапе работа изменила свои организационные формы: она велась по плану Института русской литературы специальной Лермонтовской группой, под общим руководством В. А. Мануйлова.

Прежде всего был подвергнут широкому обсуждению словник энциклопедии, составленный на основании всех существующих лермонтоведческих компендиумов, росписи собрания сочинений, мемуаров и биографических и историко-литературных работ и сверенный с аналитическим каталогом Лермонтовского кабинета ИРЛИ. Таким образом определился основной круг материалов энциклопедии, общий объем которой должен был составить 100 печатных листов. Весь этот материал был классифицирован по тематическим разделам; каждый раздел имел особого редактора. Были выделены разделы «Биография», «Творчество», «Окружение Лермонтова», «Поэтика», «Лермонтов и русская литература», «Лермонтов и советская литература», «Лермонтов и зарубежные литературы», «Лермонтов и литературы народов СССР», «Лермонтов и изобразительные искусства», «Лермонтов и театр», «Лермонтов и музыка», «Памятные места». В работе по редактированию разделов принимал участие В. Э. Вацуро, Т. П. Голованова, Р. В. Иезуитова, Е. А. Ковалевская, Ю. Д. Левин, Я. Л. Левкович, О. В. Миллер, Л. Н. Назарова, В. Б. Сандомирская, И. С. Чистова и др. На В. А. Мануйлова были возложены функции ответственного редактора всего издания.

Лермонтовская группа явилась научно-организационным центром энциклопедии, однако работа шла и за ее пределами. Как и ранее, В. А. Мануйлов стремился расширить круг участников издания, и возглавленная им группа широко привлекала не только известных специалистов, но и начинающих филологов — участников лермонтовского семинара В. А. Мануйлова в Ленинградском университете и ежегодных «Лермонтовских конференций», лермонтоведов из периферийных исследовательских центров, наконец, специалистов в смежных областях. Такое сотрудничество оказывалось особенно плодотворным при выяснении литературной и исторической топографии, историко-бытовых реалий и т. д. Так, архивные разыскания полковника в отставке С. Н. Малкова (Москва) внесли целый ряд уточнений в существующие представления о военной службе Лермонтова, в том числе о его кавказских маршрутах 1837-го и 1840—1841 годов. Большинство статей раздела «Памятные места» было написано исследователями, специально занимавшимися вопросами литературного (в частности, лермонтовского) краеведения: П. Е. Селегеем и сотрудниками «Домика Лермонтова» в Пятигорске, ныне покойным директором дома-музея Лермонтова в Тарханах П. А. Вырыпаевым и др. Специальные работы по исследованию восприятия лермонтовского творчества в литературах народов СССР были предприняты в союзных республиках. Известно, что как восприятие это, так и изучение его проходило в разных литературах далеко не равномерно: если, например, тема «Лермонтов в Грузии» или «Лермонтов на Украине» имеет прочную исследовательскую традицию (работы И. Л. Андроникова, В. С. Шадури, И. Я. Заславского и др.), то рецензия Лермонтова литовской, латвийской, эстонской, таджикской литературами стала изучаться систематически лишь в последние десятилетия; литературы же Туркмении, Киргизии и др. обратились к творчеству Лермонтова лишь в советское время и исследование здесь только начинается. Ряд статей о Лермонтове в национальных литературах впервые появился в «Лермонтовской энциклопедии» и несомненно стимулирует дальнейшие разыскания. Уже и сейчас собранный материал лег в основу нескольких статей, опубликованных в сборнике «Лермонтов и литература народов Советского Союза» (Ереван, 1974), где в числе других авторов выступили и участники энциклопедии, а в редакционную коллегию вошел В. А. Мануйлов.

Несколько иначе проходила работа над разделом «Лермонтов и зарубежные литературы», но и в этом случае выдерживался общий принцип широких контактов с исследователями национальных литератур, на этот раз зарубежными. В этом разделе необходимо было показать двусторонний характер связей: воздействие на Лермонтова западных литератур и — с другой стороны — степеней воздействия на них лермонтовского творчества. Первую задачу выполняют преимущественно статьи персональные («Байрон», «Шекспир», «Гете», «Гюго»); вторую — преимущественно обзорные. Большинство статей написали сотрудники сектора взаимо-

² М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Сост., подг. текста, вступ. статья и прим. М. И. Гиллельсона и В. А. Мануйлова. [М.]. 1964 (2-е изд. — 1972).

³ Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. Л., 1964.

связей русской и зарубежных литератур ИРЛИ (Ю. Д. Левин — статья об английской литературе, Р. Ю. Данилевский — о немецкой литературе, Д. М. Шарышкин — о скандинавских литературах) и привлеченные к работе исследователи из Ленинграда, Тарту и других филологических центров (Л. Н. Куйванен — о финской литературе, А. А. Долинна — о литературах арабских стран, Л. И. Вольперт — о французской литературе и др.). Вместе с тем значительное количество дополнительных материалов прислали зарубежные ученые, которые в ряде случаев выступили и как соавторы или даже авторы отдельных статей (В. Фейерхерд (ГДР), К. Ласорса (Италия), Ю. Борсукевич (Польша) и др.); большинство зарубежных участников энциклопедии занималось в свое время в лермонтовском семинаре В. А. Мануйлова в Ленинградском университете.

В ходе работы над статьями и первоначального редактирования определялись тип и оптимальные объемы статей и устанавливались соотношения между разделами по объему и по масштабу изложения. Первоначальные расчеты, получившие отражение в словнике, значительно уточнились. Центральное место в персональной энциклопедии, естественно, должны были занять статьи, характеризующие биографию и творчество самого Лермонтова и его прямые биографические или творческие связи с русскими и зарубежными литераторами. По принятому плану, каждому произведению Лермонтова посвящается отдельная статья; специальные статьи посвящены писателям, чье творчество оказало воздействие на Лермонтова, а также его литературным и бытовым знакомым. В этом последнем случае стремление к полноте имеет особые основания. Фактическая база биографии Лермонтова скудна, и одним из важных источников ее пополнения является внимательное изучение литературных, светских, дружеских и родственных связей поэта. В лермонтоведении накоплено о них немало данных, но они не сведены и не систематизированы, как это сделано, например, в пушкиноведении, где ныне существует словарь пушкинских знакомых — «Пушкин и его окружение» Л. А. Черейского. Совершенно естественно поэтому, что разделы «Творчество», «Окружение», «Русская литература» в основном состоят из персональных статей.

Найти нужное соотношение между статьями частными (персональными) и общими (обзорными) — значит решить сложную задачу, которая, по-видимому, является одной из центральных для любой персональной энциклопедии; она возникла и при обсуждении принципов пушкинской энциклопедии.⁴ Обзорные статьи в какой-то мере преодолевают неизбежную в энциклопедии дробность, дискретность материала; так, например, статьи «Дуэли Лермонтова» или «Военная служба Лермонтова» призваны осветить такие эпизоды его биографии, которые пропадают при общем алфавитном порядке расположения статей. Только обзорной могла быть статья «Лермонтоведение» — очерк истории изучения наследия Лермонтова, или упоминавшиеся уже статьи о восприятии творчества Лермонтова национальными литературами. Общие статьи естественно преобладают в разделе «Поэтика»: так, статья «Язык и стиль Лермонтова» объединяет круг вопросов, связанных с лексикой, фразеологией, поэтическим синтаксисом, иронией (как категорией поэтики) и пр. Сведения о метрике, строфике, мелодике, рифме, интонации включаются в общую статью «Стих Лермонтова»; специальные статьи, посвященные автобиографизму лермонтовского творчества, прототипам, символу, лирическим мотивам, фольклоризму, психологизму Лермонтова и т. д., также в значительной степени носят обобщающий характер.

Удельный вес общих и обзорных статей резко возрастает в тех разделах энциклопедии, в которых освещается воздействие Лермонтова на последующую культуру. Здесь невозможно — и, может быть, не нужно — стремиться к полноте регистрации материала, чтобы центральная часть энциклопедии — «Лермонтов и его эпоха» — не была оттеснена на второй план многочисленными, но нередко частными эпизодами позднейшей интерпретации лермонтовского наследия. Так, в разделе «Изобразительные искусства» специальная большая статья посвящается иллюстраторам Лермонтова; персональные же статьи — лишь наиболее значительным и самостоятельным художественным явлениям, таким, как Врубель или Серов. Одной обзорной статьей представлена тема «Лермонтов в кино» и т. д.

Ограничение числа персональных статей — необходимость и неизбежность, вызванная не только ограниченным объемом издания, но и внутренними, структурными требованиями самой энциклопедии. Вместе с тем редколлегия понимала, конечно, что с уменьшением количества частных статей уменьшается и информативность издания. На эту опасность неоднократно указывал и В. А. Мануйлов. Выход отчасти был найден в расширении приставлений библиографии. Справочный аппарат энциклопедии вообще довольно широк; так, в статьях о произведениях Лермонтова указывается с большой полнотой исследовательская литература, иллюстраторы и композиторы, воспользовавшиеся этим текстом, для драматических произведений — театральные постановки и т. п., что отчасти дополняет сведения, получаемые читателем из раздела «Искусство».

⁴ См.: Мейлах В. С. Задачи и принципы создания «Пушкинской энциклопедии». — Русская литература, 1974, № 2; с. 35 и сл.

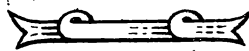
Тип персональной энциклопедической статьи сложился далеко не сразу. Было очевидно, например, что статья о знакомом Лермонтова, о русском или зарубежном писателе, с которым Лермонтов был так или иначе связан, должна содержать минимум необходимых общих сведений: основное внимание должно быть обращено на историю и характер личных или литературных взаимоотношений Лермонтова с данным лицом. Сложнее обстояло дело со статьями о произведениях Лермонтова, в особенности о небольших лирических стихотворениях, не освещенных или почти не освещенных в исследовательской литературе и не имеющих внешней истории. Первоначально принятый тип «статьи-комментария» оказался малоудовлетворительным и претерпел изменения: на смену ему пришел тип «микромONOграфии», с попыткой целостного анализа — лирического сюжета, поэтических мотивов и т. д. Необходимый реальный комментарий включился теперь в общий рассказ о стихотворении; сведения же о местонахождении автографа, первой публикации и т. д. («легенда» комментария) вынесены в справочный аппарат статьи. Несколько изменился и тип статей о периодических изданиях, в которых Лермонтов сотрудничал или в которых появлялись при жизни поэта критические статьи о нем: здесь было признано целесообразным учесть в библиографическом приложении все сколько-нибудь значительные отзывы о Лермонтове, как прижизненные, так и посмертные. В некоторых случаях фронтальный просмотр периодики позволил обнаружить сведения, ускользавшие ранее от внимания исследователей: таково, например, свидетельство Булгарина (в «Северной пчеле») об эпиграммах на него Лермонтова; до сих пор мы знали самый текст эпиграмм, но не располагали никакими данными об их литературном бытовании.

Подобных примеров находок, уточнений, не вводившихся в научный оборот данных в «Лермонтовской энциклопедии» содержится довольно много — от неизвестных ранее лиц лермонтовского окружения (ср. статьи Л. Н. Назаровой о И. Я. Евреинове и И. С. Чистовой о М. В. Дмитриевском) до обширных таблиц со статистическим обследованием параметров стиха Лермонтова и его современников (статья К. Д. Вишневского и М. Л. Гаспарова). Энциклопедия стремилась учесть всю сумму данных о Лермонтове, его эпохе и последующих судьбах его наследия, данных, которыми располагает лермонтоведение к 1978 году.

Авторский коллектив энциклопедии насчитывает десятки людей из разных городов Советского Союза и зарубежных стран. Подлинный результат коллективного творчества, это издание вместе с тем является результатом энергии, энтузиазма и исследовательского труда его организатора и главного редактора Виктора Андрониковича Мануйлова, который теперь, в момент окончания авторской работы над энциклопедией, встречает свое семидесятипяatiletie. Размер научного вклада, который внесет энциклопедия, сможет быть оценен только после выхода ее из печати, однако принципиальное значение первой персональной энциклопедии на русском языке вряд ли может вызвать сомнения. И здесь уместно закончить цитатой из специальной статьи В. А. Мануйлова, посвященной жанру персональных энциклопедий. «Следует полагать, — пишет он, — что опыт работы над Лермонтовской энциклопедией будет полезен для подготовки Пушкинской энциклопедии и что вслед за этими первыми изданиями у нас появятся новые и более совершенные издания такого рода, посвященные классикам русской литературы, музыки, изобразительного искусства и крупнейшим деятелям нашей науки. Персональные энциклопедии — жанр коллективных научных работ ближайшего будущего».⁵

Это справедливо, как справедливо и то, что в деле подготовки этого жанра автору приведенной цитаты принадлежит весьма значительная роль.

⁵ Мануйлов В. А. Персональная энциклопедия как тип издания (по материалам подготовки Лермонтовской энциклопедии). — Книга. Исследования и материалы, сб. XI. М., 1965, с. 269.



ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

ЧИСТЫЙ ГЕНИЙ ИЛИ ЧИСТАЯ КРАСОТА?

При внимательном изучении истории публикации стихотворения В. А. Жуковского «Лалла Рук» выявляется расхождение в написании эпитета *чистый*: одни издания печатают форму «гений чистый красоты», другие — «гений чистой красоты». Легко заметить, что в первом случае речь идет о *чистом гении*, а во втором — о *чистой красоте*.

В первой публикации¹ интересующее нас прилагательное читалось как *чистой*. Позже стихотворение печаталось только начиная с пятого издания сочинений Жуковского (1849), где это слово читалось уже как *чистый*.

Пятое издание было последним прижизненным. Поскольку большинство последующих изданий базируется в основном именно на нем, как выражающем последнюю авторскую волю, а именно здесь встречается форма *чистый*, на нем следует остановиться несколько подробнее.

Предприняв издание полного собрания своих сочинений, Жуковский понимал, что оно будет последним прижизненным, о чем писал в посвящении цесаревичу Александру Николаевичу: «... это полное, может быть, последнее при мне выходящее в свет издание моих сочинений»;² «этим приношением, вероятно, кончится моя поэтическая деятельность».³ Издание своих сочинений Жуковский начал с конца, с последних трех томов, включающих новые, только что написанные сочинения. Этому изданию он придавал очень большое значение и по разным соображениям (среди которых материальные занимали далеко не последнее место) решил осуществить его за границей.

Однако заниматься вплотную издательскими делами он не мог, передоверив издание целиком Рейфу, о чем сообщил в письме-завещании к К. Зейдлицу от 31 декабря 1847 года: «В последних месяцах нынешнего (1847) года я начал печатать в Карлсру в типографии Гаспера полное собрание моих сочинений. Изданием и *корректуру* (курсив мой, — А. Ш.) заведывает мой знакомец Рейф».⁴ Несколько раньше (1 августа 1847 года) Жуковский в письме к Вяземскому определил и свою роль: издание будет напечатано «под надзором самого Рейфа в том порядке, в какой бы я привел все пиесы (а для этого только нужно будет сделать им регистр и в этом регистре отметить, на какой странице какого тома пиеса находится)».⁵

Итак, пятое издание в общем виде редактировалось самим Жуковским, а корректуру вел и правил швейцарец Рейф. Вполне объяснимо, что в той обстановке, в которой находился тогда Жуковский, он проглядел ошибку, допущенную его доверенным лицом. И замена *чистой* на *чистый* произошла не по воле автора, а вопреки ей.

Между тем практически во всех серьезных дореволюционных (П. А. Ефремов, А. С. Архангельский, П. Н. Сакулин) и советских (Ц. С. Вольпе, В. П. Петушков, Н. В. Измайлов, Н. А. Коварский) изданиях печатается «гений чистый красоты». Характерная непоследовательность обнаруживается лишь у П. А. Ефремова, который в седьмом издании (1878) напечатал *чистый*, а в восьмом (1885) — *чистой*. В предисловии редактор писал, что это издание отличается от предыдущего «новым пересмотром и исправлением всего прежде напечатанного». В десятом — исправленном и дополненном издании — (1901) Ефремов сохранил форму *чистой*.

И еще в некоторых изданиях, рассчитанных на «широкую массу читателей» и подготовленных квалифицированными филологами А. Д. Алферовым (1902), П. В. Смирновским (1902), Ф. Н. Бергом (1902) и П. Н. Красновым (изд. т-ва

¹ Московский телеграф, 1827, ч. XIV, отд. 2-е, № 5, с. 3—5.

² Жуковский В. А. Стихотворения, т. I. СПб., 1849, с. V.

³ Жуковский В. А. Полн. собр. соч., т. 12. СПб., 1902, с. 47.

⁴ Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия Жуковского. СПб., 1883, с. 255.

⁵ Жуковский В. А. Соч. в 2-х т. под ред. А. Д. Алферова, т. I. М., 1902, с. 524. Реестр-оглавление, составленный Жуковским, сохранился в его архиве: ГПБ, ф. 286, оп. 1, № 26, лл. 75—79.

М. О. Вольф, 1909), приведена форма *чистой*. Это же написание принято и советскими популярными массовыми изданиями и хрестоматиями.

Полюбившийся ему образ «гения чистой красоты» Жуковский и позже использовал в своих сочинениях. В связи с рассматриваемым нами вопросом отметим лишь один случай. Вскоре после создания «Лаллы Рук» (23 июня 1821 года) Жуковский написал из Германии письмо в форме статьи о Дрезденской галерее, в котором дал подробное описание знаменитой Сикстинской Мадонны Рафаэля. В этом письме он процитировал самого себя: душа «была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. *Гений чистой красоты был с нею*».⁶ Статья «Рафаэлева Мадонна» впервые увидела свет в «Полярной звезде» Рылеева на 1824 год и еще дважды публиковалась при жизни автора: в 1826 и в 1835 году,⁷ получив широкую популярность. Во всех без исключения дореволюционных изданиях (в советское время статья не переиздавалась) печаталось: «Гений чистой красоты». Вызывает удивление тот факт, что позднейшие издатели сочинений Жуковского не обращали внимания на автоцитату в этой статье.

В настоящее время для установки истины нет необходимости выполнять сложные текстологические анализы. Достаточно обратиться к сохранившемуся автографу стихотворения «Лалла Рук» (из письма Жуковского к А. И. Тургеневу от 6/19 февраля 1821 года), который хранится в отделе рукописей Пушкинского дома в Ленинграде.⁸ Интересующее нас слово ясно читается как *чистой*. Буква «о» написана в характерной для Жуковского манере: немного не замкнутый сверху овал, несколько напоминающий греческий «ипсилон».

Таким образом, безусловно правильной является первая публикация стихотворения в 1827 году в «Московском телеграфе». Следовательно, мы приходим к выводу о том, что в соответствии с авторским замыслом во всех последующих изданиях Жуковского, носящих научный характер, текст стихотворения «Лалла Рук» должен быть исправлен.

А. Н. Шустов

ПЕРМСКАЯ ССЫЛКА ГЕРЦЕНА (ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ КОММЕНТАРИЕВ)

Несмотря на заметные успехи герценоведения последних лет (выход 30-томного академического собрания сочинений А. И. Герцена, его «Летописи жизни и творчества», томов «Литературного наследства», посвященных Герцену и Огареву), есть периоды в жизни Герцена, которые исследованы очень слабо: годы учебы в университете, Вятская ссылка... И уж совершенно белым пятном остается Пермская ссылка писателя. Многие авторы сравнительно крупных монографий даже не упоминают о ней или ограничиваются одной-двумя фразами.

В чем тут причины?

Во-первых, Герцен пробыл в Перми очень недолго: пятнадцать-двадцать дней. Более точно время пребывания его в этом городе не установлено, вернее, имеющиеся сведения несколько противоречивы.

Тем не менее пермские впечатления оказали заметное влияние на Герцена. «Практическое соприкосновение с жизнью начиналось тут — возле Уральского хребта», — напишет он позднее в «Былом и думах».¹ Здесь Герцен встретил людей, заинтересовавших и даже поразивших его. Они станут героями или их прототипами во многих его произведениях.

Вторая причина, почему исследователи и краеведы едва касаются пермской ссылки Герцена — почти полное отсутствие материалов о ней. Те из немногих документов этого периода, которые сохранились, рассредоточены по различным довольно малоизвестным изданиям. Во всей мемуарной литературе мы встречаем лишь один абзац о пребывании Герцена в Перми — в воспоминаниях Л. П. Шелгуновой. Предельно бедна, как мы уже сказали, герцениана этого периода: комментарии в собрании сочинений Герцена под редакцией М. К. Лемке, в академическом тридцатитомном собрании сочинений, несколько абзацев в «Летописи жизни

⁶ Жуковский В. А. Полн. собр. соч., т. 12. СПб., 1902, с. 10.

⁷ В издании 1835 года (А. Ф. Смирдина) статья, как и два других письма Жуковского о Швейцарии, ошибочно отнесена к 1820 году. На ошибку в датировке писем впервые указал П. А. Ефремов в восьмом издании сочинений поэта (т. 3, с. 544). О популярности статьи свидетельствует, между прочим, и письмо В. Г. Белинского к В. П. Боткину от 7 июля 1847 года.

⁸ В составе собрания А. Ф. Онегина № 27840/СХСІХ б. 7, лл. 107—108.

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. VIII. М., 1956, с. 226.

и творчества А. И. Герцена», несколько строк в наиболее крупных монографиях. Однако эти источники не отличаются единообразием. Попытаемся уточнить некоторые приводимые в них данные.

«В Перми я пробыл около месяца», — писал сам Герцен в отрывке, условно называемом «Часов в восемь навестил меня...», но здесь же замечал: «Не думая, не гадая, я уехал из Перми дней через двадцать».² «Двадцать дней Пермской ссылки» назвал свою статью о пребывании Герцена в Перми краевед М. Альперович («Вечерняя Пермь», 21 января 1970 года). А вот что сообщают об этом комментарии к первому тому академического собрания сочинений: «Герцен приехал в Пермь 28 апреля 1835 г., а 30 апреля он был зачислен в штат пермского губернского правления. Однако уже через две недели Герцен и сосланный в Вятку И. А. Оболенский поменялись местами. Об этом хлопотал отец Оболенского, у которого в Перми были родственники. 13 мая Герцен выехал из Перми и 19-го прибыл в Вятку».³

Вышедшая в 1974 году в издательстве «Наука» «Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850» на с. 74—75 констатирует: «Апреля 28. Герцен прибыл в Пермь... Мая 16... Выехал из Перми в Вятку в сопровождении рядового пермской жандармской команды Ф. Бурдина».

Сколько же дней на самом деле Герцен находился в Перми?

Он действительно прибыл туда 28 апреля 1835 года. Об этом свидетельствует доклад пермского гражданского губернатора Г. К. Селастенника министру внутренних дел Д. Н. Блудову.⁴ 16 мая Селастенник уже сообщал о том, что Герцен отправлен в Вятку, но какого числа? В том же сборнике «Звенья» был опубликован следующий документ:

«Донесение вятского гражданского губернатора министру внутренних дел о доставлении Герцена в Вятку

22 мая 1835 г. Секретно.

Вследствие высочайшего его императорского величества повеления, состоявшегося на всеподданнейший доклад особо учрежденной следственной комиссии по делу о пасквильных стихах, петых в Москве разными лицами, доставлен 19-го числа сего месяца из Перми в г. Вятку по распоряжению московского военного генерал-губернатора титулярный советник Герцен для определения на службу с учреждением за ним строгого наблюдения местного начальства.

О чем долгом поставляю почтеннейше донести вашему высокопревосходительству и имею честь присовокупить к тому, что об определении Герцена на службу я предложил губернскому правлению:

Гражданский губернатор К. Тюфяев».⁵

Сам же Герцен в отрывке «Часов в восемь навестил меня...» писал: «А я грустно подвигался к Вятке, душа предчувствовала много ударов, падений, грязи, мелочей, пыли — это было в 1835 году 20-го мая вечером».⁶ В этом отрывке Герцен указывал, что дорога заняла у него пять с половиной суток.

Он уезжал из Перми утром. В «Былом и думах» мы читаем:

«— Когда вы едете? — спросил он (Цеханович, — Н. А.).

— Завтра утром, но я вас не зову: у меня уже на квартире ждет бесценно жандарм.

... На другой день с девяти часов утра полицмейстер был уже налицо в моей квартире и торопил меня... Все было готово».⁷

Итак, если считать, что Герцен приехал в Вятку 20 мая вечером, то он выехал из Перми 15 мая, если же он прибыл в Вятку 19 мая вечером, что, судя по донесению Тюфяева, более вероятно, то он уехал из Перми 14 мая утром.

Есть другое косвенное подтверждение того, что Герцен уехал из Перми 14 мая. Оболенский прибыл туда 11 мая (об этом сообщает нам «Ведомость о состоящих под надзором полиции в Пермской губернии лицах за майскую треть 1835 года».⁸ На другой день после приезда Оболенского губернатор Селастенник, не желая допустить встречи товарищей по университету, вместе пострадавших по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни», приказал Герцену немедленно покинуть Пермь, однако тот, ссылаясь на невозможность собраться в дорогу так быстро, добился отсрочки отъезда на два дня.

Следовательно, наиболее вероятное время пребывания Герцена в Перми — с 28 апреля 1835 года по 14 мая 1835 года. Итого 16 дней.

² Там же, т. I, с. 256.

³ Там же, с. 511.

⁴ Звенья, кн. VIII. М., 1950, с. 62.

⁵ Там же, с. 66.

⁶ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. I, с. 256.

⁷ Там же, т. VIII, с. 231.

⁸ Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XII, Пб., 1919, с. 364.

В первом томе собрания сочинений Герцена Лемке, ссылаясь на воспоминания Л. П. Шелгуновой «Из далекого прошлого», пишет, что Герцен, так же как и сменивший его Оболенский, жил в Перми в доме бабушки Шелгуновой — Е. Е. Афанасьевой, что она долго вспоминала и того, и другого, что они заставляли ее читать и думать.⁹ Сразу бросается в глаза несоответствие этого комментария образу той хозяйки, который нарисовал Герцен в «Былом и думах» и в одном из писем. Рассказывая о найме квартиры, Герцен описал хлебосольную, добрую, далекую от каких-либо духовных запросов старушку, которая интересовалась, не будет ли квартирант заморозить свою коровку, угощала его домашней настойкой и обещала приносить сливков. Все становится на свои места, когда мы внимательно перечитываем воспоминания самой Шелгуновой: «Мать моя была очень умная женщина. В Перми знакомство с сосланными туда Герценом и Оболенским заставило ее много заниматься и читать, и она была действительно передовой женщиной».¹⁰ Следовательно, речь идет не о бабушке, а о матери Шелгуновой, Е. Е. Афанасьевой. Бабушка же ее Аграфена Ивановна Афанасьева в 1835 году жила в Петербурге и с Герценом не была знакома. Евгения Егоровна за несколько лет до этого вышла замуж за советника пермского губернского правления Петра Ивановича Михаэлиса. В Пермском государственном архиве хранится «Послужный список пермской палаты уголовного суда за 1824 год» (ПОГА, ф. 36, оп. 1), и там есть сведения об ассесоре, титулярном советнике и кавалере Петре Михаэлисе, из обер-офицерских детей, 40 лет, холостом. По-видимому, это тот самый Михаэлис. Он поздно женился. Когда Герцен был в Перми, у него росла трехлетняя дочка (Л. П. Шелгунова). Таким образом, можно говорить не о том, что Герцен в Перми жил в доме Е. Е. Афанасьевой (фамилии хозяйки дома мы так и не знаем), а лишь о том, что, находясь в Перми, он был знаком с супругами Михаэлиса. Видимо, с самим Михаэлисом познакомился в губернском правлении. Герцен оставил заметный след в душе молодой, стремящейся к образованию женщины — Евгении Егоровны Михаэлиса. Когда позднее Шелгунова вместе с мужем, видным революционером-демократом Н. В. Шелгуновым была в Лондоне и часто встречалась с Герценом, возможно, они вспоминали начало его ссылки.

Уточним еще один комментарий. При каких обстоятельствах произошла встреча Герцена с сосланным в Пермь польским революционером П. Цехановичем, память о котором Герцен пронес через всю жизнь, о котором упоминал в письмах, которому посвятил несколько блестящих страниц в «Былом и думах» и свое юношеское произведение — очерк «Вторая встреча»? Рассказывая в «Былом и думах» о том, что губернатор запретил «новичку» знакомиться с сосланными поляками и в то же время велел всем сосланным являться к нему для поверки в 10 часов утра по субботам, Герцен пишет, что таким образом перезнакомился в зале губернатора со всеми поляками. Однако с Цехановичем, по его словам, он впервые встретился в иной обстановке. «На одном из губернаторских смотров ссыльным меня пригласил к себе один ксендз. Я застал у него несколько поляков. Один из них сидел молча, задумчиво курил маленькую трубку; тоска, тоска безвыходная видна была в каждой черте».¹¹ Комментируя это место, М. К. Лемке категорично заявлял: ксендзом, пригласившим Герцена, был Фома Куявский, гостями Куявского — Цеханович, Зелинский и Козловский.¹² «Летопись жизни и творчества А. И. Герцена» вслед за М. К. Лемке повторяет: «Мая начало. Герцен был у ссыльного поляка, ксендза Ф. Куявского; познакомился у него с ссыльными: Козловским, Зелинским и П. Цехановичем».¹³

Однако из «Второй встречи» следует, что Герцен в первый раз увидел Цехановича на квартире, хозяином которой был ссыльный грузин.¹⁴ Вышеупомянутая «Ведомость» содержит сведения о бывшем учителе тифлисской гимназии Заане Автиндинове, 24 лет, сосланном за причастность к антиправительственному заговору. В Перми он состоял на службе в канцелярии гражданского губернатора, где с ним и мог познакомиться Герцен. В ранних произведениях Герцен гораздо точнее передавал реальные жизненные ситуации, и, скорее всего, именно на квартире Заана Автиндинова, а не у ксендза¹⁵ он познакомился с Цехановичем.

⁹ Там же, т. I, с. 178.

¹⁰ Шелгунова Л. П. Из далекого прошлого. — В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания в двух томах, т. 2. [М.], 1967, с. 14.

¹¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. VIII, с. 229.

¹² Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XII, с. 366.

¹³ Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850, с. 75.

¹⁴ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. I, с. 124.

¹⁵ Заметим, что, как явствует из «Ведомости», в числе сосланных поляков было два ксендза: Фома Куявский и Феофил Зелинский. Герцен мог принять приглашение любого из них. Кстати, сообщение Герцена в «Былом и думах» о том, что в Перми жило человек 40 поляков, сильно преувеличено. Судя по ведомости, их было вместе с членами их семей десять человек в губернии, а в Перми — шесть.

И, наконец, в XXI томе собрания сочинений Герцена в 30-ти томах в указателе имен говорится: «Селастенник Гавриил Корнеевич, пермский губернатор с 1831 по 1837 г.». На самом же деле Г. К. Селастенник был уволен от должности и предан суду Сената в 1835 году.¹⁶ Официально его обвиняли в «нераспорядительности» и «слабом надзоре за чиновниками». Фактически же он оказался неудобным потому, что проявил нерасторопность при подавлении крестьянского восстания.

Пермская ссылка Герцена — исходная точка многих будущих его замыслов и свершений и, несмотря на кратковременность, безусловно заслуживает самого пристального внимания.

Н. Ф. А В Е Р И Н А

ЗАМЕТКИ ОБ ИЗДАНИИ «СОНЕТОВ» АДАМА МИЦКЕВИЧА *

Серия «Литературные памятники» обогатилась новым изданием — книгой «Сонеты» Адама Мицкевича, вышедшей в свет к 150-летию со дня появления этого шедевра мировой литературы. Сборник великого польского поэта представлен в фототипическом воспроизведении авторского издания на языке оригинала (Sonety. М., 1826) и в русском переводе В. В. Левика. В приложении даны избранные переводы из входящих в него циклов — «любовных» и «крымских» сонетов, начиная с 1827 года и до настоящего времени, со сведениями о переводчиках. Издание завершает чрезвычайно интересная и обстоятельная статья С. С. Ланды по истории возникновения, создания и публикации сонетов, написанная с привлечением обширной русской и польской литературы вопроса и новых архивных данных из фондов ЦГАОР, ИРЛИ, ЦГА Литовской ССР, Одесского областного государственного архива и других хранилищ. Поэтическая деятельность Мицкевича рассматривается в неразрывной связи с его участием в освободительном движении, с его борьбой за независимость родины и за социальные преобразования в ней, за развитие ее культуры, литературы и просвещения.

Автор статьи прояснил многие мало изученные моменты биографии Мицкевича (в частности, его жизнь в Петербурге и встречи с К. Ф. Рылевым и А. А. Бестужевым, ссылка в Одессу, где он как бы сменил Пушкина), охарактеризовал с использованием новых материалов его общественно-политические связи с Южным обществом декабристов и кругом польского Патриотического общества, его литературные связи и отношения, интимные знакомства, уточнил имена адресатов в отдельных стихотворениях («К Д. Д.», «Ответь, Поэзия! Где кисть твоя живая?» и др.), а также конкретные обстоятельства, отраженные в них. Отмечая реакцию Мицкевича на полицейскую слежку в «Ястребе», С. С. Ланда приводит ряд неизвестных фактов о надзоре над поэтом в Одессе и во время поездки в Крым, о напряженной обстановке по приезде Мицкевича в Москву за два дня до восстания декабристов, коренным образом изменившего судьбы его друзей.

Убедителен и правомерен вывод, что «созданные в первый год ссылки поэта в Россию, накануне восстания декабристов и вскоре после его разгрома, в обстановке полицейских преследований... сонеты были восприняты как поэтический отклик на события того времени, как выражение настроений скорби, сожалений о погибших надеждах, верности прошлому, духовной стойкости» (с. 225—226). Здесь хотелось бы только иметь более уточненный итернарый ссылки осенью 1824 года и одесско-крымско-московского периода (февраль 1825—сентябрь 1826 года) — времени создания сонетов, тем более что в отдельности сонеты не поддаются точной датировке.

Определяя особенность поэтики автора сонетов как «художественное постижение трагических коллизий жизни современного общества через частную судьбу человека» (с. 226), исследователь видит связующее начало двух циклов — «любовного» и «крымского» — в единстве героя-изгнанника. Герой «любовных» сонетов, порывающий с жизнью одесских салонов, превращается в «Крымских сонетах» в носителя высшей идеи — «в Поэта—Изгнанника—Пилигрима... приобретшего черты посланничества и романтической исключительности» (с. 226). Обстоятельный экскурс в историю восточной поэзии позволяет составителю сделать вывод о том, что ориентальный стиль использован Мицкевичем как художественный стиль,

¹⁶ Верховланцев В. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Краткий историко-статистический очерк. Пермь, 1913, с. 23.

* Мицкевич Адам. Сонеты. Изд. подг. С. С. Ланда. Л., «Наука», 1976, 343 с. (Серия «Литературные памятники»). Далее ссылки на это издание даются в тексте.

подчеркивающий «космический масштаб трагических переживаний Пилигрима» (с. 229). Это новый оригинальный аспект в рассмотрении вопроса ориентальности в «Сонетах».

Комментарий о русских взаимосвязях — с Пушкиным и декабристами-литераторами — может пополниться ранее приведенными в литературе самим автором и другими исследователями сведениями о воздействии на Мицкевича мнений Пушкина и поэтов-декабристов об огромном гражданском значении поэзии и высокой миссии поэта, о наличии в «Крымских сонетах» с их тоской о свободе отключив на стихотворение Пушкина «К Овидию» («Аккерманские степи») и поэму «Бахчисарайский фонтан» («Могила Потоцкой» и др. сонеты о Бахчисарае).¹ В спорах вокруг книги «Сонетов» между защитниками их гражданского романтизма байроновского толка (П. А. Вяземский) и сторонниками сентиментально-архаического стиля (Н. И. Надеждин, М. Т. Каченовский, Н. А. Цертелев, К. О. Бродзинский, Ф. С. Дмоховский) ранее упоминалась полемика Н. А. Полевого с Дмоховским.²

В главке «История текста» исследуется происхождение сонетов, место и время их создания и оформления в циклы. Анализируя противоречивые и зачастую неточные выводы предыдущих исследователей этих вопросов, С. С. Ланда высказывает ряд важных мотивированных предположений о ныне утраченном главном рукописном источнике изданий сонетов — альбоме, принадлежавшем П. Мошинскому. Составитель по ряду архивных дел проследил связь Мицкевича с этим заключенным в Петропавловской крепости «государственным преступником», которому поэт 15 мая 1829 года, перед отъездом в Москву, через Марьяна Пясецкого подарил альбом как «благородное напоминание о времени, когда они познакомились и встречались друг с другом» (с. 252). Считалось (Б. Губрынович, С. Виндакевич и др.), что альбом начал заполняться в Одессе, был продолжен в Крыму, затем снова в Одессе и заканчивался в Москве. Ч. Згожельский, поддержавший эту версию, в последнем польском полном издании сочинений А. Мицкевича предположил, что некоторые отсутствующие в альбоме сонеты могли быть в Москве и созданы. С. С. Ланда полемизирует с этой точкой зрения, поскольку географической смене мест и хронологической последовательности передвижения Мицкевича по югу записи не соответствуют. Путевой дневник по записям не получается: «Путешествие в Аккерман», т. е. первая поездка, находится в конце альбома, написанный в Крыму «Бахчисарай» помещен в начале и предшествует более раннему, одесскому, циклу стихов; созданные в Одессе «Размышления в день отъезда», датированные 29 октября 1825 года, вписаны в «московскую» часть. С. С. Ланда воссоздает историю заполнения альбома, его «индивидуальную биографию» на основе изучения содержания, первичности или вторичности текстов, в него вписанных. Анализ состава альбома, дошедшего в копии, приводит исследователя к предположению, что половина крымских сонетов были написаны не на юге, а в Москве (с. 278) и что истинно поэтическим дневником путешествия поэта по Тавриде служит не альбом Мошинского, а московское издание сонетов, где последовательность их в основном отвечает маршруту путешествий.

Здесь мы могли бы указать на аналогичный пример отсутствия временной и путевой последовательности записей последнего цикла стихотворений Лермонтова (мая—июня 1841 года) в записной книжке, подаренной ему В. Ф. Одоевским перед отъездом на Кавказ. Книжка, которую в литературе тоже часто именуют альбомом, заполнена с двух концов почти одними и теми же стихотворениями, но последовательность повторно переписанных с одного конца книжки на другой черновиков («Сон», «Утес», «Они любили друг друга так нежно...», «Пророк») — разная.³

Составитель ставит под сомнение одесско-крымское происхождение альбома, доказывая, что он заполнялся в Москве в марте—июле 1826 года в процессе подготовки несостоявшегося III тома поэтических произведений Мицкевича. Это была рабочая тетрадь, промежуточная между черновыми редакциями и беловиками, предназначенными к опубликованию. В ней концентрировались ранее написанные стихотворения (частью в авторских списках) и их переработки (включая даже некоторые переработки журнальных публикаций раннего, ковенско-виленского периода), без определенного плана и циклизации; дополнялась тетрадь в Москве до 1828 года включительно. В августе—сентябре 1826 года тексты из нее были использованы для книги сонетов.

Во второй части книги даны два дополнения: I — «Сонеты, не вошедшие в издание 1826 года» («Поклонение», «Ястреб», «Ответь, Поэзия! Где кисть твоя живая?»); II — «Сонеты Адама Мицкевича в русской поэзии». Здесь даны переводы начиная

¹ Ланда С. С. Мицкевич накануне восстания декабристов. — В кн.: Литература славянских народов, вып. 4. М., 1959, с. 104—105; Благой Д. Д. От Каптемира до наших дней, т. I. М., 1972, с. 308—317; Беккер И. И. Мицкевич в Петербурге. Л., 1955, с. 85—89, 100—102.

² Стахеев Б. Ф. Мицкевич и прогрессивная русская общественность. М., 1955, с. 37—38.

³ Михайлова А. Н. Рукописи М. Ю. Лермонтова. Описание. Л., 1941, с. 40—44.

с современных Мицкевичу поэтов: подстрочники, составленные в 1827 году П. А. Вяземским, вольные переводы И. И. Дмитриева, переводы 1827—1840-х годов: А. Д. Илличевского, И. И. Козлова и др., частью после подавления польского восстания печатавшиеся анонимно; приведен перевод Лермонтова «Вид гор из степей Козлова» по подстрочнику Н. А. Краснокутского и известному переводу И. И. Козлова, интерес к которому был обострен встречей с А. Г. Хомутовой (с. 324).⁴ Даны выборочно переводы, появившиеся после снятия цензурного запрета в 1857 году, в наиболее характерных и значительных образцах — Н. В. Берга, Омудевского (И. В. Федорова), В. Г. Бенедиктова, Н. П. Семенова, Н. В. Гербеля, Д. Д. Минаева, А. Н. Майкова и др.; переводы конца XIX—начала XX века — К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. А. Коринфского и др.; советского периода — С. М. Соловьева, О. Б. Румера, А. М. Ревнч. Переводы приводятся в хронологической последовательности их появления в печати, либо по времени создания, если они извлекаются из рукописей. В примечаниях даны библиографические справки об авторах, времени и обстоятельствах создания переводов, датах публикации и откликах на них в печати. Составитель дал широкую картину жизни «Сонетов» Мицкевича в русской литературе от их первого появления в Москве в 1826 году и первых переложений на русский язык⁵ до современных переводов «в исторической перспективе за минувшие сто пятьдесят лет» (с. 302).

К множеству фактов, касающихся авторов переводов, можно сделать несколько добавлений. Так, например, по архиву Комитета Литературного фонда Альбин Пиотровский — это Альбин Раймундович Пиотровский — студент Петербургского университета, занимавшийся перепиской лекций и бумаг, а летом ретиторством в помещичьих домах. 30 мая 1860 года Н. А. Некрасов ходатайствовал перед Комитетом, в который Пиотровский обращался в 1860—1863 годах о выдаче ему пособия.⁶ По предположению А. М. Гордина, В. Н. Щастный (1802—после 1854) познакомился с Мицкевичем «в 1828 году, вероятно, у Дельвига».⁷ Публицист и поэт Анатолий Павлович Доброхотов, поместивший в «Песнях воли и тоски 1900—1912» (М., 1913) «Могилы гарема», «Бахчисарайский дворец» (с. 169) и «По Байдарской дороге» (с. 114), родился в 1874 году. А. Н. Кугушев (ум. после 1908) в 1890—1900 годах был профессором Варшавского политехнического института. Александр Федорович Мейснер (1865—1922) вторично поместил перевод сонета «У могилы Потоцкой» в своих «Стихотворениях 1890—1901» (изд. 2-е, СПб., с. 196). Перевод «Алушта ночью» («Тяжелый летний зной остужен ветерками...») вопреки вводящим в заблуждение атрибуциям книг⁸ принадлежит не А. Н. Майкову, а Н. А. Луговскому.⁹

В целом же книга с блестящими переводами В. В. Левика и ряда других поэтов, с фундаментальным исследованием общественно-литературной позиции Мицкевича открывает исследователям широкие возможности для дальнейшего идейно-художественного анализа сонетов и изучения поэтических особенностей оригиналов и их русских эквивалентов. Велико и общекультурное и текстологическое значение книги, по удачному замыслу составителя факсимильно воспроизводящей первопечатный авторский текст, что было бы, возможно, не лишним и для некоторых других изданий серии «Литературные памятники» (например, для «Последних песен» Н. А. Некрасова).

Р. Б. ЗАБОРОВА

⁴ Существенно дополняя примечания академических изданий Сочинений М. Ю. Лермонтова и расширяя их художественным анализом перевода (ср.: Лермонтов М. Ю. Сочинения в 6-ти т., т. II. М.—Л., 1954, с. 340; Лермонтов М. Ю. Сочинения в 4-х т., т. I. М.—Л., 1958, с. 685—686), комментарий «Сонетов» впадает в некоторые неточности этих изданий, превращающих М. Г. Хомутова, командира лейб-гвардии Гусарского полка, в командира лейб-гвардии Гродненского гусарского полка и относящих встречу поэта с его сестрой А. Г. Хомутовой в Царском селе (см. «Русский архив», 1886, № 2, с. 198) к более раннему периоду — ко времени службы Лермонтова в Гродненском полку и получения им подстрочника корнета Краснокутского. В статье «Байронизм у Лермонтова» В. Д. Спасович отмечал наличие образов переведенного Лермонтовым сонета в поэмах «Мцыри» и «Демон» (Спасович В. Д. Сочинения, т. II. СПб., 1889, с. 358).

⁵ Об обилии их писал сам Мицкевич. См.: Мицкевич А. Собр. соч. в 5-ти т., т. 5. М., 1954, с. 397.

⁶ ГПБ, ф. 438, № 1, лл. 84 об.—234, 266 об., № 8, лл. 71—75, № 9, лл. 226—229 об., № 11, лл. 293—293 об., 312, № 12, лл. 7—18 и др.

⁷ Керн А. П. Воспоминания, дневники, переписка. Подг. А. М. Гордин. М., 1974, с. 316.

⁸ Мицкевич А. Избранное. М., 1940, с. 63; Адам Мицкевич в русской печати. М.—Л., 1957; Библиография русских переводов произведений Адама Мицкевича. Сост. В. Н. Стефанович и И. Л. Курант. М., 1956.

⁹ См.: Заборова Р. Б. О переводах стихотворений Адама Мицкевича. — Русская литература, 1966, № 4, с. 140.

«СУМБУРНАЯ БРОШЮРА»

(К ИСТОРИИ ПАМФЛЕТА Л. Н. ТОЛСТОГО «НИКОЛАЙ ПАЛКИН»)

В начале июня 1915 года в поле зрения Центрального комитета иностранной цензуры попала одна анонимная брошюра, изданная на немецком языке: Nikolai Palkin. Uebersetzt aus dem Russischen vom Bibliographischen Bureau zu Berlin. Berlin, 1890. 18 S. (Николай Палкин. Переведено с русского Библиографическим бюро в Берлине. Берлин, 1890. 18 с.). Некто Смирнов, исполнявший обязанности цензора, представил о ней такой рапорт:

«Это произведение какого-то среди нынешних пацифистов содержит в себе проповедь против войны, соединенную с воспоминаниями старого русского солдата о жестокостях прежней военной дисциплины, державшейся палками и особенно свирепствовавшей в царствование Николая I, так и прозванного „Палкиным“ (стр. 2, 9), но и раньше того бывшей ужасною (11). Все сводится к тому, что хотя ныне шпицрутенов не существует, но что жестокости над людьми продолжают практиковаться в виде тюрем, войн, воинской повинности, государственной прокуратуры, жандармерии (стр. 13), виселицы, одиночного заключения, адвокатов и судей (14), которые все так же мучают людей, как некогда мучила распутная Катерина со своими всемогущими фаворитами (14) и т. д.

Эта сумбурная брошюра была запрещена уже по докладу цензора Златковского (см. рап. 25 сент. 1890 № 7844). Полагаю, что и теперь она должна быть подвергнута опять запрещению. 10 июня 1915».¹ Председатель Комитета А. Муравьев наложил резолюцию: «Остаться при прежнем решении», т. е. снова запретил «зловредное» произведение.

Вызвавшая столь явное неудовольствие царских чиновников брошюра в действительности представляет собой перевод на немецкий язык одноименной статьи Л. Н. Толстого, написанной в 1886—1887 годах. Публикуемый документ вносит новый штрих в картину преследования произведений «великого писателя земли русской» царской цензурой, глушившей изо всех сил «его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства»,² налагавшей множество запретов на бессмертные книги и статьи того, кто, по словам В. И. Ленина, «с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, „законный“ брак, буржуазную науку».³

В. Н. Ф О Й Н И Ц Е Й

¹ ЦГИА СССР, ф. 779; оп. 4, 1915, д. 330, л. 124.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 20.

³ Там же, с. 70.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

УЧЕБНИК ПО НАРОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

Л. И. ЕМЕЛЬЯНОВ

В НОВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ*

Новый учебник для вузов — это всегда событие и в научной, и в учебной жизни: в научной, поскольку всякий учебник есть, в сущности, один из наиболее ярких показателей реального состояния данной отрасли науки; о значении же учебного пособия в процессе обучения, собственно, и говорить не приходится.

Фольклористике, надо сказать, не слишком везло в области учебных пособий. Исключением, едва ли не единственным, был, пожалуй, лишь знаменитый учебник Ю. М. Соколова, вышедший первым изданием сорок лет назад и, как это ни удивительно, не нашедший полноценной замены вплоть до самого последнего времени. В послевоенные годы предпринимались, правда, попытки в чем-то его дополнить, в чем-то пересмотреть, но при всей принципиальной оправданности таких попыток (ибо и самые лучшие учебники вполне закономерным образом устаревают) нельзя все же сказать, что они увенчались каким-либо ощутимым успехом. Больше того: отдельные приобретения, каковыми можно считать, скажем, разделы, посвященные народному творчеству Великой Отечественной войны, ни в какой мере не восполняли тех очевидных утрат, которые без труда обнаруживались в новых пособиях при сравнении их с учебником Ю. М. Соколова.

Было бы глубоким заблуждением видеть причину этих неудач в том, что авторские коллективы пособий, о которых идет речь, неудовлетворительно справились с поставленными задачами. Причины гораздо глубже. Они в том прежде всего, что, как я уже сказал, всякий учебник — это своего рода «визитная карточка» данной научной дисциплины в данный исторический момент, и с этой точки зрения условия, в которых создавался, с одной стороны, учебник Ю. М. Соколова, а с другой — все последующие учебные пособия, представляются далеко не в равной степени благоприятными. Не буду останавливаться на этом вопросе специально. Замечу лишь, что если учебник Соколова появился в период, который знаменовал собою завершение стабилизации научных основ советской фольклористики и, следовательно, не только допускал, но и предполагал возможность широких обобщений в самых различных областях, то, скажем, учебные пособия 50-х годов отразили совсем иное состояние фольклористики, состояние, которое, пожалуй, нагляднее всего характеризовалось возможностью появления таких трудов, как печально известные «Очерки русского народно-поэтического творчества советской эпохи» (М.—Л., 1952). Другими словами, учебные пособия 50-х годов создавались в период, когда новый этап в развитии нашей фольклористики только начинался и начинался, как это нередко бывает, не слишком удачно.

Все эти соображения невольно приходят в голову, когда знакомишься с недавно вышедшим новым учебным пособием по фольклору, подготовленным профессорами Н. И. Кравцовым и С. Г. Лазутиным.

Что же представляет собою новый учебник? В каком отношении он находится к современному состоянию фольклористики, а также к сегодняшним потребностям учебного процесса?

Главные достоинства названного труда я бы определил так: энциклопедизм и концептуальность. Возможно, слово «энциклопедизм» в применении к учебному пособию покажется кому-то слишком громким, но я все же предпочел бы именно его, понимая под ним и многосторонность в освещении изучаемого предмета, и широту методологического кругозора, и ту особую четкость систематизации, которая обычно бывает следствием исчерпывающего знания предмета. Все эти качества в высокой степени присущи учебнику Кравцова и Лазутина.

* Эта и следующая рецензии посвящены изданию: Кравцов Н. И., Лазутин С. Г. Русское устное народное творчество. Учебник для филол. фак. ун-тов. М., «Высшая школа», 1977, 375 с. с рис.

Особую важность представляет, на мой взгляд, тот факт, что, давая обстоятельную характеристику русского народного творчества, авторы учебника опираются прежде всего на опыт новейших исследований и отлично ориентируются в нем своего читателя, не вдаваясь при этом в излишнюю детализацию и в то же время сохраняя за изложением достаточную конкретность и многоплановость. Помимо всего прочего, это свидетельствует о весьма значительной собственно исследовательской работе, проделанной авторами, в результате чего изучаемый предмет предстает не только во всей возможной здесь полноте, но и в сочетании своих, я бы сказал, наиболее характерных сторон, — а это уже качество систематизации, ее глубина и методологическая твердость.

Центральным и наиболее интересным в книге является раздел «Жанры русского фольклора». Именно здесь нашли отражение все те весьма значительные достижения, которыми ознаменовалось развитие советской фольклористики в последние два десятилетия. И именно здесь, как мне кажется, с особой отчетливостью проявилось то новое, что внесли авторы учебника в методику преподавания своего предмета.

Существенно новым является, на мой взгляд, то, что традиционный, принятый во всех учебных пособиях принцип классификации жанров русского фольклора здесь, в учебнике Кравцова и Лазутина, не только значительно углублен, но и, по сути дела, переосмыслен, будучи интерпретирован как принцип систематизации. Это проявляется прежде всего в том, что фольклор с самого начала мыслится и представляется не как некая статичная сумма жанров, подлежащих описательной классификации и, затем, описательной же характеристике, а как определенная, исторически складывающаяся и эволюционирующая система, в которой каждый из входящих в нее элементов (жанров) связан с остальными, находится с ними в сложном диалектическом взаимодействии и придает свой импульс движению системы в целом. «Жанры русского фольклора в своей совокупности, — подчеркивается в книге, — представляют собой исторически сложившуюся художественную систему, в которой все типы произведений находятся в сложных и своеобразных взаимоотношениях и взаимодействиях. Формирование и существование системы жанров является одной из важных закономерностей развития фольклора.

Система фольклорных жанров возникает, во-первых, в связи с общими для них идейно-художественными принципами; во-вторых, в связи с исторически развившимися их взаимоотношениями; в-третьих, в связи с общей исторической судьбой жанров» (с. 36).

Такова исходная методологическая предпосылка авторов, и ей они следуют в конкретном анализе, постоянно напоминая и акцентируя ту мысль, что история фольклора — это процесс, движение, смена качеств, бесконечно многообразное взаимодействие жанров как внутри самой системы, так и всей совокупности их — с общим историко-культурным контекстом. Весьма наглядное представление об этой стороне дела дают уже названия некоторых параграфов: «система жанров», «взаимоотношения жанров», «генетическая связь жанров», «общие процессы в жанрах». Ни в какой мере не игнорируя возможность выявления в фольклоре различных идейно-художественных свойств общего характера, таких, как, скажем, «отражение труда», «народность» или «реализм» (чему в прежних пособиях уделялось преимущественное, если не исключительное внимание), Кравцов и Лазутин делают, однако, упор прежде всего на специфически фольклорные особенности, вновь и вновь подчеркивая системность фольклора, сложную, почти неуловимую подчас динамику его исторической жизни.

Здесь нет нужды входить в подробное рассмотрение каждого раздела книги. Достаточно отметить, что все основные жанры русского фольклора проанализированы в учебнике с большой обстоятельностью и, что особенно важно подчеркнуть, — с глубоким учетом всего, что достигнуто в области изучения каждого жанра новейшей наукой — идет ли речь о специфике жанра или же о его истории и теории. Причем (и это тоже одна из важных особенностей книги) авторы не ограничиваются простым изложением, так сказать, готовых результатов исследований в той или иной области, а стремятся дать наглядное представление о самих путях, какими добыты эти результаты, не скрывая от аудитории тех подчас значительных трудностей, которые стоят на пути изучения той или иной проблемы сегодня. Умело направляя мысль читателя, авторы вместе с тем все время как бы предоставляют ему возможность самостоятельного решения, свободного выбора тем более, что каждый из разделов сопровождается довольно обширным и, главное, умело подобранным рекомендательным списком научной литературы, который должен помочь студенту получить более конкретную ориентацию в интересующей его проблеме.

Кстати сказать, эта же самая возможность — возможность свободной трактовки той или иной проблемы — явно предусматривается и для преподавателей (особенно для тех, кто читает спецкурсы и ведет спецсеминары); опытные педагоги, Н. И. Кравцов и С. Г. Лазутин как бы устанавливают в каждом данном случае лишь обязательные «параметры» проблемы, не только допуская при этом, но и сознательно предусматривая необходимую свободу творческой интерпретации

тех или иных конкретных аспектов данной проблемы. Наиболее отчетливо эта черта учебника проявляется в разделах, посвященных сказке, былине, исторической песне, устному рассказу.

В своих собственных трактовках авторы исходят, как правило, из наиболее, так сказать, устоявшихся представлений, из тех, что принято называть последним словом науки; однако они не скрывают ни того, что «последнее» — это еще не значит «окончательное», ни того, следовательно, что возможны и другие трактовки.

И еще об одном. Я имею в виду композицию учебника, глубокую продуманность научно-педагогических принципов, на которых он построен. Я бы сказал, что тонко уловленная системность предмета изучения — фольклора — прекрасно оттеняется здесь системностью самого изучения, что, в частности, выражается в рациональном сочетании принципов синхронии и диахронии: первый принцип лежит в основе раздела «Жанры русского фольклора», второй — в основе раздела «Исторический очерк русского фольклора». Такое построение как нельзя лучше учитывает особенности учебного процесса, в частности, то обстоятельство, что изучению общих закономерностей истории фольклора должно предшествовать всестороннее изучение самого, так сказать, «корпуса» фольклора. Именно из этой предпосылки и исходят Н. И. Кравцов и С. Г. Лазутин, и, между прочим, если, скажем, в «Историческом очерке русского фольклора» можно обнаружить кое-какие недочеты, то обнаруживаются они с тем большей легкостью, что мы имеем возможность опереться в этом отношении на... раздел «Жанры русского фольклора». Здесь нет парадокса. Просто «констатирующая» часть учебника поставлена настолько основательно, что определенные обобщения, которые объективно могут быть сделаны на ее материале, не всегда, как мне кажется, подтверждают то, что говорится в «Историческом очерке». Так, скажем, периодизация истории фольклора, намеченная во втором разделе, вероятно, могла бы в несколько большей степени считаться со спецификой историко-фольклорного процесса, с его «внутренними» закономерностями. Ведь, как уже неоднократно отмечалось в нашей науке, история фольклора не есть простое отражение истории литературы; относительно друг друга они обладают значительной самостоятельностью, не учитывая которой не может ни литературовед, ни фольклорист. «Историко-фольклорный процесс не подобен процессу историко-литературному, протекает не синхронно с ним, не представляет собою какого-то параллельного движения, потому что движется другими, чем литература, непосредственными стимулами, имеет свою обусловленность, свою специфику».¹ Правда мысли подобного рода пока что существуют в нашей фольклористике скорее как выводы «чистой» теории, нежели как установления положительной практики. Однако, во-первых, они в высокой степени отвечают самому духу новейших исследований, и уже сейчас можно сказать, что будущие исследования если и разойдутся в чем-либо с ними, этими выводами, то разве лишь в частностях; во-вторых же, констатировать сложность данной проблемы авторы учебника должны были бы хотя бы уже по одному тому, что во многих других случаях они делают это и делают отлично.

Следует подчеркнуть, что вопрос о специфике историко-фольклорного процесса, являющийся одной из модификаций вопроса о специфике фольклора, имеет в данном случае интерес отнюдь не только отвлеченно-теоретический. В непосредственной связи с ним здесь, в учебнике, оказываются многие и весьма важные вопросы практического характера — и прежде всего вопрос о границах того реального материала, который намечается к изучению под именем «фольклора».

Можно не говорить здесь о теоретической стороне дела — это вопрос особый. Достаточно указать лишь на то, что, следуя давней (и, надо сказать, все более исчерпывающей себя) традиции, авторы учебника исходят из такого понятия «фольклор», которое практически оказывается тождественным понятию «народное творчество». Если по отношению к традиционному фольклору отрицательные последствия такого отождествления сказываются лишь в неопределенности некоторых общих характеристик да разве еще в отдельных до странности неожиданных утверждениях вроде того, что в рамках фольклора рассматриваются даже песни Бояна (с. 15), то при определении границ советского фольклора эти последствия становятся весьма и весьма чувствительными. Так, например, одну из форм советского фольклора Н. И. Кравцов и С. Г. Лазутин видят в современной художественной самодельности. «Вторая форма народного поэтического творчества советского времени — новая, — читаем на странице 315. — Это форма не стихийного, а организованного творчества в коллективах художественной самодельности. Как правило, один из участников самодельности создает текст песни или частушки, который предлагает вниманию коллектива. Члены коллектива редактируют, в какой-то мере изменяют этот текст. Аналогичная работа проводится и по созданию напева песни или частушки. В итоге новое произведение является результатом работы не одного человека, а многих людей — своеобразным плодом коллективного творчества».

¹ Путилов Б. Н. Историко-фольклорный процесс и эстетика фольклора. — В кн.: Проблемы фольклора. М., 1975, с. 12—13.

Опять-таки не будем говорить о теоретической стороне дела — ни о более чем спорной трактовке признака коллективности, ни о тех сложных взаимоотношениях, которые в действительности существуют между фольклором и художественной самодетельностью. Знаменательнее другое, а именно то, что фольклор здесь отождествляется не просто с народным творчеством вообще, а прежде всего с организованными его формами, т. е. с такими, которые по своей социальной функции являются не чем иным, как формами профессионального искусства, ибо стимулируются теми же самыми факторами, что и это последнее. В этом случае ни о какой (хотя бы и относительной) самостоятельности историко-фольклорного процесса не приходится и говорить: ясно, что «организованное» искусство «организуется» не только по образу и подобию профессионального искусства, но и представляет собою подчас даже еще более «организованное» искусство, чем само профессиональное творчество. Ибо если, скажем, в литературе возникновение тех или иных тем, идей, проблем является результатом сложных, порой весьма длительных процессов и предполагает целый ряд общественно-эстетических условий, то художественная самодетельность (например, агитбригады) не испытывает в этом деле, как правило, никаких затруднений: простой «отклик» на тот или иной злободневный факт есть для нее уже акт творчества. Думается, именно эта сторона самодетельности и позволила авторам учебника сделать столь обязывающий вывод: «История советского фольклора — это своеобразная художественная летопись Советского государства. В советском фольклоре нашли отражение все важнейшие события в жизни нашего общества, выражены сокровенные мысли и чувства советских людей, отражен процесс формирования личности, духовного облика советского человека» (с. 332). И именно из этого источника («организованных» в той или иной мере форм творчества) они и черпают в огромной массе случаев материал по «советскому фольклору».

Материал этот неубедителен во всех отношениях: он не дает представления ни о «советском фольклоре» (потому что это, несомненно, не фольклор), ни даже о «народном творчестве», потому что это, как правило, очень плохие его образцы. Взять хотя бы так называемые «пословицы». Говорю «так называемые», потому что какой же вкус примирится с такими, например, речениями, как: «Не кланяюсь богачу, свою рожь молочу»; «Раньше рожь жали руками, а теперь комбайны зашагали»; «Надо грамоту учить, чтоб Советам служить»; «Партизаны в плен не сдаются, они насмерть бьются»; «Чем тыл крепче, тем врага бить легче»; «В труде победить — мир укрепить»; «Чем жарче бой на целине, тем прочнее мир на земле» и т. д.

В главе, посвященной традиционным пословицам, авторы пишут: «Эстетическая сторона пословиц... состоит в яркой выразительности, разнообразии и целенаправленности художественных средств, в том, что произведение этого жанра содействуют развитию чувства языка, формы, ритма» (с. 83). Думается, эти справедливые слова как раз и могут послужить лучшей формой критики тех искусственно-стилизированных изречений, которые приводятся в качестве «советских пословиц».

Мне, вероятно, могут возразить, что в вопросе о принадлежности тех или иных произведений к фольклору нельзя руководствоваться одними лишь эстетическими критериями, что и в старом фольклоре с эстетической точки зрения далеко не все безупречно. Да, это так. Однако в приведенных примерах обращает на себя внимание не только и даже не столько их низкий художественный уровень, сколько их явная «сочиненность», их полнейшая чуждость законам, по которым строится живая народная пословица. Кстати сказать, многие из так называемых песенных «переделок» (особенно из тех, что создавались в период гражданской и Великой Отечественной войны), несмотря на их тоже не всегда высокий художественный уровень, сомнений в их фольклорном происхождении тем не менее не вызывают. Потому что условия и мотивы, в которых и по которым осуществляется переделка, настолько понятны и настолько явно присутствуют в самом тексте, что переделка кажется не только возможной, но и необходимой. Пословицы же, о которых шла речь, как и многие частушки, песни и «устные рассказы», подчинены сугубо иллюстративным целям, потребностям не столько жизни, сколько календаря, и это решающим образом сказывается на всей их структуре.

Разделы, посвященные советскому фольклору, во всех учебниках всегда были, что называется, «узким местом». Это известно, и этому есть свои причины — они в том, что и в самой науке вопросы советского фольклора разработаны весьма слабо. Поэтому в том, что рецензируемый учебник, к сожалению, тоже не особенно далеко продвигает нас в этом отношении, не следует усматривать ничего, кроме того, что он фиксирует существующее положение в фольклористике — и только. И, конечно же, не по этому разделу нужно судить об учебнике в целом. Судить же надо по тому высокому исследовательскому уровню, который характеризует основную часть книги — глубокий анализ истории русского фольклора, опирающийся на богатейший фактический материал и четкие методологические принципы.

С. Н. АЗБЕЛЕВ

РУССКОЕ УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Новый учебник отличают не только соответствие современной университетской программе и солидный объем. В книге отражено нынешнее состояние нашей науки о фольклоре, полнее, чем это делалось прежде, учтены недавние исследования. Перед нами наиболее содержательная по фактическому материалу и вместе с тем наиболее теоретичная книга такого рода за последние десятилетия.

Введение дает более основательно и точно, чем в предшествовавших пособиях, разностороннюю характеристику предмета. Показаны место фольклора среди других видов искусства, органичность соединения слова, музыки и элементов театрального искусства в самом фольклоре. Социальная природа, особенности содержания, художественное своеобразие, сочетание коллективного и индивидуального начал в творческом процессе, устойчивость и изменяемость произведений в традиции, вариативность и другие черты фольклора охарактеризованы четко, конкретно, достаточно детально, но без расплывчатости, в емком, энергичном изложении. (Эти особенности подачи материала присущи не только общетеоретическому разделу, но и большинству глав учебника). Завершающий введение компактный очерк истории русской дооктябрьской и советской фольклористики сосредоточивает внимание на центральной проблематике.

Столь же высок уровень написанной просто и вместе с тем теоретически насыщенной весьма важной главы «Система жанров русского фольклора». Конкретный материал далее рассматривается по жанрам соответственно общей схеме их, обоснованной здесь.¹ В первой части учебника отдельные главы посвящены календарной обрядовой поэзии, семейно-обрядовой поэзии, заговорам, посьловицам, загадкам, сказкам, преданиям, легендам, былинам, историческим песням, балладам, традиционным необрядовым лирическим песням, частушкам, народной драме и театру.

Вторую часть книги составляет исторический очерк русского фольклора. Здесь охарактеризовано его историческое развитие, начиная от доклассового общества и кончая современностью. Особо рассмотрен рабочий фольклор. Завершают эту часть две взаимосвязанные теоретические главы, посвященные общенародным явлениям в русском народном поэтическом творчестве и его национальной специфике, а также глава, рассматривающая взаимоотношения фольклора и литературы.

Книга современно оформлена. Все списки рекомендуемых источников и исследований пронумерованы, что позволило давать экономные отсылки к соответствующим номерам при цитировании; учебник снабжен тремя указателями: предметно-тематическим, основных персонажей русского фольклора, исследователей, собирателей и исполнителей его. Даются портреты наиболее выдающихся народных сказителей и ученых фольклористов, а также многочисленные иллюстрации: снимки лубочных картин, вышивок, кружев, резьбы, народной росписи, скульптуры и т. п. Этот материал иногда прямо соотносится по своим мотивам с рассматриваемыми тут же фольклорными текстами и сопровождается в некоторых случаях особыми пояснениями.

Таков общий облик книги. Главы ее первой части строятся более или менее единообразно, хотя особенности того или иного жанра, его «удельный вес» влияют существенно на план посвященной ему главы, определяют и степень детализации.

Рассмотрение былин, например, после развернутого определения жанра, объяснения термина «былина», краткой истории их собирания, публикации и исследования, содержит особые разделы: место и время сложения былин (даны различия основных точек зрения), географическое распространение их (преимущественно изложен результат недавней специальной работы). Затем идет раздел о создателях и исполнителях былин. Н. И. Кравцов и С. Г. Лазутин указывают, что этот вопрос не должен решаться однозначно. Известные свидетельства о Бояне и словутном певце Митусе справедливо истолковываются как подтверждение того, что в средневековой Руси были профессиональные певцы при дворах князей: согласно «Слову о полку Игореве», Боян пел славу «старому Ярославу, храброму Мстиславу, красному Роману Святославичу»; согласно упоминанию в Ипатьевской летописи (1221 год), «песнь славну» пели князьям Даниилу и Василью после победы их над ятвягами. Однако эти указания трудно соотносить прямо с созданием или даже исполнением именно былин. По предположению, высказанному в учебнике, «начальной формой былин», возможно, являлось «творчество дружинных певцов, слагавших песни не о князьях, а о „храбрах“» (с. 148). Скоморохам же, «вероятно,

¹ Как сказано в предисловии, учебник рассматривает «наиболее ценные явления» русского фольклора (с. 5). В связи с этим некоторые жанры его, изучение которых программой не предусматривается, в схеме не отражены.

принадлежит некоторая роль в обработке былин и поддержании эпической традиции, но преувеличивать эту роль нельзя», так как «репертуар скоморохов в основном был комическим, шуточным, порой сатирическим, но не эпическим, не героическим» (с. 148—149). Н. И. Кравцов и А. Г. Лазутин пишут, что «основными создателями и носителями былин следует считать крестьян» (с. 149), напоминают о широко известных мастерах-сказителях в крестьянской среде, передают данные собирателей о существовании среди северных крестьян целых школ певцов. В связи с выводами А. М. Астаховой о трех типах сказителей авторы справедливо оспаривают стремления «идеализировать импровизации, которые сказители вносят в тексты былин» (с. 149).² Действительно, если бы в их среде постоянно преобладали импровизации подобные тем, какие нередко практиковала Марфа Семеновна Крюкова, то было бы трудно на материале записей XIX—XX веков иметь представление о традициях былинной классики.

Следующий раздел посвящен сюжетному составу былин и их классификации. Здесь обосновано разделение сюжетов на воинские и социально-бытовые (термин более точный, чем «новеллистические»), указано, что это не отменяет деления их по «территориальному» принципу на киевский и новгородский циклы, «с поправкой, которая подчеркивает, что былины создавались и в других областях» (с. 150). Действительно, в ряде былин нет речи ни о Киеве, ни о Новгороде, а герои таких произведений часто вообще не фигурируют в сюжетах, соотносимых с этими двумя центрами Древней Руси. Однако приурочение действия былины к Киеву само по себе не свидетельствует, что там она и была сложена. О Киеве могли петь слагатели былин и в Северной Руси. Об этом справедливо писал еще В. Ф. Миллер.³ Киевский и новгородский циклы — в значительной мере условность, принимаемая для удобства группировки по внешнему признаку. Авторы учебника напоминают, что некоторые исследователи «учли особенности сюжетов и образов героев, которые хранили в себе черты владимиро-суздальские, рязанские и галицко-волыньские» и «пришли к выводу, что былины слагались не только в киевских и новгородских, но и в других русских землях» (с. 150). Думается, что такие выводы требуют одного уточнения: в былинную форму сюжет не обязательно облекался там, где он возник или был существенно переработан: былина может хранить «географические приметы» своего источника, относившегося к иному жанру. Впрочем, это уже «тонкость», не столь, может быть, и обязательная для учебного пособия.

Перейдя к конкретному рассмотрению былинных сюжетов, Н. И. Кравцов и С. Г. Лазутин, естественно, начинают с древнейших, но упоминают здесь и о более поздних, сохраняющих некоторые архаичные черты (былины о Дунае, о Пóтыке, о Добрыне и Змее). В учебнике говорится о правомерности двоякого объяснения былинной архаики: «процесс историзации былин довольно убедительно доказан учеными, хотя он не исключает и обрастания исторического ядра мифологическими и сказочными элементами» (с. 152). Можно спорить, какое из этих объяснений предпочтительно в том или ином конкретном случае; «мифологизация» сюжета, восходившего к историческим фактам, иногда сопутствовала его же вторичная «историзация», связанная с впечатлениями о более поздних событиях.

Далее говорится о воинских былинах киевского цикла — в последовательности, определяемой центральными образами Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеша Поповича; особо сказано о произведениях, посвященных отражению татарского нашествия. После рассмотрения социально-бытовых былин охарактеризована эволюция образа Владимира. Далее — разделы о новгородских былинах. В конце главы дается разносторонняя характеристика былинной поэтики и объяснено историко-культурное значение былин, которые «представляют собой художественную историю русского народа в период феодализма» (с. 169).

В главе рассказано коротко, но увлекательно почти о каждом из основных произведений былинного эпоса. При этом существенное внимание уделено как самим образам центральных персонажей, так и отношению их к историческим лицам. Разговор о сюжетах нередко сопровождается кратким изложением существующих гипотез о соотносении отдельных былин с реальными событиями русской истории, точно указываются исторические факты, послужившие, согласно исследованиям, отправным материалом тех или иных былин. Это выгодно отличает новую книгу от ряда предшествовавших, в частности — от выпущенного шесть лет назад пособия для филологических факультетов пединститутов (во многих отношениях весьма удачного, но все же уступающего рецензируемому).⁴ Затянувшийся спор

² Указание в данной связи на А. М. Крюкову — опечатка. Речь идет, конечно, об ее дочери — М. С. Крюковой.

³ Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, т. I. М., 1897, с. 88—89.

⁴ См.: Русское народное поэтическое творчество. Под ред. Н. И. Кравцова. М., 1974.

между сторонниками и противниками соотнесения былин с реальными фактами русской истории не должен мешать ознакомлению студентов с конкретными результатами работ исторического направления.

Хорошо, что изложены довольно подробно и основные позиции этого направления, хотя само их изложение кое-где отразило вошедшие в литературу шаблоны, исходившие от его недостаточно внимательных критиков. Справедливо указано, например, что Всеволод Миллер и другие представители исторической школы «сделали открытия в области художественной специфики былин» (с. 261), но в другом месте говорится, будто тот же Всеволод Миллер изучал былины, «забывая, что они представляют собой поэтические произведения» (с. 145). В характеристиках существующих направлений эпосоведения хотелось бы иной раз видеть более точное освещение существующих различий. Справедливо указано, что взгляды Б. А. Рыбакова и других представителей исторического направления в советской науке существенно отличаются от взглядов Всеволода Миллера. Но В. Я. Пропп и его последователи фигурируют как единомышленники А. П. Скафтымова (с. 145), хотя в его позициях было существенное отличие: критикуя недостаточно обоснованные интерпретации Всеволода Миллера, сам А. П. Скафтымов тем не менее считал, что основы эпоса восходят к реальным фактам: он предполагал в былинах «сюжетное ядро», которое «когда-то дорого было самой фактичностью своею, как воспроизведение определенного события подлинной жизни, всем известного и имеющегося в виду».⁵

Однако в целом читателю книги достаточно ясны сущность споров и различия основных направлений изучения былин. Аналогично обстоит дело и в освещении некоторых других крупных дискуссионных вопросов. Но естественно, что далеко не всякое расхождение исследователей должно особо оговариваться в учебном пособии. Иной раз оно проявляется косвенно, например, в вопросах жанровой принадлежности отдельных текстов или их групп. В главе о балладных песнях подробно охарактеризовано одно из выдающихся произведений этого жанра — «Авдотья Рязаночка» (с. 194, 199; см. также с. 273). Однако первое развернутое упоминание о нем читатель встречает в главе, посвященной историческим песням. Правда, здесь оговорено, что песню об Авдотье Рязаночке «есть основание относить к историческим балладам», ибо, несмотря на «широкий исторический аспект», в ней «ясна тема личных, семейных отношений» (с. 177).

Главы, посвященные преданиям и легендам, отразили результаты довольно интенсивной работы над разнородным материалом «несказочной прозы» в течение последних полутора десятков лет. Н. И. Кравцов и С. Г. Лазутин обстоятельно рассматривают специфику преданий, поясняют отграничение их от устных рассказов-воспоминаний (с. 123), демонстрируют тематическое многообразие народных легенд. Четко сказано, что одной из разновидностей их являются «былички» (с. 34, 346), что легенды не сводятся к произведениям христианской тематики; от преданий они «отличаются тем, что основой повествования служат фантастические явления» (с. 134). Говорится о систематизации как легенд, так и преданий. Дается конкретная характеристика преданий по историческим периодам.

Можно было бы пожелать более органичной увязки этих глав с находящимися во второй части книги разделом о так называемых сказах. Здесь пояснено, что сказ «представляет собой простой рассказ-воспоминание о событиях сравнительно недавнего прошлого» (с. 288). Но при дальнейшем рассмотрении этим термином обозначаются и повествования о весьма отдаленных временах, причем сообщено, что одни из таких сказов «непременно включают в себя фантастические образы», а другие «напоминают исторические предания» (с. 293). Думается, что последовательнее прямо называть подобного рода материал легендами и преданиями.⁶ С общим разграничением их трудно увязать упоминание на с. 271 «преданий фантастического характера».

Неизбежные для авторов любого учебника сложности в данном случае усугублялись «текучестью» разнородной исследовательской литературы о «несказочной прозе». В отличие, например, от проблемы историзма былин, здесь не сформировалось нескольких направлений, каждое из которых можно охарактеризовать отдельно. Приведение же существующих работ к общему знаменателю пока неосуществимо.⁷ Более детально представить себе, в чем единство исследователей и

⁵ Скафтымов А. П. Поэтика и генезис былин. М.—Саратов, 1924, с. 100. См. также с. 101—102.

⁶ Ср. с. 112—122 в указанном на с. 307 учебника сборнике «Устная поэзия рабочих России» (М.—Л., 1965).

⁷ Особенно — работ, отражающих разные уровни развития этой молодой еще отрасли нашей фольклористики, где бывали и недостаточно достоверные публикации текстов, и недостаточно серьезные исследования, которые, может быть, не стоило вообще упоминать в учебнике (например, книги под №№ 11 и 33 на с. 307 или статью о современных сказах, названную на с. 334).

в чем их расхождения, читатели этих, как и всех других, глав могут с помощью прилагаемых в конце их списков литературы. Рекомендательные перечни ее в целом хорошо продуманы и призваны отразить по возможности равномерно главные тематические разделы каждой главы. Правда, в отдельных случаях из-за резких различий в степени изученности некоторых тем не все даже наиболее значительные работы оказывалось возможно упомянуть или, напротив, приходилось указывать почти все существующее.⁸

В рецензии нет возможности (да и необходимости) особо характеризовать каждую из 25 глав. Разобранные примеры дают достаточное представление о высоком качестве книги и о характере встречающихся недочетов. Обусловленные состоянием науки, они в такого рода пособия неизбежны (но при его переиздании частично могут быть сняты). Главная трудность состояла в том, чтобы отразить в «статичном» резюме учебника сложную динамику той области гуманитарных наук, где дискуссионно еще слишком многое, включая даже самый предмет изучения. Другая трудность проистекает из «неохваченности» вполне серьезными работами некоторых разделов этого предмета. Особенно в такой важной (и непростой для исследования) области как современный фольклор. Н. И. Кравцов и С. Г. Лазутин справедливо констатируют, что «не все вопросы, связанные с изучением советского фольклора, к настоящему времени исследованы достаточно глубоко и полно» (с. 335). Книга важна далеко не в последнюю очередь именно тем, что позволяет наглядно видеть, какие участки нашей науки о фольклоре более всего требуют приложения новых усилий и в каких направлениях.

Авторы скромно выражают надежду, что учебник «будет полезен не только студентам, но и аспирантам и преподавателям» (с. 6). Добавим: каждому, кто связан с изучением русского устного народного творчества. Наиболее широкий интерес представляют те отделы книги, где особенно ощущается живое «биение пульса» современной фольклористики.

⁸ Попадают отдельные неточности. В списке на с. 170 указание под № 12 выглядит так: «Былины об Илье Муромце в общерусской устной традиции XVIII—XX веков. М.—Л., 1958». Это название не всей книги, а одного из разделов антологии А. М. Астаховой «Илья Муромец» (М.—Л., 1958).

О. В. ТВОРОГОВ

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В СОВЕТСКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ (1968—1977)

В обзорах литературы, посвященной «Слову о полку Игореве», неизменно подчеркивается обилие статей и заметок об этом памятнике, то большое место, которое занимают исследования «Слова» в развитии русской науки — прежде всего филологии, а также истории, искусствоведения и истории культуры. Тем не менее мы не можем забывать о парадоксальном положении: после сотен статей и заметок о «Слове» недавно оказалось возможным вновь вернуться к самому решающему вопросу, который как бы отменяет все достигнутые результаты — к вопросу о подлинности «Слова». Действительно, если бы оказалось, что «Слово» не памятник XII века, а искусная мистификация восемнадцатого столетия, то тем самым были бы дискредитированы и сами методы филологического исследования, сама возможность гуманитарных наук достичь объективной истины.

Вот почему дискуссия 60-х годов о времени создания «Слова» явилась своеобразной проверкой результативности, доказательности наших исследований, испытанием их методологической основательности. Дискуссия привлекла внимание к новым аспектам изучения «Слова», выдвинула новые, более строгие требования к системе научных доводов, отвергла некоторые несовершенные исследовательские приемы и необоснованные утверждения.

Дискуссии о времени создания «Слова» посвящена большая литература, и не имеет смысла возвращаться к ней в данной статье.¹ Наша цель — кратко осветить основные направления в изучении «Слова», определившиеся после этой дискуссии и подытожить некоторые результаты научных разысканий в различных областях «слововедения».

* * *

Для изучения «Слова» весьма существенны обстоятельства находки мусин-пушкинского сборника со «Словом», характеристика его состава и выяснение принципов издания текста. Без всего этого нельзя объективно решить вопрос о подлинности «Слова», анализировать его язык и реконструировать историю бытования текста памятника в древнерусской письменности.

История приобретения А. И. Мусиным-Пушкиным сборника со «Словом» существенно прояснилась после разысканий Г. Н. Моисеевой.² Ей удалось на основе архивных материалов подтвердить версию, что сборник был приобретен графом в Ярославле (и вероятнее всего — при посредстве архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля).³ Обнаруженный исследовательницей труд Василия Крашенинникова «Описание земноводного круга», в числе источников которого был «Большой Спасо-Ярославский хронограф» (отождествляемый ею с мусин-пушкинским сборником, который, как известно, начинался хронографом), позволил подтвердить выдвигавшееся ранее определение этого хронографа как хронографа Распространенной редакции 1617 года.⁴ Это уточнение заставляет нас пересмотреть традиционный взгляд на весь сборник как на рукопись XV—XVI веков; он представлял собой, видимо, конволют, в котором лишь вторая часть (летопись, повесть и «Слово») датируется указанным временем. Данная гипотеза имеет существенное значение для утверждения подлинности «Слова»: фальсификатор — если бы таковым оказался автор памятника — никогда не включил бы подделку, выдаваемую за произведение XII века, рядом с хронографом XVII века. Но обстоятельства приобретения рукописи и первые шаги в ее изучении требуют дальней-

¹ Основную библиографию вопроса см.: Дмитриев Л. А. 175-летие первого издания «Слова о полку Игореве» (Некоторые итоги и задачи изучения «Слова»). — ТОДРЛ, т. XXXI, 1976, с. 6, прим. 16.

² Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». К истории сборника А. И. Мусина-Пушкина со «Словом». Л., 1976. Некоторые положения этой работы были сообщены Г. Н. Моисеевой также в статьях в журнале «Русская литература» (1975, № 4) и «Вопросы истории» (1976, № 12).

³ О Иоиле см.: Кузьмина В. Д. Иоиль Быковский — проповедник, издатель «Истинны» и первый владелец рукописи «Слова о полку Игореве». — В кн.: Древнерусская литература и ее связи с новым временем. Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1967, с. 25—48; Филипповский Г. Ю. Дневник Арсения Верещагина. (К истории рукописи «Слова о полку Игореве»). — Вестник МГУ, филология, 1973, № 1, с. 64—71.

⁴ Подробнее см.: Творогов О. В. К вопросу о датировке мусин-пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XXXI, 1976, с. 138—140.

ших разысканий, и Л. А. Дмитриев справедливо считает, что одной из актуальных задач, «важной как для изучения „Слова о полку Игореве“, так и для истории русской культуры, является монографическое исследование об А. И. Муспне-Пушкине, открывшем „Слово о полку Игореве“ и издавшем его».⁵ Любопытный материал об Я. И. Булгакове, принимавшем участие в работе над переводом «Слова» вместе с его первоиздателями, ввел в научный оборот Ф. Я. Прийма.⁶ Это наглядное свидетельство того, что мы еще не исчерпали всех возможностей расширить наши сведения об обстоятельствах приобретения «Слова» и о начальном этапе его исследования.

Вновь привлекли внимание принципы воспроизведения текста «Слова» в издании 1800 года.⁷ Автор данного обзора, сопоставив и проанализировав многочисленные разночтения между первым изданием и Екатеринбургской копией «Слова», пришел к выводу, что издатели, стремясь к максимально точному воспроизведению текста (то есть самих слов), весьма произвольно отнеслись к воспроизведению орфографии древней рукописи. Поэтому не следует доверять утверждению А. Ф. Малиновского, что текст памятника издан «буква в букву». Но вольное обращение с орфографией оригинала отнюдь не является результатом небрежности издателей; напротив, буквальное воспроизведение древнерусского текста считалось на рубеже XVIII—XIX веков неоправданным и даже пагубным педантизмом.⁸ О возможных неточностях в передаче текста «Слова» необходимо, однако, помнить при его лингвистической интерпретации.

В 60—70-х годах осуществлен ряд фундаментальных исследований лексического состава «Слова». Прежде всего следует упомянуть выходящий с 1965 года «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», в котором каждая лексема «Слова» рассматривается и толкуется на фоне обширного словарного материала, извлеченного из нескольких сотен древнерусских литературных памятников и деловых документов, а также памятников фольклора и записей народных говоров.⁹ Значение «Словаря» достаточно освещено в появившихся на него рецензиях,¹⁰ здесь же подчеркнем лишь одно обстоятельство. В поисках новых прочтений так называемых «темных мест» или в попытках иных толкований традиционных прочтений авторы таких исправлений и конъектур иногда совершенно напрасно игнорируют «Словарь», не учитывают, что каждая словарная статья в нем суммирует результаты специальных разысканий составителя, а также привлекает материалы богатейших картотек древнерусского языка — Картотеки ДРС и картотеки «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.».¹¹ Если же предлагаемое комментатором слово или значение отсутствует в «Словаре», то это свидетельствует о крайней гипотетичности такого вновь вводимого слова или значения.

Большое значение для изучения лексики и фразеологии «Слова» имеет и вышедшая в 1968 году монография В. П. Адриановой-Перетц.¹² Исследовательница поставила своей целью показать, что «весь словарный материал, из которого построено „Слово“, при всем его художественном своеобразии, вполне соответствует тому способу выражения, который зафиксирован в разных типах книжного и народного письменного языка домонгольского времени».¹³ Автору удалось проиллюстрировать эту мысль богатейшим подбором как лексических параллелей к «Слову», так и аналогичных по структуре словосочетаний, которые подтверждают нормативность лексики и грамматики памятника для древнерусского языка старшего периода.

В последние годы велись сопоставления языка «Слова» с языком народных говоров. В статьях В. В. Нимчука приведен ряд существенных параллелей к «Слову» из записей украинской народной речи (особенно интересны этиюды

⁵ Дмитриев Л. А. 175-летие первого издания «Слова о полку Игореве», с. 13. См. также: Дмитриев Л. А. Первые издатели «Слова». — Вестник АН СССР, 1976, № 4, с. 97—103.

⁶ Прийма Ф. Я. Он также был причастен... — Русская литература, 1975, № 2, с. 130—133.

⁷ Эта задача была сформулирована еще Д. С. Лихачевым в статье «История подготовки к печати текста „Слова о полку Игореве“ в конце XVIII в.» (ТОДРЛ, т. XIII, 1957).

⁸ Творогов О. В. К вопросу о датировке..., с. 141—158.

⁹ Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Составитель В. Л. Виноградова, вып. 1, А—Г. М.—Л., 1965; вып. 2, Д—Копье. Л., 1967; вып. 3, Корабль—Нынешний. Л., 1969; вып. 4, О—П. Л., 1973; вып. 5, Р—С. Л., 1978.

¹⁰ См., например, рецензию Н. М. Дылевского (Вопросы литературы, 1966, № 2) и Л. С. Ковтун (Научн. докл. высшей школы. Филолог. науки, 1970, № 5).

¹¹ Характеристику обеих названных картотек см.: Лингвистические источники. Фонды Института русского языка. М., 1967, с. 100—103.

¹² Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968.

¹³ Там же, с. 43.

к выражениям «си ночь», «босуви врани», «время Бусово», «истягну умь»);¹⁴ обширный круг лексем «Слова» комментируется в обстоятельной статье Б. В. Кобылянского.¹⁵ Продолжил свои разыскания на материале памятников, происходящих из бывшей Новгород-Северской земли, С. И. Котков.¹⁶ В. А. Козыреву удалось обнаружить в современных брянских говорах (на территории той же Новгород-Северской земли) следы многих речений «Слова», в том числе таких редких, как «босый волк», «зарание», «чаица», «смагу мыкать», «карна» и другие.¹⁷ В итоге этих сопоставлений существенно сокращается список редких и непонятных лексем «Слова», к тому же диалектные параллели подтверждают гипотезы о месте его написания. Приходится лишь сожалеть, что переводчики и комментаторы «Слова» еще недостаточно привлекают эти материалы, достоверность и научная значимость которых не подлежат сомнению.

Если словарный состав «Слова о полку Игореве» в настоящее время уже достаточно исследован, то этого, к сожалению, нельзя сказать о грамматическом строе памятника. По существу, после работы С. П. Обнорского, в значительной степени устаревшей,¹⁸ не предпринималось иных попыток рассмотреть весь языковой строй памятника в грамматическом аспекте. На необходимость создания исчерпывающего грамматического комментария к «Слову» указал недавно Н. А. Мещерский. Он подчеркнул, что такой анализ позволил бы в ряде случаев правильное понять смысл текста, отвергнуть некоторые недостаточно обоснованные толкования.¹⁹ Следует заметить, что на спорность или ошибочность некоторых общепринятых прочтений нередко указывают авторы статей, в которых предлагаются различные конъектуры и поправки к тексту «Слова». Но в таких статьях на первый план выдвигаются именно эти новые прочтения, в большинстве случаев еще менее аргументированные и убедительные, чем отвергаемые; отвергая их, мы порой игнорируем и справедливую критику традиционного понимания текста «Слова».

Из лингвистических работ о «Слове» упомянем статью Т. Н. Кандауровой,²⁰ в которой справедливо критикуется точка зрения С. П. Обнорского, считавшего, что в оригинале „Слова“ большое место занимала лексика с полногласными сочетаниями в корнях и что последним писцом чисто механически была произведена ее перелицовка на болгарский неполногласный тип. Т. Н. Кандаурова отмечает, что в «Слове» «книжно-славянская неполногласная лексика совершенно явно преобладает над восточнославянской полногласной» (по подсчетам автора на первую приходится 51 лексема и 144 словоупотребления, а на вторую — 34 лексем и 58 словоупотреблений), но что это соотношение является обычным «для всех памятников народно-литературного типа древнерусского языка», и нет оснований говорить о какой-либо нарочитой церковнославянизации в известном нам списке «Слова». Рассматривая приписку в Псковском Апостоле 1307 года сравнительно с отразившимся в ней фрагментом «Слова», автор полемизирует с Л. П. Якубинским, считавшим на основании того же сопоставления, что «в ряде случаев церковнославянизмы известного нам списка „Слова“ являются вторичными и отсутствовали в оригинале „Слова“».²¹

Активно обсуждаются сейчас проблемы поэтики и жанра «Слова». Споры о жанре памятника имеют уже длительную историю.²² Отсутствие жанровых аналогий «Слову» среди известных нам памятников древнерусской литературы, соче-

¹⁴ Німчук В. В. «Слово о полку Ігоревім» і народна мова. — Мовознавство, 1967, № 4, с. 79—81; 1968, № 1, с. 36—40; 1971, № 1, с. 13—20.

¹⁵ Кобылянский Б. В. Диалектна лексика у «Слові о полку Ігоревім». — Мовознавство, 1970, № 4, с. 64—73.

¹⁶ См., например: Котков С. И. Лексические элементы «Слова о полку Игореве», связанные с Новгород-Северской землей. — Русская речь, 1975, № 5, с. 13—24.

¹⁷ Обобщение наблюдений В. А. Козырева см. в его статье: «Словарный состав „Слова о полку Игореве“ и лексика современных русских народных говоров» (ТОДРЛ, т. XXXI, 1976, с. 93—103).

¹⁸ Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.—Л., 1946, с. 132—198.

¹⁹ Мещерский Н. А. Необходим полный историко-грамматический комментарий к тексту «Слова о полку Игореве». — В кн.: По новым программам. Петрозаводск, 1970, с. 304—314. На значение этимологического анализа при толковании «темных мест» «Слова» указал также О. Н. Трубачев (Трубачев О. Н. Этимология и текст. — В кн.: Современные проблемы литературоведения и языкознания. К 70-летию со дня рождения академика Михаила Борисовича Храпченко. М., 1974, с. 448—449).

²⁰ Кандаурова Т. Н. Полногласная и неполногласная лексика «Слова о полку Игореве» (К вопросу о датировке памятника). — В кн.: Вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1973, с. 76—99.

²¹ Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953, с. 325.

²² Напомним о работах В. Ф. Ржиги, А. А. Назаревского, И. П. Еремина и других исследователей.

танье в нем книжной стихии со стихией фольклорной, наконец, различные определения жанра произведения («слово», «песнь», «повесть») самим автором — все это существенно затрудняло решение вопроса и побуждало к типологическим сопоставлениям — к рассмотрению «Слова» на фоне жанровой системы не одной лишь древнерусской литературы, но и других литератур европейского и азиатского средневековья.

Ученые подходят сейчас к проблеме жанра с разных сторон. Так, Д. С. Лихачев обратил преимущественное внимание на процессы развития древнерусской литературы XI—XIII веков, когда формировалась новая система жанров и когда обе традиционные жанровые системы — и литературная, и фольклорная — оказались все же недостаточными для реализации новых тем, подсказанных специфической общественно-политической ситуацией развития древней Руси. Именно этим, по мнению Д. С. Лихачева, и объясняется появление произведений, которые «трудно отнести к какому-нибудь из прочно сложившихся традиционных жанров», так как «они стоят вне традиционных жанров».²³ К числу таких «внежанровых» произведений могут быть отнесены и «Повесть временных лет», и «Поучение» Владимира Мономаха, и «Моление Даниила Заточника», и «Слово о полку Игореве». В то же время «Слово» является вполне закономерным и характерным явлением для литературы и фольклора раннефеодального периода, сближаясь с типичными для европейского средневековья лиро-эпическими *chansons de geste*.²⁴

Это сходство обстоятельно анализируется в исследованиях А. Н. Робинсона, поставившего задачу «найти и обосновать... место («Слова о полку Игореве», — О. Т.) в ряду эпических произведений западного и восточного феодального мира».²⁵ Сложность сопоставительно-типологического подхода в данном случае вызвана тем, что следует учитывать, с одной стороны, «социально-историческую близость феодальных идеологий и культур», позволяющих осуществить такое сближение, а с другой — «народно-национальную оригинальность», «конкретно различные принципы эпической идеализации героев», присущие каждой отдельно взятой национальной литературе. А. Н. Робинсон убедительно показывает, как общие для памятников средневекового героического эпоса мотивы (идея защиты отечества, понятие рыцарской чести, предостережение о этикете отношений сюзерена и вассала, образ тоскующей в разлуке жены или возлюбленной героя, принцип изображения природы и изображения ее участия в повествовании и т. д.) по-разному проявляют себя в разных культурах и разных памятниках. Заслуживают внимания, в частности, наблюдения А. Н. Робинсона над тем, что в «Слове» возможности эпической идеализации героев оказались существенно ограниченными, поскольку в основе сюжета лежало современное автору событие и поэтому «характер поэтического освещения и истолкования» его определялся тем, что автор обращался к своим слушателям «с песней-рассказом о них самих».²⁶

Жанровая природа «Слова» неразрывно связана с поэтикой памятника. Она также своеобразна и необычна для древнерусских памятников, принадлежащих к каноническим традиционным жанрам, так как в «Слове» сочетается поэтика, определяемая канонами стиля монументального историзма, с поэтикой фольклора. Соответствие «Слова» поэтическим представлениям XI—XIII веков рассматривалось в названной выше книге В. П. Адриановой-Перетц.²⁷ Д. С. Лихачев в специальной работе исследует эту проблему более подробно.²⁸ Он отмечает, что в «Слове» нашел отражение свойственный стилю монументального историзма принцип «ландшафтного зрения», когда предмет или событие рассматривается автором как бы с большого удаления, пространственного или временного: в поле его зрения оказывается не только тот отдельный пункт, где развивается действие, но и сопредельные земли, событие рассматривается на фоне широкой исторической перспективы. «Слово» постоянно обращается к деяниям минувшего и героям прошлого, постоянно вспо-

²³ Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и процесс жанрообразования XI—XIII вв. — ТОДРЛ, т. XXVII, 1972, с. 71.

²⁴ Там же, с. 75.

²⁵ Здесь и далее цитируется статья: Робинсон А. Н. «Слово о полку Игореве» и героический эпос средневековья. — Вестник АН СССР, 1976, № 4, с. 104—112.

²⁶ См. также: Робинсон А. Н. 1) Литература Киевской Руси среди европейских средневековых литератур (Типология, оригинальность, метод). — В кн.: Славянские литературы, VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968, с. 49—116; 2) О закономерностях развития восточнославянского и европейского эпоса в раннефеодальный период. — В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 178—224; 3) Закономерности развития средневекового героического эпоса и символика «Слова о полку Игореве». — В кн.: Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов. М., 1978, с. 150—165.

²⁷ Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков, с. 3—40.

²⁸ Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — Русская литература, 1976, № 2, с. 24—37.

минает «дедовскую славу». Монументальному историзму свойственно сочетание церемониального, геральдического и потому как бы застывшего в своей «этикетной» позиции изображения (например, князя, восседающего на престоле) с описанием стремительных передвижений в пространстве: в окрестные земли движутся княжеские дружины, по всем странам разнесится слава о его подвигах или вести о постигших его бедах и он сам — подобно Всеславу Полоцкому — может с фантастической скоростью преодолевать огромные расстояния. Церемониально, этикетно изображение в «Слове» отношений сюзерена и вассала, князя и подданных (см., например, золотое слово Святослава или обсуждение им вешего сна в кругу бояр). Таким образом, наши сведения об эстетических представлениях XI—XII веков, основанные на знакомстве с другими памятниками этой поры, помогают лучше понять «Слово», а само «Слово» прекрасно иллюстрирует эти представления своей образной системой и чертами своей поэтической структуры.

Эстетические представления автора «Слова» в сопоставлении с эстетической системой древнерусского фольклора и литературы рассматриваются также в статье У. М. Конана.²⁹

Очень интенсивно разрабатывалась в последние годы тема «„Слово о полку Игореве“ и славянский фольклор». Сопоставлениям с памятниками устного народного творчества посвящена работа В. П. Адриановой-Перетц, недавно переизданная,³⁰ глава о «Слове» в составе коллективной монографии «Русская литература и фольклор»,³¹ статья А. А. Зимина;³² завершен цикл статей В. Ф. Мочульского о сходных поэтических образах в «Слове» и белорусском фольклоре.³³

Но особенно много сделано в последние годы в области сравнения поэтики и образной системы «Слова» с эпосом южных славян. Обращение исследователей «Слова» к языку и фольклору инославянских народов было предпринято еще в прошлом веке (в трудах Д. Дубенского, В. Ф. Миллера, Н. Ф. Сумцова и др.), однако разыскания эти не носили систематического характера, а в некоторых случаях опирались на ошибочные предпосылки, например, на представления, что «Слово» написано на польском языке или является болгарским по происхождению.

Плодотворно исследующий близость «Слова» к памятникам южнославянского эпоса Ф. Я. Прийма обращает внимание на эпические мотивы, известные как южнославянскому эпосу, так и «Слову» (обмен посланиями или речами между союзниками перед походом на врага, обращение князя к дружине, сходство в изображении отношения природы к событиям и т. д.). Автор приводит параллели к некоторым образам «Слова», таким как «черна земля», «уедие», «цвелити», «рыкати», «соколич» и др.³⁴

Методологически важно следующее заключение Ф. Я. Приймы: «Язык и изобразительные средства поэзии всегда и всюду характеризовались большей зависимостью от предшествующих традиций, чем поэтика прозаических жанров... отпечаток „старых словес“, наиболее раннего грамматического строя древнерусского языка сохранился в знаменитой поэме более определенно, чем в летописях... а это делает не только оправданными, но и научно-актуальными всевозможные попытки разыскать в „Слове о полку Игореве“ элементы общеславянского языка и культуры».³⁵

В других работах Ф. Я. Прийма приводит интересное толкование эпитета «синий» (в словосочетании «синии молнии»), эпитета «незнаем», образа сокола-шестокрыльца.³⁶ Примечательно наблюдение исследователя, что такая, казалось бы, частная деталь, как шелковый рукав Ярославны, которым она хочет утереть раны на «жестоцем» теле Игоря — своего рода эпический устойчивый образ, ибо «при

²⁹ Конан У. М. «Слова аб палку Ігаравым» і народныя эстэтычныя уяўленні старажытнай Русі. — В кн.: Беларуская літаратура і літаратуразнаўства, вып. 4. Мінск, 1976, с. 138—144.

³⁰ Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и устная народная поэзия. — В кн.: Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974, с. 99—119.

³¹ Дмитриев Л. А. «Слово о полку Игореве». — В кн.: Русская литература и фольклор. (XI—XVIII вв.). Л., 1970, с. 36—54.

³² Зимин А. А. «Слово о полку Игореве» и восточнославянский фольклор. — В кн.: Русский фольклор, т. XI. М.—Л., 1968, с. 212—224.

³³ Мочульский В. Ф. «Слово о полку Игореве» и белорусское устнопоэтическое творчество. — Вестник МГУ, филология, 1969, № 4, с. 69—75 (предшествующие разделы работы были опубликованы там же: 1962, № 2, с. 17—33; 1965, № 1, с. 74—84).

³⁴ Прийма Ф. Я. Южнославянские параллели в «Слове о полку Игореве». — В кн.: Русский фольклор, т. XI. М.—Л., 1968, с. 225—239.

³⁵ Там же, с. 239.

³⁶ См.: Прийма Ф. Я. Болгарские параллели к «Слову о полку Игореве». — В кн.: Русско-болгарские фольклорные и литературные связи, т. 1. Л., 1976, с. 45—72. См. также: Прийма Ф. Я. Гнездо «шестикрылых соколов». — Молодая гвардия, 1975, № 12, с. 281—288.

помощи шелковых предметов... производится в болгарских и сербохорватских народных песнях излечение раненых героев». ³⁷ По мнению автора, «не только образность и поэтические „приемы“, но и самый жанр „Слова“ во многом близки тому роду южнославянских эпических песен, которые сербы определяли названием тужбалица, а болгары тѣжна песен (от туга — скорбь), — роду, предназначенному для изображения скорбных событий в жизни народа». ³⁸

Если основной текст «Слова» несомненно соотносится с поэтикой и стилистикой древнерусской литературы и славянского фольклора, то творчество Бояна, о котором упоминается в памятнике, могло бы быть сопоставлено и с другими эстетическими системами, в частности с поэтической системой скандинавского эпоса. Плодотворность такой посылки убедительно, на мой взгляд, показал Д. М. Шарыпкин, отметивший в скандинавском эпосе образы, удивительно сходные с теми, которые присутствуют во фрагментах «Слова», представляющих собой как бы имитацию песен Бояна. ³⁹

Для решения вопроса о жанре «Слова» весьма существенной является характеристика его ритмического строя. Для разысканий в этой области большую ценность представляет работа В. В. Колесова, в которой на основании сопоставлений с древнерусскими акцентованными рукописями и теоретических выкладок об эволюции славянской акцентологической системы предлагается реконструкция системы ударений в «Слове о полку Игореве». ⁴⁰ Видимо, только такое, лингвистически аргументированное прочтение текста «Слова» может явиться фундаментом для дальнейших наблюдений над ритмическим складом памятника. ⁴¹

Памятники древнерусской литературы в подавляющем большинстве своим анонимны. Не известно нам и имя автора «Слова», но тем не менее не прекращаются попытки установить личность создателя памятника. Совершенно бесперспективными, на мой взгляд, представляются поиски автора «Слова» среди лиц, о которых мы знаем лишь как о современниках Игоревых похода или его участниках (например, авторами называли тысяцкого Рагуила Добрынича или его сына), либо как о людях, причастных к книжности (Тимофей, Митуса), но не можем судить о их творчестве, ибо нам не известны какие-либо иные, принадлежащие им, литературные или даже деловые памятники.

В 1972 году вышло в свет фундаментальное исследование Б. А. Рыбакова, в котором, проанализировав огромный материал, автор высказывает (при этом в весьма осторожной форме) предположение, что «Слова» могло быть написано киевским тысяцким летописцем Петром Бориславичем. ⁴² Эта гипотеза отличается от иных догадок об авторе «Слова» тем неоспоримым преимуществом, что мы имеем в этом случае возможность сравнить реальные тексты — текст «Слова» с текстом летописных статей, автором которых считается Петр Бориславич, т. е. можем судить о сходстве политической ориентации и мировоззренческой позиции авторов обоих произведений, а также о литературных приемах и языковой манере летописца, и на основании результатов такого сравнения решать вопрос о вероятности тождества его с автором «Слова о полку Игореве». Ведь оставив в стороне собственно литературное мастерство предлагаемого автора «Слова», мы сами того не замечая совершенно дискредитируем «Слова» как художественное произведение, ибо оказывается, что для создания этого выдающегося памятника было бы достаточно простой осведомленности об обстоятельствах Игоревых походов.

Но и в последнем случае на пути к окончательному решению вопроса остаются немалые трудности, о которых откровенно пишет сам Б. А. Рыбаков: «Нельзя доказать непреложно, что „Слова о полку Игореве“ и летописец „Мстиславова племена“ действительно написаны одним человеком. Еще труднее подтвердить то, что этим лицом был именно киевский тысяцкий Петр Бориславич. Здесь мы, вероятно, повсегда останемся в области гипотез». «Но, — продолжает исследователь, — поразительное сходство, переходящее порою в тождество, почти всех черт обоих произведений (с учетом жанрового различия) не позволяет полностью отбросить мысль об одном создателе этих двух одинаково гениальных творений». ⁴³

³⁷ Прийма Ф. Я. Болгарские параллели... с. 71.

³⁸ Там же, с. 72.

³⁹ Шарыпкин Д. М. 1) «Рек Боян и Ходына...» (К вопросу о поэзии скальдов и «Слове о полку Игореве»). — В кн.: Скандинавский сборник, XVIII. Таллин, 1973, с. 195—201; 2) Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов. — ТОДРЛ, т. XXXI, 1976, с. 14—22.

⁴⁰ Колесов В. В. Ударение в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XXXI, 1976, с. 23—76.

⁴¹ Л. Кулаковский недавно предложил опыт реконструкции музыкальной основы «Слова» (см.: Кулаковский Л. Песнь о полку Игореве. Опыт воссоздания модели древнего мелоса. М., 1977), но судить о ее правомерности и убедительности должны музыковеды.

⁴² Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.

⁴³ Там же, с. 515.

Отправляясь от наблюдений Б. А. Рыбакова, киевская исследовательница В. Ю. Франчук сравнила язык «Слова» с языком тех фрагментов Ипатьевской летописи, которые атрибутируются Петру Бориславичу, и пришла к выводу о существенной языковой близости обоих памятников.⁴⁴ Сам по себе этот факт — независимо от того, насколько он подтвердит авторство Петра Бориславича — очень ценен, так как является еще одним основанием для датировки и локализации «Слова», не говоря уже о том, насколько ценнее он разного рода догадок о возможных авторах «Слова о полку Игореве».

По-прежнему спорным остается вопрос о времени написания «Слова». Мы не будем здесь обсуждать гипотез о его создании в XVIII веке (гипотеза А. А. Зимина) или в середине XIII века (гипотеза Л. Н. Гумилева).⁴⁵ Остановимся лишь на попытках уточнить датировку памятника в пределах последних десятилетий XII века. Часть исследователей считает датирующим признаком имеющееся в «Слове» обращение к галицкому князю Ярославу Осмомыслу. Он умер в октябре 1187 года и, следовательно, «Слово» не могло быть написано позже этой даты. Однако заметим, что для «Слова» характерно изображение позиции автора-очевидца в разные моменты описываемых событий: то в начале похода («Игорь ждет мила брата Всеволода»), то в канун роковой битвы («Черные тучи с моря идут хотят прикрыти 4 солнца»), то непосредственно после поражения Игоря («Се у Рим кричат под саблями половецкими»), то, наконец, в момент возвращения князя из плена («Игорь едет по Боричеву...»). В этом ряду естественно обращение к Ярославу, ибо в год похода Игоря он был еще жив.

Другую датировку предложил Б. А. Рыбаков. Он видит в «Слове» политически актуальный призыв («реальное и своевременное обращение»), стремление «собрать воедино все русские военные силы и закрыть образованную Игорем брешь», а это было бы необходимо непосредственно после возвращения князя из плена, т. е. летом 1185 года.⁴⁶

По мнению Н. С. Демковой, «Слово» было написано позднее — в 1194—1196 годах, в период резкого обострения междукняжеских «катор».⁴⁷ Напоминание о походе Игоря и политической ситуации того времени помогло автору «Слова» убедительней выступить против княжеских раздоров и вновь призвать к борьбе с половецкой опасностью. В пользу такой трактовки «Слова», по мнению исследовательницы, говорят многие образы памятника — и фигура Святослава Киевского (в «Сне Святослава» мы встречаем приметы, намекающие на его смерть, а он умер в 1194 году, и изображен он с тем «эпическим преувеличением», которое свойственно изображению давно умерших героев «Слова»), и упоминание, что стяги Владимира «ныне стаха Рюриковы а друзии Давыдови» (имеется в виду соглашение 1194 года между киевским князем Рюриком и его братом Давыдом) и др.

Б. И. Яценко датирует «Слово» 1198—1199 годом, основываясь в своей датировке на анализе исторических событий конца XII века и отражении их в памятнике.⁴⁸

Как можно видеть, вопрос о времени написания «Слова» оказывается теснейшим образом связанным с углубленными исследованиями исторического и источниковедческого характера. Среди них в первую очередь следует назвать фундаментальную монографию Б. А. Рыбакова «„Слово о полку Игореве“ и его современники», представляющую исчерпывающий анализ деятельности героев «Слова» в течение двух десятилетий, предшествовавших событиям 1185 года.⁴⁹ С историческими комментариями к тексту «Слова» выступали также М. Ф. Котляр,⁵⁰ Б. И. Яценко,⁵¹ Г. В. Шты-

⁴⁴ Франчук В. Ю. Мог ли Петр Бориславич создать «Слово о полку Игореве»? (Наблюдения над языком «Слова» и Ипатьевской летописи). — ТОДРЛ, т. XXXI, 1976, с. 77—92.

⁴⁵ См.: Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 305—345. См. также: Рыбаков Б. А. О преодолении самообмана (по поводу книги Л. Н. Гумилева «Поиски вымышленного царства»). — Вопросы истории, 1971, № 3; Гумилев Л. Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? — Русская литература, 1972, № 1; Дмитриев Л. А. К спорам о датировке «Слова о полку Игореве» (по поводу статьи Л. Н. Гумилева). — Там же.

⁴⁶ Рыбаков Б. А. 1) «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 277—282; 2) Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве», с. 405—406.

⁴⁷ Демкова Н. С. К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве». — Вестник ЛГУ, 1973, № 14, история, яз., лит., вып. 3, с. 72—77.

⁴⁸ Яценко Б. И. Солнечное затмение в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XXXI, Л., 1976, с. 122.

⁴⁹ Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971.

⁵⁰ Котляр М. Ф. Хто був Мстислав із «Слова о полку Игоревім». — В кн.: Середні віки на Україні, вип. 2. 1973, с. 122—126.

⁵¹ Яценко Б. И. Кто такой Борис Вячеславич «Слова о полку Игореве»? — ТОДРЛ, т. XXXI, 1976, с. 296—304.

хов⁵² и др. исследователи, однако обзор наш ограничивается собственно филологической проблематикой.

Но и из числа собственно филологических работ мы — из-за ограниченности объема обзора — не можем коснуться некоторых тем. Не рассматриваем мы статьи, посвященные «темным местам» «Слова» или содержащие обоснования новых конъектур к его тексту (работы В. Л. Виноградовой, Н. И. Гаген-Торн, В. И. Дригалкина, Л. П. Жуковской, Н. А. Мещерского, В. Ф. Соболевского, Б. И. Яценко и др.), работы о восприятии «Слова» в XIX веке, о переводах и переложениях памятника русскими, украинскими и белорусскими поэтами (работы И. К. Белододе, В. И. Зайцева, В. В. Кускова, Ф. Я. Приймы, С. П. Пинчука, Ю. С. Пширкова, С. Россовецкого, К. А. Уварова и др.), исследования о связях «Слова» с древнерусским искусством (работы В. В. Кускова и К. А. Уварова). Эта вынужденная ограниченность обзора лишней раз напоминает о необходимости составления и издания аннотированной библиографии работ по «Слову о полку Игореве», которая явилась бы продолжением библиографии Л. А. Дмитриева.⁵³ Мы не имеем и достаточно полной библиографии иностранных работ о «Слове», хотя основные из них отражены в обзорах Ю. К. Бегунова.⁵⁴

Библиографии, обзоры, а также статьи, содержащие обобщение материала,⁵⁵ необходимы исследователям «Слова», его переводчикам и просто ценителям памятника, так как без них сложно ориентироваться в обширнейшей «слововедческой» литературе.

Но «Слово о полку Игореве» не только предмет научных споров и тема научных разысканий. Это замечательный памятник древнерусской литературы, неизменно привлекающий к себе интерес самого широкого читателя. Поэтому, наряду со специальными статьями и заметками, большое познавательное и общественно-политическое значение имеют публикации, обращенные к самому широкому читателю — будь это научно-популярные очерки о памятнике или комментированные издания его текста.

В минувшее десятилетие вышли книги Д. С. Лихачева,⁵⁶ С. Майхровича,⁵⁷ Евгения Осетрова,⁵⁸ С. П. Пинчука,⁵⁹ написанная с увлечением и смелой полемичностью, но к сожалению изобилующая субъективными и ошибочными утверждениями книга поэта Олжаса Сулейменова,⁶⁰ перевод «Слова» с комментариями и статьями А. К. Югова.⁶¹

Было осуществлено несколько переизданий книги «Слово о полку Игореве» с переводом, вступительной статьей и комментариями Д. С. Лихачева,⁶² комментированное издание текста «Слова» и переводов его, принадлежащих украинским

⁵² Штыхау Г. В. Эпизоды гісторыі Полацка у «Слове аб палку Ігаравым». — В кн.: Беларуская літаратура і літаратуразнаўства, вып. 4, с. 111—117.

⁵³ «Слово о полку Игореве». Библиография изданий, переводов и исследований. 1938—1954. Составил Л. А. Дмитриев. М.—Л., 1955.

⁵⁴ Бегунов Ю. К. 1) «Слово о полку Игореве» в зарубежном литературоведении (краткий обзор). — В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Сб. статей к 90-летию Н. К. Пиксанова. Л., 1969, с. 236—249; 2) «Слово о полку Игореве» в зарубежном литературоведении. — Русская литература, 1974, № 2, с. 226—232.

⁵⁵ См., например: Дмитриев Л. А. 175-летие первого издания «Слова о полку Игореве»; Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и скептики. — В кн.: Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975, с. 348—363; Творогов О. В. 1) Мова «Слова о полку Игореве» (Підсумки і завдання вивчення). — Мовознавство, 1975, № 6, с. 3—11; 2) О некоторых задачах изучения «Слова о полку Игореве». — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1975, т. 34, № 4, с. 299—303; 3) Некоторые принципиальные вопросы изучения «Слова о полку Игореве». — Русская литература, 1977, № 4, с. 88—102.

⁵⁶ Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. М., 1976; см. также раздел, посвященный «Слову», в кн.: Лихачев Д. С. Великое наследие, с. 132—205.

⁵⁷ Майхрович С. Слова аб палку Ігаравым. Мінск, 1968.

⁵⁸ Осетров Евгений. Мир Игоревой песни. Этюды. М., 1977.

⁵⁹ Пинчук С. П. «Слово о полку Игоревім» (літературний нарис). Київ, 1968; второе, значительно дополненное и переработанное издание вышло в 1973 году.

⁶⁰ Сулейменов О. Аз и я. Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата, 1975. См. хроники обсуждения книги, помещенные в Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. (1976, т. 35, № 4, с. 376—383) и журнале «Вопросы истории» (1976, № 9, с. 147—154). Рецензии на книгу были опубликованы в журналах «Звезда» (1976, № 6), «Молодая гвардия» (1975, № 12), «Москва» (1976, № 3), «Русская литература» (1976, № 1).

⁶¹ Слово о полку Игореве. Перевод, комментарии и статьи Алексея Югова. М., 1970 (изд. 2-е — М., 1977).

⁶² Слово о полку Игореве. Изд-во «Детская литература» (изд. 4-е — М., 1970; изд. 5-е — М., 1972; изд. 6-е — М., 1975).

поэтам, подготовленное Л. Махновцом.⁶³ В настоящее время готовится новое издание «Слова» с переводом и комментариями известного исследователя этого памятника В. И. Стеллецкого. Ему принадлежит одно из лучших изданий «Слова», вышедшее в 1965 году.⁶⁴

Более 180 лет прошло с тех пор, как «Слово о полку Игореве» привлекло внимание любителей русской древности. С той поры оно стало неотъемлемой и весомой частью нашей национальной культуры. Об этом свидетельствует появление все новых переводов и переложений памятника, неутихающий интерес к толкованию его текста, рекрутирующий комментаторов не только среди ученых, но и в широких кругах любителей русской литературы, и то огромное внимание, которыми окружены каждый новый перевод «Слова» и каждое новое исследование великого памятника древнерусской литературы.

Т. П. ГОЛОВАНОВА

ЛЕРМОНТОВ И УКРАИНА

В последние годы значительно повысился интерес к изучению межнациональных литературных связей. В подходе к ним заметны целеустремленность и последовательность решения отдельных задач.

Так обстоит дело, например, с изучением наследия Лермонтова и его роли в истории национальных литератур. В 1974 году в Ереване вышел сборник «Лермонтов и литература народов Советского Союза», подготовленный к печати Ереванским государственным университетом и Институтом мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. В предисловии указывается, что сборник, созданный коллективными усилиями ученых многих республик и городов нашей страны, продолжает серию, начатую выпусками «Горький и литература народов Советского Союза» (Ереван, 1970) и «Некрасов и литература народов Советского Союза» (Ереван, 1972). Намечен выпуск такого же труда, посвященного Пушкину.

В центре внимания авторов лермонтовского сборника — одна из важнейших проблем современного советского¹ литературоведения — значение классиков русской литературы в формировании и развитии национальных литератур» (с. 3). Работы, посвященные восприятию Лермонтова в инонациональной среде, влиянию Лермонтова на литературы народов СССР, переводам его произведений на языки этих народов, выделены в сборнике как способствующие уяснению важных закономерностей развития многонациональной советской литературы, ее исторического становления во взаимодействии с русской и мировой литературой. К таким работам относятся: «Лермонтов и украинская советская поэзия» И. Я. Заславского, «Лермонтов в белорусской литературе» М. К. Садовской, «Лермонтов и Азербайджан» А. А. Гаджиева, «Лермонтов в грузинской литературе» В. С. Шадури, статьи С. К. Дароняна, Э. М. Джрбашяна и О. С. Ивановой о связях поэзии Лермонтова с армянской литературой, К. Ф. Прейс — «Лермонтов в Латвии», «Лермонтов и литовская литература» В. А. Салинки, «Творчество Лермонтова в Эстонии» С. Г. Исакова, К. Ф. Попович — «Лермонтов и молдавская литература», «Лермонтов и казахская литература» З. А. Ахметова, статья З. У. Умарбековой о Лермонтове и узбекском поэте Усмানে Насыре, о Лермонтове и киргизской литературе — Е. К. Озмителя и В. М. Сердюка, «Произведения Лермонтова в Туркмении» А. Д. Грачевой, «Переводы произведений Лермонтова на таджикский язык» А. З. Розенфельд, «Лермонтов на языках народов Дагестана» Н. В. Капиевой, «Традиции Лермонтова в башкирской поэзии» С. Г. Сафуанова, «Лермонтов в Чувашии» Е. В. Владимирова, И. А. Ким — «Лермонтов и бурятская советская поэзия», статья Р. Ф. Юсуфова о путях освоения наследия Лермонтова народами Северного Кавказа и Поволжья.

Как видим, здесь представлена действительно широкая география вопроса; впервые так зримо в сопоставлении различных национальных культур выясняется значение литературного наследия Лермонтова.

Сборник в целом уже получил оценку в печати.¹ Мы остановимся подробнее на вопросе о влиянии поэзии Лермонтова на украинскую поэзию.

⁶³ Слово о полку Игоревім. Вступна стаття, ред. текстів, ритмічний переклад «Слова» та примітки Л. Махновця. Київ, 1970.

⁶⁴ См.: Слово о полку Игореве. Вступительная статья, редакция текстов, прозаический и поэтический переводы, примечания к древнерусскому тексту и словарь В. И. Стеллецкого. Стихотворное переложение и пояснения к нему Л. И. Тимофеева. М., 1965.

¹ См.: Титов А. Лермонтов и литература народов Советского Союза. Ереван, 1974. — Звезда, 1975, № 6, с. 219—220; Назарова Л. Н. Обзор юбилейной литературы о М. Ю. Лермонтове. (К 160-летию со дня рождения). — Литературная Осетия, 1976, № 47, с. 126—127.

Первые сведения об интересе ряда украинских писателей к Лермонтову были сообщены Н. И. Петровым еще в прошлом веке в «Очерках истории украинской литературы XIX столетия» (Киев, 1884), но они были неполны и недостаточно осмыслены как историко-литературное явление. После революции, в 20-е и 30-е годы к той же теме обращались — главным образом в связи с творчеством Т. Г. Шевченко — А. В. Баргий, С. И. Родзевич, Е. П. Кирилук, И. Я. Айзеншток, А. А. Гозенпуд, А. С. Пулинец. Разрабатывались отдельные аспекты названной выше проблемы в появившихся после Великой Отечественной войны трудах А. И. Белецкого, Ф. Я. Приймы, Д. М. Иофанова, Д. В. Чалого и некоторых других, но предметом специального исследования поэзия Лермонтова в связях с украинской поэзией до последних лет не была.

В конце 60-х годов усилиями участников лермонтовского семинара на филологическом факультете Киевского университета под руководством канд. филол. наук П. Я. Заславского, а также работников научной библиотеки КГУ был подготовлен к печати библиографический указатель в двух книгах «М. Ю. Лермонтов і Україна».²

Первая часть труда содержит указания на библиографические источники труда и сведения об изданиях произведений Лермонтова на Украине (I. Собрания сочинений. Сборники. Отдельные произведения. II. Произведения М. Ю. Лермонтова в книгах других авторов, сборниках и периодических изданиях. III. Переводы произведений Лермонтова на украинский язык). Вторая часть состоит из указателей критических и биографических материалов, изданных на Украине, указателя музыкальных произведений украинских композиторов на слова Лермонтова, именного указателя, а также списка периодических изданий, использованных в труде. Издание, отличающееся научной обстоятельностью и полнотой, значительно обогатило представления о «сфере влияния» Лермонтова в развитии украинской культуры.

На протяжении 1950—60-х годов украинские литературоведы уделяли большое внимание проблеме переводов русской классики,³ о чем свидетельствует, в частности, и изданная в Киеве в 1973 году книга И. Я. Заславского «Поэтическое наследие М. Ю. Лермонтова в украинских переводах» (Киев, 1973).⁴

Изучение поэзии Лермонтова, как она жила и преломлялась в творчестве советских украинских писателей, последовательно велось как в отношении литературы довоенной, так и в отношении украинской лирики военных лет. Еще в 1953 году последняя тема составляла предмет рассмотрения на научной сессии Киевского университета, затем ряд работ на ту же тему на более широком литературном материале появился в научных записках филологического факультета КГУ и в книге П. Я. Заславского «Лермонтов и современность» (1963).⁵

В 1971 году в Киеве вышел сборник «Слово, которое вело в бой», в котором, наряду с воспоминаниями советских писателей о работе во фронтовой прессе, помещены очерки о творчестве фронтовых поэтов, а также о тех писателях прошлого, чье слово обретало новую жизнь на страницах войсковых газет. В этой книге в разделе «Всегда в строю» напечатан очерк Г. Брезницкой «Поэт Лермонтов в Великой Отечественной войне советского народа».⁶ Имена поэтов К. Герасименко, В. А. Смирнова, П. Усенко, Пл. Воронько, Петра Бибы дополнили в этих исследованиях украинскую лермонтовяну.

Книга И. Я. Заславского «М. Ю. Лермонтов и украинская поэзия» (1977) представляет собой обобщающее исследование теоретического и историко-литературного

² М. Ю. Лермонтов і Україна. Бібліографічний покажчик, ч. I—II. Видавництво Київського університету, 1969. (Гл. редактор — доцент КГУ И. Я. Заславский, редактор-библиограф — зав. отд. библиографии научной библиотеки при КГУ А. Д. Балабанов). В предисловии к указателю редакторы сообщают, что ими использован подготовленный в середине 30-х годов и не вышедший в свет труд П. П. Филиповича «Лермонтов в українській літературі», автограф и набранный экземпляр которого сохранил и передал составителям В. А. Мануйлов.

³ См.: Лермонтов М. Вибрані твори. Вступна стаття та ред. перекладів М. Рильського. Київ, 1951. В 1952 году были напечатаны в Киеве «Герой нашего времени» в переводе О. Кундзича, а также поэмы «Мцыри» и «Демон» в переводе В. Сосюры.

⁴ Еще в 1954 году на научной сессии Киевского университета был заслушан доклад И. Я. Заславского «Лермонтов в переводах советских украинских поэтов и некоторые вопросы художественного перевода» (XI наукова сесія, присвячена 300-річчю возз'єднання України з Росією. Тези доповідей, секція філології. КДУ, 1954, с. 52—54; Збірник славистичних праць філол. ф-ту КДУ. Київ, 1958, с. 25—54).

⁵ З а с л а в с к и й И. Я. 1) Поэзия Лермонтова и советские люди в годы Великой Отечественной войны. — В кн.: X научная сессия. Тезисы докладов, секция филологии. Изд. Киевского университета, 1953, с. 34—37; 2) Поэзия Лермонтова в годы Великой Отечественной войны. — Наукові записки КДУ, т. 14, вып. 1. Збірник філол. ф-ту, 1955, № 7, с. 229—242; 3) М. Ю. Лермонтов и современность. Изд. Киевского университета, 1963, с. 105—120.

⁶ Слово, которое вело в бой. Отв. ред. И. Я. Заславский. Изд. Киевского университета, 1971, с. 62—74.

значения. Рассматривая творчество Лермонтова в основных идейных и художественных чертах, автор соотносит их с рядом эстетических явлений украинской дореволюционной и советской поэзии, устанавливая при этом на большом фактическом материале различного рода связи между культурами двух братских народов. К анализу привлечены наиболее значительные явления, характеризующие поэтику Лермонтова и украинскую поэзию, представленную крупнейшими именами — Тараса Шевченко, М. Старицкого, Ив. Франко, Леси Украинки, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Павла Тычины, Леонида Первомайского.

В главе «О „лермонтовском элементе“ и о некоторых тенденциях в развитии украинской литературы XIX века» автор рассматривает особенности романтической поэзии гражданственного направления — ее идейную и философскую насыщенность, ораторский пафос, предпочтительные жанры (дума, баллада, высокого звучания лирический монолог, поэма и др.), подчеркивая историческую обусловленность этих явлений и их повторяемость на сходной исторической почве. С этой точки зрения в книге раскрываются антиномии творчества Лермонтова — сочетание романтизма с реализмом, «железного стиха» с элегическим, патетикой с лиризмом, интереса к истории души человеческой с тем особым, характеризующим время «субъективизмом», о котором говорили Белинский и Герцен.

И. Я. Заславский сделана попытка — на наш взгляд удачная — соотнести художественную неповторимость поэзии Лермонтова с проникновением некоторых ее элементов в поэтическую среду украинской культуры, с порожденными ею отзвуками в оригинальном творчестве украинских литераторов: «Лермонтов „приходит“ в украинскую литературу на рубеже 30—40-х годов прошлого века. Это был период интенсивного развития романтизма — явление, общее для большинства новых славянских литератур в процессе их становления и утверждения».⁷ Автор справедливо отмечает близость многим украинским поэтам мироощущения, которое несла с собой поэзия Лермонтова, сочетавшая трезвость взгляда на жизнь с высоким романтическим подъемом. «Силы притяжения к Лермонтову, — подчеркивает И. Я. Заславский, — действовали, главным образом, в русле метода: украинской поэзии был близок реализм, синтезировавший высшие достижения предшествующего литературного развития и прежде всего художественные завоевания романтизма. Лермонтовский пафос романтического отрицания и утверждения особенно плодотворно откликнулся в творчестве украинских поэтов, страстно выступавших против социального и национального угнетения и в новых исторических условиях настойчиво искавших положительную программу общественной активности» (с. 202).

В книге приводится любопытный, хотя и не лишенный наивности, отклик на первое появление лермонтовских строк в харьковском литературном альманахе «Сніп», вышедшем в 1841 году. Строки из стихотворения «Молитва» («В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть») в качестве эпиграфа открывали стихотворение «Недоля» («Дивлюсь я на небо...») молодого украинского поэта М. Петренка. Н. Тихорский, выступивший с рецензией на альманах уже после смерти Лермонтова («Маяк», 1842), олицетворяет в образе русского поэта само понятие поэзии, народно-поэтическую стихию (см. с. 28). Здесь представляет интерес не только раннее свидетельство уважения к русскому поэту, заявленное в одном из первых украинских альманахов, но и то, что отклик на него появился в журнале, известном своими выпадами против Лермонтова еще при его жизни.⁸

Варьировались лермонтовские мотивы (из стихотворения «Желание», «Узник») в лирике Якова Щоголева (журнал «Молодик» (Харьков), 1843, ч. 2). Всем содержанием своей книги автор показывает, как углублялось и усложнялось восприятие лермонтовских традиций в последующем развитии украинской литературы.

Кроме обзорных глав «Украинская тема у Лермонтова», «Лермонтов и советская украинская поэзия в период суровых военных испытаний», книга содержит монографические главы («Шевченко и Лермонтов», «Лермонтов и художественное творчество М. Старицкого», «Франко и Лермонтов», «Леся Украинка и Лермонтов», «Сосюра и Лермонтов», «Рыльский и Лермонтов»). Обращаясь к творчеству того или иного поэта, автор далек от описательности: он выделяет в каждой главе ведущую проблему, характерную для данного писателя и представляющую в то же время одну из форм процесса литературной преемственности вообще. Так, прослеживая соотношение между поэзией Лермонтова и Шевченко, автор демонстрирует многообразный характер этих связей, сочетание генетических и типологических подобий, обусловленных историческими и психологическими обстоятельствами. На примере некоторых созвучий в творчестве М. Старицкого и Лермонтова автор выделяет проблему перевода для межнациональных связей, а в более широком смысле речь идет о значении родного слова в развитии национальной культуры, в становлении общественного сознания народа. В другом случае рассматривается в сопоставлении какой-

⁷ Заславский И. Я. М. Ю. Лермонтов и украинская поэзия. Киев, 1977, с. 206. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

⁸ Бурачок С. Д. Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840. (Письмо к автору). — Маяк современного просвещения и образованности, 1840, т. XII, отд. IV, с. 149—171.

либо тематический цикл, например стихотворения о темнице в творчестве Лермонтова, Шевченко, И. Франко, вызванные к жизни сходными биографическими обстоятельствами и интересом поэтов к фольклору. При таком сопоставлении делаются особенно очевидными индивидуальные различия поэтов и обнажаются типологические предпосылки наследования определенных традиций.

К лучшим разделам книги относится глава о творческих связях Лермонтова и Шевченко. Безусловной удачей автора является параллельное повествование о жизни и поэтическом пути русского и украинского поэтов. Родившиеся почти одновременно (Лермонтов на несколько месяцев позднее Шевченко), они, несмотря на коренные различия формировавших их социальных условий, исторически были сверстниками — и в творчестве обоих поэтов, как и в их биографиях, есть немало общего. Жизненные судьбы поэтов порой сближались. Общие знакомые (Жуковский, Панаев и др.), общие враги, начиная с «политического антагониста и личного ненавистника обоих» — Николая I; нелюбимый парадный Петербург, изгнание, ссылки, определившие во многом эмоциональный мир их поэзии, психологическую общность многих мотивов в лирике Лермонтова и Шевченко, родство некоторых устойчивых образов, сходство гражданственных устремлений. Вместе с тем яснее становятся и природа различий между их художественным миром, различий, обусловленных национальными и социальными условиями существования, прогрессом исторического сознания. Шевченко пережил Лермонтова на 20 лет, — и если Лермонтов «самостоятельными симпатиями» лишь был устремлен к кругу революционных демократов, то Шевченко «наряду с Чернышевским возглавил русское освободительное движение на его втором этапе» (с. 33).

С полным основанием автор делает центральным в своей работе раздел о Шевченко — и по масштабности сравниваемых явлений, и по наличию многочисленных высказываний украинского поэта о Лермонтове, и по возможности исследования на этом материале особого значения и особого характера шевченковского романтизма, органически близкого к реализму. На воле именно этого сочетания и происходило в основном усвоение, развитие шевченковских традиций, смыкавшихся в ряде моментов с лермонтовской традицией на Украине.

И. Я. Заславский с успехом развивает метод лексического анализа, применявшийся в свое время А. И. Белецким. Исторический подход к языку поэзии Шевченко помогает осмыслить некоторые особенности его стилистического словоупотребления. Так, устанавливается, что выражения «тихенько-тихо», «очаровательные стихи», «святая душа», неоднократно встречающиеся в лирике Шевченко, имели для автора и в восприятии современников особый эмоциональный смысл, не вполне совпадающий с нынешним. Они-то и несли в себе нередко чувство «активного сопереживания» поэзии Лермонтова.

Автор сравнивает между собой произведения Лермонтова и Шевченко по главным идейно-эстетическим направлениям, не ограничиваясь отдельными текстуальными сближениями. Так, одна из ведущих для обоих поэтов тем — тема поэта-тираноборца, осмеянного пророка — рассматривается в книге на примере русской поэмы Шевченко «Тризна»⁹.

Стихотворение «Чого мені тяжко, чого мені нудно» с полным основанием сопоставлено по настроению, по поэтическим интонациям со стихотворением «Выхожу один я на дорогу», как и стихотворения «Ну що б, здавалося, слова», «І станом гучим, і красою», «Огні горять, музика грас» — по ряду образных соответствий с лирическими шедеврами Лермонтова «Есть речи — значенье», «Молитва» (1837), «Отчего», «Как часто, пестрою толпою окружен».

В плане уточнения хотелось бы отметить, что стихотворение «Мени здається, я не знаю», тонко проанализированное автором и по содержанию, и по форме, с точки зрения традиций можно соотнести не только с «Родиной» Лермонтова, но и с другими его гражданственными стихотворениями («Великий муж! Здесь нет награды», «Смерть поэта» и др.). Важно отметить именно обобщенное восприятие поэтических традиций Лермонтова. Это относится также к установлению поэтических связей между поэмой Шевченко «Неофиты» и лирикой Лермонтова.

И. Я. Заславский справедливо отмечает: «В поэме скрестились раздумья украинского поэта о „первых наших апостолах-мучениках“ с ярким впечатлением от лермонтовского стихотворения («Умирающий гладиатор», — Т. Г.). Нет ничего случайного в том, что в поэме, овеянной героикой декабризма, творчески преломляются некоторые образы, краски и интонации „Умирающего гладиатора“» (с. 53).

Несмотря на то что зависимость шевченковских «Неофитов» от лермонтовского «Умирающего гладиатора» неоднократно отмечалась в советском шевченковедении, И. Я. Заславскому удалось подтвердить ее новыми аргументами.

Действительно, ряд строф с описанием буиню ликующего Рима, арены цирка, гибели гладиатора текстуально, подчеркнута близок в поэме к стихотворению Лермонтова. Это стихотворение, как и поэма Шевченко, «дышит ненавистью к тиранам», в нем ощутима декабристская лексика, патетически возвышен интонационный строй.

⁹ Ср.: Прийма Ф. Я. Шевченко и русская литература XIX века. М.—Л., 1961, с. 119.

Но стихотворение Лермонтова в целом по своим идеям выходит за пределы декабристской традиции — и Шевченко поддерживает нужную ему в поэме тональность ассоциациями с другими «декабристскими» стихотворениями Лермонтова — «Жалобами турка», имеющими иносказательный смысл, «Смертью поэта» с его угрожающими патетическими интонациями, обращенными к «божьему суду». Ср. у Шевченко:

... О, Нероне!
Нероне, лютий! Божий суд
Тебе осудить.

«Смерть поэта», по справедливому наблюдению автора, ассоциативно отозвалась у Шевченко в зачине поэмы «Кавказ»:

... не за Україну,
А за її ката довелось пролить
Кров добру, не чорну...

Приведенные в книге примеры убедительно свидетельствуют о прямых и разнообразных по характеру преемственных связях между Лермонтовым и Шевченко.

В главе об Иване Франко развивается мысль о возможности литературных связей вне прямой эстетической преемственности, в русле несхожих по форме явлений. В этом смысле интересен сопоставительный анализ «Демона» и поэмы «Смерть Каїна» Ив. Франко, основанный не на фабульном соответствии, а на соответствии философской трактовки понятия «муки демонизма», на идейной связи произведений с философско-символической поэмой — драмой Байрона «Каин».

В научном наследии Франко немало упоминаний о Лермонтове. В них идет речь о «Герое нашего времени», определяется значение поэтического творчества Лермонтова, в них отражены мысли о месте русского поэта в развитии украинской переводной литературы, о его влиянии на украинскую литературную жизнь вообще.

Опыт Лермонтова-романиста, как и Лермонтова-поэта, проникшего в глубины внутренней жизни человека, не прошел бесследно для Франко-художника. Поэту, трижды томившемуся в тюрьмах габсбургской Галиции, особенно был близок цикл лермонтовских «узнических» стихотворений («Желание», «Узник», «Сосед», «Соседка», «Пленный рыцарь») в их соотносительности с фольклорной стихией и литературно-романтической традицией. На примере стихотворений Франко «Ой рано я, рано устану» («Думка в тюрмі»), «Товарищам из тюрми», «Каменярі», «Тюремні сонети» в сборнике «З вершин і низин» исследователь показывает, как демократизовалась позиция писателя под влиянием марксистской мысли и роста организованного рабочего движения в конце XIX века и в то же время как глубоко она вобрала в себя предшествующий опыт, в том числе опыт поэзии Тараса Шевченко, развивавшей, в свою очередь, и лермонтовскую традицию.

Образцом редкой эмоциональной близости героическому духу поэзии Лермонтова представлено в книге творчество Леси Украинки. Как справедливо указывает автор, родство между этими поэтами основано не на прямых преемственных зависимостях. У Леси Украинки почти нет непосредственных обращений к имени, образу и произведениям русского поэта. Но метафорический язык, к которому прибегает поэтесса, говоря о высокой гражданственной миссии поэта (поэзия-колокол, поэзия-меч, поэт-пророк и т. д.), вся символика бурных стихий природы, отвечавшая революционному духу первых лет нового века, во многом восходит к Лермонтову.

По словам А. И. Белецкого, в 90-х годах поэзия Леси Украинки становится утверждением «геронизма как принципа, как нормы поведения».¹⁰ В стихотворениях «Чого-то часами, як сяду за діло», «Співець», «Місячна легенда», «Поет під час облоги», в поэмах «Давня казка», «Орфеево чудо», «Гришниця» эта нравственная норма поведения определяет лирическую тональность, то возвышающуюся до песен «возмездия», до «пророческих» звучаний, свойственных стиху Лермонтова, то ниспадающую до грустных мелодий раздумья и сомнений, напоминающих о трагической музе русского поэта. В признании лирической героини Леси Украинки — «Мене любов ненависті навчила» — легко услышать отзвуки «странной любви» Лермонтова. Стихотворения «Поэт», «Кинжал», «Песня про царя Ивана Васильевича...», «Беглец», поэма «Мцыри», как доказывает исследователь, несомненно владели творческим сознанием поэтессы, воплотившей в своих созданиях мысли, чувства, образы, краски, соответствовавшие эстетическим требованиям нового века.

Автор характеризует и другой вид связи с классической литературой — перемены, использование известного мотива, словесной формулы, ритма. Это особый литературный прием, усиливающий оригинальную мысль поэта средствами литературной памяти. Он свидетельствует об уважении к литературному предшественнику, но может быть использован и в целях полемических.

¹⁰ Білецький О. Леся Українка. — В кн.: Леся Українка. Твори в 5-ти т., т. I. Київ, 1951, с. XV.

Установив наиболее общие закономерности процесса литературной преемственности на материале классической литературы, И. Я. Заславский подошел с этих позиций к изучению поэзии нового века и, в частности, лирики советских поэтов. В литературных портретах М. Рыльского, П. Тычины, В. Сосюры, Л. Первомайского, К. Герасименко исследователь оттеняет самобытные черты и индивидуальные принципы художественного постижения жизни. Но, обращаясь к истокам их образного мышления, автор выясняет также роль литературных впечатлений, в частности влияние поэзии Лермонтова. И здесь автор по-разному подходит к материалу. В поэзии В. Сосюры он с полным основанием видит духовную близость к «мужественной и нежной» лирике Лермонтова, как об этом неоднократно заявляет и сам Сосюра («Він чує Лермонтова кроки...»). В стихотворениях П. Тычины в качестве «лермонтовского элемента» справедливо отмечена склонность поэта к философским и публицистическим обобщениям, к образам-символам. Поэзия М. Рыльского анализируется в разных аспектах, тесно связывающих ее с поэзией «великого учителя» Лермонтова — простором мысли, вниманием к внутреннему миру человека, чувством родины, гармонией стиха.

Главы, посвященные поэзии В. Сосюры и М. Рыльского, содержат интересный и убедительный материал, раскрывающий их преемственную связь с образной структурой лирики Лермонтова. У каждого из этих поэтов свой путь, у Сосюры — «не в напрямі печалі» и в связи с этим, по его же словам, «од Лермонтова далі». (Имеется в виду обусловленное иной эпохой изменение эмоциональной тональности произведений Сосюры, лишенных лермонтовского трагизма). В целом патристическая лирика Сосюры рассматривается как своеобразно созвучная многим стихотворениям Лермонтова — и все же очень далекая от них. Поэтом унаследован завет действенности, святого беспокойства, высокой человечности. В автобиографической поэме «Володька» цитируются строки лермонтовского «Паруса». Поэтом унаследована также покоряющая сила лиризма Лермонтова. Автор книги приводит признание, сделанное В. Сосюрой в 1964 году: «Лермонтов... вошел в мою душу еще в ребячьи годы. Залил ее золотым половодьем мужественной и нежной лирики...» (с. 156).

В главе о Рыльском сопоставляются с лирикой Лермонтова стихотворения «Лист на Україну», «Лист до загубленої адресатки» — в соответствии с отношением Рыльского к Лермонтову как к «вершине поэтической музыкальности» и как к поэту народному. Сопоставительный анализ поэзии Рыльского можно было бы расширить, проследив, как развивал украинский поэт мелодические основы близкого ему лермонтовского стиха.

В круг внимания автора в ходе исследования попали ведущие произведения Лермонтова — поэмы «Демон», «Мцыри», «Беглец», многие лирические шедевры — «Сосна», «Смерть поэта», «Как часто, пестрою толпою окружен», «Поэт», «Кипяжал», «Пророк», «Из Гете», «Сон», «Выхожу один я на дорогу». К сожалению, почти не нашли места в анализе такие стихотворения, как «Валерик» (а вместе с ним и вся батальная проблематика нового для эпохи Лермонтова, гуманистического звучания), «Не верь себе», «Журналист, читатель и писатель», внесшие сложную конфликтную идейную тональность в тему «поэт и общество».

В целом труд И. Я. Заславского представляется весьма значительным, не только открывшим новые аспекты в изучении наследия Лермонтова, но и методологически плодотворным в исследовании современных национальных литератур.

Н. Н. МОСТОВСКАЯ

ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ ТОМ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА» *

Новый том «Литературного наследства» посвящен литературному и общественному движению в России второй половины XIX века. Опубликованные в нем богатейшие неизданные материалы о творчестве Н. С. Лескова, В. М. Гаршина, А. П. Чехова, новые письма И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Толстого, А. К. Толстого, В. М. Гаршина, К. М. Станюковича, В. Г. Короленко, Г. Е. Благосветлова, С. М. Степняка-Кравчинского, Л. И. Мечникова, переписка П. Л. Лаврова с В. Н. Икитиной (Жандр), неизвестные документы по истории передовой журналистики значительно обогащают и углубляют наше представление о развитии истории литературы и общественной мысли 1860—1890-х годов.

*Литературное наследство, т. 87. Из истории русской литературы и общественной мысли 1860—1890 гг. Редакторы тома А. Н. Дубовиков и С. А. Макашин. М., «Наука», 1977, 728 с.

Том состоит из трех обширных разделов («Литература», «Общественное движение и журналистика», «Статьи и сообщения»), в каждом из которых собраны ценные и разнообразные творческие рукописи, воспоминания, дневники, переписка, статьи деятелей освободительного движения, исследования и обзоры.

Первый раздел тома открывается новыми письмами Гончарова к фрейлине Е. А. Нарышкиной, автору воспоминаний, и к С. А. Толстой по поводу рукописи романа Е. А. Нарышкиной (публикация О. А. Демиховской). Эти неизвестные читателям письма представляют несомненный интерес содержащимися в них высказываниями Гончарова о литературе, о литературном языке, о мастерстве писателя. Новое о Гончарове дополняется письмом Гончарова к Н. М. Жемчужникову (публикация Н. З. Серебряной) и «Воспоминаниями о Гончарове и Тургеневе» Л. Ф. Нелидовой, подготовленными к печати А. Д. Алексеевым.

В этом же разделе обращают на себя внимание превосходные публикации неизвестных произведений Лескова. Среди них особенно интересны беловые автографы с авторской правкой романа «Соколий перелет (Записки человека без направления)», повести «Подвиг купца Кинарейкина», рассказа «Московское привидение». Во вводной статье К. П. Богаевской исследуется творческая история всех трех незавершенных произведений Лескова, их место в творчестве писателя. Особенно подробно комментируется процесс создания романа «Соколий перелет» и выясняются причины, заставившие писателя приостановить работу над романом. Замыслы Лескова остались неосуществленными. Одна из причин была названа самим Лесковым в письме в редакцию «Газеты А. Гатцука», находившим «эту пору (80-е годы, — Н. М.) совершенно неудобно для общественного романа, написанного правдиво». По свидетельству Лескова, в романе должен быть изображен «„перелет“ от идеи, отмеченных... двадцать лет назад в романе „Некуда“, — к идеям новейшего времени».¹

Обнаруженный исследовательницей в ЦГАЛИ автограф незавершенного романа «Соколий перелет» представляет собой лишь один из отрывков (самый значительный) второй книги романа. Содержание двух других, озаглавленных так же, и двух отрывков без названия, но связанных с романом, лишь излагается в статье К. П. Богаевской. Думается, что рукописи этих отрывков следовало опубликовать полностью в связи с тем, что все эти наброски примыкают к роману, важному для понимания мировоззрения Лескова и его творческих поисков в 80-е годы.

Незавершенная повесть «Подвиг купца Кинарейкина» и рассказ «Московское привидение» также принадлежат к числу важных находок. Оба произведения посвящены изображению типов ловких и предприимчивых купцов, власти капитала, купеческого быта — теме, по наблюдению самого Лескова, трансформировавшейся со времен Островского, но не потерявшей своей актуальности и в 80-е годы.

Не лишены биографического и творческого интереса три сатирических рассказа из архива Лескова, хранящегося в Государственном музее Тургенева в Орле (публикация А. И. Понятовского). Опираясь на свидетельства известного знатока и собирателя творчества Лескова Б. В. Варнеке, А. И. Понятовский воссоздает историю находки рассказов «Счастье в двух этажах», «Клоподави», «Лорд Уоронцов». Опубликованные по копиям, поступившим в музей Тургенева в составе архива сына писателя, эти произведения обстоятельно прокомментированы. Однако рассказ «Счастье в двух этажах» нуждается в дополнительных разъяснениях в той его части, где речь идет об отношении Лескова к творчеству Достоевского. Рассказ начинается с развернутого авторского отзыва о романе Достоевского «Подросток»: «Как всякое произведение этого полнудумного и много страстного пера, и это повествование великого тайновидца страстей человеческих давало обильную почву для споров и для толков самого противоположного характера в самых разнообразных кружках» (с. 97). О восприятии творчества Достоевского речь идет и далее. Между тем во вступительной заметке этот эпизод использован лишь в связи с обоснованием датировки рассказа (с. 92).

К новым текстам Лескова принадлежит рассказ «Добрая мать по пифагорийским понятиям», предназначенный для журнала «Игрушечка». Публикуя его, Т. С. Карская ставит вопрос о педагогических взглядах Лескова, не исследованных в литературе, о его сотрудничестве в детских журналах «Игрушечка» и «Задушевное слово».

Существенным дополнением к публикациям лесковских текстов является прекрасный обзор «Книг из библиотеки Лескова в Государственном музее Тургенева», подготовленный знатоком творчества Лескова, Тургенева, Бунина, Л. Андреева Л. Н. Афониним. «Книги Лескова, хранящиеся в Орле, в достаточной степени еще не изучены, — замечает исследователь, — научного описания их пока нет, хотя необходимость в нем настоятельна» (с. 133). Публикуемый обзор является по существу таким первым опытом научного описания библиотеки Лескова и вместе с тем подлинным исследованием на тему о роли книги в жизни и творчестве Лескова. В статье Л. Н. Афонина систематизированы все книжные собрания библиотеки писателя, рассказано о Лескове — страстном собирателе, знатоке и исследователе книги, восстановлена история библиотеки, выяснены и основательно проком-

¹ Лесков Н. С. Собр. соч., т. 11. М., 1958, с. 222.

ментированы рукописные пометы Лескова на отдельных изданиях. Автор обзора выделяет книги, принадлежащие русской классике, коллекцию книг и газетно-журнальных отрывков рассказов и статей Лескова, издания, свидетельствующие о цензурных вымарках писателя, книги, отмеченные владельческими штампами и экслибрисами, издания с дарственными автографами, произведения по фольклористике, художественные произведения иностранных авторов, труды по философии, истории, социологии, труды по русской истории, книги религиозно-нравственного содержания. Систематизация богатейшей библиотеки Лескова, полезная сама по себе, вызвана исследовательской задачей, сформулированной в статье следующим образом: «Уцелевшие книги писателя, хранящие следы его чтения, восторгов, раздумий, страстного притяжения или отрицания прочитанного, как раз помогают многое разгадать в „трудном росте“ Лескова, как он сам определил свой литературный путь, разобраться в его духовных исканиях, исследовать неповторимо своеобразный сплав лесковских сочинений, возникавших в тесном переплетении с крупнейшими явлениями русской и зарубежной общественно-политической, философской и художественной мысли от античности до 90-х годов XIX столетия» (с. 133).

Среди опубликованных помет Лескова на книгах особо обращают на себя внимание отчеркнутые места и расшифрованные самим писателем адресаты многих эпиграмм в полном собрании сочинений Н. Ф. Щербини (СПб., 1873). Например, из стихотворения Н. Ф. Щербини «Наше время» Лесков «заимствовал» строчку «В сне комическое время» для тенденциозного обозначения эпохи 60-х годов, которую он называл «комическая эпоха», «комическое время на Руси». В частности, в заметке о романе «Некуда» Лесков писал: «Успех его отношу не к искусству моему, а к верности понятия времени и людей „комической эпохи“».²

Интересны подчеркивания, сделанные Лесковым в сочинениях М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) (СПб., 1889—1890), хотя Л. Н. Афонин отмечает, что часть этих помет возможно принадлежит сыну писателя А. Н. Лескову.

Из многочисленных обращений писателя к произведениям Шекспира, Шиллера, Гете, Гюго вырастает специальная исследовательская проблема: Лесков и зарубежная литература. В семитомном «Собрании сочинений Шиллера в переводах русских писателей» (под ред. Н. В. Гербеля), по наблюдениям автора обзора, «нуждается в кропотливом исследовании более чем 120 помет... в которых отразился интерес Лескова к философской лирике и особенно к драматургии Шиллера, — его не только читали, „пламенно восторгаясь“, лесковские герои, но порой даже галлюцинировали его „высокими, вдохновляющими картинами“» (с. 146).

Автобиографический характер имеют подчеркивания в сборнике «Из речей и воззваний Виктора Гюго в изгнании» (СПб., 1887).

Трудно переоценить значение многочисленных помет Лескова на книгах религиозно-нравственного содержания, в частности в Ветхом Завете, Евангелии, в Посланиях апостолов, важных для понимания сложных духовных исканий писателя. Обзор книг из библиотеки Лескова изобилует неизвестными материалами, по-новому объясняющими сложный творческий путь и яркую самобытную личность писателя, который с гордостью говорил о себе: «Я нигде не кончил курса, но не могу сказать, чтобы я не учился, так как до седых волос не расстаюсь с книгой. Можно ли сказать, что я не проходил высшего образования?»³

Новые лесковские материалы существенно дополняются статьей М. О. Габель «Академик А. И. Белецкий — исследователь Н. С. Лескова», в которой анализируется метод и принципы неопубликованной работы А. И. Белецкого о Лескове, выясняется ее место в лесковедении 20-х годов, ее неустаревшее значение для современного исследователя. Среди проблем, поставленных А. И. Белецким в 20-е годы, М. О. Габель называет целый ряд, требующих разрешения и в наши дни. Таким образом эта статья, весьма характерная по своему типу для «Литературного наследства», не только знакомит читателя с забытыми материалами о Лескове, но и подводит итоги общему направлению и состоянию лесковедения.

Жизнь и творчество Лескова вызывают большой интерес у широкого круга читателей и литературоведов. Остается сожалеть, что редакция «Литературного наследства» до сих пор не уделила специального отдельного тома этому сложному художнику.

Включенные в том неизданные и забытые материалы из творческого наследия В. М. Гаршина — недописанные рассказы (публикация Ю. Г. Оксмана), беловой автограф рассказа «Художники», подготовленный к печати Н. С. Дворцовой, письма В. М. Гаршина к матери, Е. С. Гаршиной (публикация Е. М. Хмельвской), к Р. В. Александровой (публикация А. Н. Дубовикова) и письма к разным лицам, подготовленные К. П. Богаевской и А. П. Оксман, — представляют особый интерес в связи с тем, что литературный архив Гаршина до сих пор мало известен и основательно не изучен. По справедливому замечанию исследователя, «скудность прижизненных публикаций Гаршина необычайно повышает историко-литературную и

² Лесков Н. С. Собр. соч., т. 10, с. 169.

³ Фаресов А. И. Против течений. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904, с. 391.

биографическую значимость каждого нового творческого документа, связанного с его именем» (с. 159).

Пять незавершенных рассказов («Фиалка», «Скипидар», «Сон Павла Павловича», «Объявите суду ваше имя...», «Да! так вот какие дела...»), напечатанных по автографам, хранящихся в архиве ИРЛИ, остались в набросках главным образом из-за цензурных препятствий, что явствует из обстоятельных комментариев к рассказам. Публикацию незаконченных художественных произведений Гаршина можно было бы расширить и дополнить, включив в нее еще двадцать пять набросков, хранящихся там же и известных редакции «Литературного наследства» (см. с. 176).

Обнаруженная Н. С. Дворжиной в составе архива художника М. Е. Малышева (ГБЛ) беловая рукопись рассказа «Художники» позволяет выявить в нем купюры цензурного характера, проследить авторские исправления, редакторскую правку, сделанную перед печатанием в «Отечественных записках».

К сожалению, в числе новых и забытых текстов Гаршина помещена ошибочная публикация М. Д. Гургуловой рассказа «Тень», не имеющего никакого отношения к авторству Гаршина.⁴ Просчет публикатора и автора предисловия тем более досаден, что рассказ «Тень», приписываемый Гаршину, в действительности принадлежащий Э. По, был неоднократно опубликован в России при жизни Гаршина. В частности, он был напечатан в журнале «Дело» (1874, № 5) в переводе Н. Шелгунова, вошел в сборник Э. По «Повести, рассказы, критические этюды и мысли» (М., изд. В. Н. Маракуева, 1885), в издание Э. По «Необыкновенные рассказы» (кн. 1—2. СПб., изд. А. С. Суворина, 1885—1886) и в последующие собрания сочинений Э. По.

Мемуарная литература о Гаршине, разбросанная в изданиях, ставших библиографической редкостью, пополнилась недавно вышедшим новым хорошо прокомментированным сборником воспоминаний о Гаршине, изданным Саратовским университетом.⁵ Опубликованные в томе «Литературного наследства» неизданные воспоминания двоюродной сестры Гаршина и забытые воспоминания художника М. Е. Малышева также обогащают биографическую литературу о писателе. В предисловии А. Н. Дубовикова тщательно собраны все имеющиеся скудные сведения об авторе мемуаров «Гаршин в Окуневых горах». Исследователь с большой осторожностью допускает, что им могла быть двоюродная сестра Гаршина, принадлежащая к семье Иваненко. Ее воспоминания интересны. В них воссоздается образ писателя в начале его творческой деятельности после возвращения из армии летом 1878 года, — период времени мало освещенный в литературе о Гаршине.

Для понимания отношения Гаршина к искусству важен мемуарный очерк друга писателя художника М. Е. Малышева. Предназначенный для вечера, посвященного 20-летию со дня смерти Гаршина, состоявшегося в Петербурге 23 марта 1908 года, очерк был опубликован в журнале «Зодчий» (1908, № 14). Перепечатка этих воспоминаний по автографу из архива М. Е. Малышева вполне уместна, так как они остались «незамеченными и в дальнейшем никто из писавших о Гаршине к ним не обращался» (с. 250). В приложении к очерку «Всеволод Гаршин в вопросах искусства» Н. С. Дворжина поместила полезное описание других гаршинских материалов, принадлежащих художнику.

Раздел «Литература» заключается небольшими по объему публикациями, связанными с биографией и творчеством Чехова. В дополнение к чеховскому тому «Литературного наследства» (т. 68) здесь помещены шесть вновь найденных телеграмм к А. С. Суворину (публикация В. П. Нечаева), исследовательские статьи Е. Н. Дунаевой об истории работы над книгой «Остров Сахалин» с публикацией неизвестных фотографий для книги, неизданные воспоминания и дневниковые записи о Чехове современников. Наибольший интерес представляют последние. Особенно ценны воспоминания, опирающиеся на дневники. Из обширных дневников С. И. Смирновой-Сазоновой и Б. А. Лазаревского исследовательница творчества Чехова Н. И. Гитович отобрала относящиеся к 80—90-м годам.

Дневники В. И. Смирновой-Сазоновой, жены актера Н. Ф. Сазонова, писательницы, в 90-е годы сотрудницы «Нового времени», поддерживавшей дружеские отношения с А. С. Сувориным, воспроизводят впечатления от постановок чеховских пьес («Иванов», «Медведь») в Александринском и Московском художественном театрах, знакомят с оценками произведений Чехова («Иванов», «Палата № 6» и др.) самой мемуаристки, которая нередко обнаруживает при этом непонимание творчества писателя (с. 304). Дневник интересен содержащимися в нем сведениями о сложных отношениях Чехова с Сувориным в 90-е годы.

Дневниковые записи Б. А. Лазаревского примечательны своей достоверностью, скрупулезной подробностью, с которой автор излагает свои впечатления от встреч с Чеховым в Ялте, Севастополе, воспроизводит беседы с ним, тонкие высказывания

⁴ См.: Дубовиков А., Макашин С. Автором был Эдгар По... — Вопросы литературы, 1977, № 7, с. 257—258.

⁵ См.: Современники о В. М. Гаршине. Воспоминания. Вступит. статья и примеч. Г. Ф. Самосюк. Саратов, 1977, 256 с.

самого Чехова о литературе. Автор вступительной заметки и тщательно подготовленных комментариев, в которых использован архивный материал, дополнила публикацию сведениями о самом Б. А. Лазаревском, о его знакомстве с Чеховым, об истории ведения дневника и отношении к нему Чехова. Для оценки значимости свидетельств Б. А. Лазаревского существенно его неопубликованное письмо к В. С. Миролубову от 27 ноября 1904 года (ИРЛИ), отрывок из которого цитируется в вводной заметке: «...за шесть лет я каждый раз записывал с фотографической точностью все, что говорил и делал Антон Павлович, и все, что говорилось и делалось возле него другими в этот день» (с. 319).

Небольшое по объему воспоминание младшего брата О. Л. Книппер-Чеховой В. Л. Книппера (Нардова) о последнем свидании с Чеховым весной 1904 года в Берлине интересно содержащимся в нем неизвестным откликом Чехова на политические события в России накануне 1905 года. Однако ценность его несколько снижается в связи с тем, что в предисловии и в комментариях отсутствуют какие-либо упоминания о времени написания этих воспоминаний. Это обстоятельство в известной мере ставит под сомнение степень их достоверности. Естественно возникает вопрос, не слишком ли поздно они были написаны (автор мемуаров умер в 1942 году). Несколько модернизированным, по стилю не чеховским представляется высказывание писателя о русско-японской войне, цитируемое В. Л. Книппером (Нардовым) (с. 302).

Второй раздел тома включает в себя публикации забытых и неизданных материалов, исследовательских статей по истории общественной мысли и журналистики 1860—1890-х годов. Осмыслению передового общественного движения 60-х годов посвящены статьи революционных деятелей Н. И. Утина и караковца П. Ф. Николаева «Пропаганда и организация» и «Очерк развития социально-революционного движения в России», перепечатанные из редких изданий, журнала «Народное дело» (1868, № 2—3) и книги «Социальный вопрос» (Сб. № 1. Изд. группы социалистов-народников, 1888). В результате архивных разысканий Э. С. Виленской удалось установить подлинного автора статьи «Очерк развития социально-революционного движения в России». Им был забытый деятель революционного движения публицист П. Ф. Николаев. Долгое время мемуаристы приписывали «Очерк» В. Г. Короленко.

Подготовленная С. А. Макашиным публикация (по черновому автографу) незаконченной главы из «Воспоминаний» Н. А. Белоголового, автора мемуаров о Некрасове, Тургеневе, Герцене, Салтыкове-Щедрине, Л. Толстом, является ценным дополнением к известной книге Белоголового «Воспоминания и другие статьи» (1897) и части его мемуарного текста, посвященного «молодой эмиграции» и Герцену середины 1860-х годов (Лит. наследство, т. 63).

Воспоминания Н. А. Белоголового интересны для характеристики его общественно-политических взглядов, как повествование о его деятельности в качестве закулисного редактора газеты русской эмиграции «Общее дело», издававшейся в Женеве в 1877—1890-х годах. Незаконченная глава существенна и оценками, которые автор мемуаров дает известным деятелям 70-х годов А. Х. Христофорову, В. А. Зайцеву, М. К. Элпидину и др.

Важным источником для изучения революционно-демократической и либерально-опозиционной печати в России за период с 1848 по 1883 год, а также для выяснения истории закрытия «Отечественных записок» является впервые напечатанная в томе полностью «Записка о направлении периодической прессы в связи с общественным движением в России» (предисловие и публикация С. А. Макашина). Составленная на основании сведений, извлеченных из следственных дел Третьего отделения и Департамента полиции, как убедительно доказал исследователь, «Записка» ставила своей целью «удостоверить связь известного литературного направления с ростом крамолы, черпающей нравственную силу в этом сочувствии к ее злодеяниям, которое читается между строк, а иногда и в самом тексте пропущенных этого направления» (с. 447). Содержание «Записки» достаточно красноречиво раскрывается из перечня ее основных тем. «Предвестники нигилизма» — так характеризуются в этом документе, составленном директором Департамента полиции В. К. Плеве, «Отечественные записки» и «Современник»; «Кружок „Современника“ и „Русского слова“»; «Чернышевский, Добролюбов и Благосветлов»; «Осуждение Михайлова и протест литераторов»; «Писарев и Шелгунов»; «Закрытие „Современника“ и „Русского слова“»; «Журналистика конца шестидесятых и начала семидесятых годов»; «Период хождения пропагандистов в народ. Народническая школа в литературе»; «Некрасов»; «Группа народников-пропагандистов и отношение печати к первым политическим убийствам» и др.

По поводу Некрасова в «Записке» отмечалось «губительное влияние, которое имело на молодежь» его «сочувствие первым проявлениям практической революционной деятельности». Здесь же были приведены стихотворения Некрасова, имеющие агитационный характер (с. 454). В заключении этого, по словам С. А. Макашина, «жандармско-историографического труда» прямо обозначался адресат, против которого он был направлен — «Отечественные записки» — и формулировалась конкретная программа правительственно-реакционных действий: «Устранить влияние

известной литературной клики на журнальное дело... значит сделать только шаг к ослаблению ее разрушительного влияния» (с. 460).

В интересной вступительной статье А. К. и О. В. Лишиных «Лев Мечников — революционный публицист и ученый» на основании изучения архива Л. И. Мечникова раскрывается яркая многогранная личность публициста и художника, писателя и социолога, путешественника и педагога, революционера и ученого, «на долю которого выпала почетная и сложная задача — почти тридцать лет представлять за границей русскую революционную мысль, русскую культуру и науку» (с. 461).

Извлеченные из его архива (ЦГАОР) письма Г. Е. Благосветлова существенны для понимания истории одного из значительных демократических изданий 70-х годов — журнала «Дело», личности его редактора и, наконец, для уяснения литературно-критической деятельности самого Л. И. Мечникова, одного из активных сотрудников журнала.

Письма К. М. Станюковича также посвящены «Делу», участием Л. И. Мечникова в нем. По наблюдениям авторов вводной заметки, одну из задач журнала в 80-е годы К. М. Станюкович видел в поддержке ссыльных и эмигрировавших публицистов и революционных деятелей — П. Л. Лаврова, В. В. Берви-Флеровского, С. М. Степняка-Кравчинского, Г. В. Плеханова, Л. И. Мечникова и др.

Переписка С. М. Степняка-Кравчинского с Л. И. Мечниковым (публикация Е. И. Таратулы) дает возможность проследить историю взаимоотношений двух революционных деятелей, характеризует русскую революционную эмиграцию в 80-е годы.

Относящаяся к 1881—1884 годам обширная переписка П. Л. Лаврова с В. Н. Никитиной (Жандр) является важнейшим источником для изучения биографии, творчества, личности П. Л. Лаврова. Вместе с тем она воссоздает образ одной из незаурядных русских женщин, талантливого литератора, публициста и критика. В результате тщательных архивных разысканий, произведенных редакцией «Литературного наследства», во вступительной статье впервые полно излагается мало известная биография В. Н. Никитиной, подробно характеризуется ее литературно-критическая деятельность, история ее дружеских взаимоотношений с П. Л. Лавровым, оказавшим на корреспондентку огромное влияние.

Большую ценность представляет публикация библиографии статей В. Н. Никитиной, напечатанных во французской периодике и в сборнике ее статей, изданном во Франции (1886), оставшихся неизвестными в России. Среди них пятнадцать статей, посвященных русскому революционному движению и ее деятелям, в том числе «Письма из России», статья «Революционная Россия», две статьи о значении творчества Тургенева, написанные в связи со смертью писателя: «Неизданное стихотворение Тургенева» и «Иван Тургенев и русский реализм».

Переписка чрезвычайно интересна и содержательна. В частности, из нее впервые становится известным, что статья В. Н. Никитиной «Петр Лавров», напечатанная в журнале «La Justice» (1882), была предварительно прочитана П. Л. Лавровым, подробно обсуждалась в ряде его писем и исправлена по его замечаниям (с. 528—539). В одном из писем В. Н. Никитиной к П. Л. Лаврову содержится высокая оценка этой статьи современниками: «Статьи, ваша биография многим, многим очень нравятся; мне с разных сторон передавали, — и нравится русским также (мне об этом говорил Шполянский)» (с. 542).

Письма талантливой корреспондентки П. Л. Лаврова, убежденной последовательницы социалистических идей, раскрывают круг ее интересов, знакомств. В них отчетливо прослеживается пристальное внимание В. Н. Никитиной к освободительному движению в России. Впервые из переписки выясняется намерение писательницы перевести на французский язык книгу С. М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия», которой она посвятила одну из своих статей.

Письма П. Л. Лаврова изобилуют высказываниями о его отношении к Бакунину, к проблеме революции, о сотрудничестве в журнале «Вперед», причинах ухода из редакции журнала и многими другими суждениями, важными для понимания личности революционного деятеля.

Тщательно подготовленные комментарии к этой интересной и ценной публикации «Литературного наследства» содержат много новых материалов и уточнений. Назовем одно из них. В связи со статьей В. Н. Никитиной «Иван Тургенев и русский реализм», опубликованной в журнале «La Justice» (7, 8.1. 1884), редакцией «Литературного наследства» вносится поправка к свидетельству И. Я. Павловского о «плохом» переводе на французский язык стихотворения Тургенева «Порог», «сделанном с английского языка». Как явствует из публикации, первый перевод на иностранный язык (французский) «Порога» принадлежал В. Н. Никитиной и был выполнен ею, очевидно, с русского текста, напечатанного в народвольческой листовке, выпущенной в Петербурге ко дню похорон Тургенева (с. 514, 516).

В разделе «Статьи и сообщения» публикуются новые письма Тургенева, Л. Толстого, А. К. Толстого, В. Г. Короленко. Для исследователей русской литературы и

⁶ Pavlovsky Isaak. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 246.

журналистики конца XIX—начала XX века большую помощь окажет «Хронологический указатель анонимных рецензий с раскрытием авторства. Литературная критика и история литературы в журнале „Русское богатство“ (1895—1918)», составленный М. Д. Эльзоном на основе сохранившихся гонимых ведомостей журнала (ГПБ, ИРЛИ).

Редакция «Литературного наследства» проделала громадную работу. Некоторые частные недостатки нового тома не снимают его безусловной научной значимости. Без этого большого труда уже не сможет обойтись ни один исследователь истории литературы, журналистики и общественного движения в России второй половины XIX века.

В. В. БУЗНИК

ЦЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В БОЛГАРИИ*

Год от года усиливаются международные связи советской литературы, что делает первоочередной задачей научного изучения ее роли, места и значения в мировом художественном процессе.

Современная литературная наука уже достигла в этом направлении известных успехов, которыми обязана в первую очередь русистам социалистических стран.

Значительны достижения болгарского литературоведения, которое зарекомендовало себя особой тщательностью собирания многообразного фактического материала о литературных контактах между Советской Россией и Болгарией. Поистине образцовым можно назвать, например, трехтомное издание Болгарской Академии наук «Советская литература в Болгарии. 1918—1944. Сборник материалов, воспоминаний, документов» (1961—1969), где оказалось собрано едва ли не все, имеющее «наиболее актуальное идейно-эстетическое и гражданское значение»¹ для характеристики путей проникновения нашей литературы в братскую страну, ее реценции там, ее воздействия не только на художественную, но на всю общественную, духовную жизнь болгарского народа.²

Вместе с тем болгарские русисты давно уже ведут работу по углубленному осмыслению накапливаемых фактических сведений. Еще в 1958 году С. Русакiev выступил с исследованием на тему «Традиции русской советской литературы в развитии болгарской литературы». Позже это научное направление интенсивно развивалось большой группой специалистов (Г. Цанев, Б. Божилов, И. Цветков, В. Колевский и другие). Выпускались совместные советско-болгарские сборники проблемно-теоретических статей («Формирование социалистического реализма в литературах западных и южных славян», 1963; «Взаимосвязи славянских литератур», 1966; «Октябрь и болгарская литература», 1968; «Формирование и развитие социалистической культуры в Болгарии», 1971).

К этому же типу исследований, соединяющих информативность с теорией вопроса, относится и недавно изданная в Софии монография Христо Дудевского «Советская литература в Болгарии. Связи, влияния, типология» (1977). Ее автор известен как неутомимый популяризатор нашей литературы у себя в стране. Ему принадлежит ряд статей о творчестве выдающихся советских писателей, книга о М. Шолохове (Дудевский Х. Михаил Шолохов. Идеи, образы, традиции. София, 1975). Он является также одним из самых активных исследователей советско-болгарского литературного общения.

В своей монографии Х. Дудевский занят не только обнаружением, но и тщательным, разносторонним изучением конкретных фактов советско-болгарского литературного общения. Он преследует цель познать социально-исторические, духовные, этические причины, которые обусловили взаимодействие двух братских литератур. Одновременно стремится установить возникшую в результате творческого общения типологическую близость их как явлений нового, социалистического искусства.

Автор не ставит перед собой задачи всеобъемлющей разработки избранной темы. Его интересуют лишь принципиально важные, узловые ее моменты. В этой связи он считает необходимым разобраться прежде всего в некоторых общеметодологических вопросах научного изучения межнациональных литературных отноше-

* Дудевски Христо. Съветската литература в България. Връзки, влияния, типология. София, 1977, 195 с.

¹ Съветската литература в България. 1918—1944. Том втори. Сборник от материали, спомени и документи. София, 1964, с. 5.

² Подробно об этом в ред.: Ерихонov Л. Друг, учител, воин. — Вопросы литературы, 1964, № 7; Бузник В. 1) Советская литература в Болгарии. — Русская литература, 1965, № 4; 2) Советская литература в Болгарии. — Там же, 1970, № 4.

ний. Поэтому книга открывается главой «Аспекты изучения литературных связей и влияний», где главенствует та мысль, что сопоставительный анализ литературных взаимодействий — связей, влияний, типологических аналогий, переводов и пр. — может быть плодотворным только тогда, когда «последовательно и творчески осуществляется ленинский подход к раскрытию исторической обусловленности и эстетической функции сравниваемых явлений, когда не пренебрегают диалектикой общего и частного, национально особенного и интернационально типологического» (с. 27).

С этих позиций Х. Дудевский выступает против разного рода ошибочных и поверхностных представлений о литературных взаимосвязях. Он осуждает как наивный буквализм в этом вопросе, так и чересчур расширительное понимание влияний «вообще». Исследователь полагает, что литературное влияние — явление «сложное и динамичное», требующее своего изучения «в многообразии связей, причин и следствий» (с. 20).

Главнейший аспект изучения литературных отношений автор усматривает в соотношении их с социально-историческими обстоятельствами. Влияния невозможны, убежден он, если падают они на чуждую им жизненную почву. Исследователю представляется важным ставить в зависимость от обстоятельств времени даже сам тип влияний. В разделе монографии, специально посвященном проблеме периодизации литературного процесса, показано, что на разных этапах истории Болгарии преобладали разные типы отношений ее художественной словесности с советской литературой. Начавшись с простого подражания, отношения эти, чем дальше, тем смелее, становились истинно творческими.

Одновременно Х. Дудевский подчеркивает значение идеологического фактора в литературных взаимосвязях. Он утверждает, что международная известность советской литературы во многом обусловлена идеями коммунистической партийности, гуманизма, пролетарского интернационализма, которые изначально отличали ее и привлекали внимание передовой общественности мира.

Таким образом исследователь намечает главные направления в изучении литературных связей и влияний, позволяющие устанавливать не только общие предпосылки, но и общие закономерности творческого сближения советской и болгарской литератур как литератур нового, социалистического типа. И в дальнейшем переходит к конкретизации высказанных положений на примерах советско-болгарского литературного общения.

Конкретному анализу посвящены основные главы монографии, в которых подробно рассматриваются восприятие и бытование в Болгарии творчества крупнейших советских писателей — А. Блока, В. Маяковского, М. Горького, Л. Леонова, М. Шолохова. Здесь перед читателем раскрывается сложное переплетение литературных связей с общественными и политическими. Выявляется такая историческая сложившаяся особенность русско-болгарского духовного содружества, как широкое проникновение в Болгарию из Советского Союза идей пролетарской революции, которые специфически подготавливали почву для активного литературного взаимодействия. Революционно насыщенная атмосфера общественной жизни болгарского народа располагала, таким образом, к восприятию прежде всего социалистических идей советской литературы. Как показывает Х. Дудевский, самые разные болгарские писатели, начиная от творчески сложившихся к 1917 году Л. Стоянова, Х. Смирненского и до молодых Г. Караславова, С. Даскалова, жадно впитывали из советской литературы взгляды, образы, настроения, отражавшие в первую очередь процесс революционной перестройки жизни и содействовавшие формированию их творчества в духе социалистического реализма.

Раскрытие того, как произведения советских писателей являлись для болгарской литературы своего рода школой творчества, школой овладения идеями социализма, представляет интерес не только для изучающих болгарскую литературу, особенности ее развития. Не менее важно оно и с точки зрения познания советской литературы, ее своеобразия, ее возможностей. В ракурсе советско-болгарских литературных отношений становится по-особому отчетливым то своеобразное в творчестве русских писателей, что обладает не только национальным, но и международным, общечеловеческим значением.

Так, в главе «Революция и эстетика. А. Блок и болгарская поэзия 20-х годов» на первый план симптоматично выходит проблема эстетического потенциала блоковской поэзии. Х. Дудевский не скрывает трудностей, с которыми сталкивались переводившие А. Блока болгарские поэты, что объяснялось не только острой национальной самобытностью стихов великого русского поэта, но и высоким уровнем их эстетической культуры, требующим адекватности. Но он позволяет увидеть и то, что как раз благодаря своим исключительным художественным достоинствам произведения А. Блока, революционная поэма «Двенадцать», «Скифы» могли оказывать действительное влияние на болгарскую поэзию. В них революция и эстетика прочно соединились друг с другом. И склоняясь перед авторитетом замечательного мастера, болгарские поэты вырабатывали собственные представления об искусстве нового мира как чуждом всякого упрощенчества, органично сочетающем в себе идейную убежденность, преданность революционному народу с самой высокой художественностью.

В главе «Близкие по духу. В. Маяковский и Гео Милев» освещается такая важная в масштабах прогрессивной литературы XX века особенность таланта выдающегося советского поэта, как его неукротимое бунтарство. Именно на этой основе, как доказывает Х. Дудевский, смогла возникнуть творчески плодотворная духовная близость В. Маяковского и Гео Милева.

В главе «М. Горький и болгарская литература 30-х годов» ставится вопрос о роли писательской индивидуальности в процессе интернациональных литературных связей. О том, почему М. Горький в Болгарии «самый читаемый, самый интересный и любимый писатель» (с. 108), размышляли многие как болгарские (П. Зарев, П. Русев, В. Велчев), так и советские (В. Злыднев, Д. Марков, А. Григорьев) писатели и критики. Х. Дудевский отвечает на этот вопрос по-своему. Считая влияние М. Горького на болгарскую литературу «наследственным», переходящим из поколения в поколение, он связывает это обстоятельство не только с неиссякающей актуальностью революционно-гуманистических идей горьковского творчества. Одновременно в монографии акцентируется внимание на личности советского писателя как человека и гражданина. Х. Дудевский утверждает, что непреходящий интерес болгарской общественности к автору «Матери», «Жизни Клима Самгина» многократно усилен тем, что последний широко и навсегда известен в мире как писатель, кровно причастный к освободительной борьбе трудящихся. Опираясь на многочисленные факты, исследователь показывает, как гражданская биография М. Горького «служила образцом», по которому болгарские читатели «равняли собственную жизнь» (с. 185), а писатели формировали творческие убеждения. И редкая популярность советского писателя в Болгарии раскрывается как нечто, сопряженное с его человеческими достоинствами, как «любовь к Горькому, влечение к его личности, стремление подражать его жизни» (с. 125).

В другом аспекте рассматривает Х. Дудевский значение для Болгарии произведений Л. Леонова. В главе «Литература и общество. Восприятие Л. Леонова у нас» говорится о том, какую большую роль в развитии болгарской литературы играли не только идеи леоновских произведений, но сама манера письма этого замечательного художника социалистического реализма. Исследователь подчеркивает, что Л. Леонов всегда воспринимался в Болгарии как один из самых «трудноусвояемых» писателей, чьи произведения требуют от читателя высокого напряжения мысли. И тот факт, что Л. Леонов неизменно возбуждал живой интерес к себе и «поныне находится в центре внимания» (с. 150) болгарской литературной общественности, он соотносит именно с его способностью активизировать духовную жизнь людей, приобщать их к современно пытливому и ответственному мировосприятию.

По-особому интересна для советского читателя глава о М. Шолохове и болгарской художественной прозе, где затрагивается сложнейшая проблема сравнительного литературоведения — проблема национального и интернационального в литературных взаимоотношениях народов. Как показано в монографии, яркая национальная самобытность произведений Шолохова не только не подавляла самостоятельности писателей Болгарии, которые непосредственно ориентировались в своем творчестве на традиции советского художника (Л. Стоянов, И. Петров, С. Даскалов и другие), но, напротив, служила примером того, что могущество истинного таланта определяется правдивым изображением общечеловеческого в его совершенно конкретных, национально исторических проявлениях. Болгарская литература в ее лучших образцах не копировала темы, сюжеты, ситуации «Тихого Дона», «Поднятой целины». Все это ей подсказывалось собственной действительностью. Более того, национальная специфика жизни утверждалась писателями Болгарии как эстетически защищаемая и поддерживаемая революцией, как ее завоевание. Но они учились у Шолохова актуальной проблематике и страстному, партийному пафосу.

Обобщая большое количество сведений, фактов, наблюдений, поднимающая сложные литературоведческие проблемы, монография Х. Дудевского, естественно, не равнодушна в отдельных своих частях. Местами автор, может быть, излишне сосредоточивается на моментах, достаточно известных. Наиболее уязвима в этом отношении заключительная глава «Влияние советской литературы — непосредственный фактор воздействия на общественное сознание Болгарии», где слишком подробно говорится о ряде общих особенностей и принципов социалистического реализма. Вместе с тем исследователю можно было бы пожелать несколько расширить круг писательских имен, характеризующих советско-болгарское литературное взаимодействие. Кстати, такое обогащение материалом избавило бы книгу от некоторого налета фрагментарности. Однако работа в целом — несомненное достижение болгарской русистики. Она дает достаточно развернутое и вполне конкретное представление о советско-болгарских литературных отношениях как в историческом, так и в типологическом планах. В ней убедительно доказано, что отношения эти были непосредственно связаны с усвоением ленинских идей, с ленинским этапом в международном революционном движении. Советская литература показана как мощная идейно-художественная сила, формирующая не только новый тип писателя — «социалистического реалиста», но и новый тип человеческой личности,

убежденного борца за коммунизм, носителя передовых общественно-политических убеждений и высоких нравственно-эстетических идеалов.

В заключение хочется заметить, что, как свидетельствует опыт современной русистики социалистических стран, наибольшие успехи сравнительного литературоведения достигаются в странах, в которых имеются крупные специалисты по советской литературе. Достаточно сослаться в этой связи на пример ГДР, где работают такие ученые, как В. Дювель, Р. Опитц, В. Бейтц, Г. Юнгер, Б. Хиллер и др., известные своими исследованиями творчества Федина, Алексея Толстого, Леонова, Шолохова и др. «Нельзя сводить болгарскую русистику лишь к изучению взаимосвязей, — пишет об этом В. А. Ковалев в опубликованном «Болгарской русистикой» (1978, № 2, с. 92) письме к Х. Дудевскому. — Болгария должна иметь своих специалистов по советской поэзии, драматургии, по Леонову, А. Толстому, по отдельным периодам истории советской литературы и т. д. и т. п.» Несомненно, что и книга Х. Дудевского обязана своими сильными сторонами прежде всего тому, что ее автор является знатоком творчества крупнейших писателей советской России. Думается, что перспектива развития болгарской русистики непосредственно сопряжена с задачей формирования национальных научных кадров, занимающихся изучением советской литературы.

Р. Ю. ДАНИЛЕВСКИЙ

ЛЕЙПЦИГСКИЙ СБОРНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ А. Н. РАДИЩЕВУ

Четвертый выпуск за 1977 год «Научного журнала» Лейпцигского университета им. К. Маркса редакция посвятила творчеству великого русского революционера и писателя А. Н. Радищева.¹ Он, как известно, учился в этом университете в 1767—1771 годах. Отметив в прошлом году 175-летие со дня смерти Радищева, наши коллеги из ГДР продолжили давнюю традицию изучения творчества одного из выдающихся выпускников лейпцигской alma mater. Начало этой традиции положил еще до второй мировой войны немецкий историк, коммунист Георг Закке (1902—1945), ставший впоследствии борцом антифашистского сопротивления и погибший в гитлеровском концлагере. Г. Закке, памяти которого также посвящен рецензируемый Радищевский сборник, исследовал судьбы «Путешествия из Петербурга в Москву» в западноевропейских литературах.² Отношение передовой немецкой науки к наследию Радищева было, таким образом, всегда связано с ее интересом к истории демократических, революционных идей. Филологи, праведы, историки, философы ГДР, принимающие участие в сборнике, изучают наследие Радищева на фоне западноевропейского Просвещения и немецкого вольнодумства XVIII века.

Молодой Радищев в определенной мере принадлежит Лейпцигу. Пребывание в этом городе во второй половине 1760-х и в начале 1770-х годов группы русских студентов стало заметным событием в жизни университета и имело, как мы знаем, немаловажное значение для русской общественной мысли. В этот период формировались черты мировоззрения Радищева, пополнялось его европейское образование. От студенческих лет писателя исследователи переходят к эпохе его зрелого творчества — и здесь естественно сотрудничество немецких и советских историков литературы. Последние также приглашены к участию в сборнике.

В статьях немецких авторов большое место занимают связи Радищева с Германией XVIII века, с жизнью Лейпцига. Учебным планам и подробностям заграничного пребывания русских студентов посвящена работа проф. Э. Хексельшнейдера «Учебный курс А. Н. Радищева в Лейпциге» (с. 357—367). Среди преподавателей Радищева был языковед, человек передовых убеждений И. Г. Г. Юсти; французскому языку и вместе с тем, несомненно, восприятию новейших явлений французской литературы обучал русских слушателей известный переводчик М. Губер, знакомый Гете. На рубеже 60—70-х годов одним из самых влиятельных профессоров Университета был поэт Х. Ф. Геллерт. Он читал курсы этики, риторики, немецкой стилистики и принимал участие в составлении учебных программ, специально предназначенных для группы русских студентов. Если его морализирование не оказало, по мнению автора статьи, заметного влияния на русских посетителей его лекций, то его литературное мастерство не могло оставить Радищева равнодушным. Во второй половине XVIII века Лейпциг являлся самым известным и передовым

¹ Wissenschaftliche Zeitschrift, K.-Marx-Universität Leipzig, Gesellschafts- und sprachwiss. Reihe, 1977, H. 4. (Zum 175. Todestag A. N. Radischevs).

² См. изданную посмертно работу: Sacke G. Radischev und seine «Reise» in der westeuropäischen Literatur des 18. Jhs. — In: Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 1954, Bd. 1, S. 44—54. К изучению творчества Радищева в ГДР см.: A. N. Radischev und Deutschland. Berlin, 1969.

центром образования в немецких землях, и Радищев смог соприкоснуться здесь с лучшими представителями немецкой науки.

С помощью повонайденных архивных материалов историк З. Хиллерт восстанавливает в своей статье биографию и духовный облик лейпцигского журналиста Г. Шумана, издателя еженедельной городской газеты в 1762—1769 годах (статья «Готлиб Шуман — редактор „Лейпцигских известий“ в годы учения А. Н. Радищева в Лейпциге. — К связям Лейпцига с Россией во второй половине XVIII в.», с. 369—377). В этом издании, а также в справочниках, составленных Шуманом, публиковались сведения о русской жизни. Хотя и нет непосредственных свидетельств того, что Шуман общался с русскими студентами, читателями его газеты они, конечно, были.

В лейпцигский период сложились взгляды Радищева на воспитание. Как предполагает доктор Г. Опйтц, в этом процессе сыграло определенную роль педагогическое учение И. Г. Базедова, основателя известного училища «Филантропин» в Дессау и автора популярных руководств по педагогике (статья «А. Н. Радищев и педагогические воззрения Базедова и Вольке», с. 325—329). В учебном заведении Базедова, основанном в 1774 году, преподавались живые языки, учащиеся занимались спортом, приучались к физическому труду. В основе системы лежал принцип так называемого «чувственного воспитания», т. е. воспитания по Руссо, через личный опыт и знакомство с жизнью природы. Труды Базедова обсуждались русскими академиками и были оценены благосклонно. В 80-х годах идеи немецкого педагога распространял в России его ученик и сотрудник К. Г. Вольке, который провел в Петербурге без малого два десятилетия. В эти годы Радищев мог встречаться с Вольке.

Имена Базедова и Вольке упомянуты Радищевым в «Памятнике дактилохоренческому витязю» и в письме А. Р. Воронцову из Иркутска в 1791 году. Однако недостаточно, по-видимому, констатировать, что Радищев сумел оценить педагогическое новаторство Базедова. В упомянутом сатирическом произведении Базедову уподоблен невежественный дядька-воспитатель Цымбалда. «Как употреблять должию бирюльки при чувственном воспитании, о том Цымбалда обещал издать в свет описание», — заметил в скобках автор.³ В системе Базедова, как и в педагогике Руссо, что-то не устраивало Радищева. Можно предположить, что от него не укрылось расхождение между благородными намерениями воспитателей, их демократическими принципами и практикой воспитания, в которой сохранялись и сословные различия, и остатки схоластики, и внушение верноподданнических чувств. Вспомним, как Пушкин в «Евгении Онегине» смеялся над искаженным руссоизмом в воспитании русских дворянских детей.

В своей статье Г. Опйтц сделал справедливый вывод, что в условиях екатерининской России демократические принципы воспитания, сторонником которых был Радищев, не могли осуществиться. То же самое можно сказать и о системе Базедова и обо всех других педагогических начинаниях просветителей. Тем не менее идеи просветительской педагогики исподволь повлияли на воспитание следующих поколений патриотов и вольнодумцев, передаваясь, в частности, и через произведения Радищева.

Лейпцигский университет заложил основы юридических знаний Радищева. По «Житию Федора Васильевича Ушакова», по работам «Опыт о законодательстве», «О законоположении» профессор В. Орпековски и доктор Р. Риндерт исследуют в статье «Революционная мысль А. Н. Радищева и его предложения по реформе уголовного права» (с. 317—323) отношение русского революционера к современным ему законам о наказании. Изучение права велось в Лейпциге на высоком уровне под воздействием взглядов Монтескье, Вольтера, Руссо, Беккариа, критического рационализма немецкого просветителя Томазуса. У Радищева складывается новое, гуманистическое представление об уголовном праве, основной задачей которого должно было стать не наказание, а исправление преступников. Радищев пришел к пониманию классовой природы суда, защищавшего в феодальном государстве интересы правящего сословия. Это чрезвычайно важное наблюдение исследователей надо было бы теснее связать именно с революционной общественной позицией мыслителя, а не только с его просветительскими взглядами.

Особенность мировоззрения Радищева в зрелые годы состояла, как представляется, в том, что его просветительство выходило за рамки требований «третьего сословия», стремившегося к господству в обществе. Поэтому поднятый в ряде статей сборника — в том числе и в конце рассматриваемой работы — вопрос о «буржуазности» его взглядов необходимо решать с большой осторожностью. Приведем по этому поводу слова из статьи профессора Х. Зейделя и доктора Х.-М. Гримзеля «Естественное право и революция. — К положению А. Н. Радищева в русском Просвещении» (с. 297—304): «Решительной и непреходящей заслугой Радищева является то, что он преодолел либерально-умеренные представления и требования своих предшественников и, став первым русским пропагандистом естественного права, открыто высказался за необходимость и законность революции» (с. 300).

³ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 2. М.—Л., 1941, с. 204.

Авторы статьи об отношении Радищева к теории естественного права подчеркивают новаторство русского мыслителя. Радищев ориентировался прежде всего на российскую действительность и как писатель, и как исследователь общества. Отсюда — проведенная им критическая переработка теорий Монтескье и Руссо, к которым обращалась, как известно, и Екатерина II в своих попытках теоретически оправдать существование самодержавной власти. Идею естественного договора Радищев обратил против самодержавия и крепостничества. Просветительские понятия общей воли, общего блага получили в его публицистике революционное истолкование. Радищев подошел к осознанию активной роли народа в истории и права народа на такое государство, в котором совпадали бы интересы общества и личности. В статье отмечается весомый вклад Радищева в фундамент научных знаний об обществе и государстве.

Воззрениям Радищева на крепостное право и отношения собственности в феодальном государстве посвящена статья профессора Х. Рихтера «Экономические взгляды А. Н. Радищева» (с. 307—315). Анализируя с позиций марксистской политической экономии суждения писателя об отношениях между сословиями в русском обществе, автор показывает, что Радищев, как немногие из просветителей, разбирался в современной социально-экономической структуре. Ему был понятен общественный характер труда и несоответствие этого характера общественным формам феодализма. Собственность помещиков была, с точки зрения Радищева, «нажита грабёжом» (глава «Вышний Волочок» в «Путешествии из Петербурга в Москву») и служила опорой крепостничества (глава «Хотиллов»).⁴ «В его экономической аргументации против крепостного права, — пишет автор о Радищеве, — на первом месте находится критика эксплуатации человека человеком» (с. 310). Противопоставляя «естественное состояние» общества, когда владел землей тот, кто ее обрабатывал, современному положению, Радищев наглядно доказывал, что феодальные отношения в России тормозили развитие общества. Немецкий исследователь приходит к заключению, что критика общества велась Радищевым с позиций крестьянства.

Следует, однако, отметить, что автор не до конца выдерживает исторический подход к наследию Радищева. По его мнению, мыслитель, обличая феодальную систему, «объективно поддерживал развитие капитализма и тем самым — новую форму эксплуатации и угнетения» (с. 314). Но это же можно сказать обо всей эпохе Просвещения в целом! Между тем результат деятельности просветителей мы видим вовсе не в этом. Дальнейшая история русского общества убеждает, что политические и экономические взгляды Радищева способствовали прежде всего развитию освободительного движения. Такой вывод подсказывается, впрочем, и материалами статьи Х. Рихтера.

Непосредственное отражение политических убеждений Радищева в его творчестве изучается в статье советского литературоведа доктора Г. Н. Моисеевой «Один из источников главы „Спасская Полесь“ в „Путешествии из Петербурга в Москву“ А. Н. Радищева» (с. 343—347). Автор устанавливает, что описанный в этой главе «сон» был не просто сатирой на самодержавие Екатерины II. Это был еще и «сатирический пересказ», т. е. текст, задуманный с пародийными целями. Радищев имел в виду оду Державина «Изображение Фелицы» и парадный портрет Екатерины II, созданный ранее Д. Г. Левицким. Таким образом, не только сама императрица, но и культ ее стал объектом радищевской сатиры. Критика искусства, не по заслугам славящего и идеализирующего «ничто, сидящее во власти на престоле», сделала насмешку Радищева еще более действенной.⁵

В статье приводятся параллельно текст Радищева и отрывок из оды Державина. Из этого сопоставления явствует, насколько близок был Радищев к державинскому стиху, при всем различии жанров и отношения к изображаемому. Попала в книгу Радищева и характерная деталь картины Левицкого — лавровый венок, который своей претенциозностью должен был особенно возмутить Радищева. На примере работы Г. Н. Моисеевой можно убедиться, что внимательное изучение радищевских текстов приводит подчас к неожиданным и интересным открытиям.

Ленинградская исследовательница Н. Д. Кочеткова поместила в сборнике статью о стиле писателя — «А. Н. Радищев и русская ораторская проза его времени» (с. 349—355). Достоинством методики автора является стремление изучать тексты Радищева в теснейшей связи с его мировоззрением и с литературной и общественной ситуацией, сложившейся в период их создания. Стиль Радищева, его публицистические, ораторские приемы, столь характерные для этого писателя, автор статьи рассматривает в сопоставлении с произведениями Ломоносова, Фонвизина и Державина, с образцами устной публицистики, которые оставались в XVIII веке продолжением старинной русской традиции проповедей и «слов». В связи с этим в статье названо имя митрополита Платона (Левшина). Его речь о победе под Чесмой вспомнил Радищев в «Слове о Ломоносове». По-своему независимый в убеждениях, имевший мужество хорошо отзываться об арестованном

⁴ См.: Там же, т. 1, с. 311—326.

⁵ Там же, с. 248—257.

Н. И. Новикове, хотя и «бесконечно далекий от радищевской революционности» (с. 354), Платон привлекал Радищева как мастерский оратор. «Страстный монолог, проповедь, одушевленная искренним пафосом, — вот характеристика, применимая к речам Платона и одновременно во многом к „Путешествию из Петербурга в Москву“, — считает Н. Д. Кочеткова (там же).

Агитационный стиль Радищева связывается в статье с выступлениями сибирского ученого, священника-вольнодумца П. А. Словцова, одного из основоположников русской литературы Сибири.⁶ В своем демократизме и резко критическом отношении к екатерининским порядкам Словцов отстоял от церковной точки зрения гораздо дальше, чем Платон. Более того, исследовательница не без оснований считает Словцова в известной мере продолжателем дела Радищева. В своих проповедях, за которые он был взят под стражу, Словцов высказал «немало крамольных идей, непосредственно воспринятых от Радищева» (с. 355). Остается пожелать, что в немецком переводе этого важного места статьи допущена неточность.⁷

В результате работы Радищева и его последователей над публицистическим словом возник, как считает автор, «новый тип русской ораторской прозы, политическая речь, инвектива, речь общественного деятеля, пропагандиста революционных идей» (там же). Между стилем Радищева и агитационным словом декабристов существует прямая преемственность, на которую советская исследовательница обратила внимание читателей.⁸

Историки русско-немецких литературных связей заинтересуются помещенной в сборнике работой лейпцигского слависта профессора Г. Дудека «Стихи А. Н. Радищева и немецкая лирика XVIII в. — Контакты и типологические соответствия» (с. 331—340). Связи Радищева с немецкой культурой редко служат предметом исследования, замечает ученый. Действительно, это подтверждают и статьи рецензируемого сборника: литературным отношениям Радищева с его немецкими современниками там отводится сравнительно немного страниц. Тем ценнее представляются наблюдения Г. Дудека.

Поэзия Радищева, по мнению автора статьи, наиболее богата фактами, говорящими о творческих контактах писателя с немцами. Начало этим контактам было положено, очевидно, в лейпцигские годы. Радищев хорошо разобрался в новейших литературных событиях — был знаком с эстетическими работами швейцарских просветителей И. Я. Бодмера и И. Я. Брейтингера, с произведениями С. Геснера, с поэзией А. Галлера, Э. Клейста, Х. Ф. Геллерта и, разумеется, Ф. Г. Клопштока. Сделанные Радищевым переложения стихотворения Э. Клейста «Раненый журавль» (в переводе — «Журавль») и идиллии С. Геснера «Милон» (в переводе — «Идиллия») отразили и тяготение его к немецкой поэзии, и его самостоятельность. Исследователь отмечает, что в первом случае Радищев усилил «социально-политический акцент» (с. 332—333), придал стиху торжественный, риторический тон. Подобно стихотворному переложению геснеровской идиллии, стихотворение передавало жизненные впечатления Радищева и — косвенно — его переживания, связанные с политическими гонениями и ссылкой в Сибирь. В «Идиллии» Г. Дудек находит «изображение пережитого ужаса заточения и вместе с тем сильное радостное возбуждение, вызванное неожиданным его освобождением из сибирской ссылки» (с. 334). Основываясь на своих наблюдениях, ученый относит оба стихотворения ко времени возвращения Радищева из ссылки, т. е. приблизительно к 1797—1798 годам. Такое приурочение не вызывает возражений, хотя «расшифровка» поэтического текста кажется подчас слишком прямолинейной. Оговоримся тем не менее, что мысль Г. Дудека об отражении в стихотворениях глубоко личных переживаний ссылки революционера вполне справедлива. Достаточно прочесть следующие строки «Идиллии»:

Все равно силки, оковы,
Тьма кромешна, плен иль стража, —
Коль не можешь того делать,
Чего хочешь, то выходит,

Что железные оковы
И силки из конской гривы
Всё равно, равно и тяжки:
Одно нам, другое птичке.⁹

В размышлениях над русским стихом Радищев опирался на опыт В. Тредпавковского, Шекспира, Мильтона, на античную метрику. Очень внимательно отнесся он к стиху Клопштока, к его работе по созданию немецкого вольного стиха. Автор статьи ссылается на наблюдения советских литературоведов, отмечавших появле-

⁶ Много места уделено деятельности П. А. Словцова в кн.: Постнов Ю. С. Русская литература Сибири первой половины XIX в. Новосибирск, 1970.

⁷ Неточности перевода встречаются и еще в ряде мест сборника. Можно упрекнуть переводчиков также, например, и в том, что цитата из Л.-С. Мерсье дается на с. 285 в переводе с русского перевода.

⁸ См. также: Кочеткова Н. Д. Ораторская проза декабристов и традиции русской литературы XVIII века. (А. Н. Радищев). — В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975, с. 100—120.

⁹ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 130.

ние у Радищева стихов типа дольника почти на сто лет раньше, чем они утвердились в русской поэзии.¹⁰ От Клопштока, полагает автор, идет обращение Радищева к безрифменному стиху. Прибегая к использованию античных метров (гекзаметр, сафическая строфа), преобразуя их, Радищев шел путем Клопштока. Подобно этому поэту-реформатору, он «прививал» отечественной поэзии не столько подлинные античные стихотворные размеры, сколько свободу в стихосложении. Не следует забывать и о том, что в немецкой и в русской народной поэзии издавна существовали формы белого стиха. Возникает вопрос, насколько могло это учитываться поэтами XVIII века.

Радищев присматривался к младшему поколению немецких литераторов. Он читал работы И. Г. Гердера, знал произведения молодого Гете. Ему должна была много говорить поэзия, распространявшая политическое вольнолюбие, — тот же Клопшток и следовавшие ему поэты объединения «Геттингенская роща» во главе с И. Г. Фоссом и близкие к ним Г. А. Бюргер и Х. Д. Шубарт. Переключку с немецкой политической поэзией исследователь находит в оде Радищева «Вольность». В этом стихотворении перечисляются те же символы свободы, что и в речи Бюргера «Призыв к свободе» и в «Луизе» Фосса: образ Вильгельма Телля, английская революция, борьба североамериканцев за независимость под водительством Дж. Вашингтона. Параллель к известным словам Радищева в «Путешествии» (глава «Городня») «я зрю сквозь целое столетие» автор статьи находит в оде Клопштока «Пророчество братьям Штольбергам» 1773 года (с. 338):

...Еще одно столетье —
и это свершится. Да парит
право разума над правом меча!¹¹

Это примечательное сходство нельзя, по-видимому, объяснить подражанием или прямым влиянием Клопштока на Радищева. Оно возникло в общей атмосфере надежд просветителей на будущее изменение человеческого общества к лучшему. Все же Радищев — как и всегда, когда его мысли были близки к идеям его западных современников, — высказывался конкретнее и смелее многих из них.

С этим политическим пророчеством Радищева связан, добавим мы, еще один мотив его книги. В главе «Хотилов» встречается выражение «гражданин будущих времен», которое советский исследователь Ю. М. Лотман возводит к трагедии Шиллера «Дон Карлос». В десятом явлении III действия Поза говорит королю:

...для моих священных идеалов
Наш век еще покуда не созрел.
Я гражданин грядущих поколений.¹²

Возможно, непосредственно чтение «Дон Карлоса», изданного впервые в 1787 году, помогло рождению радищевских слов — и тогда перед нами первый печатный отзыв русского читателя на произведение Шиллера, как и считает Ю. М. Лотман. Но приведенный выше пример подсказывает нам, что и в этом случае мы, возможно, имеем дело с моментом типологического сходства, сходства, правда, показательного для эпохи и для мировоззрения Радищева и Шиллера.

Г. Дудек обнаруживает и другие совпадения, например в главе «Зайцово» и в идиллии Фосса 1776 года «Крепостные». Тема народа, творящего суд над угнетателями, была общей для оды Бюргера «Крестьянин — своему светлейшему тирану» и для произведений Радищева. Совпадение деталей позволило немецкому ученому предположить более конкретную связь между стихотворением Бюргера и радищевской «Вольностью». Если бы интерес Радищева к Бюргеру можно было подтвердить документально, то пришлось бы внести существенную поправку в историю восприятия в России произведений этого поэта-демократа. Вопрос о Радищеве и Бюргере заслуживает дальнейшего изучения. Тем не менее нельзя не согласиться с выводом, сделанным Г. Дудеком в конце статьи, что «связи между поэзией Радищева и немецкой лирикой XVIII в. были, без сомнения, богаче и интенсивнее, чем считалось до сих пор» (с. 341).

Радищев как выдающийся деятель не только русского, но и европейского Просвещения, определивший своим творчеством высший, революционный его этап, рассматривается в статье ленинградского литературоведа профессора Г. П. Макоговенко «А. Н. Радищев и проблема историзма. — К процессу становления истори-

¹⁰ См.: Кочеткова Н. Д. А. Радищев. «Оснадцатое столетие». — В кн.: Поэтический строй русской лирики. Л., 1973, с. 21—37.

¹¹ Klopstock F. G. Eine Auswahl aus Werken, Briefen und Berichten. Berlin, 1956, S. 227 (перевод мой, — P. Д.). Ср.: Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 369.

¹² Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-ми т., т. 2. М., 1955, с. 148. См.: Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву». — В кн.: XVIII век, сб. 12. А. Н. Радищев и литература его времени. Л., 1977, с. 33—34.

ческой мысли в России последней трети XVIII в.). Это исследование, принципиально важное для истории русско-западных культурных отношений и для понимания литературного развития в России на исходе века Просвещения, открывает собой лейпцигский сборник и одновременно содержит итоговые оценки достижений советского литературоведения по изучению Радищева и его эпохи.

Автор статьи поставил во главу угла проблему историзма. Он сделал это не только потому, что внимание филологов к ней сегодня обострилось. Для Радищева историзм был одним из ключевых вопросов. Развитие мировоззрения русского мыслителя включено исследователем в общую цепь духовных событий, отмечаемых собой ход антифеодального движения в XVIII веке. Становление исторического мышления происходило параллельно и зависимо от революционных общественных явлений. Так, осмысление опыта борьбы американских колоний за независимость совершалось от книги Г.-Т.-Ф. Рейналя «Революция в Америке» (1781), через оду Радищева «Вольность» (1781—1783) до «Идей к философии истории человечества» (1784—1791) Гердера. Преодоление механистического подхода к истории и выработку диалектических представлений об историческом процессе автор рассматривает как один из внутренних признаков Просвещения, во всяком случае, как дело, начатое просветителями: «...преодоление просветительской философии истории не было изменой великим идеям, оно являлось движением вперед» (с. 286). Важнейшая роль в этом движении социально-исторической мысли принадлежала Гердеру.

Основываясь на наблюдениях Г. А. Гуковского в «Очерках по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» (1938) и новейших достижениях нашей литературной науки, автор стремится отчетливо и сжато сформулировать содержание проблемы «Радищев и Гердер». Сходство этих двух мыслителей состояло в одинаковом понимании самоценности каждого народа и его национальной культуры, в представлении о фольклоре, в особенности о народной песне, как о выражении характера народа. Похоже воспринималось и переосмыслилось ими с демократических позиций утверждение Монтеスキо о влиянии географической среды на формирование культур. Одинаково осуждался феодальный деспотизм и провозглашались гуманистические идеалы.

Наряду с этим Г. П. Макогоненко указывает на существенные отличия позиции Радищева. В системе взглядов писателя-революционера (это было отмечено еще Гуковским) социальные вопросы занимали более важное место, чем у Гердера. Радищев видел задачу человеческого общества в «достижении свободы революционным путем», Гердер считал целью прогресса «осуществление идей гуманизма» (с. 288). Это справедливое в принципе разграничение позиций двух выдающихся просветителей требует, однако, некоторых дополнительных пояснений. Насколько можно судить по сочинениям Гердера — по его книге «Идей к философии истории человечества» и «Письмам для поощрения гуманности» (1793—1795), — он употреблял слово «гуманизм» как социально-философский термин, имеющий довольно определенное содержание, которое отличалось и от ренессансного понимания гуманизма, и от просветительского «человеколюбия», включая в себя и то и другое. Гердер ввел новое понятие *Humanität*, которое принято сейчас переводить как «гуманность», хотя адекватного термина у нас пока нет.¹³ Гердеровская гуманность безусловно абстрактнее, чем то сочувствие угнетенным, которое выливалось у Радищева в прямые пожелания гибели крепостникам. Однако, по нашему твердому убеждению, нельзя говорить, не делая самых серьезных оговорок, о том, что Гердер был склонен придавать своему гуманизму религиозный смысл и «игнорировал» социальные факторы развития общества (см. с. 288). Взаимоотношения Гердера с христианством были весьма сложными. Его религиозность подчас резко противоречила церковным догматам и приближалась к пантеизму. «Каждое обращение Гердера за помощью к высшему существу, — пишет об «Идеях к философии истории человечества» авторитетный советский исследователь наследия Гердера, — противоречит не только концепции книги в целом, но и другим вполне недвусмысленным его высказываниям».¹⁴

Что касается взглядов Гердера на причины развития общества, то известно, что одна из первых догадок о роли труда была высказана именно им в «Письмах для поощрения гуманности». Выросший в неимущей и трудовой среде, Гердер в молодости обличая сильных мира сего почти в радищевских интонациях: «О вы, убийцы человеческой свободы, разрушители законов государства и прав ваших

¹³ «Мне хотелось бы вместить в одно слово — „гуманность“ — все, сказанное о благородном складе человеческого существа, предрасполагающем человека к разуму и свободе, к тонким чувствам и влечениям, к хрупкости и выносливости тела, к заселению всей Земли и к власти над всей Землей...» (Гердер И. Г. Идей к философии истории человечества. Перевод и примеч. А. В. Михайлова. М., 1977, с. 107; перевод цитаты уточнен по оригиналу, — Р. Д.).

¹⁴ Гулыга А. В. Гердер и его «Идей к философии истории человечества». — В кн.: Гердер И. Г. Указ. соч., с. 621.

сограждан, скольких преступлений потомства стали вы виною!» («Причины падения вкуса у разных народов, у коих он процветал», 1773—1789).¹⁵

Все переключки с Гердером в сочинениях Радищева, написанных до середины 80-х годов, автор статьи объясняет типологическими совпадениями, в том числе и элементы историзма. Ведь еще Н. И. Новиков в своем сатирическом журнале «Юршелек» 1774 года развивал, как пишет автор, «идею Монтескье относительно влияния климата и географических факторов на нравы народов в смысле будущей концепции Гердера, указавшего на оригинальный характер национальных культур» (с. 294). Заметим, что основы гердеровской концепции сложились уже в статьях конца 60-х и начала 70-х годов, особенно во «Фрагментах о новейшей немецкой литературе» (1766—1768). Об этих ранних работах рижского критика, сделавших его имя известным в Германии, могли знать как Новиков, так и лейпцигский студент Радищев. Дело, однако, состоит не в приоритете, а в той неповторимой, русской интерпретации, какую идея историзма получила у демократов и вольнодумцев эпохи Радищева. Особенности русского исторического мышления XVIII и первых лет XIX века показаны в статье Г. П. Макогоненко очень ясно.

Русская действительность, непосредственный социальный опыт побуждали Радищева критически относиться к суждениям западноевропейских просветителей об истории России и о современном состоянии русского общества и русского народа. Внимание его было сосредоточено на проблемах, от решения которых зависело, как справедливо считает автор, дальнейшее развитие исторической мысли в России. Такими проблемами являлись отношение к русскому средневековью, особенно к республиканскому Новгороду, оценка деятельности Петра, определение русского национального характера (см. с. 295—296).

Вслед за Новиковым Радищев противопоставил складывавшейся уже на Западе легенде о русском характере свою демократическую концепцию свободолюбия как главной черты характера русского народа. К такому выводу привело русских просветителей мощное движение народных масс — восстание Пугачева, потрясшее до основания российскую монархическую систему. Не Петр единолично «разбудил» Россию, повернул ее от варварского средневековья к европейской образованности — русская государственность и национальная культура существовали и раньше. Подтверждение этому находили и в памятниках старины, и в народном искусстве, народном сознании. Примером, говорившим о давних демократических традициях, казался идеализированный Новгород. За неисторическим представлением о новгородской купеческой республике скрывалась, по убеждению Г. П. Макогоненко, догадка о подлинном великом прошлом русского народа. «Республиканский Новгород, „открытый“ в русском средневековье, и проблема становления русского национального характера стали теми отправными точками, с которых началось преодоление метафизической концепции просветителей» (с. 296). Не случайно те же вопросы волновали впоследствии декабристов, Пушкина, Лермонтова.

Напомним здесь и о Гердере, который в посвященной славянам главе «Идей к философии истории человечества» (кн. 16, гл. 4) назвал Новгород одним из «цветущих торговых городов», центром культуры славянских племен. Пытаясь очертить исторические изменения в характере славян, он отнюдь не настаивал на пресловутой славянской «мягкости» (так называемую «голубиную теорию» славянского характера приписали позже Гердеру его националистические критики). В той же главе своей книги Гердер не забыл сказать, что, при всей их любви к мирному труду, у славянских народов «не было недостатка в мужестве в минуту бурного сопротивления» поработителям и что свою «сельскую свободу» они поменяли на «цели рабства» лишь на некоторый исторически ограниченный срок, в силу враждебных им объективных обстоятельств.¹⁶

В заключение своей статьи Г. П. Макогоненко в качестве гипотезы высказал мысль, что «роль русских философов, историков и писателей определялась в европейском контексте формирования исторического мышления прежде всего (хотя и не исключительно) преодолением концепции средневекового варварства» (с. 296). Однако отказ от представления о «ночи» средневековья был показателен для конца европейского Просвещения в целом, и русские мыслители стояли в одном ряду со своими западными современниками, в том числе с «бурными гениями» и романтиками Германии, воспитанными на сочинениях Гердера и Гете. Профессор Г. П. Макогоненко прав, по-видимому, в другом, а именно в том, что своеобразие русского историзма он видит в непосредственном и более ярком, чем в иных странах, воздействии революционных идей на философскую мысль. Самым убедительным образом это подтверждается творчеством Радищева, где философия истории неотделима от идей народной революции.

¹⁵ Herders Werke. Ausgewählt und eingel. von W. Dobbek, Bd. 3. Weimar, 1957, S. 175.

¹⁶ См.: Гердер И. Г. Указ. соч., с. 470—472.

Н. А. НИКИФОРОВСКАЯ

БОЛЬШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ!

(О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ
СБОРНИКА «ШЕКСПИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 1976») *

Выход в свет сборника «Шекспировские чтения» следует расценивать как значительное явление в советском шекспироведении. Он подготовлен Шекспировской комиссией Научного совета по истории мировой культуры при Президиуме АН СССР. Это обстоятельство обязывает к самым строгим научным требованиям. И нужно отметить, что этому условию вполне отвечает целый ряд статей сборника. Им присущи конкретность историко-литературного анализа, всестороннее и тщательное изучение вопроса, строгая документированность, привлечение малоизвестных материалов.

В предисловии к сборнику справедливо указывается на необходимость изучения широкого круга проблем, касающихся как творчества Шекспира, так и его связи с различными эпохами, в особенности с нашей современностью. Отмечается распространенность в настоящее время комплексного изучения Шекспира: рассмотрение его пьес не только как произведений литературы, но и как явлений театрального искусства, сближение литературного анализа с лингвистическим и т. п. Учитывая это, Шекспировская комиссия стремится осуществлять исследования, охватывающие самые различные направления и аспекты шекспироведения. Широта и разнообразие тематики тоже относятся к положительным сторонам издания.

Однако нас интересуют прежде всего статьи, посвященные вопросу освоения Шекспира русской литературой, поскольку именно они связаны с тематикой журнала «Русская литература». К сожалению, только одна из них, «Шекспир — герой русской романтической драмы» Ю. Д. Левина (о пьесе П. П. Каменского «Розы и маска» (1841) — первой русской драме, посвященной Шекспиру), вполне заслуживает одобрение как серьезная научная работа, которая по своему характеру как бы является дополнением к коллективной монографии «Шекспир и русская культура», опубликованной Институтом русской литературы. Подробному и объективному анализу драмы Левин предпослал обзор посвященных Шекспиру переводных произведений, появившихся в России, а также краткий очерк жизни и деятельности П. П. Каменского. В конце статьи характеризуется пьеса Н. Имшенецкого «Актриса и поэт» (1850). В целом эта работа расширяет наше представление о том, насколько была велика популярность Шекспира в первой половине XIX века. О научном характере исследования Левина свидетельствует, в частности, огромное количество подстрочных примечаний, содержащих данные о литературе. Две же другие статьи — «Пушкин и Шекспир» А. Штейна и «Пастернак и Шекспир» Л. Озерова — имеют слишком серьезные недостатки. Об этих статьях и пойдет речь в настоящей рецензии.

Проблема отношения Пушкина к Шекспиру, рассматриваемая А. Штейном, давно привлекала внимание историков литературы, и мы вправе были ожидать, что автор добавит нечто новое к тому, что уже сказано его предшественниками. Но этого не произошло. Значительная часть его статьи представляет собой общие места, изложение общеизвестных фактов, в том числе и таких, которые упоминаются в учебниках по истории русской литературы. Статья изобилует цитатами, в большинстве случаев также хорошо известными, неоднократно приводимыми ранее, в ней трудно определить, что именно принадлежит самому автору, а что заимствовано им из других источников. Правда, в одном из подстрочных примечаний названо пять «наиболее значительных работ», в которых говорится об отношении Пушкина к Шекспиру, и упоминается о том, что автор опирался на некоторые положения, выдвинутые его предшественниками, но что это за положения не уточняется ни в примечании, ни в самом тексте.

Касаясь высказывания Пушкина «взглянем на трагедию глазами Шекспира», Штейн дает весьма поверхностный комментарий и игнорирует глубокое толкование этих слов в работе М. П. Алексеева «Пушкин и Шекспир»; рассматривая проблему народности в трагедии «Борис Годунов», не упоминает статьи М. П. Алексеева «Ремарка Пушкина „народ безмолвствует“»; останавливаясь на вопросе об исторической необходимости в драмах Шекспира, не ссылается на известные суждения А. Л. Слонимского по этому же вопросу.

Многие высказывания автора представляют собой истины, сами собой разумеющиеся, например: «Пушкина отделяют от Шекспира не просто два столетия. Это люди разных эпох. Их сформировали разные национальные условия. Они представляют различный уровень общественной мысли, опираются на разные художественные традиции» (с. 149); «На первый взгляд то, что происходило в России эпохи Пушкина, очень не похоже на то, что происходило в шекспировской Англии» (с. 153); «... Пушкин жил на два века позже Шекспира и отражал историю»

* Шекспировские чтения. 1976. Под ред. А. Авикиста. М., «Наука», 1977. 287 с.

другой страны. Поэтому „Борис Годунов“ в ряде существенных моментов отличается от драм Шекспира» (с. 156); «Социальная борьба в допетровской Руси по своему характеру и направлению многим отличалась от борьбы, которая происходила в средневековой Англии» (с. 162); «Пушкин формировался в атмосфере вольнолюбивых настроений, связанных с подготовкой восстания на Сенатской площади» (с. 150) и т. д.

Собственные суждения Штейна часто способны лишь запутать читателя. Например, совершенно не убедительно его утверждение, будто бы у Шекспира «в основе каждой из хроник единая драматическая коллизия», тогда как «Борис Годунов» Пушкина «распадается на отдельные эпизоды, отдельные внутренне законченные коллизии»: отношения Шуйского и Воротынского, отношение народа к избранию Годунова, отношения Пимена и Григория, отношения царя и народа (с. 161). Но ведь с таким же успехом можно было бы «расчленил на коллизии» и любую из шекспировских драм, например, в хронике «Генрих IV» усмотреть следующие «коллизии»: отношения короля и мятежников, отношения принца и Фальстафа, отношения короля и принца и т. д.

По словам Штейна, у Шекспира «в финале драматических хроник появлялся новый монарх, призванный восстановить справедливость», тогда как у Пушкина «в финале „Бориса Годунова“ нет апофеоза нового царя. Пушкин развенчивает и старого царя Бориса и нового Димитрия, развенчивает обе партии господствующего класса» (с. 163). Хотя на самом деле у Шекспира являющийся в финале новый монарх отнюдь не «восстанавливает справедливость» и обычно там уже виден зародыш будущего конфликта.

Странное впечатление производит и следующее противопоставление: «Ричард III лицемерит и хочет обмануть народ. Борис сам добросовестно обманывается, когда говорит об отношении к нему и его избранию народа (третья сцена трагедии «Кремлевские палаты»)» (с. 160). Но, во-первых, как можно «добросовестно обманываться»? Во-вторых, в указанной сцене (кстати, она не третья, а четвертая) дана тронная речь Бориса, обращенная к патриарху и боярам, а не его размышления. Наконец, о народе упоминается лишь в трех фразах Бориса: «Да правлю я во славе свой народ», «Не избранный еще народной волей» и «А там сзывать весь наш народ на пир». О каком же «отношении народа к Борису и его избранию» здесь идет речь? (Возможно, имеется в виду упоминание Бориса о том, что он был избран «народной волей»? Но неизвестно, в какой мере оно выражает подлинные мысли Бориса).

Автор допускает ошибку, утверждая (в связи с «Мерой за меру» Шекспира и «Анджело» Пушкина): «У Шекспира герцог казнит Бернардина и Луцио. У Пушкина Дук никого не казнит» (с. 174). Герцог «никого не казнит» и в шекепировской драме.

А вот пример, когда многозначительный вывод делается там, где текст этого совершенно не позволяет. На основании строк поэмы «Анджело»

И ухо стал себе почесывать народ
И говорить: «Эхе! да этот уж не тот!»

Штейн заключает: «...здесь нарисован выразительный образ народа, его мудрость, его способ реагировать на то, что делают правители» (с. 173). Но где здесь «выразительный образ народа»? Вся «его мудрость» заключена в словах «Эхе! да этот уж не тот!», а «его способ реагировать на то, что делают правители» состоит в «почесывании уха».

Статья крайне эклектична, между отдельными положениями нет логической последовательности и внутренней связи, в рассуждениях автора встречаются противоречия: в «Графе Нулине», пишет он, «Пушкин хотел показать роль случайности в истории, показать, что случайность, пылинка могла изменить историю Рима и человечества, избавить его от многих потрясений» (с. 167), а далее, на той же странице, заявляет: «Представление о том, что история состоит из игры случайностей, противоречит воззрениям Пушкина на историю».

Нередки чисто декларативные суждения, отличающиеся категоричностью и односторонностью, например, утверждения, что «небрежность внешней отделки» «составляет характерную черту не только Шекспира, но и всей литературы эпохи Возрождения» (с. 165), что «в трагедии торжествует необходимость. В комедии берет верх неожиданность, случайность, произвол» (с. 169), что «„Борис Годунов“ — историческая драма, неизмеримо более документированная, нежели хроники Шекспира» (с. 159).

В ряде случаев вообще трудно понять, что именно хотел сказать автор: «В этот переломный момент своего духовного развития Пушкин нашел единственно возможный выход — обращение к народной жизни» (с. 151) (В чем заключалось «обращение к народной жизни»?); «Наш поэт часто писал произведения в определенном духе, намеченном до него представителями старой западноевропейской литературы» (с. 171) (О каком «определенном духе» идет речь? Как можно «наметить дух»?); «Наделенный безошибочным чутьем и глубокой всеобъемлющей

культурой, он извлекал из данного жанра то содержательное зерно, которое в нем заключалось, и создал в данном роде творчества совершенный образец» (с. 171) (Какой «данный жанр» и какой «данный род творчества» имеются в виду? Что такое «содержательное зерно»? «Совершенный образец» чего создал Пушкин?).

Весьма убедительны рассуждения автора о реализме Пушкина. Вначале говорится, что «разочарование в перспективах революционной борьбы» привело Пушкина «к мысли о необходимости согласовать свои субъективные устремления с объективным ходом действительности» (с. 151). (Неужели же для такой простой мысли потребовалось «разочарование в перспективах революционной борьбы»?). Далее: «Стремление стоять на почве действительности, идти к познанию исторической необходимости стало источником реалистических завоеваний Пушкина» (с. 152). И наконец: «Взятое в широком историческом плане, искусство Пушкина вместе с искусством Гете и отчасти Шиллера завершает ту полосу в развитии реализма, которая началась в эпоху Возрождения и одним из наиболее ярких представителей которой был Шекспир. Это реализм, дающий поэтическое изображение прекрасного человека, проникнутый верой в его силы и возможности, раскрывающий богатство человеческого духа, утверждающий веру в торжество жизни» (с. 152). (Почему Пушкин «завершает», к тому же «вместе с Гете и отчасти Шиллером», какую-то «полосу в развитии реализма»? Что дают читателю общие фразы-штампы о характере реализма эпохи Возрождения, отнюдь не помогающие понять особенности реализма Пушкина?).

Количество примеров, свидетельствующих о том, что статья А. Штейна не может считаться научной, можно было бы без труда увеличить.

Статья Л. Озерова «Пастернак и Шекспир» представляет собой перепечатку статьи по меньшей мере десятилетней давности. Впервые она увидела свет под заглавием «Заметки Пастернака о Шекспире» на страницах сборника «Мастерство перевода. 1966» (М., 1968). Автор, напоминая, что в данном сборнике им были опубликованы четыре заметки Пастернака, почему-то умалчивает о том, что их там сопровождала и настоящая статья. Новая публикация отличается от предыдущей лишь тем, что в ней добавлены в начале 22 строки, а в конце опущена полемика с В. Левиком, высказавшим ряд весьма существенных критических замечаний в связи с переводами Б. Пастернака.

По своему характеру статья Л. Озерова в высшей степени субъективна и чисто декларативна, автор даже не делает попытки обосновать научно свои суждения. Стиль отличается крайней напыщенностью: «Это имя — Шекспир! — звучит так мощно, что за ним легче представить целую эпоху, чем одного автора. Эпоху, замахнувшуюся на несколько эпох, на вечность» (с. 176). О Пастернаке он говорит: «...он был обуреваем Шекспиром, как бывал обуреваем музыкой, философией, грозой, любовью. Перед Пастернаком был не автор, который восхищал и звал к переводческому верстаку. Нет, это была одна из стихий мира, это было второе имя творческого начала жизни» (с. 177); «В мастерской Пастернака просторно. Здесь царят законы Шекспировой космогонии. Рукой подать, рядом — жизнь, природа, человек. Рядом — вода, огонь, буря, звезды, смерть, бессмертие» (с. 178). Все это одни лишь громкие фразы.

Некий мистический оттенок придает статье неоднократное использование слова «тайна» («тайны автора», «тайны Шекспира»), и кончается статья словами о том, что Пастернак «все делал для того, чтобы сказать свое новое слово в раскрытии шекспировских тайн» (с. 183).

Автор заверяет нас, что Пастернак «оставил нам помимо самих переводов рассказ о методах своей работы» (с. 178), и иллюстрирует это высказываниями Пастернака, из которых мы узнаем, что «переводить Шекспира — работа, требующая труда и времени» (но какая работа не требует труда и времени?), и что заниматься этой работой приходится ежедневно, «разделив задачу на доли, достаточно крупные, чтобы работа не затянулась». По словам Пастернака, «это каждодневное продвижение по тексту ставит переводчика в былые положения (?) автора. Он день за днем воспроизводит движения (?), однажды проделанные великим прообразом. Не в теории, а на деле сближаешься с некоторыми тайнами автора, ощущаешь в них посвящаешься» (с. 178). Причем, как великое достоинство этого «метода» Озеров расценивает отсутствие научного подхода к задаче перевода. «Что всего ненавистней для мастера слова? — восклицает он. — „Слова, слова, слова...“ Ни ученых выкладок, ни цитат, ни картотеки. На письменном столе белый лист бумаги и том Шекспира» (с. 178—179). Весьма странный взгляд, особенно если учесть, что в данном случае переводимый текст исключительно сложен и что для правильного его понимания необходимо обращение к специальным словарям, комментариям, научным исследованиям, в противном случае произвол в истолковании различных мест текста совершенно неизбежен. Трудно поверить, что Пастернак этого не понимал. Да и сам Озеров в начале статьи отмечает, что в период работы над переводами Пастернака можно было видеть с томом, с которым он не хотел ни на минуту расстаться: «Это был либо — предпочтительно — сам Шекспир, либо его комментаторы, либо работа Виктора Гюго о Шекспире...» (с. 176).

Озерову почему-то понадобилось доказывать, что Пастернак избежал модернизации Шекспира: «Раздавались голоса людей, считавших, что Пастернак не избежал модернизации Шекспира. Это неверно. Академический перевод, пользуясь специальным шекспировским словарем, станет дотошно восстанавливать стиль и образный строй подлинника. Но современный читатель должен прочитывать Шекспира именно как современного автора, без примеси стилизации и нарочитой архаической накипи. Переводчик должен до минимума сократить дистанцию времени между нынешним читателем и слушателем, с одной стороны, и оригиналом и эпохой оригинала — с другой. Это не модернизация, а живое требование времени» (с. 180). («Голоса людей» — это, видимо, критические высказывания академика М. П. Алексеева, А. А. Смирнова, В. Левика и других авторитетных специалистов по теории и истории перевода). Далее Л. Озеров пишет: «Шекспировские герои дожили до XX века и обрели в поэтическом строе Пастернака дар речи» (с. 181). Но ведь шекспировские герои уже имели ранее дар речи, причем их речи были присущ свой «стиль и образный строй». Превращать Шекспира в «современного автора», заменяя «стиль и образный строй» его героев другим, характерным для XX века, для наших дней — это и есть не что иное, как модернизация.

В данном случае Пастернак и не ставил своей целью перевод в строгом смысле этого слова. Он писал, что когда ему предложили перевести «Гамлета», то «речь шла об особом, вольном, свободно звучащем переложении, удовлетворительном в сценическом, а не в книжном смысле», и предлагал судить его работу «как русское оригинальное драматическое произведение». Он предупреждал также, что в его работе «больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам», и что «от перевода слов и метафор» он «обратился к переводу мыслей и сцен».¹ Таким образом, уже из слов самого Пастернака видно, что его перевод представляет собой «вольное переложение» или даже «оригинальное драматическое произведение».

Пастернак считал, что «наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе».² В рецензии «„Гамлет“ Бориса Пастернака» М. П. Алексеев отмечал: «Одна из основных особенностей перевода — подчеркнутая вульгарность словаря. Все действующие лица трагедии — короли, принцы, царедворцы, могильщики и даже самый призрак — стараются перещегоолять друг друга в особо изысканном подборе неупотребительных в литературной речи, редких или примитивных в своей грубости речений. Но у Шекспира этого нет».³ В подтверждение своих слов М. П. Алексеев приводил большое количество примеров. Часть неудачных и крайне вульгарных выражений, отмеченных М. П. Алексеевым, в последующих публикациях перевода была заменена другими, более пристойными, но многие остались (например: «Отец погиб с раздутым животом, Весь вспучившись, как май, от грешных соков» и др.). И к последующим публикациям «Гамлета» Пастернака применимы слова М. П. Алексеева, что в его переводе имеется «целая система усиления шекспировской выразительности средствами заметно сниженного против Шекспира вульгаризованного словаря».⁴ Вряд ли этот «вульгаризованный словарь» был словарем, свойственным «в обиходе» самому переводчику.

В заключение в своей рецензии М. П. Алексеев сделал следующий вывод в отношении перевода Пастернака: «удачи в нем «поглощаются грехами ничем не оправданных искажений, которые душат, калечат, насилуют шекспировский текст».⁵ Автор же статьи «Пастернак и Шекспир», несмотря на обилие громких фраз, содержащих безудержные дифирамбы переводам Пастернака, не смог сказать ничего сколько-нибудь убедительного в защиту этих переводов. Научного значения статья Л. Озерова не имеет, и перепечатку ее в авторитетном издании Шекспировской комиссии следует считать ошибкой.

Как указано в предисловии, сборник «Шекспировские чтения» будет иметь продолжение. Необходимо, чтобы редакция сборника и Шекспировская комиссия в дальнейшем подходили бы с большей ответственностью к отбору материалов для включения в «Шекспировские чтения» и не публиковали бы статей, не отвечающих научным требованиям.

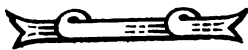
¹ Пастернак Б. Заметки о переводе. — В кн.: Мастерство перевода. М., 1968, с. 109, 110.

² Пастернак Б. Заметки к переводам шекспировских трагедий. — В кн.: Литературная Москва. М., 1956, с. 794.

³ Алексеев М. П. «Гамлет» Бориса Пастернака. — Искусство и жизнь, 1940, № 8, с. 15.

⁴ Там же.

⁵ Там же, с. 16.



ХРОНИКА

НАСЛЕДИЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ

25—26 мая 1978 года в Ленинграде состоялась Всесоюзная научная конференция «Теоретическое и литературное наследие Н. Г. Чернышевского и современность», посвященная 150-летию со дня рождения великого русского мыслителя, революционера-демократа, писателя и литературного критика. Конференция была организована Академией наук СССР, Министерством культуры СССР и Союзом писателей СССР.

Пленарное заседание открыл председатель юбилейного оргкомитета, вице-президент АН СССР академик П. Н. Федосеев.

Затем были заслушаны доклады «Революционер-демократ Н. Г. Чернышевский, его идейно-теоретическое наследие и советская наука» — чл.-корр. АН СССР М. Т. Иовчука, «Философские воззрения Н. Г. Чернышевского и некоторые вопросы современной идеологической борьбы» — министра культуры РСФСР Ю. С. Мелентьева, «Литературно-критическое наследие Н. Г. Чернышевского и современность» — чл.-корр. АН СССР В. Р. Щербинь, «Н. Г. Чернышевский и русская литература» — доктора филол. наук, члена Союза писателей СССР Б. И. Бурсова, «Н. Г. Чернышевский — крупнейший экономист домарковского периода» — доктора экон. наук, проф. Н. А. Цаголова.

В конференции принимал участие академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР академик М. Б. Храпченко.

В дальнейшем работа конференции проходила на заседаниях четырех секций: 1. Революционная деятельность Н. Г. Чернышевского и его место в истории освободительного движения и общественной мысли; 2. Литературно-художественное, критическое и эстетическое наследие Н. Г. Чернышевского; 3. Наследие Н. Г. Чернышевского в философии, этике, психологии и его современное значение; 4. Социально-экономические, правовые воззрения Н. Г. Чернышевского и современность.

Открывая заседания секции «Литературно-художественное, критическое и эстетическое наследие Н. Г. Чернышевского», директор Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР чл.-корр. АН СССР А. С. Бушмин кратко характеризовал огромную роль Черны-

шевского в истории русской литературы, его непреходящие заслуги в области литературно-эстетической мысли, литературной критики и художественного творчества. Продолжая и развивая взгляды В. Г. Белинского, Чернышевский в работе «Эстетические отношения искусства к действительности» дал для своего времени самое глубокое теоретическое обоснование принципов реализма. Возглавив журнал «Современник», он превратил его в боевую трибуну революционной демократии. Опубликованные в этом журнале литературно-критические статьи Чернышевского — блестящие образцы истолкования произведений Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Тургенева и Л. Толстого, Островского и многих других художников слова. Выступления Чернышевского-критика всегда отличались оригинальностью мысли, тонким пониманием явлений искусства, революционной целеустремленностью. Они вызывали большой общественный резонанс. В какой бы роли ни выступал Чернышевский — теоретика, историка, публициста, литературного критика, писателя, — он всегда оставался революционером, волю которого не сломали тяжкие годы длительной тюрьмы, каторги, ссылки. Могучая идейная проповедь Чернышевского вдохновляла лучших людей России на борьбу с самодержавием. На его романе «Что делать?» воспитывалось не одно поколение революционеров. Значение деятельности Н. Г. Чернышевского было высоко оценено К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным. Богатейшее идейное наследие Чернышевского, сказал в заключение своего выступления А. С. Бушмин, — это не только достояние ценной нами передовой культуры прошлого века, но и живая, действенная часть нашей сегодняшней культуры, активно участвующая в духовном развитии социалистического общества.

Член правления Союза писателей СССР Г. И. Коновалов (Саратов) говорил в своем выступлении о неубывающей нравственной силе творений великого бунтаря, «властителя дум», учителя многих поколений соотечественников. Безгранично обаяние его светлой личности, прекрасна под-

вижническая преданность революционным идеям. Чернышевский вместе с русским народом выстрадал идеал будущего, уверовал в его осуществимость, образно, зримо представил его в знаменитом романе «Что делать?». «В чем поучительная тайна всесторонней живучести романа — идейной, философской, этической и эстетической? В нем уловлено течение народной реки, пусть пока лишь в самом верховье, может быть, даже в струйке родника, которому суждено впасть в реку. Будущее глянуло на читателя светлым взором и позвало в полет. К обновлению во всем — в любви и общественной жизни. Романа Революции и Любви до тех пор не было». Уроки Чернышевского, сказал докладчик, вошли в творческое сознание советской литературы, одухотворенной идеями Ленина, практикой строительства коммунизма. Положительный герой, занимавший воображение автора «Что делать?», стал главным в произведениях советских писателей. Призыв Чернышевского бороться за прекрасное будущее, заключил свое выступление Г. И. Коновалов, услышан его потомками.

«В. И. Ленин и художественное наследие Н. Г. Чернышевского» — этой теме был посвящен доклад доктора филол. наук А. Н. Иезуитова (Ленинград). Докладчик подчеркнул, что художественное наследие Чернышевского — глубоко оригинальное явление в истории мировой культуры, требующее к себе специфического подхода с учетом особой эстетической природы этого явления, его структурного и функционального своеобразия. Превосходно постиг и раскрыл эту «особость», это своеобразие литературного творчества Чернышевского В. И. Ленин. В истолковании художественных произведений революционера-демократа отчетливее всего проявилась принципиальная особенность ленинского взгляда на искусство, и в то же время творчество Чернышевского было наиболее репрезентативным для такого проявления. Основываясь на ленинских характеристиках беллетристических произведений Чернышевского, А. Н. Иезуитов обратил внимание на то, что в романах «Что делать?» и «Пролог» политическое выступает как эстетическое, в виде определяющего начала в жизни и в судьбах личности и общества, в качестве структурообразующего центра произведения. Политические мотивы, имеющие политическую основу чувства, страсти и переживания доминируют в поведении и в духовном мире персонажей, в их сложных взаимоотношениях. Это придает внутреннюю последовательность, идеологическую напряженность и психологическую остроту всему повествованию. По сути дела Чернышевский стоит у истоков явления, без которого мы не можем представить себе нашу современную культурную

жизнь, — «политического романа», «политической пьесы», «политического фильма»... Именно Чернышевский начал приучать эстетическое сознание своих читателей к непосредственно политическому искусству, прокладывая новые и очень перспективные пути в художественном творчестве. В этом заключается его великая историческая заслуга и его подлинное литературное новаторство, столь проникательно отмеченные в свое время В. И. Лениным.

Глубокую связь эстетической теории Чернышевского с историческим развитием русской литературы раскрыл доктор филол. наук Г. М. Фридляндер (Ленинград), прочитавший доклад «Борьба Н. Г. Чернышевского за реализм в русской литературе».¹

В докладе «Мировое значение Н. Г. Чернышевского как писателя» доктор филол. наук Л. М. Юрьева (Москва) поставила задачу рассмотреть творчество революционного демократа в широком контексте русской и зарубежной литературы, выявить связи романиста с его предшественниками, современниками и представителями последующих поколений художников слова — участников мирового литературного процесса. При этом указывалось, что речь пойдет не столько о влиянии (хотя и этот аспект важен), сколько об общих реальных закономерностях литературного развития, закономерностях, подтвердивших с течением времени тот тип творчества, те идейно-художественные принципы, которые мы обнаруживаем у Чернышевского. Докладчица высказалась за необходимость углубленного изучения такой проблемы, как Чернышевский и западноевропейское Просвещение. Был отмечен большой интерес Чернышевского к личности и деятельности Лессинга, а также известная близость художественных принципов автора «Что делать?» эстетике и поэтике философских повестей Вольтера. Опираясь на работы академика М. П. Алексеева и профессора А. П. Скафтымова, Л. М. Юрьева указала на возможность дальнейшего сопоставлений художественных концепций Чернышевского и Золя, Чернышевского и Жюль Санд. В докладе отмечалось заметное творческое воздействие Чернышевского-романиста на ряд других, помимо Золя, известных зарубежных писателей: его новаторские художественные принципы просматриваются в «эпическом театре» Брехта; несомненно сходство художественных структур «Что делать?» и «Волшебной горы» Т. Манна; рахметовское начало присутствует в герое «Овода» Войнич... Заклучая выступление, докладчица подчеркнула, что творчество Чернышев-

¹ Расширенный вариант доклада опубликован в № 2 журнала «Русская литература» за 1978 год.

ского, прежде всего роман «Что делать?», и по содержанию и по форме соотносится с самыми значительными явлениями мировой литературы.

Тема сообщения канд. филол. наук А. А. Демченко (Саратов) — «Состояние и перспективы изучения биографии Н. Г. Чернышевского». Докладчиком были подведены некоторые итоги существующего биографического знания о писателе-революционере, а также определены основные принципы сложения научно-биографического труда. В связи с этим подчеркивалось важное методологическое значение высказываний В. И. Ленина о Чернышевском и ценности известных плехановских работ о нем. Под научной биографией как самостоятельным типом литературоведческого исследования докладчик предложил понимать — в самой общей формулировке — широкое научно-документальное описание жизни изучаемого писателя. Цели и задачи научной биографии — усечение исторического места писателя, изучение эпохи и конкретной среды, в которой он формировался и действовал, научное объяснение переломных моментов в его жизни и творчестве, разработка концепции творческой личности. Сделав краткий обзор существующей биографической литературы о Чернышевском (особо были отмечены двухтомная монография Ю. М. Стеклова и критико-биографические очерки, написанные Н. Ф. Бельчиковым, Е. И. Покусаевым, Б. С. Рюриковым, А. П. Скафтымовым), А. А. Демченко указал на наличие в настоящее время реальных предпосылок для создания научной биографии Н. Г. Чернышевского.

Вопрос о своеобразии Чернышевского-художника был поставлен в сообщении доктора филол. наук С. Е. Шаталова (Москва) «Художественный мир писателя-революционера Чернышевского». Доминантой, определяющей существенные особенности художественного строя «Что делать?», является, по мнению докладчика, просветительство автора романа. Художественный мир Чернышевского заметно отличается от художественного мира Гончарова, Тургенева, Л. Толстого, Чехова и других реалистов критической (по преимуществу) ориентации. Убеждения революционера-просветителя сказались на понимании роли времени, пространства, пейзажа, вещного мира в структуре произведения, особенно на понимании природы человека, его внутренней жизни. У Чернышевского-художника господствует принцип восходящего, необратимого развития. Время течет к будущему, общество стремится к социализму, человек высвобождает себя от власти невежества, предрассудков и станет совершенным — в соответствии со своей естественной природой. Условность, вообще «свойственная художественным созда-

ниям, весьма характерна для «Что делать?». С учетом просветительских доминант условность в художественном мире Чернышевского следует оценивать как достижение высокого искусства, как необычайно крупный вклад в мировой литературный процесс, подчеркнул С. Е. Шаталов.

В сообщении доктора филол. наук Л. М. Лотман (Ленинград) «Идейно-художественные принципы беллетристики Чернышевского 60—70-х годов» романы писателя этого времени рассматривались в их единстве, как самостоятельные части продуманной и организованной автором по определенному плану художественной системы. В первые месяцы пребывания в тюрьме Чернышевский составил для себя обширную программу создания научных энциклопедических трудов и беллетристических произведений, в которых должны были найти свое отражение его философские, эстетические, исторические и социальные идеи. Художественная часть этой программы должна была передать нравственное содержание личности автора, а также восстановить и упрочить его контакты с читателями. Анализ содержания и строя произведений, над которыми Чернышевский работал в Петропавловской крепости, дает основание сделать вывод, что они представляют собою единый художественный замысел повествования циклической структуры. Цикл романов, задуманный и в большей части осуществленный в Сибирь («Старина», «Пролог», «Чтения в Белом зале»), аналогичен по проблематике и композиционным особенностям «петербургскому циклу», хотя в нем превалирует исторический подход к изображаемой действительности. Можно выдвинуть гипотезу, сказала в заключение Л. М. Лотман, что обширный замысел Чернышевского предполагал наличие связи между «Что делать?» и другими произведениями, написанными в Петропавловской крепости, с одной стороны, и «сибирским циклом» — с другой.

Сложность идейно-литературных отношений Чернышевского и Достоевского анализировалась в сообщении канд. филол. наук В. А. Туниманова (Ленинград) «Н. Г. Чернышевский и Достоевский». Речь шла главным образом о читательском и критическом восприятии Чернышевским художественных произведений Достоевского (повести и рассказы 1840-х годов, «Униженные и оскорбленные»), об отношении идейного руководителя «Современника» к литературно-политической программе журнала Ф. и М. Достоевских «Время». В. А. Туниманов остановился на содержании встреч Чернышевского с Достоевским в 1862 году, получивших столь разное освещение в их воспоминаниях. Анализировались также суть и стиль полемики Достоевского («Крокодил», «Записки из подполья») с Чернышевским в русле обще-

ственно-литературной борьбы 1860-х годов.

Канд. филол. наук А. А. Баженова (Москва) сделала сообщение на тему: «Н. Г. Чернышевский и русская эстетическая мысль». Докладчица исходила из положения, что понятие эстетику Чернышевского, оценить ее подлинное теоретическое и практическое значение возможно лишь в контексте всей русской эстетической и художественной культуры. В связи с этим было рассмотрено отношение Чернышевского к его прямым предшественникам в области философско-эстетической мысли (Белинский, Герцен), а также обозначены многосторонние связи автора «Эстетических отношений...» с современными ему и последующими деятелями — теоретиками и практиками — отечественного искусства. В сообщении подчеркивалась мысль, что для Чернышевского-эстетика характерно стремление к выявлению материалистических основ эстетического сознания, к установлению объективных критериев оценки всех форм художественной деятельности человека. Труды Чернышевского, в особенности «Очерки гоголевского периода русской литературы», — образец умелого использования принципа историзма применительно к явлениям искусства. В выступлении А. А. Баженовой был дан также критический анализ характеристик и оценок эстетической теории Чернышевского, содержащихся в работах ряда зарубежных исследователей.

В сообщении доктора филол. наук В. С. Шадури (Тбилиси) «О влиянии революционно-демократических идей Чернышевского на развитие общественной мысли и литературы народов Закавказья» отмечалось, что воздействие «всемирного демократа-революционера» (по определению Ленина) на закавказских «шестидесятников» (И. Чавчавадзе, А. Церетели, Н. Николодзе, М. Налбандян, М. Ф. Ахундов) и его личные контакты с некоторыми из них (например, с Н. Николодзе) складывались на почве общей идейной борьбы с царизмом, в русле определившегося влияния передовой русской культуры на культуру национальных меньшинств.

Тема сообщения доктора филол. наук К. И. Ровды (Ленинград) — «Чернышевский и славянские литературы». Докладчик показал, что в своих славянских работах великий революционный демократ находился не только на уровне тогдашней науки, но и прокладывал в ней новые пути. Он проявлял большой интерес к национально-освободительным движениям зарубежных славян, славянским литературам и оказывал мощное влияние на них своими общественно-политическими, философско-эстетическими и литературно-критическими идеями. Велико было воздействие личности Н. Г. Чернышевского и

его произведений на славянскую молодежь Польши, Болгарии, Сербии. В сфере идей Н. Г. Чернышевского формировались философско-эстетические и литературные взгляды Б. Бялоблочки (Польша), Хр. Ботева, Л. Каравелова (Болгария), С. Марковича (Сербия) и др. Усвоение идей Чернышевского, отметил К. И. Ровда, подводило славянских революционеров к постижению марксизма. Особое значение это имело для стран с преобладающим крестьянским населением, где лишь с ростом промышленности и рабочего класса возникают условия для непосредственного восприятия научного социализма. Говоря о влиянии «Что делать?» на литературно-общественную мысль славян, К. И. Ровда подчеркнул, что своим романом Чернышевский продемонстрировал перед славянскими — и не только славянскими — литературами новый тип социально-психологического реалистического романа, новый эстетический подход к действительности. Чернышевский создал произведение, в котором изображение социально-эстетического идеала вытекает из его реалистической основы. В этом его непрезойденное значение не только для славянских, но и для других литератур мира.

В сообщении доктора филол. наук А. И. Павловского (Ленинград) «О значении традиций Н. Г. Чернышевского для современной литературной критики» был поставлен вопрос об особой важности эстетики мыслителя-революционера, в особенности принципов «реальной критики», для успешного развития литературно-критической работы в наше время. По мнению докладчика, Чернышевский впервые органично соединил журналистско-критическое повседневное дело и науку. В этом отношении он является нашим ближайшим предтечей. Немаловажное значение имеет также и внутренне социологическая природа критического метода Н. Г. Чернышевского в сочетании с тонким вкусом и мастерством. Автор «Очерков гоголевского периода русской литературы» требовал от литературно-критических выступлений крупных координат, постановки серьезных философских проблем. Традиции философской критики, идущие от Чернышевского, заключил докладчик, должны быть максимально учтены в нашей работе.

Подводя итоги работы секции, А. Н. Иезуитов отметил актуальность тематики, немалую научную ценность многих прочитанных докладов и сообщений, несомненную плодотворность состоявшегося разговора о различных аспектах литературного наследия Чернышевского.

К открытию конференции работники музея, рукописного отдела и библиотеки ИРЛИ АН СССР подготовили выставку, посвященную личности и творчеству писателя-революционера.

Участники конференции совершили автобусную экскурсию по памятным местам города, связанным с жизнью и дея-

тельностью Н. Г. Чернышевского в Петербурге.

В. А. МЫСЛЯКОВ

XXV ПУШКИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

31 мая—2 июня в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР проходила очередная, XXV Пушкинская конференция. Как обычно, конференция вызвала к себе большой интерес не только среди литературоведов, преподавателей, работников музеев, но и широких кругов почитателей пушкинского таланта. В Пушкинский дом прибыли гости более чем из 30 городов Союза, на четырех заседаниях было прослушано и обсуждено 17 докладов и ряд внепрограммных сообщений.

Открывая конференцию, академик М. П. Алексеев сообщил присутствующим горестную весть: 29 мая на 81 году жизни скончалась Татьяна Григорьевна Цявловская, виднейший пушкинист, самозабвенно служившая науке до последних дней своей жизни. Труды Т. Г. и М. А. Цявловских давно стали фундаментальным богатством пушкиноведения. «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» — дело многих лет их жизни, согласно воле Т. Г. Цявловской, будет завершена группой сотрудников Пушкинского дома.

XXV конференция была задумана как юбилейная и посвящена обзору пушкиноведения за 60 лет. Но она и сама юбилейная, 25-я по счету. Остановившись на истории Пушкинских конференций, М. П. Алексеев отметил их важную роль в координации работ советских пушкинистов и определении направлений дальнейших исследований. За истекшие годы были созданы фундаментальные труды: Словарь языка Пушкина, Собрание сочинений в 17-ти томах и др. Значение конференций в том, что они поставили целый ряд совершенно новых проблем. В качестве важнейших задач, стоящих перед пушкинистами, М. П. Алексеев назвал полное комментированное издание сочинений Пушкина, толковый словарь языка Пушкина, комментированное издание писем к Пушкину, летопись, пушкинскую энциклопедию, продолжение работы над пушкинской библиографией.

Ученый секретарь Пушкинского дома канд. филол. наук С. А. Фомичев выступил с докладом, освещающим основные тенденции в современной советской науке о Пушкине.

При всех несомненных достижениях современного пушкиноведения нельзя не отметить, сказал докладчик, что экстенсивность роста пушкинианы далеко не соответствует интенсивности научного постижения пушкинского на-

следия. Не преодоленный к настоящему времени эмпиризм пушкинистики во многом объясняется тем, что в науке о Пушкине не завершено строительство необходимого источниковедческого фундамента (полного свода библиографии, летописи жизни и творчества, полного собрания сочинений академического типа с комментариями и пр.).

Принципиальной тенденцией советского пушкиноведения является то, что оно зачастую обращается не к узкому кругу специалистов-филологов, а к широкому читателю. Имеет смысл обратить внимание на некоторые теневые стороны данной тенденции (погоня за дешевой сенсационностью, подмена научного анализа субъективными интерпретациями, многократное повторение общеизвестного и т. п.).

Вместе с тем популярность пушкинской темы по-своему обогащает исследование. Интерес к Пушкину обуславливает пристальное внимание к его окружению, к его эпохе. «Вокруг Пушкина» поэтому — это не просто название одной из книг, но и вполне определенная тенденция в современном пушкиноведении.

Что же касается исследования собственно пушкинского художественного наследия, то здесь «центр тяжести» переместился в последнее время на творчество Пушкина 1830-х годов, что выдвинуло во главу угла современной науки проблему высших достижений пушкинского реализма. Здесь особенно важно соблюсти критерии конкретно-исторического исследования, не судить о Пушкине по законам творчества Достоевского, например (попытка такого рода предпринимается довольно часто). Особое совершенство, гармоничная ясность музыки Пушкина, пушкинская определенность в поляризации добра и зла требуют адекватного научного осмысления. Глубина постижения гения Пушкина не должна подменяться избыто произвольных суждений.

Доктор филол. наук В. С. Шадури (Тбилиси) выступил с докладом о развитии пушкиноведения в советской Грузии. Он сказал: ИРЛИ был и остается главным штабом пушкиноведения страны, но наряду с ним за последние десятилетия возникли республиканские центры пушкиноведения, в которых ведется большая работа по изучению жизни и творчества великого поэта, публикуются книги и статьи на русском и национальном языках, проводятся рес-

публиканские и всесоюзные научные конференции. В связи с расширением фронта пушкиноведения необходимо координировать и направлять деятельность специалистов, регулярно давать информации в «Русской литературе» или «Временике Пушкинской комиссии» о достижениях всех национальных ветвей пушкиноведения, о публикациях на русском и национальном языках трудов пушкинистов, работающих в разных республиках.

Далее докладчик сказал, что научному изучению пушкинского наследия в Грузии своими переводами и критическими статьями положил начало еще в 1860 году выдающийся писатель, критик и общественный деятель, глава грузинских шестидесятников Илья Чавчавадзе. С тех пор в Грузии было написано множество книг, диссертаций и статей, в которых освещаются различные стороны деятельности Александра Сергеевича, особенно такой комплекс многоаспектных проблем, как «Пушкин и Грузия». В. С. Шадури остановился на трех его аспектах: «Пушкин в Грузии», «Грузия в творчестве поэта» и «Восприятие Пушкина в Грузии» (переводы, влияния, высказывания грузинских деятелей о Пушкине и т. д.). В исследовании этих сторон грузинских связей великого русского поэта имеются определенные достижения, но еще многое предстоит сделать.

В докладе канд. филол. наук Р. К. Сидеравичюса (Вильнюс) «Достижения литовского пушкиноведения» были освещены основные этапы развития литовского пушкиноведения. Определяя соотношение национального пушкиноведения с «большой наукой» о творчестве поэта, докладчик проследил значение русского советского пушкиноведения в изучении творчества Пушкина в Литве в разные периоды. Литовская пушкиниана, начавшая свое летоисчисление одновременно с появлением национальной периодики, приступила к осмыслению самого важного для нее предмета — связей литовской литературы с творчеством Пушкина — в начале 20-х годов нынешнего столетия. Более широко проблема влияния Пушкина не только на литовскую литературу, но и на мировой литературный процесс была поставлена в статьях литовских поэтов и ученых В. Миколайтиса-Путинаса, Б. Сруоги, Л. Гиры в юбилейном 1937 году. В советское время, отрекаясь от устаревших принципов формалистической компаративистики, литовское литературоведение вышло на истинно научные методологические позиции. Наиболее полно связи литовской литературы с поэзией Пушкина рассмотрены в работах В. Миколайтиса-Путинаса и К. Корсакаса. Непрерывающееся влияние творчества Пушкина особенно наглядно прослежено самими поэтами в их статьях об этом

классике мировой литературы (статьи А. Венцловы, Эд. Межелайтиса и др.).

Доклад доктора филол. наук Е. А. Маймина (Псков) был посвящен проблемам пушкинского краеведения. Докладчик говорил о необходимости развивать эту важную область пушкиноведения и всемерно поощрять молодых специалистов, увлеченно работающих в этом направлении.

Художественная литература о Пушкине за советские годы обширна: было написано 9 романов, около 20 пьес и большое число повестей и рассказов. Анализ основных тенденций, проявившихся в изображении Пушкина, его жизни и деятельности, стал темой доклада, прочитанного канд. филол. наук Я. Л. Левкович (Ленинград). Процесс становления советского пушкиноведения не всегда шел по восходящей прямой. Биографического жанра во всех его разновидностях коснулись вульгаризаторские крайности, которые проникли в науку о Пушкине, особенно в период ее становления. Лучшие романы о Пушкине были написаны в 30-е годы. Это «Пушкин» Тынянова, «Пушкин в изгнании» Новикова, «Записки д'Аршиака» Л. Гроссмана. В последние годы происходит процесс, который можно назвать «документальным взрывом». Появилось множество новых документов о Пушкине. На волне широкого интереса к документу возник новый вид исторического повествования: «документальная повесть». Рассматривая произведения этого жанра, в большом количестве появившиеся в последнее время («Годы борьбы» Гордина, «Н. Н. Пушкина» Федотова и др.), Я. Л. Левкович отметила общий принцип их построения: дается определенный набор документов, цитаты из них сопровождаются авторским комментарием, выдвигаются новые концепции, встречаются даже элементы полемики. В результате документальная повесть претендует на исследование, во всяком случае таковой она предстает для неискущенного читателя, что не может не вызвать возражения, так как в большинстве случаев авторские рассуждения — только видимость исследования, ибо документы зачастую не подкрепляют, а как бы украшают концепцию. Я. Л. Левкович высказала мысль, что увлечение монтажами свидетельствует о переходном периоде в жанре историко-биографического повествования. Это как бы разведка, погружение в материал, и советские писатели, обращаясь к Пушкину, будут вслед за Тыняновым идти «за документ». Первая попытка такого рода уже сделана — это небольшая повесть Нат. Баранской «Цвет темного меду». Образ Пушкина явился своеобразным экзаменом для советской биографической прозы и драматургии. Многократное обращение к пушкинской теме вело к тому, что общие принципы художественного воссоздания

эпохи и исторической личности, раскрытие внутреннего мира писателя, система изобразительных средств вырабатывались и оттачивались на примере Пушкина.

В докладе канд. филол. наук В. Н. Голицыной (Псков) «Советские поэты — исследователи Пушкина» были рассмотрены некоторые малоизученные вопросы функционального значения литературоведческих, критических работ и выступлений поэтов в постижении Пушкина, его творчества и личности. Отметив неоднородность этих работ, докладчица сосредоточилась на взаимосвязи их с научным пушкиноведением и на их роли в воспитании читательского вкуса и уровня восприятия творчества великого поэта.

Взаимоотношения Гоголя и Пушкина уже давно являются предметом специального изучения. Тем не менее вопрос о специфике творческих контактов этих двух писателей во многом вызывает разногласия среди исследователей. Как считает доктор филол. наук Г. П. Макогоненко (Ленинград), основой проблемы Гоголь—Пушкин должно быть учение Белинского о преемственности в литературе. Белинский утверждал, что Пушкин открывал новые пути в искусстве, а в качестве примера привел освоение Гоголем пушкинской народности. Но были и другие открытия, которые видел и понимал Гоголь. Свой доклад («Гоголь и Пушкин. Освоение открытий и полемика») Г. П. Макогоненко посвятил интересному и неизученному моменту творческих связей двух писателей — восприятию Гоголем поэмы «Медный всадник», отражением сложного отношения к которой явилась повесть «Записки сумасшедшего». Этот эпизод, как показал докладчик, позволяет увидеть, с одной стороны, характер освоения Гоголем художественных открытий Пушкина, а с другой — его неприятие пушкинского решения важнейшей проблемы общественной жизни и эстетики реализма — проблемы отношений человека к враждебным ему обстоятельствам. Сближая «неравный спор» Евгения и Петра с бунтом Поприщина, Г. П. Макогоненко обнаруживает, что объектом художественного исследования в обоих произведениях является зарождение самосознания героя. Изображение бунта Поприщина — уникальное явление в творчестве Гоголя. Уникальное, ибо он был последовательным противником насильственных потрясений. Изображение бунта оказалось возможным благодаря Пушкину. Но при этом Гоголь оставался верен своим убеждениям и потому не только сближался с Пушкиным, но и спорил с ним. Гоголь делает из открытия Пушкина принципиально иной вывод: если бунт неизбежно кончается катастрофой, поражением, если он не может привести к победе, то он и бессмыслен. Гоголь

как бы предвещал взгляды и убеждения будущего пушкинского героя — Гринева.

С докладом на тему «„Русский Пелам“ и „пушкинские замыслы“ в творчестве Гоголя» выступил доктор филол. наук Ю. М. Лотман (Тарту). Обнаруживая в произведениях Пушкина и Гоголя типологически близкие образы дворянина-разбойника, докладчик наметил новые возможные связи между творчеством великих писателей. Свою гипотезу об общем прототипе героя неоконченной повести Пушкина и гоголевского капитана Копейкина Ю. М. Лотман сопроводил рядом интересных наблюдений над образом героя-оборотня (днем — джентльмен, ночью — разбойник) в творчестве обоих писателей, отметив как характерную особенность творчества Пушкина авантюрную окраску его незавершенных замыслов, которая снимается в законченных текстах.

Доктор ист. наук В. В. Пугачев (Саратов) в своем докладе «Этика и политика в мировоззрении Пушкина» отметил, что никто из писателей XVIII—XIX веков не оказал такого могучего воздействия на общественную жизнь России, как Пушкин. До 1825 года он пропагандировал не только идеологию, но и конкретные политические установки, лозунги декабристов. В первое десятилетие после восстания Пушкин и Чаадаев были самыми крупными фигурами в общественном движении. Естественно, что вопрос о соотношении политики и этики (первостепенный в русском революционном движении) принадлежит к числу важнейших, представляет интерес и для историков литературы. Политические взгляды поэта эволюционировали, но его представления о соотношении этики и политики оставались постоянными. Пушкин всегда возражал против маккиавелизма, против оправдания средств целью. Человеческая жизнь, личность не могут быть принесены в жертву политическим задачам, хотя и крайне важным (кроме царевубийства, убийства тиранов вообще, войны за свободу). Именно по этическим проблемам Пушкин спорил с Пестелем в 1821 году (сходясь с Рылевым и Н. Тургеневым). Те же идеи отразились в «Борисе Годунове» (убийство царевича). Осмысливая итоги и уроки 14 декабря, Пушкин пришел к выводу о вредном влиянии абстрактного рационализма на нравственность и политическую деятельность. Именно с этих позиций осуждается философия Гельвеция в статье «Александр Радищев», написанной к десятилетию казни декабристов. Предвещая к революционерам повышенные этические требования, Пушкин заканчивает статью сентенцией о том, что где нет любви, там нет истины.

Научн. сотр. ИРЛИ О. С. Муравьева выступила с докладом «Понятие „пользы“ в художественной системе Пушкина 1830-х годов». Докладчица отметила, что

в 1830-х годах само слово «польза» становится олицетворением утилитарного и корыстного подхода к жизни, который представлялся русским писателям того времени резко враждебным искусству и его творцам. Понятие «пользы» у Пушкина включает в себя тот же смысл, но поэт раскрывает и неподвластность искусства любым меркантильным соображениям, его самодостаточность и независимость от каких бы то ни было внешних целей и требований. Эта самодостаточность и самоценность отличает, по Пушкину, не только искусство, но и самую жизнь. Следовательно, мировоззрение, в основе которого утилитарность, установка на «пользу», противно самой сути жизни. С точки зрения проблемы «пользы» анализируется в докладе конфликт между графиней и Германном в повести «Пиковая дама». По мнению докладчицы, расчетливый и корыстный подход к жизни, определяющий суть мироощущения и поведения Германна, обуславливает в конечном счете его поражение. Так Пушкин раскрывает роковые слабости и ущербные стороны сыновей «железного» века, таких страшных и непобедимых в глазах его современников. Трагедия бессилия, которую в разном смысле пришлось пережить и Германну, и Сальери, и Скупому рыцарю, становится залогом исторической бесперспективности буржуазного человека.

В докладе доктора филол. наук Л. С. Сидякова (Рига) были рассмотрены некоторые вопросы, представляющие существенный интерес для решения проблемы художественной эволюции лирики Пушкина, остающейся одной из наиболее актуальных в ее изучении. Речь идет о меняющемся взаимодействии в системе лирики Пушкина тех ее элементов, которые условно определены докладчиком как «домашняя» и общезначимая лирика. Под первой подразумеваются явления, включающие в себя неупорядоченную, эмпирическую действительность, реалии повседневного быта, отношения и столкновения, лишённые той степени обобщенности, которая бы снимала их прямую приуроченность к событиям частной жизни поэта; под второй — те лирические произведения, которые самим Пушкиным осмыслились в пределах основного корпуса его поэзии. В начале 1820-х годов «домашние» стихотворения оказывались на периферии поэзии Пушкина; частная жизнь оставалась еще за пределами главного направления его лирики, ориентированной прежде всего на авторский образ поэта-элегика. Глубокая же перестройка, которую претерпевает лирика Пушкина в середине 1820-х годов, проявилась, в частности, в резком изменении соотношения «домашней» и общезначимой лирики. С одной стороны, «домашние» стихотворения становятся способными реализовать темы, традиционно

связанные с общезначимой лирикой (как, например, в стихотворении 1826 года «Признание»), с другой стороны, последняя не остается непроницаемой для «домашних» мотивов и реалий. Наметившиеся в Михайловском принципы закрепляет лирика Пушкина 1826—1828 годов. Четкость границ между «домашней» и общезначимой лирикой утрачивается, поэтому стихотворения, ранее мыслившиеся в пределах первой, отбираются хотя и не вполне последовательно, для публикации, приобретаая характер общезначимой лирики. На рубеже 30-х годов лирика Пушкина наглядно демонстрирует процесс окончательного втягивания «домашней» лирики в общезначимую; «домашняя семантика» (термин Ю. Н. Тынянова) как обособленная тема утрачивает свое значение, на равных правах представляя тот мир, который становится теперь предметом пушкинской лирики. С изменением функций «домашней» и общезначимой лирики меняется и сама природа этих явлений; «домашнее» и общезначимое выступают в роли равноправных компонентов, взаимно дополняя друг друга и обогащая таким образом возможности пушкинской лирики (см., например, стихотворения 1829 года «Подъезжая под Ижору» и «Дорожные жалобы»). Завершение этого процесса демонстрирует лирика Пушкина 1830-х годов. Выделение «домашнего» начала в ней становится вообще невозможным, настолько цельной и неразложимой на противостоящие элементы предстает в этом отношении ее художественная система.

К некоторым спорным вопросам в изучении «Медного всадника» обратился доктор искусствоведения И. Ф. Бэлза (Москва). Свой доклад, насыщенный тонкими стилистическими наблюдениями над текстом поэмы и историко-литературными сопоставлениями, И. Ф. Бэлза завершил сообщением о лишь недавно ставших доступными для исследователей документах Александра I, хранящихся в одном из польских архивов.

В докладе «„Египетские ночи“». Источники творчества и творческий процесс» канд. филол. наук Л. А. Степанов (Краснодар), анализируя вторую импровизацию итальянца («Шир Клеопатры»), обратил внимание на характер творческого использования литературных источников, послуживших Пушкину материалом еще в период работы над стихотворением «Клеопатра» (1824, 1827), включенным в текст «Египетских ночей». Лишь один из них был назван самим поэтом — римский историк и биограф Аврелий Виктор. Анализ тематического развития, сюжетной структуры и образного строя произведения, как показал докладчик, позволяет утверждать, что поэтом уже на первом этапе работы над темой Клеопатры были пре-

творены образные детали, оценки и характеристики, почерпнутые не только из Аврелия Виктора, но из Плутарха и Шекспира, что Пушкин в своей поэтической работе основывался на собственном целостном идеологическом и образном представлении об античной эпохе. Внешний рисунок образа египетской царицы он строит на нескольких деталях, подчеркнуто отмеченных ее современниками и биографами. В отличие от Шекспира у Пушкина нет ни одной явной «цитаты». В литературных источниках он увидел неиспользованные возможности, не проявленную сущность или даже отдельную черту, характеризующую целую эпоху и ее представителей. Источники послужили поэту лишь материалом, отгалкиваясь от которого он развил вымышленную ситуацию в совершенной пластике словесного выражения. Вот почему произведение воспринимается читателем как исторически, психологически и художественно достоверная картина античной жизни.

Канд. филол. наук В. Э. Вацуро (Ленинград) в докладе «Неизвестные отклики на смерть Пушкина» сообщил о нескольких стихотворениях, представляющих собою непосредственную реакцию на известие о гибели Пушкина. Докладчик отметил, что приведенные им тексты имеют не столько художественное, сколько историческое значение как показатель общественных умонастроений. Так, стихи Б. М. Федорова из альбома кн. З. И. Юсуповой интересны как свидетельство сочувственного и заинтересованного отношения адресата к личности и деятельности Пушкина, что становилось важным на фоне недоброжелательных толков о Пушкине в светских кругах Петербурга. Значительно более интересны стихи о Пушкине Е. П. Зайцевского, поэтического «спутника» Д. Давыдова. Докладчик дал анализ стихотворения, сообщив попутно ряд сведений о поздней поэтической деятельности Зайцевского, в том числе о неизданном переводе фрагмента «Ада» Данте. Наибольшее внимание, однако, докладчик уделил третьей группе стихотворений, находящихся в тетради неизвестного поэта-дилетанта; это стихи, содержащие консервативную концепцию творчества и общественной деятельности Пушкина и в то же время написанные под воздействием лермонтовской «Смерти поэта». Докладчик поставил вопрос о своеобразии общественной ситуации в феврале 1837 года, которая делала возможными парадоксы такого рода и которая может объяснить некоторые не вполне ясные эпизоды в истории восприятия лермонтовской «Смерти поэта» в различных общественных кругах.

Канд. филол. наук Н. Я. Эйдельман (Москва) выступил с докладом «Из последних замыслов Пушкина (Заметки о Камчатке)». Внимательное прочтение пушкинского конспекта известной книги

С. П. Крашенинникова привело исследователя к убеждению, что замысел этой работы, над которой Пушкин напряженно трудился в трагические преддверные дни, гораздо значительнее, чем просто подготовительные заметки для одной из статей «Современника». Наблюдения докладчика свидетельствуют о том, что интерес к Камчатке и истории первых русских поселений на ней несомненно связан с социально-историческими раздумьями Пушкина. По мысли Н. Я. Эйдельмана, Пушкин рассматривал Камчатку как некую естественную лабораторию, в которой в условиях практической изоляции от внешнего мира проходили испытание принципы развития общества, свободного от власти и законов, сословных и религиозных ограничений.

Особый интерес присутствующих вызвал доклад доктора филол. наук Н. В. Измайлова «О принципах нового академического издания сочинений А. С. Пушкина». Дав очерк истории «большого» академического издания сочинений Пушкина (1933—1959), докладчик подчеркнул его основное достоинство — аналитическое прочтение и издание всех беловых и черновых творческих рукописей Пушкина, по системе, разработанной С. М. Бонди и Б. В. Томашевским. Недостатки этого издания: 1) неполнота — нет всего материала, который можно назвать «рукою Пушкина»; 2) отсутствие научных текстологических комментариев, дающих мотивировку принятых текстов и дат; 3) малые тиражи, обратившие многие тома в библиографическую редкость. Отсюда вытекает необходимость подготовки нового академического издания, полного и снабженного текстологическими комментариями. Согласно предложенной Н. В. Измайловым программе подготовки нового издания, общий план издания по томам, прилжтый в издании 1937—1949 годов, может быть сохранен. Расположение материала в каждом томе должно быть строго продумано (заметим, что система, принятая в 10-томниках 1959—62 и 1974—77 годов, должна быть усовершенствована, хотя сама по себе может служить основой для будущего издания). Раздел «Варианты и другие редакции» не должен повторять целиком соответствующих материалов академического издания 1937—1949 годов (это потребовало бы слишком много времени и труда при различных ограниченных кадрах пушкиноведов-текстологов), но должен содержать весь необходимый, тщательно отобранный материал. Раздел комментариев (к каждому произведению) должен включать: а) текстологические сведения с мотивировкой выбора и установления данного текста и мотивировкой установления даты; б) историко-литературные сведения (так называемую «творческую историю»); в) реально-энциклопедические справки. Подготовительная работа

к изданию должна прежде всего заключать в себе полнстное научное описание всех рабочих тетрадей Пушкина, заменяющее описание В. Е. Якушкина в «Русской старине» 1884 года. Желательно продвинуть библиографию изданий и литературы о Пушкине за 1958—1978 годы, освободив ее от второстепенных материалов.

В дискуссии, развернувшейся по докладу Н. В. Измайлова, выявилась общая поддержка предложенного проекта, был высказан ряд важных соображений и дополнений. Основной национальной задачей Пушкинского дома назвал новое академическое издание сочинений Пушкина академик Д. С. Лихачев. Говоря о необходимой предварительной работе, он подчеркнул особую важность составления подробного и точного плана издания. Как на важную предпосылку издания Д. С. Лихачев указал на необходимость завершения Словаря языка Пушкина, выпуск дополнительного, 5-го тома которого, включающего материалы пушкинских черновиков, может быть осуществлен уже в ближайшее время.

От имени дирекции ИРЛИ поблагодарил Н. В. Измайлова за взятую им на себя инициативу по разработке проекта издания директор Пушкинского дома член-корр. АН СССР А. С. Бушмин.

С программой подготовки к приближающемуся двухсотлетию со дня рождения Пушкина выступил доктор филол. наук В. А. Мануйлов, предложивший продумать следующие начинания, способные обеспечить достойное проведение юбилея: 1) осуществить новое комментированное академическое издание сочинений А. С. Пушкина, приняв за основу Записку Н. В. Измайлова, одобренную XXV Пушкинской конференцией; 2) подготовить и начать фототипическое издание всех рукописей поэта,

снабженное научным описанием их; 3) завершить издание «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина»; 4) довести до наших дней фонд библиографических трудов; 5) переиздать ряд книг о Пушкине справочного, биографического, мемуарного, документального характера, а также лучшие монографии; 6) издание Пушкинской энциклопедии должно опираться на все эти труды; 7) разработать и осуществить план подготовки молодых литературоведов для проведения в жизнь намеченной программы.

В обсуждении докладов приняли также участие Б. С. Мейлах, Г. М. Фридендер, И. Месерич, В. Э. Вацура, Н. Я. Эйдельман, Л. А. Степанов, Л. И. Вольперт, С. А. Фомичев, М. А. Сапаров, М. Л. Нольман, Н. Я. Соловей, И. И. Козлов, С. Д. Селиванова, К. Н. Григорьян, С. Е. Вайнтриб и др.

Закрывая конференцию, академик М. П. Алексеев еще раз подчеркнул ее двойное юбилейное значение, отметил грандиозность пройденного за 60 лет пути. «Пушкин стал поэтом всех народов нашей страны и всего мира, он вошел в число пяти величайших поэтов прошлого, — сказал М. П. Алексеев. — Недавно новый пушкинский клуб образован в Коломбо (Шри Ланка), вышло 4-е английское издание „Евгения Онегина“. Задачи сегодняшнего пушкиноведения, которые определила наша конференция, огромны. Это задачи нашей национальной культуры».

Участники конференции могли осмотреть выставку пушкинианы 1976—1978 годов, а также новых пушкинских материалов, поступивших в рукописный отдел Пушкинского дома. По окончании конференции была организована автобусная экскурсия по музеям и паркам города Пушкина.

Д. Б. МАКРИНОВ

ЮБИЛЕИ ДРУЖБЫ

3 марта 1978 года исполнилось столет со дня подписания Сан-Стефанского мирного договора. Победа русской армии в русско-турецкой войне принесла болгарскому народу освобождение от 500-летнего османского ига.

Торжественно встретила социалистическая Болгария свой славный юбилей. С 28 февраля по 2 марта текущего года в Софии состоялась научная сессия, которая подвела итоги юбилейных торжеств. Для участия в ней выезжала делегация советских ученых во главе с академиком Ю. В. Бромлеем.

В нашей стране подготовка к юбилею братского болгарского народа началась задолго до славной годовщины. В апреле 1977 года Отделение истории

Молдавской Академии наук совместно с болгарской стороной провело научную сессию, приуроченную к столетию начала русско-турецкой войны 1877—1878 года. Весной текущего года международные научные конференции литературоведов и историков состоялись в Ленинграде и Москве.

Ярким выражением дружбы между нашими народами явилась научная конференция «Русско-болгарские литературные связи», проведенная с 25 по 27 апреля в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде. В работе конференции приняли участие видные болгарские ученые-филологи во главе с академиком П. Дянековым.

Открывая конференцию, директор Пушкинского дома чл.-корр. АН СССР А. С. Бушмин сказал: «День освобождения Болгарии — знаменательное историческое событие, равное по своему значению победе русских войск над Наполеоном в 1812 году. И мы можем гордиться тем, что великая русская литература, верная идеалам гуманизма, в лице своих лучших представителей выражала глубокое сочувствие справедливой борьбе болгарского народа за его национальную самостоятельность». Докладчик подчеркнул далее, что ученые института отметили юбилей болгарского народа выпуском специального двухтомного труда «Русско-болгарские фольклорные и литературные связи» (Л., 1977—1978). В заключение А. С. Бушмин выразил надежду, что настоящая конференция явится шагом по пути дальнейшего укрепления сотрудничества между учеными наших стран. Со словами глубокой благодарности к участникам конференции обратился генеральный консул НРБ в Ленинграде т. В. Трышков, который высоко оценил работу ленинградской общественности и Института русской литературы — старейшего коллективного члена ЛО Общества советско-болгарской дружбы.

За три дня работы конференции было заслушано 26 докладов. При всей многопроблемности и разнообразии сюжетов, затронутых выступавшими, тематически доклады могут быть объединены в следующие четыре группы: 1) сравнительное изучение болгарской, русской и советской литератур; 2) болгарская тема в творчестве русских писателей и ученых; 3) освобождение Болгарии и русская культура; 4) русская и советская литература в Болгарии.

Теоретический аспект проблемы сравнительного изучения литератур получил свое воплощение в докладе чл.-корр. АН СССР, директора Института славяноведения и балканистики АН СССР Д. Ф. Маркова (Москва) «Некоторые проблемы изучения литературных связей». В противовес буржуазной компаративистике советская наука, указал Д. Ф. Марков, признает оба типа литературных отношений — контактные связи и типологические схождения. Предостерегая от абсолютизации какого-либо одного из названных типов, докладчик вместе с тем отстаивал принцип типологического изучения литературы, в особенности применительно к социалистическим литературам, с которыми связаны существенные закономерности литературного процесса XX века.

В докладе академика П. Динекова «Параллели между древнеболгарской и древнерусской литературами» «параллелизм» рассматривался как один из видов сравнительного изучения литератур. При этом в понятие «параллелизм» докладчик включал как исторические связи, так и типологические схождения.

Наличие параллелей в рассматриваемых литературах объясняется тем, что обе они имели своей моделью византийскую литературу. Явления «параллелизма» находили свое выражение в следующих фактах: издание однотипных сборников энциклопедического и поучительного характера, оторванность обеих литератур от фольклора (связующим звеном и в том и в другом случае выступали апокрифы), трансформация трагедийно-житийного жанра в биографический, неразрывная связь национальных литератур с судьбой своего народа. Общей для обеих литератур академик П. Динеков считает и функцию посредничества в междокультурном обмене: в древний период эту функцию выполняла болгарская, а начиная с XIX века — русская литература.

Рассмотрению житий двух выдающихся представителей древнерусской и древнеболгарской литератур — протопопа Аввакума и Софрония Врачанского — посвятил свой доклад академик Д. С. Лихачев. Он отметил, что хотя названные сочинения разделялись столетиями, а условия их создания и цели авторов были различны, между ними нетрудно обнаружить известную типологическую общность. Оба автора были мучениками своего времени, оба изобразили свою жизнь в виде путешествия, оба, отталкиваясь от житийного жанра, сознательно снизили образ рассказчика, и, главное, в обоих сочинениях отчетливо проявилась личность их создателей. Далее докладчик остановился на различиях между памятниками как определенной историко-литературной закономерности.

В докладе «Киприян и памятник Куликовского цикла» доктор филол. наук Л. А. Дмитриев (Ленинград) сосредоточил свое внимание на выяснении роли воспитанника Тырновской книжной школы Киприяна, чья литературная деятельность протекала на Руси, в создании «Сказания о Мамаевом побоище». Исходя из текста памятника докладчик пришел к выводу, что сказание должно рассматриваться не как летопись, а как публицистическое произведение.

Доктор филол. наук А. М. Папченко (Ленинград) в докладе «К истории раннеславянской поэзии» рассмотрел ряд общих мотивов, присущих как славянской, так и латинской средневековой поэзии. Докладчик выделил, в частности, мотив «кузницы» (аллегория музыки) в «Прогласе» Кирилла — первом, по его мнению, гармоническом стихотворении славян, и привел примеры вариаций указанного мотива в славянском ряде.

Канд. филол. наук М. А. Салмина (Ленинград) в докладе «Хроника Константина Манассии и памятники древнерусского исторического повествования» рассмотрела судьбу болгарского перевода «Хроники» в русской литературе XV—

XVII веков, влияние ее на формирование стиля русских исторических повестей, а также, в известной мере, и на выработку нового подхода к изображению человека в историческом процессе.

О болгарской рукописи «Александрии» сообщила науч. сотрудник ИРЛИ Е. И. Ванеева (Ленинград). Изучение текста рукописи романа об Александре Псевдокаллисте, хранящейся в Национальной библиотеке «Кирилл и Мефодий» в Софии под № 319, позволяет говорить о наличии в ней двух самостоятельных частей, каждая из которых представляет собой неполную рукопись романа. Первая из этих частей по языку восходит к болгаро-валашской, вторая — к русской редакции. В XVI веке, оказавшись в руках одного владельца, рукописи были объединены. Значение исследуемой рукописи состоит в том, что она позволяет отнести появление Барсовской группы рукописей к более раннему периоду — а именно ко времени не позднее XVI века.

Доктор филол. наук К. Н. Григорьян (Ленинград) избрал объектом своего исследования три стихотворения: «Сон» М. Ю. Лермонтова, «Хаджи Димитр» Хр. Ботева и «В долине, долине Сално боевой» А. Исаакяна. В докладе прослежено, как общий мотив (раненый воин и его предсмертный сон) варьируется самобытными поэтами, наполняется оригинальным содержанием. Созвучие стихотворений А. Исаакяна и Хр. Ботева докладчик объясняет общностью судеб болгарского и армянского народов, а отдельные совпадения — общим для обоих поэтов литературным образцом — стихотворением Лермонтова «Сон».

Сравнительному сопоставлению автобиографических повестей М. Горького и К. Григорова посвятили свой доклад канд. филол. наук В. Малеева (София). На примере творчества современного болгарского писателя докладчица показала, что традиции основоположника советской литературы продолжают жить в наши дни, а тема «А. М. Горький и болгарская литература» является одной из ведущих в современной болгарской литературной критике.

В докладе доктора филол. наук К. И. Ровды (Ленинград) «Елин Пелин в России» сделана попытка раскрыть двустороннюю связь замечательного болгарского писателя с русской культурой. Убедительно показано воздействие на художественное сознание Елина Пелина творчества Чехова, Горького, Тургенева, прослежена рецепция его сочинений в России на протяжении XX века. Анализ привел исследователя к заключению, что всему богатству творчества самобытного болгарского художника суждено было раскрыться и на его родине и за рубежом лишь в условиях социализма.

Проф. В. Д. Андреев (Ленинград) посвятил свое выступление русско-бол-

гарским литературным связям на современном этапе. Отношения в области духовной культуры между НРБ и СССР всегда отличались устойчивостью, отметил докладчик, а начиная с 50-х годов сделались особенно интенсивными. Об этом говорят огромные тиражи книг, многочисленные совместные издания. Докладчик отметил также наличие сходных тенденций в самом литературном процессе — интерес к производственной тематике в 50-е годы сменился вниманием к нравственно-этическим проблемам в последующие десятилетия. Творчество писателей наших дней, таких, как Ф. Абрамов, В. Распутин — с одной стороны, и И. Петров, Й. Радичков — с другой, позволяет говорить о единой исходной позиции советских и болгарских мастеров художественного слова.

Канд. филол. наук Н. Н. Попомарева (Москва) в своем докладе «Современная болгарская и советская драматургия (связи и типологическая общность)» выделила ряд наиболее существенных общих моментов в развитии советской и болгарской драматургии за последние 15 лет.

Доклад канд. филол. наук А. Ф. Бритикова и А. Д. Балабухи (Ленинград) «Современная научная фантастика (русско-болгарские параллели)» познакомил слушателей с бурным развитием этого жанра в социалистической Болгарии. Национальная фантастика составляет 2/3 общего тиража фантастической литературы, издаваемой в НРБ. К лучшим произведениям болгарских авторов можно отнести рассказ Д. Пеева «Волос Магомета», удостоенный премии советского журнала «Техника — молодежи» за 1963 год, повесть П. Вежинова «Барьер» и др. Огромен интерес к современной советской научной фантастике. Типологические сходства, проявляющиеся в произведениях современных болгарских и советских авторов, свидетельствуют об общих тенденциях в развитии указанного жанра. Состояние современной научно-фантастической литературы позволяет сделать вывод, что фантастика переросла жанровые и тематические рамки и заявила о себе как новая грань художественного метода социалистического реализма.

Вторую группу докладов объединяет болгарская тема в творчестве русских писателей. Доктор филол. наук Ф. Я. Прийма (Ленинград) рассмотрел ее на материале творчества А. С. Пушкина. Он убедительно доказал, что, зародившись в период южной ссылки поэта, болгарская тема постоянно присутствует в художественном сознании поэта. В период с 1828 по 1834 год Пушкин работает над темой «Кирджали», тесно связанной с освободительным движением в Болгарии. Докладчик перечислил многие факторы (в том числе знакомство с Ю. И. Венелиным и его трудами), способствовавшие поддержанию этого

интереса, остановился на первых переводах повести «Кирджали» на болгарский язык.

С докладом «Народная психология болгар в изображении русских писателей XIX века» выступил доцент Софийского университета Г. Германов. Проанализировав произведения с болгарской тематикой, докладчик пришел к выводу, что русские писатели в общих чертах правильно поняли и воссоздали народный характер болгарина. Канд. филол. наук А. И. Хватов (Ленинград) охарактеризовал выдающуюся роль академика Н. С. Державина и К. Н. Державина в изучении болгарской культуры за 50 лет. Он подробно остановился на их трудах, явившихся заметным вкладом в советскую историческую науку.

Тема русско-турецкой войны и освобождения Болгарии в произведениях современников нашла свое отражение в докладах В. И. Злыднева, Е. Даскаловой и Л. И. Ровняковой. В докладе доктора филол. наук В. И. Злыднева (Москва) «Деятели русской культуры о русско-турецкой войне и национальном освобождении Болгарии» было наглядно показано, что русские писатели, художники, врачи восприняли войну как политическое событие, призванное помочь болгарскому народу освободиться от пятивекового османского ига. Война дала импульс для создания высокохудожественных произведений о мужестве русских солдат, о замечательной силе русско-болгарской боевой дружбы. Волнующие проблемы, поднятые в литературе и искусстве непосредственно участниками войны (Верещагин, Гаршин, Гиляровский, Каразин, Попов), сыграли большую роль в дальнейшем развитии и сближении культур двух братских славянских народов.

Канд. филол. наук Е. Даскалова (София) обратилась к отдельным аспектам освободительной борьбы болгарского народа, отраженным в русской поэзии. Анализируя произведения Пушкина, Хомякова, Тютчева, Полонского, Тургенева, Некрасова и Блока, докладчица приходит к выводу, что русские поэты создали своеобразный эпос борьбы болгар за свое освобождение, в котором осязимо проявилась тенденция перехода от показа отдельных событий к созданию целостной картины борьбы болгарского народа за свою национальную самостоятельность, и социальную справедливость.

В докладе «Война 1877—1878 годов и освобождение Болгарии в русской мемуаристике» канд. филол. наук Л. И. Ровнякова (Ленинград) показала значение документальных материалов личного происхождения (дневники, воспоминания, письма), написанных участниками войны. В отличие от материалов официального делопроизводства, мемуары позволяют раскрыть черты характера и психологию людей, чья роль в исторических событиях была достаточно велика.

Вместе с тем было отмечено, что ценность мемуаров состоит лишь в изложении фактов, а не в их оценке. Последняя почти всегда субъективна. В докладе содержалась классификация различных мемуарных источников по их характеру, идейной направленности, политической ориентации авторов и, наконец, одаренности последних. Доклад Ровняковой построен на строго документальной основе — составленном ею первом полном в советской науке библиографическом перечне мемуарной литературы о войне 1877—1878 годов.

Тема воздействия русской и советской литературы на разных исторических этапах на духовную жизнь болгарского народа была обстоятельно раскрыта в докладах наших гостей — профессоров Б. Ангелова, В. Велчева, Ст. Божкова, Хр. Дудевского, В. Колевского и в докладе канд. филол. наук В. К. Петухова (Ленинград).

Проф. Б. Ангелов в докладе «Начальный этап проникновения русских книг в Болгарию» показал, что преимущественный приток болгарских книг в Россию до X века в следующем столетии сменился обратным процессом. Как правило, русские произведения распространялись на болгарской почве в обычных списках с оригиналов, иногда в виде переработок. Начиная с XI века важнейшие события русской политической, культурной и церковной жизни находят отражение в болгарских богослужебных памятниках (Ассеманово евангелие, Охридский апостол и др.). Русская литература берет на себя также роль посредника в знакомстве болгар с достижениями мировой культуры. В заключение докладчик высказал предположение, что воздействие русской литературы не ограничивается, по-видимому, только культовой литературой, а может быть прослежено и в других жанрах.

Доклад проф. В. Велчева «Болгарская общественность и Герцен» построен на убедительных свидетельствах огромного интереса к личности и сочинениям автора «Былого и дум» в Болгарии начиная с 50-х годов XIX века. В докладе приводились любопытные сведения о связях Герцена с болгарскими революционерами — Л. Каравеловым и Г. Ст. Раковским, о посещении Герцена и Бакунина в Женеве болгарской делегацией. После освобождения страны от османского господства популярность Герцена в Болгарии еще более возросла. В частных собраниях, ставших теперь достоянием Национальной библиотеки, хранятся экземпляры герценовского «Колокола» и других сочинений великого русского мыслителя.

С докладом «„Горе от ума“ на болгарской сцене» выступил канд. филол. наук В. К. Петухов. Справедливо отметил, что тема усвоения наследия Гри-

боедова в Болгарии чрезвычайно обширна, докладчик ограничился лишь краткой историей переводов бессмертной комедии и обстоятельным анализом ее сценической судьбы в Болгарии. Этапным моментом последней докладчик считает 1930 год — год постановки «Горя от ума» на сцене Народного театра Софии, осуществленной выдающимся режиссером Н. О. Массалитиновым. В заключение докладчик отметил, что наиболее глубоко и интенсивно освоение творчества Грибоедова в Болгарии шло по пути сценического воплощения комедии.

Проф. Ст. Божков в докладе «Эстетические аспекты воздействия советской литературы в Болгарии» на большом конкретном материале показал огромное революционизирующее и эстетическое воздействие советской художественной литературы на болгарского читателя в период борьбы с фашизмом и в наши дни. На современном этапе, по мнению докладчика, советская художественная литература содействует выработке эстетических критериев в оценке явлений действительности, стимулирует развитие сравнительного литературоведения и теории социалистического реализма.

В своем докладе «Болгарская культура и советская поэзия 20-х годов» проф. Хр. Дудевский отметил, что уже в 20-е годы болгарские писатели добились того, что национальные задачи стали решаться с позиций интернациональной борьбы за социалистическую культуру. Защищая советское искусство от нападок реакции, болгарские писатели тем самым боролись за новую социалистическую культуру в своей стране.

Доклад проф. В. Колевского «Советская литература и духовная жизнь Болгарии» основан на материале только что увидевшей свет его книги «Лозунг у нас один» (Един е лозунгът. София, 1977). Обозначенная в заглавии книги

тема раскрывается в двух аспектах: 1) Октябрьская революция, социалистическое строительство в СССР и болгарская культура; 2) советская культура и развитие духовной жизни в Болгарии. Огромный фактический материал позволяет автору сделать следующий вывод: основой возрождения болгарской нации и залогом ее светлого будущего является нерушимая дружба с великим Советским Союзом.

О принципиальном вкладе ленинградской переводческой школы говорил доктор филол. наук А. И. Павловский (Ленинград) в докладе «Болгарская поэзия в переводах ленинградских поэтов». В числе лучших поэтов — переводчиков с болгарского — Павловский назвал А. Ахматову, А. Прокофьева, Н. Тихонову, В. Шопина, О. Шестинского, А. Чепурова, Б. Кежуна. Значительные успехи, по его мнению, делает поэтическая молодежь (Л. Гладкая, И. Сергеева, О. Цыпунов и др.). Докладчик отметил, что ленинградские журналы («Звезда», «Нева», «Костер») широко печатают стихи болгарских поэтов. Последние публикуются также в специальных сборниках («День поэзии») и совместных советско-болгарских изданиях («Москва—София», «Весна человечества» и др.).

В конференции приняли участие ленинградские поэты Б. А. Кежун, В. А. Шопин и прозаик В. Н. Инфантьев, работающие над болгарской тематикой.

Закрывая конференцию, академик Д. С. Лихачев поблагодарил всех присутствующих и дал высокую оценку работе конференции, отметив, что она прошла на высоком идейно-теоретическом уровне.

В течение 20 дней в конференц-зале Пушкинского дома была открыта выставка, посвященная русско-болгарским литературным связям.

Л. И. РОВНЯКОВА

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. ПИКСАНОВА

12 апреля 1978 года в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР состоялось научное заседание, посвященное 100-летию годовщине со дня рождения заслуженного деятеля науки, чл.-корр. АН СССР, профессора Николая Кирияковича Пиксанова.

Открывая заседание, директор ИРЛИ, чл.-корр. АН СССР А. С. Бушмин от имени руководства института и всех сотрудников Пушкинского дома приветствовал собравшихся почтить память выдающегося ученого-филолога. В своем вступительном слове он сказал, что в научной деятельности Н. К. Пиксанова нашли яркое выражение как лучшие

традиции старой русской филологической науки, так и плодотворное воздействие Октябрьской революции. Весь многолетний труд ученого был проникнут высоким пафосом общественного служения, стремлением творить культуру для народа.

Н. К. Пиксанов — ученый необычайно широкого диапазона и исключительно высокой творческой активности. Итоги его научно-литературной деятельности поистине огромны. Список печатных работ включает около 800 названий, в том числе более 30 книг. Исследования Н. К. Пиксанова о Грибоедове, Пушкине, Радищеве, поэтах-декабристах,

Лермонтове, Гоголе, Кольцове, Белинском, Чернышевском, Добролюбова, Островском, Гончарове, Достоевском, Толстом, Салтыкове-Щедрине, Чехове, Короленко, Горьком и многих других русских писателях, его труды по истории отечественной литературы, литератур народов СССР, по фольклору, историографии, методологии и методике, текстологии и библиографии явились яркими вехами в развитии науки о литературе. Можно с полным основанием сказать, что пиксановский элемент органически вошел в состав нашей литературоведческой науки, в ее разнообразные ответвления.

Н. К. Пиксанов долгие годы сотрудничал в Институте русской литературы АН СССР, выступая в качестве авторитетнейшего участника важнейших изданий: десятитомной «Истории русской литературы», полных собраний сочинений Радищева, Гоголя, Белинского и т. д. Не только своими научными трудами и редакторской деятельностью, но и неподкупной честностью своих суждений Н. К. Пиксанов оказывал благотворное воздействие на творческую мысль всего коллектива Пушкинского дома.

В заключение А. С. Бушмин сказал, что, отмечая 100-летие Н. К. Пиксанова, мы тем самым отдаем дань благодарности этому выдающемуся ученому-гражданину и неутомимому труженику, чья жизнь была непрерывным подвигом на поприще служения отечественной филологии. От имени всех собравшихся А. С. Бушмин поблагодарил жену Н. К. Пиксанова М. И. Колесникову-Пиксанову, которая и по сей день является заботливым хранителем его богатейшей библиотеки, переданной ею, как и завещал Н. К. Пиксанов, в дар Пушкинскому дому.

Выступивший затем профессор ЛГУ Н. И. Соколов в своем докладе «Н. К. Пиксанов как историк русской литературы» подробно охарактеризовал деятельность ученого, важнейшей методологической особенностью исследований которого являлось пристальное внимание к социально-историческим истокам творчества писателей, их мировоззрению, их общественной биографии. Стремясь к выяснению социальных основ литературы, определению роли писателей в общественно-политической и революционно-освободительной борьбе на различных ее этапах, исследователь опирался на традиции русской революционно-демократической мысли, на труды Маркса, Энгельса, Ленина. Пиксанову было присуще глубокое освоение и творческое применение марксистско-ленинской методологии в подходе к конкретным явлениям литературы.

Заслуги Н. К. Пиксанова в изучении и освещении важнейших периодов развития русской литературы исключительно велики. Вместе с тем он немало сделал и для исследования творчества ряда

крупнейших писателей, их идейного и духовного облика, своеобразия дарования, содержания и судеб их произведений. Докладчик выделил ряд тем, которыми особенно дорожил ученый и к которым неоднократно на протяжении своей жизни вновь и вновь возвращался, неустанно продолжая их разработку. В первую очередь Н. И. Соколов назвал исследование жизни и творчества Грибоедова. В историю литературной науки прочно вошли разыскания Н. К. Пиксанова в области текстологии Грибоедова, общественной биографии драматурга, сценической истории «Горя от ума». Этапным для изучения Грибоедова явился многолетний труд ученого «Творческая история „Горя от ума“». В предисловии к этому труду автор рассказал о программе, которую он наметил для себя при изучении творчества Грибоедова. Эта программа и сейчас поражает своей основательностью, продуманностью, разносторонностью. Над осуществлением ее ученый трудился всю свою долгую жизнь. Можно сказать, что вклад Н. К. Пиксанова в науку о Грибоедове беспримерен, что эта наука в своих основах создана его усилиями.

И в связи с работами о Грибоедове, и независимо от них Н. К. Пиксанов много и широко занимался русской литературой первой половины XIX века. Он был великолепным знатоком движения декабристов, его перу принадлежат работы о творчестве крупнейших деятелей литературы этой поры — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского. Немаловажное место в наследии Пиксанова занимают труды, посвященные выдающимся представителям революционно-демократической критики и эстетики — Чернышевскому и Добролюбову. Интересен вклад исследователя в изучение романа Лермонтова «Вадим»: широкое осмысление материалов о крестьянских волнениях в Пензенской губернии во время пугачевского восстания привело ученого к выводам, сформулированным в обширном исследовании «Крестьянское восстание в „Вадиме“ Лермонтова», вошедшем в коллективный «Историко-литературный сборник» 1947 года.

Н. К. Пиксанову принадлежит ряд важных работ о жизни и творчестве Гончарова. Последней, итоговой явилась книга «Роман Гончарова „Обрыв“ в свете социальной истории», напечатанная за год до кончины ученого. Но Н. К. Пиксанов не успел оформить в единый труд свои разыскания и размышления о творческом пути Гончарова, хотя в своей совокупности многочисленные статьи о писателе вместе с монографией об «Обрыве» в сущности составляют ту большую книгу о видном русском романисте, которую ученый многие годы мечтал создать. Обширной темой его изучения явилось и творчество Тургенева, которому он посвятил ряд важных исследований. Большого смысла для

Н. К. Пиксанова как ученого и гражданина полно его обращение к исследованию жизни и творчества Короленко и Чехова. Оба эти писателя воспринимались современниками как выразители нового этапа в русской литературе, и одной из первых работ исследователя об их творчестве явилась подготовка и редактирование сборника переписки писателей (1923).

В годы творческой зрелости, уже сложившимся широким кругом научных интересов, Н. К. Пиксанов включается в активное изучение советской литературы. Центральная тема его исследований — творчество А. М. Горького. Н. К. Пиксанов — один из основоположников подлинно научной разработки наследия великого пролетарского писателя. Особенно важное значение имел его труд «Горький и национальные литературы» (1946), который стал переломным этапом в изучении национальных литератур, их взаимовлияния, а также плодотворного воздействия русской литературы на литературу народов СССР.

Заключая свое выступление, Н. И. Соколов сказал, что многочисленные труды ученого в своей совокупности составляют неопенимый вклад в развитие советского литературоведения.

Сообщение о Н. К. Пиксанове — преподавателе Бестужевских курсов — сделал доцент исторического факультета ЛГУ Г. А. Тишкин.¹

С яркими воспоминаниями о Пиксанове выступил бывший его ученик, доктор филол. наук Н. А. Трифонов. Он рассказал о научно-преподавательской деятельности Н. К. Пиксанова во II Московском университете в 1924—1929 годах. Уже с первой встречи, сказал Н. А. Трифонов, студенты могли ощутить академический — в лучшем смысле этого слова — характер предстоящих занятий. Н. К. Пиксанов привлекал внимание к свежим и малоразработанным проблемам. Он хотел, чтобы студент не просто повторял сказанное и общеизвестное, а делал попытки самостоятельных наблюдений, приближался к самостоятельному продумыванию и решению тех или иных научных вопросов. Он учил быть внимательным к тексту, к хронологии, к биографическим и прочим фактам, учил критически относиться к используемым работам, прививал вкус к библиографии.

Большую помощь студентам оказывали учебно-методические пособия, составленные Н. К. Пиксановым, так называемые «семинарии». Как известно, они стали образцом для изданий подобного рода.

В отличие от многих «скупых рыцарей»-книжников, Н. К. Пиксанов не отказывался давать для занятий студентам

книги из своей богатой библиотеки. В его кабинете можно было также полистать многочисленные тематические папки с журнальными и газетными вырезками, с библиографическими перечнями, с записями и заметками. Это вводило учащихся в мастерскую ученого-литературоведа, стимулировало желание заниматься научной работой. В заключение Н. А. Трифонов сказал: «Н. К. Пиксанов стал для нас во многих отношениях эталоном профессора-литературоведа; мы поражались его трудолюбием и работоспособности, мы ценили его безграничную преданность науке. И в этом отношении трудно было подыскать для нас лучший пример». Н. А. Трифонов передал два письма Н. К. Пиксанова на хранение в ИРЛИ.

Горячей благодарностью Н. К. Пиксанову-учителю, преподавателю Бестужевских курсов, прозвучало выступление бывшей бестужевки М. Ф. Шербаковой, которая подчеркнула, что Н. К. Пиксанов для всех, знавших его, всегда был примером ученого, до самозабвения преданного своему делу.

Профессор Саратовского университета В. В. Пугачев обратился к деятельности Н. К. Пиксанова в период пребывания его в Саратове (с 1918 по 1921 год). Все эти годы ученый занимался вопросом, связанным с истолкованием проблемы «декабристы и литература». Обратившись к комедии Грибоедова «Горе от ума», он, на основе тщательного изучения списков комедии и документальных материалов о декабристах, выдвинул свою концепцию образа Чацкого. В концепции Н. К. Пиксанова несомненно связь Чацкого с идеологией декабризма, хотя герой комедии по замыслу автора и не входил в декабристские общества. Свои размышления по этому вопросу через много лет Н. К. Пиксанов сформулировал в статье «Комедия А. С. Грибоедова „Горе от ума“» (см. издание комедии в серии «Литературные памятники»).

О пребывании Н. К. Пиксанова в годы Великой Отечественной войны в Среднеазиатском университете в Ташкенте рассказал профессор Коломенского педагогического института Г. В. Краснов, который также являлся учеником Н. К. Пиксанова, посещал руководимый им аспирантский семинар. Программы семинара отличались большой остротой проблем, оригинальностью и глубиной. «Пиксановская филологическая прививка, — сказал Г. В. Краснов, — оказала на всех участников семинара благотворное воздействие».

Доктор филол. наук Н. И. Пруцков в своих воспоминаниях, охватывающих несколько десятилетий, охарактеризовал Н. К. Пиксанова как мужественного ученого-гражданина, активно вторгавшегося в самые животрепещущие теоретические и организационные вопросы науки, политики, общественного быта и идеологической борьбы. Один из круп-

¹ Доклад Г. А. Тишкина публикуется в настоящем номере журнала (с. 152—157).

нейших зачинателей советской науки о литературе, основатель ее некоторых направлений, Н. К. Пиксанов был бесспорно ей предан. Он являлся подвижником науки в новом смысле — подвижником-бойцом, осознающим свою глубочайшую ответственность перед обществом за судьбы науки, за ее уровень, за ее кадры. Существуют и действуют живые пиксановские традиции в литературоведении. Главная среди них — быть всегда в науке на переднем крае, на высоте марксистской идеологии, партийности, и прокладывать в ней новые пути, создавая оригинальные, новаторские исследования. Н. К. Пиксанов был нетерпим к либеральной фразе, к отвлеченной фразеологии. Он зло высмеивал «нейтралистское» литературоведение, мелкотемье. Ученый настойчиво и успешно разрабатывал конкретно-исторический социологический метод исследования.

Заключая свое выступление, Н. И. Прудков сказал: «Пушкинский дом в последние годы организовал цикл специальных научных заседаний, посвященных памяти ученых литературоведов. Прошла целая фаланга ярких индивидуальностей — крупных вкладчиков в науку, талантливых педагогов, неутомимых собирателей драгоценностей Пушкинского дома, организаторов науки и воспитателей ее кадров. В этой славной фаланге значится и имя Н. К. Пиксанова, память о котором навсегда сохранится в наших сердцах».

Сообщение на тему «Значение трудов Н. К. Пиксанова для изучения русской литературы XVIII века» сделала доктор филол. наук Г. Н. Моисеева. Н. К. Пиксанов был автором важных трудов по истории русской литературы XVIII века. Ряд его работ имеет непреходящее научное значение, как, например, глава о масонской литературе в 4-м томе 10-томной «Истории русской литературы», статья в сборнике «XVIII век», «„Бедная Аня“ Радищева и „Бедная Лиза“ Карамзина», работы о Радищеве. А такие книги, как «Старорусская повесть» (1923) и «Областные культурные гнезда» (1928), оказали огромное влияние на развитие нашей науки в целом. Перефразируя известное выражение Достоевского «Все мы вышли из „Шинели“», исследователи русских повестей XVII—XVIII веков могут сказать о себе: «Все мы вышли из „Старорусской повести“ Н. К. Пиксанова».

Книга «Областные культурные гнезда» во многом опередила науку того времени. Особенно замечательен раздел «Ломоносов и культура русского Севера», где Пиксанов показал, что Ломоносов пришел не из «темного угла» России, а из той области Русского государства, где высоко была развита культура, процветала промышленность. Ломоносов был подготовлен у себя на родине «к восприятию русской и европейской культу-

ры», — писал Н. К. Пиксанов. Позднейшие разыскания подтвердили правоту ученого. Наш долг, сказала в заключение Г. Н. Моисеева, перед светлой памятью Н. К. Пиксанова, впервые поставившего вопрос о значении областных «культурных гнезд», и перед нашей наукой — поднять на должную высоту решение этой научной проблемы.

Достижения Н. К. Пиксанова в изучении творческой истории, истории текста и установлении текста знаменитой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» были обобщены в докладе канд. филол. наук А. Л. Гришунина (Москва). Эти его достижения тем более значительны, сказал А. Л. Гришунин, что «Горе от ума» — произведение очень сложной и неблагоприятной внешней судьбы. При жизни драматурга оно не было напечатано, распространялось в списках, поздно проникло на сцену. Распространился скептический взгляд на возможность надежного установления его подлинного текста. Изучив источники грибоедовского текста, Пиксанов доказал почти полную тождественность верхнего слоя так называемой Жандровской рукописи (1824) более позднему болгаринскому списку, авторизованному Грибоедовым в 1828 году, за несколько месяцев до смерти. По двум этим источникам, при наличии еще частичной публикации в альманахе «Русская Галия» и ранней редакции так называемого Музейного автографа, текст «Горя от ума» устанавливается с большой достоверностью. Во 2-м томе полного собрания сочинений Грибоедова (1913) Пиксанов впервые в истории печатания этой комедии установил ее текст на основе научных принципов, которые он сам же и разработал в связи с этим изданием. Эту работу Н. К. Пиксанова высоко оценили В. И. Немирович-Данченко и А. В. Луначарский. Другие исследователи (В. Н. Орлов, В. А. Филиппов, И. Н. Медведева, И. К. Ениколопов), устанавливавшие текст «Горя от ума» независимо от Пиксанова, приходили, в сущности, к тем же результатам, если не считать очень мелких, а порой к тому же и спорных разночтений. Таким образом, мы имеем фактическую стабильность текста великой комедии, которая подтвердилась при новом издании ее под редакцией Н. К. Пиксанова в серии «Литературные памятники» (1969).

После выступлений ученой секретарь ИРЛИ С. А. Фомичев зачитал письма и приветственные телеграммы, присланные в адрес Пушкинского дома друзьями, учениками и соратниками Н. К. Пиксанова — Н. Ф. Бельчиковым, В. С. Шадури, Н. С. Травушкиным, Э. Л. Войцеховской, П. С. Красновым, А. Н. Дубовиковым, Г. А. Волгиным, З. А. Евсеевой, М. А. Оболиной. Комитетом бестужевки в Ленинграде, Московским бюро бестужевки и многими другими.

Закрывая заседание, А. С. Бушмин выразил благодарность всем участникам, пожелал им успешно продолжать литературоведческую работу, важным помощником в которой будет библиотека Н. К. Пиксанова, открытая отныне для всех, интересующихся литературной наукой.

После заседания состоялось торжественное открытие кабинета-библиотеки Н. К. Пиксанова, на котором выступили А. С. Бушмин, С. А. Фомичев, К. Н. Григорьян, М. И. Колесникова-Пиксанова, писательница Е. П. Сербовская.

В. С. ЕРМАЧЕНКОВА

ТРИ ВЕКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ)

В Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР 20—21 марта 1978 года состоялась научная конференция молодых специалистов: «Вопросы изучения русской литературы XVIII—XX веков». Проводимая по инициативе комсомольской организации института, конференция приобрела характер творческого отчета начинающих литературоведов.

Открывая конференцию, доктор филол. наук Ф. Я. Прийма сказал, что она является одним из тех специальных мероприятий, которыми Пушкинский дом откликается на постановление ЦК КПСС от 12 октября 1976 года о творческой молодежи. За последнее десятилетие наша наука о литературе обогатилась значительным количеством ценных и новаторских исследований, написанных поколением молодых специалистов, и мы вправе рассматривать это как следствие небывало благоприятных условий, созданных в нашей стране для деятельности научной молодежи. Вместе с тем масштабность и сложность решаемых партией и народом задач в области культуры предъявляет все более высокие требования к творческой молодежи. В обстановке обостренной борьбы марксистско-ленинской идеологии и методологии с различного рода враждебными социалистическому строю и советскому укладу жизни концепциями советские литературоведы как старшего, так и нового поколения выступают в полном единодушии, давая дружный отпор любым стремлениям дегуманизации искусства и попыткам ложной интерпретации духовной культуры нашего народа.

В течение двух дней было заслушано и обсуждено 20 докладов и сообщений аспирантов, научных сотрудников и соискателей Института русской литературы и других научных учреждений и вузов.

Сообщение С. Р. Долговой (Москва) «Творческое содружество Ф. В. Каржавина с разночинной интеллигенцией» было посвящено малоизученному вопросу о роли разночинцев-демократов в формировании культуры России середины XVIII—начала XIX века. На основе исследования архивных материалов

С. Долгова воссоздает биографию Ф. В. Каржавина, очерчивает круг его единомышленников. Большое влияние на мировоззрение и все творчество писателя оказал его дядя — Е. Н. Каржавин, сочинение которого «Заметки о русском алфавите» дополнил и издал в 1789 году Федор Каржавин. Устанавливаются факты сотрудничества Ф. Каржавина с Н. И. Новиковым, В. И. Баженовым, А. И. Бухарским и братьями А. В. и Е. В. Разнатовскими. Выявление новых материалов, воссоздающих путь и личность сподвижников Ф. Каржавина, позволяет сделать вывод, что во второй половине XVIII столетия «третий чин» дал России видных представителей свободомыслия, писателей-энциклопедистов, продолжателей традиций М. В. Ломоносова.

В докладе И. Ю. Фоменко (ИРЛИ) «Авторский комментарий к оде „Водопад“ (На материале «Объяснений» Г. Р. Державина)» предпринята попытка проанализировать, какое прочтение оды предлагает автокомментарий, как соотносится образная система произведения и ее истолкование в «Объяснениях». С этой целью рассматривается комментарий к относительно крупному отрывку оды и толкование центрального образа — образа водопада. Автокомментарию свойственны две тенденции. Предельно конкретным образом придается порой неожиданный аллегорический смысл. С другой стороны, сложные метафорические построения текста объясняются бытовым материалом. В поэтическом мировоззрении Державина принципы реализма сосуществуют с иперцией традиционно-аллегорического одического стиля.

Иной методический прием лежал в основе доклада Е. Д. Кукушкиной (ИРЛИ), посвященного рассмотрению образно-стилевой системы неизученной комической оперы Н. А. Львова и Н. П. Яхонтова «Сильф, или Мечта молодой женщины» («Воздушный муж»). Н. Львов, преодолевая статичность сюжета, заимствованного из французской драматургии, создает в своем произведении достаточно сложную картину мира, в котором надуманное, иллюзорное контрастирует с реальным. Обраще-

ние к комическим положениям, гиперболы в разработке диалогов восходят к приемам народного театра. Черты, присущие поэзии Львова — общее иронически-скептическое отношение к окружающему, парадоксальное снижение образа, прозаизация, ярко проявились и в его драматургии. «Сильф, или Мечта молодой женщины», заключающее свое выступление Е. Кукушкина, является одной из вершин жанра русской комической оперы XVIII века, дальнейшее развитие которого привело к возникновению национальной оперы и водевиля.

О. С. Муравьева (ИРЛИ) в докладе «Координаты исторического времени в „Пиковой даме“» остановилась на мысли о столкновении в повести мировосприятий двух веков. По мнению автора, при изучении сюжетных связей между персонажами и историческими явлениями обнаруживаются некоторые закономерности поэтического мышления Пушкина. В «Пиковой даме» всегда отмечаются родственные связи героев, путем скрытых сопоставлений передается ощущение непрерывности жизни. Только Германн оказывается выключенным из преемственной связи поколений, он одинок и обособлен в мире «Пиковой дамы». Пушкин определяет смысл и ценность настоящего в его соотносительности с прошлым и будущим, с вечными законами бытия, тем самым неизмеримо расширяются горизонты художественного мира «Пиковой дамы».

В сообщении Е. Е. Майминой (Псков) «Стилистические функции французского языка в переписке Пушкина и в его поэзии» на конкретных примерах было продемонстрировано, что в отличие от прозаически-эпистолярного текста стихотворная система Пушкина оказалась наименее открытой для проникновения иноязычной лексики: французские вставки здесь часто являются средствами создания иронии, комизма, сатиры.

Неизученные вопросы биографий двух известных литераторов XIX века затрагивались в сообщении Е. В. Свиасова (ИРЛИ) «Я. П. Полонский и Г. П. Данилевский (Из литературных взаимоотношений)». В основе выступления — неизданная переписка Данилевского и Полонского.¹ Переписка представляет возможность проследить литературные контакты автора исторических романов «Мирович», «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва» и поэта-лирика в 1850-е годы. Докладчик остановился на неудачной попытке Данилевского опубликовать драму Полонского «Дареджана, царица имеретинская», участии Данилевского в издании поэтического сборника Полонского «Стихотворения» (1855).

¹ Письма Данилевского подготовлены автором доклада к публикации в «Ежегоднике рукописного отдела на 1977 год».

Важнейшая особенность гоголевской поэтики, восходящая к общим эстетическим принципам писателя, — это «двунаправленность» его стиля, подчеркнула в своем докладе «Некоторые стилистические особенности повести Н. В. Гоголя „Старосветские помещики“» М. Н. Виролайнен (ИРЛИ). Двунаправленность, стремление к совмещению в одной точке взаимоисключающих противоположностей разрешается у Гоголя через иронию. С помощью иронии, нарушающей разграниченность явлений, Гоголь сопрягает высокое и низкое, идеальное и пошлое. Подвергаясь постоянно разнонаправленному авторскому воздействию, действительность в повести предстает одновременно идеализированной и осмеянной. Диалектический стиль Гоголя нацелен на то, чтобы проявить и активизировать скрытые силы русской жизни, изобразить человеческое бытие в единстве разноликих проявлений.

Г. А. Тиме (ИРЛИ) в докладе «„Лишние люди“ и поиски положительного героя в социально-психологической драматургии 1880-х—начала 1890-х годов» обратилась к проблеме «героя времени» в «массовой» драматургии конца XIX столетия и пьесах А. Н. Островского и А. П. Чехова. В своем выступлении исследовательница опирается на произведение, до сих пор мало привлекавшие внимание литературоведов (пьесы М. Чайковского, Вл. Александрова, И. Салова, О. Чюминой и др.). Островский («Дикарка», совместно с Н. Соловьевым) и вслед за ним Чехов ([Пьеса без названия], «Иванов») подошли к одной из узловых проблем русской литературы, вновь оказавшейся актуальной «на сломе» века, отразив в типических образах действительную противоречивость «современной неопределенности» (Чехов). Такие же драматурги, как Н. Соловьев, И. Шпагинский, оказались лишь внешне связанными с национальной литературной традицией, спекулируя на поверхностных признаках образа «лишнего человека», не затрагивающих его глубинного историко-социального содержания. Сравнение разработки типа «лишнего человека» в пьесах авторов «второго ряда» и классиков реализма проясняет особенности освоения русской драматургией конца прошлого века сложного материала социальной действительности.

В докладе О. Я. Поволоцкой (Ленинград) «„Двойник“ Ф. М. Достоевского (Проблемы стиля)» рассматривалось стилистическое явление, обозначенное автором как «воплощение слова Голядкина в сюжет повести». Изучение речевой характеристики героя повести Достоевского приводит докладчика к выводу о том, что стилистическая заданность голядкинского слова определяется отчужденностью персонажа от окружающего мира. Страшный карикатурный язык героя оказался языком самой реальности,

где человек обращен в «ветошку», в «ничтожную тряпицу». Слово Голядкина и конфликт повести возникают на основе катастрофической для героя потери способности адекватного самовыражения.

«Пути к идеалу (Социальная утопия Ф. М. Достоевского и утопический социализм Н. Г. Чернышевского)» — тема выступления В. С. Ермаченковой. В сообщении дана характеристика утопических представлений Достоевского и Чернышевского, указаны источники их мировоззрения. Наметив точки соприкосновения социально-философских взглядов двух художников-мыслителей, В. Ермаченкова проанализировала своеобразные решения каждого из них вопроса о роли народа в социальном переустройстве общества.

Тема русско-испанских литературных связей стояла в центре доклада В. Е. Багно (ИРЛИ) «Начальный этап восприятия творчества Льва Толстого в Испании (1887—1900 годы)». Докладчик определил значение публицистической книги Э. Пардо Басан «Революция и роман в России» в ознакомлении испанской интеллигенции с русской литературой,² а также установил направление воздействия творчества Толстого на художественную структуру романов Э. Пардо Басан «Мать-Природа», «Солнечный удар», «Уныние», «Краеугольный камень» и др. Используют творческий опыт Толстого выдающиеся испанские писатели-реалисты последней трети XIX века: Бенито Перес Гальдос, Хуан Валера, Висенте Бласко Ибаньес. Качественно новый этап восприятия реализма Толстого в Испании был связан с литературной деятельностью писателей «поколения 98 года» (от Мигеля де Унамуно до Антонио Мачадо). Воздействие русского писателя на литературный процесс в Испании сказалось в первую очередь в том, что он подорвал авторитет натурализма и поддерживал реалистическое направление в литературе.

А. А. Николаев (Москва) выступил с сообщением «Судьба поэтического наследия Ф. И. Тютчева мюнхенского периода и текстологические проблемы его изучения», построенным на архивном материале. Задавшись целью описать рукописи поэта в собраниях С. Е. Раича и И. С. Гагарина, автор провел их сопоставительный анализ. Принципиальный характер имела постановка в докладе вопроса выявления канонического текста стихотворений Тютчева 1822—1837 годов. Результаты работы помогают уточнить датировки более 40 произведений поэта-философа, прояснить генезис текстов, внести существенные дополнения в их историко-литературный и реальный комментарий.

Фрагмент готовящейся к публикации совместной работы С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова (ИРЛИ) составил содержание их биографического сообщения «Творчество Конст. Эрберга (К. А. Сюнерберга)». Проиллюстрировав основные положения эстетической концепции Эрберга, изложенной в сборнике его статей «Цель творчества» (1913), исследователи говорили о поэтической и критической деятельности участника журнала «Золотое руно» как о типическом для философско-теоретической мысли символизма явления.

Тема доклада В. П. Пархоменко (Ленинград) — «Народный характер как философско-эстетическая проблема». Критикуя индивидуалистскую концепцию народного характера, автор попытался сформулировать свое понимание этой стержневой для нашей литературной критики проблемы. Народный характер, по мнению В. Пархоменко, является продуктом этнического зарождения и развития народа, складывается из его потребностей и идеалов и сохраняется в поколениях путем наследования природных свойств и культурных традиций. Как целостное духовно-психологическое образование он проявляется не иначе как через связи между людьми. Воссоздание черт народного характера через равноправное «присутствие» автора в системе нравственных связей, возникающих в произведении, и составляет ведущий идейно-художественный принцип той части современной прозы, что получила в критике наименование «традиционная школа» (В. Шукшин, В. Астафьев, Е. Носов, В. Распутин и др.).

Проблема жизни и смерти в творчестве М. Шолохова и Л. Толстого посвятил свой доклад П. В. Бекедин (ИРЛИ). Автор указал на несомненное сходство двух художников в способах обобщения реальных явлений, в самом складе эпического мышления. Одна из кардинальных проблем в их мировоззрении — это проблема жизни и смерти в ее философском значении. По мысли Толстого, ничто не вечно в природе, в окружающем мире вечна лишь сама жизнь, которая находится в остром противоборстве со смертью. В идейной концепции всех без исключения шолоховских созданий момент противостояния сил жизни и смерти занимает видное место, но, в отличие от Толстого, автора «Тихого Дона» мало волнует мгновение смерти. Процесс затухания человеческого сознания Шолохов почти не изображает: на смерть смотрит «со стороны», как Достоевский. Но есть и точки соприкосновения двух поэтических миров — толстовского и шолоховского.

В формуле «жизнь-смерть-жизнь», встречающейся довольно часто в произведениях двух мастеров реалистического искусства, победительницей всегда оказывается жизнь. Творчество Толстого и

² См.: Русская литература, 1977, № 3, с. 147—157.

Шолохова, резюмирует докладчик, воспринимается как гимн неодолимости жизни, как страстный призыв к сохранению мира и человечности.

Некоторые философские аспекты «Русского леса» Л. Леонова рассмотрены в докладе Т. М. Вахитовой (ИРЛИ). Автор, обозначив философские проблемы романа, сосредоточила свое внимание на мировоззренческих источниках литературных образов Вихрова и Грацианского. В «Русском лесу» противопоставлены две жизненные концепции: Вихрова, связанная со взглядами Тимирязева, Герцена, Чернышевского, и Грацианского, «властителями дум» которого оказываются М. Штирнер и Ф. Ницше. Леонов выбирает духовные ориентиры для персонажей в соответствии с исторической обстановкой, типизирует определенный склад мышления, наделяя сознание героев принципами познания действительности, присущими реальным историческим лицам. В этом наиболее полно проявляются специфические связи мира Леонова с реальностью. Изучение этих связей, полагает Т. Вахитова, помогает вскрыть неисследованные в должной мере проблемы: философские взгляды автора, позицию героя, философскую основу поэтики романа.

Пишущий эти строки выступил на конференции с докладом «Творчество В. Г. Распутина и традиции русского реализма». Краткий анализ содержания преемственных связей прозаика с идейно-образным наследием русской литературы второй половины XIX—начала XX века показал, что традиции психолого-философской прозы глубоко осваиваются В. Распутиным. В типологическом плане родословная метода автора «Прощания с Матерой» восходит к разнящимся и одновременно пересекающимся тенденциям: эпико-аналитическому реализму Толстого и философско-психологическому реализму Достоевского. Эстетическая позиция писателя открывает перспективу органического соединения двух типов исследования действительности, наиболее полно реализованных в наше время художественными системами Шолохова и Леонова. Тяготение мировоззрения, метода и стиля В. Распутина к конкретным элементам философско-поэтического мира Толстого, Достоевского, Бунина рельефней проявляет творческое своеобразие писателя-современника.

Ряд интересных наблюдений содержался в выступлении Н. А. Биличенко (ИРЛИ) на тему «Особенности стиля В. М. Шукшина в рассказе „Верую!“». Рассказ «Верую!» примыкает к тем произведениям писателя, в которых поставлена проблема народного характера, национального склада души человека. Повествование построено здесь в форме своеобразного диспута, выявляющего философский смысл жизненного конфликта. В силу своего характера, страстного, прямого, шукшинский герой ищет немед-

ленного разрешения внутренних проблем зачастую в странных, нелепых поступках. Стилиевая закономерность, основанная на парадоксальном смещении духовных стремлений человека и натуралистической конкретности их проявлений, оттеняет своеобычие характеров и драматическую сущность нравственных проблем, стоящих в центре художественно-эстетических поисков В. Шукшина. Доминантой стиля Шукшина становится сочетание «высокого» (духовная жизнь героев) и «низкого», бытового слоев жизни. Двойственность художественного видения писателя выступает как одна из важнейших координат его творческого мира.

Яркой особенностью современного литературного процесса является перестройка жанровой системы, и в частности взаимовлияние прозы и драматургии. Об этом говорил в докладе «А. В. Вампилов и советская проза 60—70-х годов» М. М. Кралин (Ленинград). В его выступлении шла речь о творческом взаимообмене опытом в решении проблемы «человек и земля» между Вампиловым и такими прозаиками, как Астафьев, Белов, Распутин. Автор рассматривает развитие драматургических принципов Вампилова, стимулируемое усвоением традиций русской классики. «Прозаизация» драмы расширила рамки сценического реализма, в результате чего тема взаимоотношений человеческой личности с миром в последней пьесе драматурга «Прошлым летом в Чулымске» получила новое, оптимистическое разрешение.

Сообщение Т. Г. Ивановой (ИРЛИ) «Фольклорная традиция с. Шеговары Шенкурского района Архангельской области (проза и необрядовая лирика)» основано на материалах, собранных автором в течение 1976—1977 годов, и сопровождалось прослушиванием магнитофонной записи. Фольклорист констатирует бытование на территории данного района балладной песни, мещанского романа, частушки, хороводной и кадрилиной песен, а также былички. Сравнение современного состояния фольклора с данными наблюдений П. Г. Богатырева (Верования великорусов Шенкурского уезда. — Этнографическое обозрение, 1918, кн. CXI—CXII, 1916, №№ 3—4) показало изменение прозаических и лирических жанров народного поэтического творчества, образного строя быличек, мироощущения творцов фольклора.

В прениях по докладам выступили доктор филол. наук К. Д. Муратова, Е. Н. Купреянова, Г. Н. Моисеева, Г. М. Фридлендер, П. С. Выходцев, кандидаты филол. наук Н. Н. Мостовская, Ю. В. Стенник, В. А. Туниманов, С. А. Фомичев, отметившие широту проблематики исследований, сосредоточенность авторов на малоизученных вопросах историко-литературной науки и высказавшие некоторые критические заме-

чания. Особенностью конференции было то обстоятельство, что при всем многообразии подходов к изучению художественного произведения, биографии, мировоззрения и стили писателя обнаруживалось и известное сходство приемов анализа. Часто оно выявляло не только преимущество того или иного способа исследования, но и подчеркивало слабые места отдельных методических посылок. Иногда осложненность литературоведческой терминологией затемняла смысл высказывания, а стремление докладчика «задержаться» на узкой «площадке» эмпирических разысканий не давало выхода к целостному рассмотрению творческой индивидуальности художника слова.

На конференции, помимо упомянутых, своевременно прозвучали выступления академика М. П. Алексеева, поддерживавшего направление литературоведческих поисков начинающих исследователей, доктора филол. наук В. В. Тимофеевой, подчеркнувшей значение идеологических позиций в формировании молодого ученого.

Заслуженный деятель науки РСФСР доктор филол. наук В. А. Ковалев кратко охарактеризовал доклады по вопросам советской литературы, выразив надежду на дальнейший творческий рост участников конференции. В своем слове он обратился к молодым филологам с пожеланием всемерной самоотдачи на

первом же этапе литературно-критической работы. В. А. Ковалев говорил о необходимости сохранения лучших традиций советской литературной науки и в связи с этим напомнил несколько заветов В. А. Десницкого.

Подводя итоги двухдневной работы, доктор филол. наук Н. И. Пруцков отметил значение конференции в деле подготовки новых научных кадров. Он предложил сделать проведение подобных конференций систематической формой отчета молодых специалистов, расширив состав участников. Такое начинание может стать хорошей традицией.

Заключительное слово лауреата Ленинской премии доктора филол. наук Ф. Я. Прийма было адресовано вступающим в большую науку молодым литературоведам. Ф. Я. Прийма еще раз остановился на качестве докладов. Будущим историкам литературы следует овладеть, по мысли ученого, не только арсеналом средств и способов изучения искусства слова, но и стремиться постичь многообразное идейно-эстетическое содержание художественного творчества, больше уделять внимания кардинальным проблемам развития отечественной художественной культуры. Ф. Я. Прийма пожелал молодым специалистам быть неустанными в поисках научных истин.

А. А. ДЫРДИН

ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ

16—18 мая 1978 года в Вологде состоялись чтения по истории литературы и культуры Древней Руси. В чтениях приняли участие ученые Ленинграда и Вологды — ИРЛИ АН СССР, ЛГУ им. А. А. Жданова, Вологодского государственного педагогического института, Архива АН СССР, БАН СССР. Доклады были посвящены различным проблемам изучения древней русской литературы и искусства.

Открыл чтения секретарь Вологодского горкома КПСС В. Н. Хаев. Он рассказал о достижениях Вологды и Вологодского края за годы Советской власти.

Зав. кафедрой литературы ВГПИ доктор филол. наук В. В. Гура выступил с приветственным словом к участникам чтений. Он сказал о важности изучения культурного наследия русского Севера и вологодской земли и отметил, что вологодская земля тесно связана с общими традициями культуры Древней Руси.

Академик Д. С. Лихачев в докладе «Древнерусская литература и современность» рассказал о понимании древнерусской литературы в XVIII—XIX ве-

ках. В культуре русского реализма XIX века создалось верное понимание архитектуры, литературы Древней Руси. Д. С. Лихачев указал, что патриотизм невозможен без осознания эстетической ценности древней культуры. Поэтому в современной жизни занимает большое место познание и изучение культурного наследия нашей страны.

Доклады канд. филол. наук Н. С. Демковой и доктора филол. наук О. В. Творогова были посвящены «Слову о полку Игореве». Н. С. Демкова остановилась на особенностях композиции «Слова», О. В. Творогов подвел итоги изучению текста «Слова» в современной науке последних лет.

Канд. филол. наук М. А. Вавилова осветила ряд вопросов, связанных с преподаванием древнерусской литературы в вузах нашей страны.

В докладах чл.-корр. АН СССР В. Г. Базанова и канд. филол. наук И. П. Смирнова были рассмотрены связи средневековой русской литературы с новой русской литературой. В. Г. Базанов проанализировал отраже-

ние образов и мотивов древнерусской литературы в поэме Н. А. Клюева «Погорельщина». И. П. Смирнов проследил проникновение мотивов «Повести о Савве Грудцыне» в литературу XVIII века и в записи литературного замысла А. С. Пушкина «Уединенный домик на Васильевском». Доклады доктора ист. наук Н. А. Казаковой и доктора филол. наук Я. С. Лурье были посвящены вопросам вологодского летописания. Я. С. Лурье отметил, что Вологодско-Пермская летопись сохранила сведения конца XV — середины XVI века, неизвестные по другим источникам. Н. А. Казакова остановилась на местных народных преданиях в составе вологодских летописцев XVII века.

Об изучении богатейшей библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря рассказали канд. ист. наук Р. П. Дмитриева, канд. филол. наук М. В. Рождественская, канд. филол. наук М. Д. Каган и доктор филол. наук Ю. И. Чайкина. Изменение состава библиотеки отражает изменение литературных вкусов русских людей XV—XVI веков. О рукописях Кирилла Белозерского рассказал доктор филол. наук Г. М. Прохоров. Канд. филол. наук О. П. Лихачева охарактеризовала литературные произведения, связанные с личностью Кирилла Белозерского. О сочинениях Максима Грека в собрании вологодского архиепископа Ионы Думина рассказал аспирант ИРЛИ Д. М. Буланин. Канд. искусствования А. А. Рыбаков посвятил свой доклад подписным и датированным иконам вологодских музеев.

Доктор филол. наук Л. А. Дмитриев в своем докладе остановился на «Повести о житии Дмитрия Прилуцкого». В этом произведении отразились исторические события Древней Руси — осада Вологды Дмитрием Шемякой в XV веке, нападение вятчан на Вологду. Житию присущи общерусский патриотизм и большие литературные достоинства.

В докладе доктора филол. наук А. М. Панченко «Игра в царя» были рассмотрены новые аспекты русской литературы эпохи XVII века. Докладчик охарактеризовал Тимофея Акундинова, вологодского самозванца XVII века, как человека эпохи барокко и отметил, что самозванство как культурно-исторический феномен наблюдается в России в эпоху барокко, с начала XVII века.

Канд. филол. наук О. А. Белоброва сообщила о вологодском сборнике сочинений и переводов второй половины XVII века Николая Спафария. Этот сборник — наиболее полный из дошедших до нас авторских сборников писателя.

В докладе «Текстологические основания датировки „Слова о житии Дмитрия Донского“» канд. филол. наук М. А. Салмина пришла к выводу, что «Слово» в Софийской I, Новгородской IV и последующих летописях основывается на краткой записи летописного свода 1408 года. Докладчица связала этот памятник с борьбой Василия II за престол в 40-е годы XV века.

Н. М. Герасимова рассказала о вологодской сказочной традиции. Отличительной особенностью вологодской сказки является включение в нее сюжетов традиционной книжной культуры.

Доктор филол. наук Ю. И. Чайкина говорила о значении материала местных вологодских рукописей для изучения ономастики и топонимики Вологодского края. Ст. научн. сотр. Череповецкого краеведческого музея Н. П. Дробова сделала сообщение о собрании рукописей музея.

Заключительным был доклад художника-реставратора Вологодского краеведческого музея Н. И. Федышина «Атрибуция вологодской иконы „Илья Пророк в пустыне“ (1690) из Третьяковской галереи». Ранее эта икона считалась памятником Средней России, Н. И. Федышин определил ее вологодское происхождение. Закрывая конференцию, В. В. Гура, Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев сказали о необходимости издания докладов конференции отдельным сборником. Выступавшие отметили исследовательский характер докладов и их большое значение для развития знаний по истории Вологодского края и воспитания любви к своей земле и городу у молодежи. После окончания чтений ученые ознакомились с достопримечательностями Вологды, осмотрели памятники архитектуры и деревянного зодчества. Участники конференции побывали в культурных центрах Древней Руси — Ферапонтовом и Кирилло-Белозерском монастырях. Чтения явились значительным событием культурной и научной жизни Вологды.

М. Ф. АНТОНОВА

РЕПЛИКА

ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ

В «Литературной газете» (от 14 июня 1978 года) напечатана «реплика» В. Оскоцкого «Что может многоточие». Критик уверяет читателей в том, что, опустив одно слово в цитате из его книги, я искажил его.

Обратимся к тексту книги В. Оскоцкого «Богатство романа» (1976).

Полемизируя с брошюрой Л. Ершова и А. Хватова «Листья и корни», В. Оскоцкий заводит речь о формировании Л. Леонова. Критик напоминает слова Леонова, что революция открыла писателям много нового материала, и продолжает: «Не в русле вневременной „национальной стихии“ и „национального духа“ (закавыченные слова употребляли авторы упомянутой брошюры, — В. К.)... лежал для него этот необъятный „материал“, но на широких путях революционных преобразований народной жизни» (с. 68). В этой цитате рельефно отразилось противопоставление национальных традиций России и революционных преобразований Октября. С этим неверным утверждением я и полемизировал в своей статье «Теоретические аспекты истории советской литературы» (Русская литература, 1978, № 1, с. 8—10).

Приводя цитату из В. Оскоцкого, я опустил слово «вневременной», чтобы сосредоточить внимание читателей на сути моего с критиком разногласия. Указанное выше противопоставление сохраняется независимо от того, есть ли там слово «вневременной» или нет.

Выше я привел цитату полностью. Слово «вневременной», восстановлением которого так озабочен критик, не только ничего не меняет в общем смысле цитаты, но и делает его предельно ясным: понятия «национальный дух» (Россия) и «национальная стихия» существуют для критика лишь как «вневременные». Недаром он шуточно замечает, что эти слова мне «полюбились»...

В своей статье я говорю, что эти понятия вовсе не «вневременные». Напоминаю об общеизвестной и общепринятой мысли, что революционные преобразования в России после победы Октября явились результатом всего исторического развития страны. Революционные процессы охватывали и сферу «национального духа» России. Но от спора по существу В. Оскоцкий уклонился. Он хотел бы свести все дело к многоточию... Удобный полемический прием!

В заключение своей «реплики» В. Оскоцкий «расшифровывает» побуждения автора настоящих строк: он усматривает крамольное, с его точки зрения, «желание защитить» брошюру «Листья и корни» Л. Ершова и А. Хватова. Если говорить о моих невысказанных желаниях, то они (в словах «хлестко осуждаемой») заключались в несогласии с «проработочным» тоном В. Оскоцкого.

Вот что пишет В. Оскоцкий по поводу этой брошюры и ее авторов: речь Ленина на III съезде комсомола получила в ней «крайне произвольное истолкование» (с. 69); «опшеломяющие» заявления авторов «одинаково выдаёт антиинторизм авторской позиции» (с. 66). Пристегивая к разговору также статью одного из авторов, А. Хватова, о Шолохове, опубликованную в журнале «Наш современник», В. Оскоцкий вновь обличает «антиинторизм и внесоциальность авторских позиций» (с. 68) и даже заявляет, что А. Хватов «то и дело сбивается на отказ от социологического взгляда вообще, от последовательных и четких социально-классовых критериев в оценке героя» (с. 68; «герой» — очевидно, Григорий Мелехов, — В. К.).

Если этот стиль нравится В. Оскоцкому и сейчас, то я и в вопросах «стилевых» также расхожусь с ним. Тем более что стиль письма В. Оскоцкого вообще весьма уязвим...

Итак, читатель, вставьте в цитате из В. Оскоцкого, в соответствии с пожеланием автора, слово «вневременной», и Вам станет абсолютно ясно, кто же именно из нас двоих топчется на месте. Напомню читателю, что «реплика» В. Оскоцкого завершается фразой: «Не есть ли это возвращение на круги своя, чреватое для литературоведческой и критической мысли топтанием на месте?..» Именно так! Ведь странички из книги В. Оскоцкого, изданной в 1976 году, без всяких изменений повторяют его же статью, опубликованную «Литературной газетой» в 1971 году.

В. А. КОВАЛЕВ



**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 1978 ГОДУ**

№ Стр.

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ

Архипова А. В. О русском предромантизме	1	14
Багно В. Е. Лев Толстой в оценке испанских писателей XIX века . . .	3	72
Бритиков А. Ф. Лев Толстой и Жюль Верн	4	49
Галаган Г. Я. Путь Толстого к «Исповеди»	3	23
Генералова Н. П. Луначарский о художественных формах реализма . .	4	60
Григорьян К. Н. К вопросу о музыкальной природе лирической поэзии Демиховская Е. К. Лев Толстой и Эдуард Род (из истории русско-фран- цузских литературных связей)	3	106
Иезуитов А. Н. Н. Г. Чернышевский и современность	2	3
Ковалев В. А. Теоретические аспекты истории советской литературы	1	3
Лихачев Д. С. Древнерусская литература и современность	4	25
Лурье Я. С. «Дифференциал истории» в «Воине и мире»	3	43
Лучников М. Ю. Достоевский и Чернышевский («Вечный муж» и «Что делать?»)	2	54
Мельник В. И. Натуральная школа и реализм 40-х годов	4	32
Мельник В. И. Натуральная школа как историко-литературное понятие (к проблеме единства натуральной школы)	1	48
Мысляков В. А. «Отцы и дети» в восприятии Чернышевского	2	36
Петрунина Н. Н. Декабристская проза и пути развития повествователь- ных жанров	1	26
Пруцков Н. И. Буржуазный прогресс и патриархальный мир в истол- ковании русских писателей и мыслителей второй половины XIX века	4	3
Пруцков Н. И. Л. Н. Толстой, история, современность	3	3
Рецептер В. Э. О композиции «Русалки»	3	90
Стенник Ю. В. Некоторые вопросы изучения русской сатиры XVIII века	2	63
Фридлиндер Г. М. Эстетика Чернышевского и русская литература	2	11
Черемин Г. С. «... Ленин отметил меня...» (об отношении В. И. Ленина к творчеству В. В. Маяковского)	1	65

ПОЛЕМИКА

Бекедин П. В. Неподатливое поле «Поднятой целины»	4	78
Воробьев В. Ф. О природе литературной критики	4	92
Емельянов Л. И. Природа предмета и специфика проблемы (о функ- циях фольклора)	1	82
Купрянова Е. Н. Французская революция 1789—1794 годов и борьба направлений в русской литературе первой четверти XIX века	2	87
Строганов М. В. О стихотворении А. С. Грибоедова «Прости, Отечество!»	2	108

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

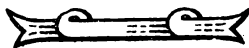
Азадовский К. М., Лавров А. В. Новое о встречах Томаса Манна с рус- скими писателями («Слово благодарственное» Андрея Белого Томасу Манну)	4	146
Базанов В. Г. Д. М. Рогачев — «особенный человек»	4	117
Бальбуров Э. А. Свобода исповеди и законы жанра (о композиции ли- рических повестей)	2	178

	№	Стр.
Бессонов Б. Л. К истории «огаревского дела» (по вновь найденным материалам)	3	139
Булагин Д. М. К изучению переводческой деятельности Максима Грека	3	119
Вацуро В. Э. «Лермонтовская энциклопедия»	4	157
Воспоминания Е. М. Чернышевской (публикация С. В. Сverdлиной)	2	138
Долгова С. Р. Ерофей Каржавин — автор первого перевода «Путешествий Гулливера» на русский язык (опыт биографии)	1	99
Дунаев М. М. Своеобразие творчества И. С. Шмелева (к проблеме бытовизма в произведениях писателя)	1	163
Желтова Н. И. Функции литературных источников в тетралогии М. Шагинян о В. И. Ленине	2	189
Закруткина Л. Г. В Вешенской и в Ростове	2	170
Из писем о Льве Николаевиче Толстом (публикация Л. П. Архиповой, Г. Г. Поляковой, И. М. Юдиной)	3	144
Ильин В. В. М. К. Цебрикова на Смоленщине (по архивным материалам)	4	140
Иовва И. Ф. Пушкин в документах дела Алексея — Радича	4	106
Калантарова М. М. Из литературной жизни 1920—1930-х годов. (По архивным материалам С. Ф. Буданцева)	3	155
Кельнер В. Е. Письмо австралийских социалистов Л. Н. Толстому	3	154
Ковалев В. А. В. А. Десницкий о советской литературе	3	163
Лавров А. В. И. Ф. Анненский в переписке с Александром Веселовским	1	176
Лебедев С. Б. «Академическое дело 1871 года» (выборы А. Н. Пыпина в Академию наук)	2	150
Литвиненко Л. С. Историческая хроника А. Н. Островского «Козьма Захарыч Минин, Сухорук» и традиции русской литературы «Смутного времени»	1	147
Макина М. А. С. П. Подъячев и М. Горький (по материалам переписки)	1	180
Матяш С. А. Неопубликованные главы поэмы В. А. Жуковского «Рустем и Зораб»	3	125
Метченко А. И. Учитель	3	167
Мысляков В. А. К полемике Чернышевского с «Экономическим указателем» (об авторе «Письма к редактору»)	3	136
Неопубликованное письмо Дж. Кеннана Г. А. Мачтету (публикация Е. И. Меламеда)	4	144
Никитина Н. С. К вопросу о гоголевских традициях в творчестве Салтыкова-Щедрина	1	155
Овен О. Н. Неизвестные письма Н. И. Гнедича И. М. Муравьеву-Апостолу	2	115
Прокопенко З. Т. А. В. Никитенко и Н. Г. Чернышевский	2	121
Разумовская М. В. «Почта духов» И. А. Крылова и романы маркиза д'Аржана	1	103
Степанов В. П. Забытые стихотворения Ломоносова и Сумарокова	2	111
Теплинский М. В. Заметки о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»	2	147
Тишкин Г. А. Н. К. Пиксанов — преподаватель Бестужевских курсов	4	152
Травушкин Н. С. Свидетельства о Н. Г. Чернышевском, возвращенном из Сибири	2	132
Троицкий Н. А. Неизвестные стихи Германа Лопатина	2	155
Усенко П. Г. Новое о Н. Г. Чернышевском. (Источники для изучения истории издания «Военного сборника» в 1858 году)	1	140
Царькова Т. С. Раннее творчество Н. А. Некрасова и фольклор	4	109
Чернуха В. Г. О прототипе графа Твэрдоонто в произведении М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом»	4	136
Чернышевская Н. М. «Озарена тобою жизнь моя...» (Николай Гаврилович и Ольга Сократовна Чернышевские) (публикация В. С. Чернышевской)	1	122
Чистова И. С. Прозаический отрывок М. Ю. Лермонтова «Штосс» и «натуральная» повесть 1840-х годов	1	116
Чистова И. С. Чернышевский и Бутков (комментарий к «Повестям в повести»)	3	131
Юлдашева Л. В. Философия времени в дневниковых книгах М. М. Пришвина	2	165

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

Аверина Н. Ф. Пермская ссылка Герцена (по поводу некоторых комментариев)	4	162
Заборова Р. Б. Заметки об издании «Сонетов» Адама Мицкевича	4	165
Лебедев В. К. Об одной неточности, повторенной в «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого»	3	172

	№	Стр.
Лебедев Ю. В. Об источнике одного образа в поэме «Кому на Руси жить хорошо»	1	185
Лихачев Д. С. Из комментария к стихотворению А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека»	1	186
Плотников В. И. Когда Лев Толстой начал писать свой трактат об искусстве?	3	170
Прудников Ф. М. К ленинской оценке творчества Н. А. Некрасова	3	169
Сухих И. Н. Об эпитафии к рассказу В. Г. Короленко «Эпизоды из жизни искателя». — О двух примечаниях к главе «Пир на весь мир»	1	184
Фойницкий В. Н. «Сумбурная брошюра» (к истории памфлета Л. Н. Толстого «Николай Палкин»)	4	168
Шустов А. Н. Чистый гений или чистая красота?	4	161
ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ		
Азбелев С. Н. Русское устное народное творчество	4	173
Базанов В. В. Библиография по советской литературе (накопленный опыт и новые работы)	1	204
Бузник В. В. Ценное исследование о советской литературе в Болгарии	4	196
Буланин Д. М., Буланина Т. В. Академическое издание памятников ранней русской драматургии	2	237
Вахитова Т. М. Вопросы метода и мастерства Л. Леонова в учебных пособиях для вузов	3	211
Голованова Т. П. Лермонтов и Украина	4	185
Данилевский Р. Ю. Вопросы русской литературы в славистических изданиях Марбурга (ФРГ)	1	234
Данилевский Р. Ю. Лейпцигский сборник, посвященный А. Н. Радищеву	4	199
Емельянов Л. И. В новом приближении	4	169
Заборов П. Р. Русская классическая литература в журнале «Cahiers du Monde russe et soviétique»	2	230
Збыровский З. (Польша). Русская советская поэзия в Польше (1918—1939)	3	187
Кочеткова Н. Д. Русский сентиментализм. Итоги и проблемы изучения	2	222
Кузьмин А. И. Новое исследование русской литературы второй половины XVII—начала XVIII века (Демин А. С. Русская литература второй половины XVII—начала XVIII века. Новые художественные представления о мире, природе, человеке. М., «Наука», 1977. 296 с.)	2	241
Левин Ю. Д. Три книги канадских русистов	3	199
Мещеряков В. П. Первая революционная ситуация в России в трудах историков литературы и общественной мысли (1960—1970-е годы)	1	189
Мостовская Н. Н. Восемьдесят седьмой том «Литературного наследства»	4	190
Назарова Л. Н. Новые материалы о И. С. Тургеневе во французском бюллетене	3	208
Никифоровская Н. А. Больше требовательности! (о некоторых недостатках сборника «Шекспировские чтения»)	4	206
Руденко Ю. К. Чернышевский — художник (основные тенденции и итоги изучения)	3	174
Смирнов В. А. Изучение биографии Н. А. Некрасова (1950—1970-е годы)	1	221
Творогов О. В. «Слово о полку Игореве» в советской филологической науке (1963—1977)	4	177
Филиппов В. В. Проблемы документализма в художественной литературе	1	198
Ходоров А. Е. Декабристы-литераторы в советской историко-литературной науке последних лет (1972—1975)	2	206
К 100-летию со дня рождения Н. К. Пиксанова		
Из архива Н. К. Пиксанова (публикация Л. И. Кузьминой)	2	197
Соколов Н. И. Большой путь крупного ученого	2	194
Эпизод из студенческой жизни Н. К. Пиксанова (письмо М. А. Дьяконова А. Н. Пышину) (публикация С. Б. Лебедева)	2	203
Ученый, педагог, гражданин (к столетию со дня рождения В. А. Десницкого)	1	245
ХРОНИКА	1	239
	2	243
	3	216
	4	210
Базанов В. В., Бузник В. В. Под флагом научной взыскательности	1	249
Ковалев В. А. Топтание на месте	4	233



НОВЫЕ КНИГИ

- Альтшуллер А. Я., Данилова Л. С. История русской театральной критики. Учебное пособие. [Вып. 4]. Л., 1977, 73 с. (Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии).
- Анализ художественного произведения. [Сборник статей. Ред. коллегия: И. П. Шибанов (отв. ред.) и др.]. Воронеж, 1977, 156 с. (Известия Воронежского гос. пед. ин-та, т. 173).
- Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика 60-х гг. XIX в. «Война и мир» в отзывах журн. критики. Материалы для спецкурса... М., Изд-во Московского ун-та, 1977, 143 с.
- Блажес В. В. Содержательность художественной формы русского былевого эпоса. Учебное пособие по спецкурсу для студентов филол. фак. Свердловск, 1977, 80 с. (Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького).
- Вопросы теории и истории литературы. [Сборник статей. Ред. коллегия: Е. П. Магазанник (отв. ред.) и др.]. Самарканд, 1977, 136 с. (Труды Самаркандского ун-та им. Алишера Навои. Новая серия. Вып. 320).
- Герцен в Москве и Подмосковье. Фотоочерк. [Фото Ф. Гуртовника. Автор текста и сост. Н. П. Верховская]. М., «Советская Россия», 1977, 36 с.
- Гиллельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий. Л., «Просвещение», 1977, 192 с.
- Гусев В. Е. История русского народного театра. Учебное пособие. Л., ЛГИТМиК, 1977, 87 с. (Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии).
- Добролюбовские чтения, 1976. Материалы конф., посвящ. 140-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова. [Редколлегия: С. А. Орлов (отв. ред.) и др.]. Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1977, 111 с.
- Долгополов Л. К. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX—начале XX в. Л., «Советский писатель», 1977, 366 с.
- Евстигнеева Л. А. (Спиридонова). Русская сатирическая литература начала XX века. М., «Наука», 1977, 303 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1975 год. Л., «Наука», 1977, 270 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVIII века. М., «Наука», 1978, 271 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Емельянов Н. П. «Отечественные записки» Н. А. Некрасова (1868—1877). Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1977, 167 с.
- Есин Б. И. Чехов-журналист. М., Изд-во Московского ун-та, 1977, 104 с.
- Кирилюк З. В. Дипломное сочинение по русской литературе. (Науч.-метод. пособие для студентов ун-тов). Киев, «Вища школа», 1977, 78 с.
- Кузьмина Л. П. Народное поэтическое творчество рабочих Сибири. (Рабочий фольклор как исторический источник). Улан-Уде, Бурятское книжное изд-во, 1977, 296 с.
- Лавонен Н. А. Карельская народная загадка. Л., «Наука», 1977, 134 с. (АН СССР, Карельский филиал, Ин-т языка, лит-ры и истории).
- Лесневский С. С. Завещание, заветное. [Лит. места центра Европ. части СССР]. М., «Молодая гвардия», 1977, 206 с.
- Литературные связи. [Рус.-арм. лит. связи. Исследования и материалы. Т. 2]. Ереван, Изд-во Ереванского ун-та, 1977, 334 с. (Ереванский гос. ун-т).
- Лоциц Ю. М. Гончаров. М., «Молодая гвардия», 1977, 352 с.
- Маслова Н. М. Путевые записки как публицистическая форма. (Становление и развитие жанра «путешествия» в публицистике). М., Изд-во Московского ун-та, 1977, 115 с.
- Осетров Е. И. Мир Игоревой песни. Этюды. [Посвящается «Слову о полку Игореве»]. М., «Современник», 1977, 255 с.
- Осьмаков Н. В. Родина. Народ. Революция. Этапы развития рус. рев. поэзии второй половины XIX—начала XX в. М., «Просвещение», 1977, 199 с.
- Потанина Р. П. Свадебная поэзия семейских Забайкалья (конец XIX—семидесятые годы XX вв.). Улан-Уде, Бурятское книжное изд-во, 1977, 160 с.
- Проблемы метода и жанра. [Сборник статей. Вып. 4. Ред. Н. Н. Киселев]. Томск, Изд-во Томского ун-та, 1977, 132 с.
- Проблемы языка и стиля. Л. Н. Толстой. [Респ. сборник. Ред. коллегия: К. П. Орлов (отв. ред.) и др.]. Тула, Тульский пед. ин-т, 1977, 124 с.
- Пушкинский сборник. [Сборник научных трудов. Ред. Е. А. Маймин]. Л., 1977, 115 с. (Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).
- Русская литература XX века. Дооктябрьский период. [Сборник статей 9. Ред. коллегия: А. С. Карпов (отв. ред.) и др.]. Тула, 1977, 128 с. (Тульский гос. пед. ин-т им. Л. Н. Толстого).
- Скотов Н. Н. Поэзия Алексея Кольцова. Л., «Художественная литература», 1977, 91 с.
- Современники о В. М. Гаршине. Воспоминания. [Вступит. статья, подгот. текста и примеч. Г. Ф. Самосюк]. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1977, 252 с.
- «Спасское-Лутовиново», усадьба-заповедник И. С. Тургенева (Мценский р-он). Путеводитель. [Сост. Б. Богданов]. Тула, Приокское книжное изд-во, 1977, 120 с.

- Тургенев и его современники. [Сборник. Отв. ред. М. П. Алексеев]. Л., «Наука», 1977, 286 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Филологические труды. Фольклор и литература. [Сборник статей. Вып. 1. Ред. коллегия: А. З. Холаев (гл. ред.)]. Нальчик, [Б. и.], 1977, 165 с. (Кабардино-Балкар. ин-т истории, филологии и экономики).
- Фольклор. Издание эпоса. [Сборник. Ред. коллегия: А. А. Петросян (отв. ред.). Вступит. статья А. А. Петросян]. М., «Наука», 1977, 287 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Фольклор и литература Урала. [Сборник статей. Вып. 4. Науч. ред. И. В. Зырянов]. Пермь, [Б. и.], 1977, 93 с. (Пермский гос. пед. ин-т).
- Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV—XVII вв. Греческие рукописи в России. М., «Наука», 1977, 247 с. (АН СССР, Ин-т всеобщей истории).
- Чехов и его время. [Сборник статей. Ред. коллегия: Л. Д. Опульская и др.]. М., «Наука», 1977, 359 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Эстонская республиканская конференция студенческих научных обществ. Тарту. 1977: Материалы республиканской конференции СНО. [Сб. 3. Русская филология]. Тарту, 1977, 129 с. (Тартуский гос. ун-т).
- Язык и стиль. Метод, жанр, поэтика. [Сборник статей. Ред. коллегия: ... Д. Н. Медриш (отв. ред.) и др.]. Волгоград, Волгоградский пед. ин-т, 1977, 160 с.
- Агеносов В. В. XXV съезд КПСС и проблемы современной советской литературы. М., о-во «Знание РСФСР», 1977, 47 с.
- Актуальные проблемы деятельности литературных музеев. [Сборник статей. Сост. А. К. Ломунова]. М., [Б. и.], 1977, 141 с.
- Атаров Н. С. Дальняя дорога. Лит. портрет В. Овечкина. М., «Советский писатель», 1977, 167 с.
- Белюсов А. А. В семье единой. Русско-бурятские литературные связи и взаимобообщения. Улан-Уде, Бурятское книжное изд-во, 1977, 157 с.
- Брыгин Н. А. Времен стремительная связь. Литературоведческие очерки. Одесса, «Маяк», 1977, 223 с.
- Братство народов и литератур. Дни сов. литературы в Башкирии. [Сборник. Сост. М. А. Кутлугаллямов, А. П. Филиппов]. Уфа, Башкирское книжное изд-во, 1977, 128 с.
- В середине семидесятых. Литература наших дней. [Сборник статей. Сост. И. С. Эвентов]. Л., Лениздат, 1977, 376 с.
- Великий Октябрь и художественная литература. [Сборник статей]. Минск, Изд-во БГУ, 1977, 157 с.
- Веревкин Б. П. Михаил Ефимович Кольцов. М., «Мысль», 1977, 110 с. (Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики).
- Вильчек Л. Ш. Валентин Овечкин. Жизнь и творчество. М., «Художественная литература», 1977, 183 с.
- Вопросы русской литературы. Респ. межвед. науч. сборник. [Вып. 2 (30). Поэтические произведения о русских сов. писателях — певцах Октября. Сост. И. А. Спивак]. Львов, «Вища школа», 1977, 153 с.
- Гордиенко А. Т. В борьбе за человека (Концепция личности как сфера идеол. борьбы в современной лит-ре и эстетике). Киев, «Наук. думка», 1977, 267 с. (АН УССР, Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко).
- Детская литература, 1977. Сборник статей. М., «Детская литература», 1977, 222 с.
- Дубровина И. М. Проблемы романтики и ее освещение в советском литературоведении и критике. Пособие по спецкурсу. М., Изд-во Московского ун-та, 1977, 112 с.
- Дюжев Ю. И. Память войны. Великая Отеч. война в русской советской литературе Севера. Петрозаводск, «Карелия», 1977, 168 с.
- Колосов Г. В. Поэтика очерка. Учеб.-метод. пособие к спецкурсу «Проблема сов. очерка». М., Изд-во Московского ун-та, 1977, 77 с.
- Коровов В. И. Василий Шукшин. Творчество. Личность. [Предисл. С. Залыгина]. М., «Советская Россия», 1977, 192 с.
- Кузнецов Ф. Ф. Живой источник. [Лит.-критич. статьи]. М., «Московский рабочий», 1977, 336 с.
- Ларцев В. Г. Космос в советской поэзии. М., «Знание», 1977, 63 с.
- Литература и социология. Сборник статей. [Сост. В. Я. Канторович, Ю. Б. Кузьменко]. М., «Художественная литература», 1977, 414 с.
- Лукин Ю. А. В. И. Ленин и формирование идейно-эстетических принципов советской литературы. М., «Просвещение», 1977, 207 с.
- Лясковский В. Г. Всегда с Гайдаром. Одесса, «Маяк», 1977, 204 с.
- Матвиенко С. С. Ведущие публицисты советской прессы в годы первой пятилетки (1928—1932). Учебное пособие... М., Изд-во Московского ун-та, 1977, 26 с.
- Мухашова С. А. М. О. Ауэзов — переводчик русской советской драматургической классики. Алма-Ата, «Мектеп», 1977, 80 с.
- Нагибин Ю. М. Литературные раздумья. М., «Советская Россия», 1977, 157 с.
- Николаева С. А. Будь гражданином. (Заметки о современной прозе для детей). М., «Знание», 1977, 64 с.

- О прогрессе в литературе.** [Сборник статей. Под ред. А. С. Бушмпа]. Л., «Наука», 1977, 263 с. (Ин-т русской лит-ры).
- Оботуров В. А.** Степень родства, или О традициях, творящих поэтический облик современности. М., «Современник», 1977, 206 с.
- Овчаренко А. И.** Новые герои — новые пути. От М. Горького до В. Шукшина. М., «Современник», 1977, 479 с.
- Озеров В. М.** Революцией мобилизованная и призванная. Советская литература: 60 лет по ленинскому пути. М., «Современник», 1977, 384 с.
- Октябрь и развитие художественной культуры.** [Искусство и литература. Сборник]. М., «Знание», 1977, 63 с.
- Оскоцкий В. Д.** Негасимое пламя костра. [Сов. лит-ра]. М., «Знание», 1977, 128 с.
- Перцов В. О.** От свидетеля счастливого. Статьи разных времен и воспоминания. М., «Современник», 1977, 416 с.
- Писатель и время.** [Сборник]. М., [Б. и.], 1977, 112 с. (Союз писателей СССР).
- Писатель и литературный процесс.** [Междуз. сборник. Вып. 4. Ред. Я. И. Гордон]. Душанбе, Изд-во ТГУ, 1977, 187 с. (Таджикский гос. ун-т им. В. И. Ленина, Душанб. гос. пед. ин-т им. Т. Г. Шевченко).
- Полтавцева Н. Г.** Критика мифологического сознания в творчестве Андрея Платонова. Ростов н/Д, Изд-во Ростовского ун-та, 1977, 35 с. (Ростовский гос. ун-т).
- Проблемы жанра в литературе Сибири.** [Сборник статей. Ред. коллегия: ... Ю. С. Постнов (отв. ред.) и др.]. Новосибирск, «Наука», 1977, 216 с. (АН СССР, Сиб. отд., Ин-т истории, филологии и философии).
- Проблемы литературоведения и преподавания литературы.** [Сборник статей. Отв. ред. И. А. Гурвич]. Ташкент, Ташкентский пед. ин-т, 1977, 155 с. (Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. Сборник науч. трудов, т. 196).
- Проблемы развития литературы и литературной критики.** Тематический сборник научных трудов. [Ред. коллегия: И. Т. Крук (отв. ред.) и др.]. Киев, 1977, 152 с. (Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького).
- Рождественский В. А.** Жизнь слова. (Беседы о поэтическом мастерстве). М., «Советская Россия», 1977, 143 с.
- Розанова Л. А.** «Он — поэт настоящий». Очерки творчества Д. Н. Семеновского. Ярославль, Верхне-Волжское книжное изд-во, 1977, 103 с.
- Сверстники.** Сборник молодых критиков. [Сост. и автор предисл. В. Дементьев]. М., «Современник», 1977, 254 с.
- Семанов С. Н.** «Тихий Дон» — литература и история. М., «Современник», 1977, 245 с.
- Семенов В. С.** Родники бьют из глубин. Литературно-критические статьи. М., «Современник», 1977, 221 с.
- Смоляницкий С. В.** Полдень. Дорога. Память. [О литературе и искусстве]. М., «Московский рабочий», 1977, 200 с.
- Социалистический реализм на современном этапе его развития.** [Сборник статей. Ред. коллегия: В. Р. Щербина (отв. ред.) и др.]. М., «Наука», 1977, 445 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Союз журналистов СССР. Съезд, 4-й.** Москва, 1—3 марта 1977. Стенографический отчет. М., «Правда», 1977, 360 с.
- Средняя Азия в творчестве русских советских писателей. Из истории русско-восточных литературных контактов.** [М. Расули, С. Каганович, П. Мирза-Ахмедова и др. Отв. ред. Н. В. Владимирова]. Ташкент, «Фан», 1977, 227 с. (АН УзССР, Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина).
- Счет предъявляет время.** Сборник лит.-критич. статей. [Сост. А. Ермолаев]. Ижевск, «Удмуртия», 1977, 227 с.
- Съезд писателей РСФСР, 4-й.** Москва, 15—18 дек. 1975. Стенографический отчет. М., «Современник», 1977, 384 с.
- Театр и драматургия.** Междуз. сборник трудов. [Вып. 7. Ред. коллегия: Н. В. Зайцев (гл. ред.)]. Л., ЛГИТМиК, 1977, 170 с. (Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии).
- Традиции и новаторство в советской литературе.** [Сборник трудов. Ред. коллегия: А. А. Журавлева, М. В. Минокин (отв. редакторы) и др.]. М., [Б. и.], 1977, 154 с.
- Александр Фадеев.** Материалы и исследования. [Ред. коллегия: Н. Б. Волкова и др.]. М., «Художественная литература», 1977, 670 с. (Ин-т мировой лит-ры, Центр. гос. архив лит-ры и искусства СССР).
- Хотимский Б. И.** Рыцари справедливости. (Нравственно-воспитательное значение образа героя ист.-рев. прозы). М., «Знание», 1977, 64 с.
- Чернухина И. Я.** Очерк стилистики художественного прозаического текста. (Факторы текстообразования). Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1977, 207 с.
- Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия.** [Н. Н. Иванова, М. А. Бакина, И. А. Оссоветский и др. Отв. ред. А. Д. Григорьева]. М., «Наука», 1977, 392 с.

- Лапина В. В. Образ учителя в советской художественной литературе. Библиографический указатель художественных произведений за 1955—1975 гг. Свердловск, 1977, 48 с. (Свердловский гос. пед. ин-т).
- Николай Островский. Указатель литературы. [Сост. Г. М. Цапенко. Вступит. статья З. А. Гайсанюк]. М., ВГБИХ, 1976 (обл. 1977), 68 с.
- Русская литература Сибири. Библиографический указатель [в 2-х частях. Часть 2-я. Сост. Д. П. Маслов, Т. М. Питтер, Р. И. Курусканова и др.]. Новосибирск, «Наука», 1977, 572 с. (АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии, Томский гос. ун-т, Науч. б-ка).
- Русские советские писатели. Поэты. Библиографический указатель. [Т. 1. Авраменко-Архангельский. Сост. И. В. Алексахина, Д. А. Берман, Ф. М. Быкова и др.]. М., «Книга», 1977, 437 с.
- Словарь автобиографической трилогии М. Горького. В 6-ти вып. [Вып. 2. Авт.-сост. Е. В. Агаркова, С. В. Бекова, И. С. Воронова и др. Ред. Л. С. Ковтун]. Л., Изд-во Ленинградского ун-та, 1977, 299 с.

Технический редактор *М. Н. Кондратьева*

Корректоры *Н. В. Лихарева, Т. А. Румянцова, А. Х. Салтанова и Г. В. Семерикова*

Сдано в набор 02.08.78. Подписано к печати 30.10.78. М-26249. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 3. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 15 = 21.00 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 26.34. Тираж 16280. Тип. зак. № 637

Издательство «Наука», Ленинградское отделение. 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1
 Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»
 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12